1 р. 90 к.

Индекс 70331

В КОНЦЕ 1991—в 1992 гг. В «ЗНАМЕНИ» ЧИТАЙТЕ:

Василь БЫКОВ. Блиндаж. Повесть

Георгий ВЛАДИМОВ. Генерал и его армия. Роман

Даниил ГРАНИН. Этому нас не учили. Очерки

Владимир ДУДИНЦЕВ. Дитя. Роман

Фазиль ИСКАНДЕР. Ловчий ястреб. Повесть

Вячеслав КОНДРАТЬЕВ. Искупить кровью. Повесть

Булат ОКУДЖАВА. Упраздненный театр. Роман

Вячеслав ПЬЕЦУХ. Заколдованная страна. Повесть

Эрих-Мария РЕМАРК. Искра жизни. Роман

Артур ХЕЙЛИ. Вечерние новости. Роман

Елена РЖЕВСКАЯ. Доктор Геббельс и его «Дневник»

Подробнее об основных публикациях во второй половине 1991 и 1992 г. см. стр. 240.

ISSN 0130-1616. Знамя. 1991. № 9. 1—240.

ЗНАМЯ 9 1991

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1991

Сентябрь



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

Содержание

9

1991

СЕНТЯБРЬ

Москва
Издательство
«Правда»

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Знамя».

Андрей Сахаров

ГОРЬКИЙ, МОСКВА, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В конце декабря 1986 года я и моя жена получили возможность вернуться из Горького в Москву. Окончился семилетний период ссылки и изоляции. Одно из дел, которое мне предстояло, было участие в завершении работы над рукописью автобиографической книги «Воспоминания» *.

В начале 1984 года моя жена успела передать на Запад последнюю часть рукописи. «Воспоминания» охватывают мою жизнь начиная с детства и доведены до момента окончания работы над ними в Горьком в ноябре 1983 года.

Драматические события, произошедшие после этой даты, описаны Люсей в ее книге, опубликованной в 1986 году на многих языках (английское название «Alone Together») и на русском языке в конце 1988 года под авторским названием «Постскриптум» **. Люся имела в виду, что ее книга как бы является добавлением к моим «Воспоминаниям».

В 1987 году (в Москве) и в 1989 году (в Ньютоне и Вествуде) я описал последний период пребывания в Горьком и события, произошедшие после нашего возвращения в Москву, доведя изложение до июня 1989 года, когда я в качестве депутата принял участие в Первом съезде народных депутатов СССР. Первоначально я предполагал включить написанные главы в «Воспоминания». Затем решил издать их отдельной книгой.

Я благодарен Ефрему Янкелевичу, Эду Клайну и всем, принимавшим участие в подготовке книги к печати.

Люся была первым редактором книги.

Глава 1

ГОРЬКИЙ

В книге Люси описано ее задержание в Горьковском аэропорту 2 мая 1984 года; с этого дня и до конца октября 1985 года полностью прервалась та связь с внешним миром, которая осуществлялась ее поездками в Москву. В мае — июле 1984 года Люся находилась под следствием, 10 августа осуждена по статье 190-1 УК РСФСР. В мае 1984 года и начиная с 16 апреля 1985 года я проводил голодовки с требованием разрешить ей поездку за рубеж для встречи с матерью, детьми и внуками и для лечения. В мае — сентябре 1984 года меня насильственно удерживали в Горьковской областной больнице им. Семашко, подвергали мучительному

* В Советском Союзе «Воспоминания» пока опубликованы только в журнальном варианте («Знамя», 1990 г., №№ 10—12 и 1991 г., №№ 1—5). Полностью книги А. Д. Сахарова «Воспоминания» и «Горький, Москва, далее везде» будут выпущены издательством «Дом на Никольской» (при журнале «Знамя») в 1993 г. **(Прим. ред.)**.

** В нашей стране «Постскриптум» напечатан в 1990 г. (М., «Интербук»). **(Прим. ред.)**.

принудительному кормлению. 25 апреля 1985 года я вновь с применением насилия привезен в ту же больницу и подвергнут принудительному кормлению *.

После этой краткой хроники продолжу менее конспективно.

11 июля 1985 года я, не выдержав пытки полной изоляции от Люси, мыслей об ее одиночестве и физическом состоянии, написал главному врачу больницы им. Семашко О. А. Обухову письмо с заявлением о прекращении голодовки. Через несколько часов меня выписали из больницы и привезли к Люсе. Несомненно, мое решение было «подарком» для ГБ, и, как описано у Люси, они хорошо воспользовались им. Но почти сразу же я решил вновь возобновить голодовку с тем, чтобы встретить Хельсинкскую годовщину уже в больнице, и дальше продолжать борьбу, насколько хватит сил и воли. Две недели мы с Люсей вели обычную нашу жизнь — ездили по разрешенному нам маршруту, собирали грибы, ходили в кино и на рынок, смотрели по вечерам телевизор — вспоминая памятную по 50-м годам книгу Ремарка «Время жить и время умирать» — у нас было «время жить». Люся сначала возражала против моего плана, но не так решительно и энергично, как в апреле. 25 июля я начал второй (или третий — с учетом 1984 года) этап голодовки. Выпив слабительное, я вышел к Люсе на балкон, где она сидела в уголочке за разросшимися цветами и пыталась «поймать» сквозь глушилку какое-то западное радио. Она сказала: «Я думаю, что ты прав». Я поцеловал ее и сказал: «Спасибо тебе. Я уже начал, выпил карлсбадскую».

Через два дня я был опять насильственно госпитализирован в больницу им. Семашко. Люся дала мне в больницу приемник, и через 2—3 дня я услышал о гебистском фильме, доказывающем, что у меня не было никакой голодовки и что с середины июля по крайней мере я нахожусь в своей квартире вместе с женой.

В последние дни июля я отослал из больницы два письма — на имя М. С. Горбачева и А. А. Громыко (я начал их писать за месяц до этого). В обоих письмах я просил дать возможность Люсе увидеть детей и мать после многих лет разлуки. Я писал о клевете в ее адрес, о несправедливом суде, об ее участии в Великой Отечественной войне, инвалидности и болезни. Целью поездки, как я писал в этих письмах, являются только встреча с близкими и лечение, никаких других целей она не имеет. Так как Люся осуждена к ссылке, то поездка возможна только при отмене приговора, или при помиловании в соответствии с ее ходатайством от марта 1985 года, или при приостановке действия приговора на время ее поездки. О себе в письме Горбачеву я писал, что считаю примененные ко мне меры несправедливыми и беззаконными, но готов нести ответственность за свои действия. Эта ответственность не должна распространяться на мою жену или на кого-либо еще.

Я в обоих письмах написал: «Я хочу прекратить свои открытые общественные выступления, кроме исключительных случаев».

Я считал необходимым сделать это последнее заявление, за которое многие меня упрекали, по следующим причинам:

1) Оно полностью соответствовало моему желанию не выступать больше по относительно второстепенным общественным вопросам, сосредоточившись на науке и личной жизни. Я считал, что имею право на такое самоограничение после многих лет интенсивных открытых общественных выступлений.

2) В условиях ссылки и изоляции возможности открытых выступлений у меня вообще были крайне ограничены, так что мое заявление в какой-то мере было бессодержательным.

3) Я считал своим долгом сделать все возможное для осуществления поездки Люси.

В обоих письмах я также написал, что признаю за властями компетенцию решать по их усмотрению вопрос о моем выезде и поездках за рубеж в связи с тем, что ранее я имел допуск к военным секретам и, возможно, какая-то часть имеющейся у меня информации сохранила свое значение.

Если мне не изменяет память, письма были отправлены 29 июля 1985 года.

* Правильно — 21 апреля **(Прим. ред.)**

В отличие от 1984 года, я нашел некую форму сосуществования с кормящей бригадой, дававшую мне возможность неограниченно продолжать голодовку. Я обычно сопротивлялся в начале кормления, а последние несколько ложек ел добровольно (эти моменты использованы в гебистских киномонтажах). Если кормящая бригада приходила не в полном составе, я говорил «сегодня у вас ничего не получится». Они молча ставили еду на столик и уходили. Я, конечно, к ней не притрагивался, а чтобы вид еды не беспокоил меня, накрывал ее салфеткой. Иногда, чтобы подчеркнуть, что я хозяин положения, я сопротивлялся в полную силу, выплевывал пищу и «сдувал» ее из поднесенной ко рту ложки. В этом случае «кормящие» применяли болевые приемы (особенно в апреле и июне), кожа щек оказывалась содранной, а на внутренних сторонах щек возникали кровоподтеки, которые потом «заботливые» врачи мазали зеленкой.

В августе мой вес начал быстро падать и к 13 августа достиг минимального значения — 62 кг 800 г (при предголодовочном весе 78—81 кг). С этого дня мне стали делать подкожные (в бедра на обеих ногах) и внутривенные вливания, в дополнение к принудительному питанию. Всего мне было сделано в августе и сентябре 25 вливаний. Каждое вливание длилось несколько часов, ноги болезненно раздувались, весь этот, а иногда и следующий день я не мог ходить — ноги не сгибались.

5 сентября утром неожиданно приехал представитель КГБ СССР С. И. Соколов. По-видимому, это один из начальников какого-то отдела КГБ, «курирующего» меня и Люсю. В ноябре 1973 перед первым допросом Люси у Сыщикова Соколов «беседовал» с ней в увещевательном тоне. В мае 1985 года он приезжал для бесед со мной и Люсей (по отдельности). Тогда Соколов говорил со мной очень жестко, по-видимому, его цель была заставить меня прекратить голодовку, создав впечатление ее полной безнадежности. Я чуть было не поддался этому. На самом деле как раз в это время на Запад проникли сведения о начавшейся 16 апреля голодовке, и несмотря на интенсивную кампанию дезинформации, проводившуюся КГБ с помощью поддельных писем, открыток, телеграмм и фототелеграмм, выступления в нашу защиту приобрели большой размах. Кажется, Соколов был одним из двух «посетителей», которых привел ко мне главный врач больницы им. Семашко Обухов в ночь с 10 на 11 мая 1984 года. Якобы они интересовались моим здоровьем (я отказался с ними говорить). После этого визита утром 11 мая ко мне впервые применили принудительное кормление, у меня произошел тогда микроинсульт.

На этот раз (5 сентября 1985 года) Соколов с Люсей не захотел встретиться, а со мной был очень любезен, почти мягок. Разговор шел в присутствии Обухова. Соколов сказал: «Михаил Сергеевич (Горбачев) прочел ваше письмо (о Громыко упоминания не было. — **А. С.**). М. С. поручил группе товарищей (Соколов, кажется, сказал «комиссии». — **А. С.**) рассмотреть вопрос о возможности удовлетворения вашей просьбы». На самом деле я думаю, что в это время вопрос о поездке Люси у ж е был решен на высоком уровне, но КГБ, преследуя свои цели, оттягивал исполнение решения; мы неоднократно сталкивались с такой тактикой, например, в июле 1975 года, возможно, гибель Толи Марченко — тоже результат подобной «игры». «У товарищей, — продолжал Соколов, — возник ряд вопросов. Один из них связан с тем, что существует опасение, что ваша жена останется за рубежом и будет требовать вашего приезда в порядке «объединения семей». Вы должны подтвердить в письменной форме, что вы согласны с решением властей, запрещающих вам выезд по причине вашей секретности». Я ответил: «Эти опасения совершенно безосновательны. Моя жена никогда не станет «невозвращенкой». Она и я принципиально против таких действий! При этом моя жена абсолютно ясно понимает, что если она останется там, мне никогда не будет дано разрешение на выезд, какие бы кампании на Западе ни развертывались. Я уже писал то, что вы просите, в письме Горбачеву, но, конечно, могу написать и отдельный документ». Соколов: «Второй вопрос относится к вашей жене. Она должна дать письменное обязательство не встречаться за рубежом с иностранными корреспондентами и не давать пресс-конференций». Я: «Вы должны это обсудить с нею. Вообще-то она уже писала в этом духе в своем прошении о помиловании, на которое нет ответа». Соколов: «Я не смогу встретиться с вашей женой. Но вы сможете сами переговорить с

нею». Обращаясь к Обухову: «У вас нет медицинских возражений против того, чтобы Андрей Дмитриевич смог встретиться с Еленой Георгиевной?» Обухов поспешно: «Нет, нет! Я выделю для сопровождения медсестру и дам машину». Соколов: «Ну и прекрасно. У товарищей возник также такой вопрос. Вы пишете, что готовы отказаться от открытых выступлений, кроме исключительных случаев. Но ведь ваше представление о том, что такое «исключительный случай», может сильно отличаться от нашего! (Он как-то сыронизировал при этом, но очень неопределенно. — **А. С.**). Или ваша оговорка сделана просто для «спасения лица»?» Я: «Моя оговорка носит принципиальный характер, я придаю ей большое значение. «Спасать лицо» мне нет необходимости. Но я не могу сказать вам конкретно, какие исключительные случаи могут возникнуть в жизни, в мире, когда я, по выражению Толстого, «не могу молчать». Соколов усмехнулся, но не стал продолжать эту тему и еще раз повторил, что ждет документа от меня о секретности и документа от Люси. Около часу или двух дня на черной «Волге» Обухова я подъехал к дому и без звонка (ключ был в двери, Люся оставляла его, чтобы ГБ не надо было портить замка, открывая дверь без нас, и чтобы самой не потерять ключа) вошел в квартиру. Люся, сжавшись в комочек, сидела в кресле напротив телевизора, смотрела какую-то передачу (потом я разглядел, как она похудела). Люся обернулась в мою сторону и тихо сказала: «Андрей! Я ждала тебя!» Через минуту мы сидели, обнявшись, на диване, и я поспешно рассказывал ей, что не прекращал голодовки и отпущен на три часа, так как приехал Соколов, об его требованиях. Люся сразу сказала: «Ну, такие письма я быстро тебе напечатаю, это не проблема, но что все это значит?» Я ответил: «Я боюсь в это верить, не даю себе верить — но, может, вопрос решен». Люся: «Я тоже не даю себе верить». Она рассказала мне, что около недели перед этим Алеша начал голодовку в поддержку моих требований о Люсиной поездке на площади перед советским посольством в Вашингтоне. Насколько я помню, шел уже девятый день голодовки, мы с Люсей хорошо знали, как это тяжело (молодому человеку, вероятно, еще тяжелей, чем пожилым). Люся сказала: «Я все время думаю — если бы я послала Леше телеграмму с просьбой о прекращении голодовки, эта телеграмма, без сомнения, дошла бы, но на этом я потеряла бы сына». Я согласился с нею. Голодовка Алеши была очень важна в общей цепи усилий в нашу поддержку. Она прервала полосу общественной успокоенности на Западе по поводу нашего положения, возникшую после лживых гебистских фильмов. Алеша прекратил голодовку в середине сентября по просьбе представителей американского правительства после того, как Конгресс США принял очень серьезную резолюцию в нашу поддержку. Может, голодовка Алеши имела критическое значение. Никто этого не узнает...

Я вернулся в больницу и переслал через Обухова Соколову конверт с нашими заявлениями. Опять начался длительный, мучительный период ожидания — может, самый трудный для нас обоих за этот год. 6 октября Люся отправила мне открытку, в которой была условная фраза (стихотворная строчка из Пушкина), означавшая просьбу о прекращении голодовки и выходе из больницы. Как потом сказала Люся, она интуитивно считала, что мы сделали все, от нас зависящее. Эта открытка была доставлена лишь через 12 дней, напротив условной фразы был сделан аккуратный надрыв. Почему ГБ задержало открытку, а потом все же доставило ее? Я могу только гадать. Возможно, они хотели, чтобы я вышел из больницы одновременно с получением разрешения на поездку (или даже после), рассчитывая, что Люся уедет, не побыв со мной. Если это так, то они еще раз ошиблись в Люсе. Получив с таким запозданием открытку, я запросил телеграммой подтверждение (оно было опять в виде цитаты из Пушкина). Наконец 23 октября я вышел из больницы. Люся встретила меня фразой: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой» — из «Фауста» Гете, памятный для нас эпиграф к «Размышлениям».

За два дня до этого Люсю вызвали в ОВИР для заполнения документов, а 24-го нам сообщили, что Люсе разрешена поездка!

Оставалось еще одно «сражение». Начальник Горьковского ОВИРа Гусева и присутствовавший в кабинете представитель МВД заявили, что Люся должна уехать через 2 дня. Люся отказалась — она не могла уехать, не побыв со мной хотя бы месяц после 6 месяцев разлуки, не убедившись, что я оправился после голодовки. Никто из нас не мог знать, «какая нам разлука предстоит»; Люсе предстояла, быть может, опасная операция. Возникла резкая перепалка. Представитель МВД — не помню его фамилии — угрожал, что Люся вообще не уедет. Люся написала заявление. А на следующий день Гусева сообщила, что разрешена отсрочка выезда на 1 месяц. Она явно была потрясена — видимо, ей никогда не приходилось иметь дело ни с такой уверенной твердостью, ни с такой «уступчивостью» начальства.

Итак, трехлетняя наша борьба за Люсину поездку завершилась победой (сейчас я думаю, что эта победа предопределила в какой-то мере и многое дальнейшее — в том числе наше возвращение в Москву через год). Впервые за долгое время у меня возникло ощущение психологического комфорта — я считал, что сделал все то, что от меня зависело.

Правда, полного удовлетворения собой не было и тогда — меня мучила мысль, что в последние дни перед выходом из больницы я передал одному из больных записку на волю, с просьбой отнести ее в Москве по указанному мною адресу, и тем безответственно и без всякой пользы подвел его. Больной как раз выписывался и должен был на несколько дней поехать в Москву; он согласился взять мою записку и беспрепятственно вынес ее из больницы, но я почти уверен, что наши контакты были «засечены» бдительно наблюдавшими за мной гебистами (фактически передача записки осуществлялась следующим образом: мы, разговаривая, на секунду вышли из поля наблюдения гебиста, и я незаметно сунул больному записку. Но наше поведение вызвало, как мне кажется, подозрение гебиста, так как он — в отличие от некоторых других аналогичных моих попыток, иногда успешных, с другими расположенными ко мне больными — понял, что мы сознательно ускользнули от его взгляда).

Я не знаю, какие неприятности были потом у этого пытавшегося помочь мне человека — может, большие и длительные, вплоть до увольнения с работы. Я глубоко благодарен ему и чувствую себя перед ним очень виноватым. На всякий случай не называю его фамилии. Единственное мое оправдание: «На войне как на войне».

Что же касается ощущения, что я сделал все, от меня зависящее, то его хватило ненадолго. Жизнь продолжалась!

Люся уехала в Москву 25 ноября. 2 декабря в Италии она увидела Алешу и Рему — они ее там встречали, а еще через 6 дней, 8 декабря, встретилась с остальными в США. 13 января 1986 года Люсе была произведена операция на открытом сердце с установкой 6 шунтов (байпассов). 2 июня Люся вернулась в СССР, 4 июня — в Горький. В этих нескольких строчках — потрясающие события нашей жизни.

В декабре 1985 года, вскоре после приезда, Люсе сделали в бостонском госпитале Масс-Дженерал трудное и относительно опасное исследование — зондирование сердечных сосудов, и хотя результаты были далеко не хорошими, ее лечащий врач доктор Хаттер еще несколько недель пробовал, как это принято сейчас в США, применить консервативные методы лечения, и лишь в январе, совместно с руководителем кардиологического отделения доктором Остином и кардиохирургом доктором Эйкинсом, назначил ей операцию шунтирования. За эти недели, однако, в прессе были напечатаны поспешные сообщения, что Елене Боннэр не требуется операция и даже что, «видимо, она умышленно завышала тяжесть своих заболеваний, чтобы добиться поездки за рубеж»! Как тут не вспомнить о «руке Москвы» (я пишу это вполне серьезно).

Операция была произведена в Масс-Дженерал доктором Эйкинсом. По данным зондирования, врачи предполагали, что Люсе потребуется три-четыре байпасса, фактически потребовалось шесть, что означало большое усложнение и без того крайне тяжелой операции (в США не много людей с таким числом байпассов, есть ли они в СССР, где вообще очень редко делают шунтирование, я не знаю).

Мне сообщила о том, что Люсе произведено шунтирование, по телефону Таня 14 января. Лишь постепенно, задним числом — из Люсиных писем, из ее рассказов по приезде — я понял, какая это безумно тяжелая,

хочется сказать, нечеловеческая, и опасная операция — и тем не менее необходимая, спасительная.

Операция производится с глубокой гипотермией, с отключением сердца (у Люси длительность этой фазы была близка к предельной). Более полутора суток Люся находилась в бессознательном состоянии. Очень труден также — и физически, и психологически — послеоперационный период — у Люси он был осложнен перикардитом и плевритом.

Люсины тяжелые проблемы с болезнью ног (сужение бедренных артерий, возможно, инициированное ее контузией) остались неразрешенными, хотя ей делали операцию ангиопластики. Более кардинальная операция пересадки вен не могла быть осуществлена, так как одна вена бедра была использована для шунтирования, а другая может еще понадобиться для повторного шунтирования (страшно об этом даже подумать). До глаз дело вообще не дошло.

Почти каждого такая медицинская «программа», как у Люси в эти 6 месяцев, могла бы поглотить полностью. Люся же сделала многое другое.

Она написала целую книгу (на русском языке «Постскриптум», английские редакторы придумали название «Alone Together», русский перевод, по-видимому, «Одни вдвоем»; мы с Люсей сначала очень огорчались, но говорят, для английского уха оно звучит хорошо). Я уже писал, что Люся не новичок в литературной работе. Она пишет быстро, по наитию, в «импровизаторском» стиле. Характерно, что обычно у нее лучшим является именно первый вариант фразы или даже целого рассказа (у меня так никогда не получается). По-видимому, то эмоциональное состояние, в котором находилась Люся, способствовало ее работе. По большинству известных мне отзывов — и зарубежных, и здешних — книга удалась.

Люся объехала почти все главные американские университеты, много выступала, встречалась со многими политическими деятелями. В особенности оказались важны ее выступления в Национальной Академии США и в Конгрессе США (последнее выступление кажется мне не только удачным по форме, но и концептуально существенным). Вся эта ее деятельность, возможно, была одним из факторов, способствовавших нашему освобождению в декабре 1986 года. В числе мыслей, которые она пыталась распространить, — следует сосредоточить усилия в мою защиту на прекращение депортации, а не на борьбе за выезд.

Годы, проведенные мной в Горьком, ознаменовались важными событиями в физике высоких энергий: возникла надежда, что теория так называемых струн, разрабатывавшаяся ряд лет небольшой группой энтузиастов, может стать адекватным описанием всех известных взаимодействий и полей, а может, даже вообще описанием «всего на свете» — всех основных физических закономерностей (по-английски TOE — Theory of Everything).

Следует отметить, что теория струн (так же как входящая в нее в качестве составной части концепция суперсимметрии) не имеет (пока?) экспериментального подтверждения, поэтому отношение к этой теории не вполне однозначно, некоторые вообще считают ее заблуждением, некоторые разрабатывают «на всякий случай» параллельные идейно близкие варианты («мембраны», теории типа Калуцы — Клейна, теории с высшими спинами и др., не буду пояснять, что это такое). Я считаю, что теория струн является прообразом более хитроумной теории, а в самом лучшем (вполне вероятном) случае — правильной, адекватной теорией для большого (очень большого!) круга фактов. Что же касается TOE, то я думаю (вероятно, тут лучше говорить о вере), что путь познания основных физических законов природы никогда не будет иметь конца, всегда каждая физическая теория будет иметь ограниченную область применимости, и выход за пределы этой области потребует обобщения основных понятий и основных идей. Так было до сих пор — впрочем, это само по себе еще ничего не доказывает.

Не буду рассказывать историю теории струн (хотя она удивительно интересна и драматична) и называть имена ее создателей, постараюсь лишь дать приблизительное представление об основной идее. В отличие от известной уже более 50 лет квантовой теории поля, в которой частицы считаются точечными, струна — *протяженный*, а *именно линейный* объект, хотя и очень малых размеров. Струны могут быть «открытыми» (нечто вроде маленького червячка) или замкнутыми (в виде колечка), эти формы превращаются друг в друга, струны также отпочковываются или сливаются друг с другом. Струны обладают свойством натяжения. Пространство же считается лишенным первичных динамических свойств и приобретает их лишь в результате взаимодействия со струнами. Т. е. теория струн является, на новом уровне, реализацией моей старой идеи об индуцированной гравитации! Не могу этим не гордиться. Непротиворечивая квантовая теория струн может быть сформулирована лишь в пространстве с большим числом измерений, чем известно из повседневной жизни и существующих экспериментов. Дополнительные измерения считаются замкнутыми сами на себя («компактифицированными»), образуя в каждой точке известного нам трехмерного пространства нечто вроде многомерной сферы или другой замкнутой поверхности. Чтобы представить себе это наглядно, используем «игрушечную», как говорят в США, модель — пространство с одним основным и одним компактифицированным в виде колечка измерением. Такое пространство будет представлять собой длинную тонкую трубочку. Масштаб компактифицированного пространства в теории струн считается очень маленьким — порядка 10^{-33} см — 10^{-32} см. Для всех процессов с большим характерным масштабом компактифицированные измерения никак не будут проявляться (размеры атома порядка 10^{-8} см, атомного ядра 10^{-12} см, протона 10^{-13} см; в опытах на самых больших современных ускорителях «прощупываются» масштабы порядка 10^{-15} — 10^{-16} см).

Я поставил своей задачей изучить теорию струн и примыкающие теории, а также изучить теоретические работы на стыке космологии и физики высоких энергий. Я не очень надеюсь на личный творческий успех — но понимать сущность того, что, возможно, является очередной революцией в физике — должен стремиться!!!

В декабре 1985-го — мае 1986 года я усиленно занимался этим; к сожалению, наличие серьезных пробелов в моих знаниях помешало мне достичь желаемой цели. Я старался в этот период не отвлекаться ни на что постороннее, в частности, совсем не слушал западное радио. Это привело меня к крупным промахам, о чем я пишу ниже.

Продолжу хронику моей жизни. Приезды физиков из теоротдела ФИАНа, прервавшиеся в 1984 — 85 гг., в декабре 85-го — мае 86-го вновь возобновились. В середине декабря приехали Е. Л. Фейнберг и Е. С. Фрадкин, я узнал некоторые подробности о том, что происходило в Москве во время голодовки, и понял (но не принял) причину исчезновения одного из моих документов. Фрадкин оставил мне важные препринты работ по струне, его и Цейтлина. Второй приезд состоялся неожиданно для меня в конце января 1986 года. Были интересные научные беседы с Д. А. Киржницем и А. Д. Линде. В 21 час они собрались уезжать, я вышел проводить их к автобусу. На улице Линде отвел меня в сторону и сказал: «Во время инструктажа перед этой поездкой к вам меня спросили о ваших планах в случае, если вам будет разрешено вернуться в Москву. При этом они подчеркнули, что не решают подобных вопросов, это делается где-то наверху. Их интересовали два вопроса: собираетесь ли вы заниматься в Москве МТР?*. И второе, вы писали, что предполагаете отказаться от открытых общественных выступлений». (Я: «кроме исключительных случаев!»). «Они спрашивают, останется ли это обязательство в силе при вашем возвращении в Москву?». Мне было ясно, что с Линде говорили представители КГБ, поэтому я считал, что чем меньше я буду обещать, тем будет лучше. Я сказал: «Я не собираюсь заниматься МТР, хочу целиком сосредоточиться на теории поля и ранней космологии. Я не могу разбрасываться. МТР я не занимаюсь более 30 лет, там имеются прекрасные специалисты, создавшие целую новую область науки. Об открытых общественных выступлениях. Мои обязательства были даны применительно к жизни в Горьком, в связи с проблемой поездки жены. При возвращении в Москву возникнет совершенно новая ситуация, на меня ляжет совсем другая общественная ответственность. Поэтому необходимо заново обсудить весь этот комплекс вопросов». Линде: «Могу

* МТР — магнитный термоядерный реактор. **(Прим. ред.)**

я все это сказать, если меня спросят?» Я: «Да, но я подчеркиваю, что такие вопросы следует обсуждать без посредников, непосредственно. Обязательно передайте это».

Я не знаю, как повлияла эта откровенность с Линде (фактически с ГБ) на сроки нашего возвращения в Москву. Люся, по приезде, рассказала мне, что многие западные ученые, работающие в области термоядерного синтеза, отказываются сотрудничать с СССР, пока я нахожусь в Горьком и не могу принять участие в обсуждениях (в своих контактах на Западе она пропагандировала такую позицию). В какой-то мере моя беседа с Линде противоречила и мешала этой линии. В дальнейшем я счел необходимым уточнить свою позицию, выражая желание принять участие в обсуждениях по проблеме управляемого синтеза (но при этом не имелось в виду участие в конкретной работе, на что у меня нет ни времени, ни сил, ни знания всей совокупности проведенных за 30 лет исследований). В долгосрочном плане я не считаю свою позицию в разговоре с Линде ошибкой.

В феврале 1986 г. я написал один из самых важных своих документов — письмо на имя М. С. Горбачева с призывом об освобождении узников совести. Толчком явилось интервью Горбачева французской коммунистической газете «Юманите», опубликованное 8 февраля. В этом интервью Горбачев говорил о положении евреев в Советском Союзе, о деле Сахарова и — что в особенности привлекло мое внимание — о политзаключенных (то, что касалось меня и моей жены, конечно, тоже привлекло внимание, но тут я не считал необходимым отвечать). Горбачев заявлял, что в СССР нет политических заключенных и нет преследований за убеждения. В своем письме я, отправляясь от этого тезиса, детально показал, что арест и осуждение людей по статьям 70 и 190-1 Уголовного кодекса РСФСР фактически всегда является преследованием за убеждения, так же как, нередко, осуждение по «религиозным» статьям 142 и 227 и заключение в психбольницу по политическим мотивам и использование с теми же целями фальсифицированных обвинений в уголовных преступлениях. Я кратко рассказал в качестве примера о деле и судьбе некоторых лично известных мне узников совести, всего я перечислил 14 человек (или 13, имя одного из узников было в некоторых экземплярах по ошибке пропущено) и призвал к безусловному освобождению всех узников совести. Первым среди названных мною был Толя Марченко. 19 февраля я отправил письмо адресату. 3 сентября по моей просьбе оно было опубликовано за рубежом (через 6 месяцев после даты извещения о доставке). Я предполагаю, что, возможно, начавшееся в первые месяцы 1987 года освобождение узников совести в какой-то мере было инициировано этим письмом, в условиях провозглашенной гласности и моего и Люсиного возвращения в Москву. Мне хотелось бы так думать.

26 апреля произошла ужасная катастрофа в Чернобыле. Я узнал об этом с большим запозданием, из клочка газеты двухдневной давности с кратким (и неточным) сообщением ТАСС (вероятно, это было 6 мая).

В те дни я не только не слушал западное радио (таков был мой «режим» все 6 месяцев Люсиного отсутствия, я уже об этом писал), но и не читал регулярно газет. Я также не видел по телевидению первой пресс-конференции, на которой выступал Велихов и из которой можно было составить себе впечатление, отличное от того, какое складывалось из первых газетных сообщений.

К моему стыду, я усиленно поддерживал в себе ощущение, что ничего особенно ужасного не произошло. Я принял в качестве основной, определяющей количественной информации приводившиеся в начале мая в советской печати цифры радиационной зараженности — 10—15 миллирентген в час — якобы вблизи реактора в первые дни после аварии (!?). Других количественных данных не сообщалось. На основании этих цифр действительно складывалась относительно благоприятная картина. Правда, оставалось непонятным, отчего же погибли пожарные — об этом к середине месяца уже было известно. Я считал совершенно исключенной по приведенным цифрам возможность распространения существенных радиоактивных осадков на большой территории, подобно тому, как это имеет место при ядерных испытаниях, исключал сколько-нибудь серьезные экологические последствия и последствия для людей, вызванные непороговыми

биологическими эффектами (дополнительные случаи рака и генетические повреждения). Все это было позорной ошибкой! Одной из причин ее явилось то, что опубликованные в советской прессе данные были (умышленно?) занижены в сто или более раз! Другой причиной было отсутствие у меня правильной информации. К сожалению, была и третья причина — известная предубежденность, инертность мышления, нежелание посмотреть в глаза ужасным фактам. 21 мая на мой день рождения приехали физики из Москвы (В. Я. Файнберг и А. А. Цейтлин) и рассказали кое-что об аварии. Но в двухнедельный период до этого ГБ сумело полностью использовать мое заблуждение. Ко мне с 7 по 19 мая подходили на улице люди, якобы случайные прохожие, и расспрашивали о Чернобыле, и я (хотя и с оговорками о недостатке информации) говорил им успокоительные вещи. Все это тайно записывалось, снималось на пленку и передавалось на Запад (уже без оговорок). ГБ записало и опубликовало на Западе сказанные мной 15 мая в телефонном разговоре с Люсей неумные слова: «Это не катастрофа, это авария!..» 20 мая, за день до приезда физиков, ко мне подошел человек, назвавшийся корреспондентом газеты «Горьковский рабочий». Разговор, первоначально не выглядевший как интервью, происходил около балкона, я поливал цветы на клумбе. Поводом для прихода корреспондента явилась моя (не подписанная) открытка, посланная в газету за несколько месяцев до этого, в которой я обращал внимание на какие-то неточности. Я опять говорил слишком успокоительно о Чернобыле и не очень удачно о проблемах разоружения — хотя в чем-то правильно и хорошо. Через несколько дней, схватившись за голову, я послал в редакцию «Горьковского рабочего» (т. е. в КГБ) письмо, в котором требовал либо опубликовать мое интервью с исправлениями, либо не публиковать вообще; в противном случае я угрожал непосредственным обращением к Западу; конечно, это было гласом в пустыне. Через неделю Виктор Луи (через немецкую газету «Бильд») передал на Запад препарированную и перемонтированную видеопленку с моим «интервью» и сообщил прессе свои (?) комментарии. Смысл их примерно такой: Сахаров находится на нашей стороне баррикады (!?); он не может быть, однако, возвращен в Москву, так как у него плохая жена (плохо вела себя на Западе) — сразу по приезде в Москву она соберет пресс-конференцию!

2 июня Люся вернулась в СССР. Последнюю неделю своего пребывания на Западе она побывала в Англии и Франции, встречалась с премьер-министром Маргарет Тэтчер, с президентом Миттераном и премьером Жаком Шираком, продолжая ту же линию за мое возвращение в Москву, как в США (т. е. что следует добиваться моего возвращения в Москву, а не эмиграции).

В Москве прибытие Люсиного багажа задерживалось, и она решила поехать на 10 дней в Горький, повидать меня после полугодовой разлуки. Однако как только она вступила на горьковскую землю, мышеловка захлопнулась, и больше она уже не смогла поехать в Москву до самого нашего освобождения в декабре. Уже на вокзале КГБ продемонстрировал свои неограниченные возможности, запретив носильщикам вынести Люсины вещи из вагона. Через несколько дней ее вызвали в ОВИР и потребовали сдать заграничный паспорт (который остался в Москве) и встать на учет ссыльной.

Люся многое рассказала мне в первые же часы нашей встречи — о детях, внуках и Руфи Григорьевне, об операции и других медицинских делах, о написанной ею книге, о выступлении в Конгрессе США, о многочисленных действиях с целью способствовать изменению моего положения. Она рассказала также о появившихся на Западе гебистских фильмах (снимавшихся скрытой камерой на протяжении многих лет до голодовки, во время и после голодовки, в том числе на улице и в кабинетах главного врача больницы им. Семашко д-ра О. А. Обухова и его жены, кардиолога д-ра А. А. Обуховой, на вокзале в Горьком, на почте и в других местах). Во время наших телефонных разговоров в декабре — мае Люся неоднократно пыталась рассказать о фильмах, но каждый раз, как она затрагивала эту тему, связь прерывалась.

В высшей степени потрясли меня те новые для меня факты, которые Люся сообщила о Чернобыльской катастрофе. Она рассказала, что узнала о катастрофе, когда была на ежегодном собрании Национальной Академии

США, т. е. гораздо раньше, чем появились первые сообщения в советской прессе. В США по телевизору показывались сделанные со спутника снимки, на которых был виден горящий реактор. Подъем уровня радиации был зарегистрирован во всех европейских странах. В первые дни после аварии Чехословакия, Швеция, Польша и Венгрия требовали от советских властей объяснения, что произошло в СССР, но долго не получали никакого ответа. В Польше населению выдавали содержащие йод таблетки, чтобы ускорить вывод радиоактивного изотопа йода (вставал вопрос — а что делали в СССР, где, конечно, радиоактивность была больше). На Украине и в Белоруссии беременным женщинам советовали делать аборты! Все это было ужасно, в корне меняло ту относительно благополучную картину, которую я составил себе и которая частично сохранялась в моем воображении даже после визита физиков.

Мне хотелось бы верить, что я сумел извлечь уроки из своей ошибки. Во всяком случае, последующие месяцы я много думал о том, как же я мог так ошибаться. Но еще важней было решить, сначала для себя, что же вообще надо делать с ядерной энергетикой...

В июне доктор А. А. Обухова назначила мне прийти к ней на медосмотр. До этого я был у нее три раза, и, как я узнал от Люси и писал выше, все эти осмотры снимались скрытой камерой. Я послал такую телеграмму: «Я отказываюсь осмотров у вас мне отвратительны беззаконные съемки скрытой камерой вашем кабинете кабинете вашего мужа передачей фильмов всему миру такая кавычки медицина кавычки мне не нужна. Сахаров» и получил бесподобный ответ: «Мне искренне жаль Вас, академик. На Вашу благодарность конечно не рассчитываю. Профессор Обухова». Ни я, ни Люся не собирались больше обращаться к услугам горьковской медицины ни при каких обстоятельствах.

Жизнь наша после Люсиного приезда потекла своим чередом.

Люсин багаж привезли в Горький, с полным нарушением всех формальных правил. Из пришедших вещей Люся собрала 15—20 посылок с подарками для родных и друзей, и мы разослали их по адресам. Никакого общения с кем-либо у нас не было, почти как во время голодовки. Нашего друга Эмиля Шинберга, направлявшегося к нам (мы договорились встретиться в ресторане в определенный день и час), сняли с поезда на полпути. Ресторан же был полон гебистов. Единственным радостным исключением явилась встреча 15 августа с моим однокурсником Мишей Левиным и его женой Наташей. Они были в Горьком проездом и прошлись перед нашими окнами. Я случайно вышел на балкон и, увидев их, выбежал на улицу. Потом мы провели с ними полдня, и ГБ нам не препятствовало. Но пытаться провести их в квартиру я не решился, их могли бы сразу схватить. Я глубоко благодарен Мише за эту и предыдущие встречи.

Мы с Люсей часто ездили на машине в разрешенных узких пределах (как мы говорили — по «малому» или по «большому» кольцу, последнее включало небольшой участок Казанского шоссе и выезд к Волге), читали книги, смотрели по вечерам телевизор, а по утрам подолгу сидели за утренним чаем-кофе и болтали, выясняя спорные вопросы истории и литературы с помощью энциклопедического словаря. В общем, оказалось, что мы хорошо выдерживаем испытание на психологическую совместимость в условиях изоляции от внешнего мира. Можно сказать, что мы были счастливы. Конечно, если бы еще у Люси было лучше с ногами, с сердцем, вообще со здоровьем!..

В отличие от прошлых лет мы могли регулярно разговаривать с детьми и Р. Г. по телефону. Еще для характеристики нашего парадоксального быта следует упомянуть, что раз в месяц Люся должна была являться в районное управление внутренних дел для отметки ссыльной. Мы отдали в МВД предписание доктора Хаттера, которое Люся привезла с собой из США, запрещающее ей выходить из дома — и тем самым являться на отметку — в холодную и ветреную погоду, но не успели узнать, принято ли по этому поводу какое-либо решение.

В начале октября я получил повестку с просьбой явиться в областную прокуратуру к зам. Генерального прокурора СССР Андрееву, как там было написано, «в связи с Вашим заявлением». Мы поняли, что речь идет о моем февральском письме Горбачеву об освобождении узников совести. Обсуждая предстоящую встречу, мы решили, что я должен попытаться передать с Андреевым (т. е. помимо Горьковского КГБ) письмо Горбачеву с целью добиться моего освобождения из Горького. Я долго колебался, следует ли мне писать такое письмо или ждать, пока решение об освобождении «созреет» без моего участия. Меня также останавливало, что за год до этого я писал Горбачеву, что не имею других личных просьб, кроме поездки Люси (правда, за это время ситуация во многом изменилась). Я надеялся в ближайшие месяцы наконец спокойно заняться физикой и понимал, что в Москве я долго не буду иметь такой возможности, что на нас лягут новые заботы, новая ответственность. Но я также чувствовал, что мое пребывание в Горьком или, наоборот, возвращение в Москву — это не только мое личное дело, или наше с Люсей, а нечто, определяющее «стандарт» во всей проблеме прав человека в СССР. Одним из факторов, влиявших на меня, было чувство ответственности за неосторожный, как мне казалось, разговор с Линде, и я хотел кое-что уточнить. В конце концов я решил, что должен сделать все возможное для своего освобождения, прибавив свои усилия к усилиям столь многих людей, в расчете, что мое обращение, быть может, как-то повлияет на неизвестный нам баланс сил «там, наверху». Когда наше освобождение стало фактом, взаимосвязь моего освобождения с судьбами других людей, с правами человека и гласностью, и трудности для меня и ответственность московской жизни проявились даже с большей силой, чем я мог то предполагать.

3 октября Люся отвезла меня на встречу с Андреевым. Она осталась ждать у кафе «Дружба» (в 1984 году, когда Люся ездила на допросы, она тоже оставляла там машину), а я пошел в прокуратуру.

Андреев действительно приехал по моему письму Горбачеву об узниках совести. «Ответом на письмо», однако, его сообщение назвать было трудно. Он сказал, что прокуратуре было поручено разобраться и что все упомянутые мною лица осуждены совершенно законно (он упомянул также о проверке медицинских экспертиз, видимо, в связи с психиатрическими делами). На все мои вопросы, которые я задавал с целью что-то конкретизировать или уточнить, он отвечал крайне расплывчато и неоднозначно. В частности, он так и не сказал, видел ли мое письмо Горбачев. Лишь в телефонном разговоре с М. С. Горбачевым я узнал, что на самом деле видел. Я упоминал в своих вопросах Марченко, но Андреев ушел от обсуждения. В конце часовой беседы я выразил неудовлетворенность его ответом, сказал, что по моему письму было необходимо общее п о л и т и ч е с к о е решение об освобождении всех узников совести, исправляющее несправедливость (я повторил заключительную формулировку письма). Андреев категорически отказался взять мое новое письмо, сказав, что он — не курьер.

В последующие недели я несколько переработал письмо и 23 октября отправил на имя Генерального секретаря. Люся считала, что не следует торопиться отправлять письмо, что-то ей в нем не нравилось. Однако я, приняв решение, не видел необходимости откладывать его исполнение. Возможно, это мое письмо Горбачеву и не сыграло какой-либо роли в нашем освобождении. Существуют слухи, что вопрос дебатировался уже с лета 1986 года, а может, и раньше. Но нельзя исключить и обратное — что письмо явилось тем маленьким толчком, который вызывает лавину. Впрочем, я больше склоняюсь к первому предположению.

В своем письме я писал, что семь лет назад был без решения суда, т. е. беззаконно, депортирован. Я не допускал нарушений закона и государственной тайны. Нахожусь в условиях беспрецедентной изоляции, так же как моя жена. Приговор и клеветническая пресса переносят на нее ответственность за мои действия. Далее я писал о состоянии нашего здоровья. Я счел также необходимым написать: «Я повторяю свое обязательство прекратить открытые общественные выступления, кроме исключительных случаев, когда я, по выражению Л. Толстого, не могу молчать».

Я повторил тем самым устную формулировку, содержавшуюся в разговоре с Соколовым 5 сентября 1985 года. Сейчас, оказавшись в Москве, я могу только мечтать о меньшем объеме общественной деятельности. В конце письма я упомянул свои заслуги в прошлом, в том числе в заключении Московского договора о запрещении испытаний в трех средах. Я напомнил о своем письме об освобождении узников совести (что представлялось мне особенно важным!) и о работах вместе с И. Е. Таммом по МТР, выразив готовность принять участие в обсуждениях программ международ-

ного сотрудничества в этой области (исправляя тем свою оплошность с Линде). Письмо я окончил словами: «Я надеюсь, что Вы сочтете возможным прекратить мою изоляцию и ссылку жены». Отправив письмо, я больше о нем не вспоминал в течение ближайших полутора месяцев.

Меня не переставали волновать вопросы ядерной энергетики, ее безопасности. Несомненно, человечество не может отказаться от использования ядерной энергии. Поэтому необходимо найти такие технические решения, которые обеспечивали бы полную ее безопасность, полностью исключали бы возможность катастрофы, подобной Чернобыльской. Таким решением, по моему убеждению, является размещение ядерных реакторов глубоко под землей. (Глубина должна быть выбрана так, чтобы при максимально возможной аварии не могло произойти выброса радиоактивных продуктов.) Конечно, размещение реакторов под землей увеличит стоимость строительства, но при современной землеройной технике это увеличение будет, как я думаю, приемлемым (как мне сейчас известно, конкретные проекты с подземным размещением реакторов существуют и дебатируются как вполне экономически конкурентоспособные в США, во Франции, кажется в Швейцарии, возможно, и в других странах.). Я считаю (эту мысль мне подсказала Люся в период подготовки к «Форуму» в феврале 1987 г.), что *необходимо в законодательном порядке разрешить строительство новых реакторов только под землей — причем не только в рамках одной страны, но и в международном масштабе — ведь радиоактивные осадки не знают* границ! Что касается старых реакторов, то их следует покрыть надежными защитными колпаками. Особенно важно в первую очередь обеспечить безопасность реакторов теплофикационных атомных станций, располагаемых обычно вблизи от больших городов (одна из таких станций строится на окраине Горького), реакторов с графитовым замедлителем, подобных по этому признаку Чернобыльскому, реакторов-бридеров на быстрых нейтронах.

Другая проблема, которая меня в эти месяцы заинтересовала, — предполагаемая возможность существенно уменьшить катастрофические последствия землетрясений с помощью специально осуществляемых в сейсмически опасных районах подземных термоядерных взрывов. В настоящее время не существует способов точно предсказать момент землетрясения, что является одной из причин гибели людей. Можно, однако, предполагать, что достаточно мощный подземный термоядерный взрыв, произведенный вблизи предполагаемого эпицентра землетрясения в момент, когда напряжения в земной коре приближаются к критическому значению, может спровоцировать мгновенный или скорый (через несколько дней или недель) разлом блоков земной коры. Если это так (и если необходимые заряды не слишком велики), то человечество получит возможность управлять моментом землетрясения. Людей можно будет заранее эвакуировать, спасая их тем от гибели. Также можно вывезти некоторые материальные и культурные ценности. Конечно, взрыв должен быть произведен так, чтобы исключить выход радиоактивных продуктов (глубина порядка нескольких километров).

Возможно, что эта идея уже обсуждалась сейсмологами, но я не знаю, известны ли им технические и экономические возможности создания сверхмощных термоядерных зарядов (в 1961 году в СССР, как было опубликовано тогда, было произведено испытание 100-мегатонного заряда, и это, конечно, не предел.) Кроме того, с течением времени прогресс в области сейсмологии может изменить оценки реальности предлагаемого метода управления моментом землетрясения и требуемой мощности взрыва.

В начале декабря я послал на имя президента АН СССР академика Г. И. Марчука письмо с изложением обеих идей и просьбой способствовать их обсуждению.

Вечером 9 декабря Люся, как всегда, крутила ручку приемника. Помехи (глушение) в этот день были очень сильными, и поймать что-либо было трудно. Как всегда в доме, мы пользовались наушниками, чтобы не привлекать внимание наших индивидуальных «глушителей». Один из сдвоенных наушников она протянула мне. Через треск в какой-то момент Люся и одновременно я услышали фамилию «Марченко». На мгновение нам показалось, что речь идет о том, что Толя Марченко освобожден. Дней за 10 до этого мы слышали, что Ларисе Богораз предложили заполнить анкеты на выезд в Израиль. Она ответила, что должна сначала поговорить с мужем (и стала добиваться свидания). Мы рассматривали предложение властей как признак того, что дело Марченко «сдвинулось». Люся послала Ларе радостную открытку. С 4 августа Марченко держал голодовку в Чистопольской тюрьме, требуя облегчения участи политзаключенных и внимания к их судьбе, прекращения репрессий. Сам Толя был лишен свиданий 2 года 8 месяцев, много раз подолгу находился в карцерах и ПКТ. Я хочу напомнить, что в перерыве между его последним и предпоследним заключениями ГБ неоднократно предлагало Марченко эмигрировать «в Израиль в порядке воссоединения семьи». Но он отказывался, не желая уезжать из страны, где он жил и сумел стать человеком (в высоком смысле этого слова), и не желая принимать участия в гебистских «играх» и обмане*. После его отказа последовал арест. Теперь, на грани гибели Толи, Ларисе предлагали то же самое.

Через несколько минут, однако, мы поняли, что речь идет не об освобождении. Ларисе Богораз сообщили, что ее муж умер. Она с сыновьями и невесткой в тот же вечер выехала в Чистополь. Ей не разрешили увезти тело мужа для похорон дома. Толю похоронили в Чистополе. Почти никаких подробностей обстоятельств Толиной смерти и его последних дней ей не сообщили. Известно лишь, что он до вечера 8-го находился в камере. Подошел к двери и попросил врача. Его перевезли в больницу в безнадежном состоянии. На теле Толи во время похорон были видны следы побоев, возможно, полученных при принудительном кормлении. Продолжал ли он голодовку до момента смерти или прекратил ее за несколько дней до этого, неизвестно. Непосредственная причина смерти — якобы инсульт. Толе было 48 лет.

Смерть Толи потрясла нас, так же как очень многих во всем мире. Это был героический финал удивительной жизни, трагической и счастливой. Сейчас мы понимаем, что это также финал целой эпохи правозащитного движения — у истоков которого стоял Марченко с его «Показаниями»! **

В воскресенье мы с Люсей случайно включили телевизор днем — чего мы обычно не делаем. Показывали пьесу Радзинского «Лунин, или Смерть Жака» — о декабристе Лунине. Нас поразило совпадение основных линий в пьесе и в судьбе и трагедии Марченко. Лунин в камере перед смертью — он знает что скоро придут убийцы, — вспоминает всю свою жизнь, сопоставляя ее с жизнью другого бунтаря из прочитанной им когда-то книжки. Он вспоминает, как Константин (брат царя) предлагал ему бежать, чтобы избежать ареста, а он не воспользовался предложением, и думает словами из книги: «Хозяин думает, что раб всегда убегает» (если у него есть такая возможность). И далее: «Но всегда в Империи находится человек, который говорит: «Нет!» Это Лунин! И это — Марченко!

Из моего дневника тех дней: «Все время мысли возвращаются к этой трагедии, ко всей его (Толи) жизни, к судьбе Лары и Павлика. Все время чувство вины (и у меня, и у Люси)».

По случаю Дня прав человека 10 декабря Люся (по призыву Эмнести) установила на окнах свечи — символ призыва к освобождению узников совести. На одном из окон свечей было три, в знак скорби по Толе (три свечи ставят на похоронах).

15 декабря исполнилось 25 лет со дня смерти папы. Вечером мы с Люсей, как обычно, смотрели телевизор, сидя рядом на креслах. Люся что-то штопала. В 10 или в 10.30 неожиданный звонок в дверь. Для почты слишком поздно, а больше никто к нам не ходит. Может, обыск? Это бы-

* Осенью 1974 г. А. Марченко, ради своего ребенка, согласился уехать из СССР, но открыто — в политическую эмиграцию, а не по фальшивой мотивировке «воссоединение семей». Власти некоторое время делали вид, что готовы пойти на это, но в феврале 1975 г. арестовали его. Когда А. Марченко отбыл очередное наказание (на этот раз это была ссылка), ему снова предложили уехать — он отказался. В 1981 г. А. Марченко был арестован в шестой и последний раз; этот арест закончился смертью в тюрьме в 1986 г. **(Прим. ред.)**

** Книга А. Марченко «Мои показания» (1968 г.) — первая книга о послесталинских лагерях. **(Прим. ред.)**

ли два монтера-электрика, с ними гебист. «Приказано поставить вам телефон». (У нас возникла мысль, что это какая-то провокация, может, надо отказаться. Но мы промолчали.) Монтеры сделали «перекидку». Перед уходом гебист сказал: «Завтра около 10 вам позвонят».

Мы с Люсей строили всякие предположения, что бы это могло быть. Может, попытка взять интервью для газеты? До этого было две попытки — в сентябре письмо из «Нового времени» и в начале ноября из «Литературной газеты» — предложение, переданное Гинзбургом в его письме. Я отказался, так как не хотел давать интервью в условиях, когда я никак не могу проконтролировать точность передачи моих слов, вообще не могу давать «интервью с петлей на шее» — это перефраз названия книги Фучика. В этот раз я также собирался отказаться.

До 3 часов дня 16 декабря мы сидели, ждали звонка. Я уже собирался уйти из дома за хлебом. Далее — на основе записи из моего дневника, с некоторыми комментариями.

В три часа позвонили. Я взял трубку. Женский голос: «С вами будет говорить Михаил Сергеевич». «Я слушаю». (Люсе: «Это Горбачев». Она открыла дверь в коридор, где происходил обычный «клуб» около милиционера, и крикнула: «Тише, звонит Горбачев». В коридоре замолчали.) «Здравствуйте, это говорит Горбачев». — «Здравствуйте, я вас слушаю». — «Я получил ваше письмо, мы его рассмотрели, посоветовались». Я не помню точных слов Горбачева, с кем посоветовались, но не поименно, и без указаний, в какой инстанции. «Вы получите возможность вернуться в Москву, Указ Президиума Верховного Совета будет отменен. (Или он сказал — действие Указа будет прекращено. — А. С.). Принято также решение относительно Елены Боннэр». Я — резко: «Это моя жена!» Эта моя реплика была эмоциональной реакцией не столько на неправильное произношение фамилии Боннэр (с ударением на последнем слоге), сколько, главным образом, на почувствованный мной оттенок предвзятого отношения к моей жене. Я доволен своей репликой! Горбачев: «Вы сможете вместе вернуться в Москву. Квартира в Москве у вас есть. В ближайшее время к вам приедет Марчук. Возвращайтесь к патриотическим делам!». Я сказал: «Я благодарен вам! Но несколько дней назад в тюрьме убит мой друг Марченко. Он был первым в списке в письме, которое я вам послал. Это было письмо с просьбой об освобождении узников совести — людей, репрессированных за убеждения». Горбачев: «Да, я получил ваше письмо в начале года. Многих мы освободили, положение других облегчено. Но там очень разные люди». Я: «Все осужденные по этим статьям осуждены незаконно, несправедливо, они должны быть освобождены!» Горбачев: «Я не могу с вами согласиться». Я: «Я умоляю вас еще раз вернуться к рассмотрению вопроса об освобождении людей, осужденных за убеждения. Это — осуществление справедливости. Это — необычайно важно для всей нашей страны, для международного доверия к ней, для мира, для вас, для успеха всех ваших начинаний». Горбачев сказал что-то неопределенное, что именно — не помню. Я: «Я еще раз вас благодарю! До свидания!» (Получилось, что я, а не он, как следовало по этикету, прервал разговор. Видимо, я не выдержал напряжения разговора и боялся внутренне, что будет сказано что-то лишнее. Горбачеву не оставалось ничего другого, как тоже окончить разговор.) Горбачев: «До свидания».

Через три дня состоялась встреча с президентом АН Марчуком, о которой говорил Горбачев (не в квартире, а в Институте физики, куда меня привезли на директорской машине). Разговор происходил с глазу на глаз. Я впервые видел недавно избранного президента. Это был плотный мужчина среднего возраста, деловой, хваткий, типичный организатор науки новейшей формации. Марчук сказал: «Ваше письмо Михаилу Сергеевичу произвело на него большое впечатление. Я получил из Президиума Верховного Совета тексты Указов по вашему делу». С этими словами он достал из нагрудного кармана пиджака помятую бумажку с рваными краями и прочитал (я на слух записал буквально, не исправляя синтаксиса: «1. Прекратить действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 января 1980 года о выселении Сахарова в административном порядке из Москвы. 2. Указ Президиума Верховного Совета СССР о помиловании Боннэр Е. Г., освободив ее от дальнейшего отбывания наказания». Марчук добавил, что тексты Указов ему сообщили по телефону, он просит не ссылаться на него. Я заметил, что за неимением другой информации я буду вынужден ссылаться. Отвечая на мои вопросы, Марчук сказал, что он не знает даты Указов и что ему ничего не известно о возвращении мне наград (возвращение наград означало бы косвенное признание неправильности действий властей в отношении меня в 1980 году, но, видимо, до такого дело пока не дошло). В целом, у меня осталось много неясностей, и среди них главная — да был ли вообще Указ о моем выселении или решение было принято на уровне КГБ. Единственный Указ, о существовании которого известно точно, — это о лишении меня наград.

Марчук сказал, что он хочет обсудить мое возвращение к активной научной работе, мою общественную позицию. «Я хотел бы понять ваше кредо в общественных делах. Вы обладаете большим авторитетом, к вашему мнению многие прислушиваются». Я ответил ему довольно развернуто, Марчук внимательно слушал. В некоторых пунктах он подчеркнул свое несогласие, в частности, это касалось линии действий СССР в так называемых горячих точках (я сказал, что политика СССР иногда объективно является провоцирующей), проблемы Афганистана и принципа «пакета», связывающего соглашения по вопросам межконтинентальных и евроракет с соглашением по СОИ. Я особо выразил свою заинтересованность в судьбе узников совести. Марчук сказал: «Учитывая, что вы поднимали этот вопрос, мне сообщили из Президиума Верховного Совета следующее. Многие из интересовавших вас осужденных освобождены, или условно освобождены, или переведены на ссылку, некоторые получили разрешение на выезд за границу. Сейчас продолжается рассмотрение дел некоторых других лиц. Необходимым условием освобождения является, как мне сообщили, заявление об отказе от продолжения антиобщественной деятельности». Я резко возразил: «Это посягательство на свободу убеждений, ломка человека, это неправомерно и несправедливо». Марчук сказал: «Излишняя концентрация на негативных явлениях, которые сейчас изживаются, может привести к вашей изоляции в академической среде, это мнение многих академиков, с которыми я говорил». Он упомянул о предстоящем в Москве Форуме по проблемам разоружения, я обещал подумать о своем участии. Я также высказал мысль о целесообразности моей встречи с Эдвардом Теллером. Это была бы встреча двух независимых и авторитетных людей для выяснения разных принципиальных подходов к проблемам разоружения, СОИ и т. п. Заключительная часть беседы касалась моего участия в МТР, проблем безопасности ядерной энергетики и предупреждения землетрясений. Я сказал о желательности привлечения к работе в ФИАНе Б. Л. Альтшулера.

Вечером того же дня (19 декабря) на телевизионной пресс-конференции в МИДе, посвященной мораторию на ядерные испытания, замминистра Петровский, отвечая на (инспирированный, конечно) вопрос, сказал: «Некоторое время тому назад академик Сахаров обратился с просьбой разрешить ему перебраться (!?) в Москву. Эта просьба рассмотрена, в частности в АН СССР, с учетом того, что Сахаров длительное время находился вне Москвы. Одновременно принято решение о помиловании гражданки Боннэр Е. Г. Таким образом, Сахаров получает возможность вернуться к научной работе. — теперь на Московском направлении» (почти точная, на слух запись телепередачи). Стиль бесподобен, так же как «фигуры умолчания»! Обращают на себя внимание ссылки на Академию и на длительность «нахождения вне Москвы» как на причину возвращения. Об Указе в отношении меня — ни слова.

У нас с Люсей в те дни вовсе не было ощущения счастья или победы. Нас глубоко мучила гибель Толи. Кроме того, у меня было смутное, но неприятное чувство, вызванное моим письмом М. С. Горбачеву от 23 октября, — хотя умом я и понимал, что ни в коей мере себя не унизил и не взял на себя никаких юридических обязательств, ограничивающих свободу моих выступлений в важных вопросах, когда я «не могу молчать». Более того, я и по существу не обманывал Горбачева в отношении своих действий — я действительно хотел ограничиться только важными общественными делами. Тем не менее я очень хорошо понимаю узников совести, для которых нелегко написать в качестве условия освобождения, что они не будут заниматься «антиобщественной деятельностью» (многие не написали требуемого и остались в заключении). Но вскоре все мои «реф-

лексии» отошли на задний план — неумолимый поток «свободной» жизни захлестнул нас, требуя ежедневных усилий и готовности принять на себя новую ответственность. Сил же у нас обоих сейчас гораздо меньше, чем 7 лет назад.

22 декабря мы, наскоро собрав несколько сумок и оставив в квартире большую часть вещей, выехали из Горького. Впервые за семь лет мы с Люсей вдвоем сели в поезд — до этого я только провожал ее, пока и она не «застряла» вместе со мной.

Глава 2

ВНОВЬ МОСКВА. ФОРУМ И ПРИНЦИП ПАКЕТА

23-го утром мы вышли на перрон Ярославского вокзала, запруженного толпой корреспондентов всех стран мира (как потом оказалось, там были и советские). Около 40 минут я медленно продвигался к машине в этой толпе (Люся оказалась отрезанной от меня) — ослепляемый сотнями фотовспышек, отвечая на непрерывные беглые вопросы в подставляемые к моему рту микрофоны. Это неформальное интервью было прообразом многих последующих, — а вся обстановка как бы «моделью» или предвестником ожидающей нас беспокойной жизни. Я говорил об узниках совести, призывал к их освобождению, называя много имен, о необходимости вывода советских войск из Афганистана, о своем отношении к СОИ и к принципу «пакета» (ниже, в связи с Форумом, я объясню все это подробней), о перестройке и гласности и о противоречивости и сложности этих процессов.

В конце декабря и в январе (с меньшей интенсивностью и в последующие месяцы) я давал интервью газетам, журналам и телекомпаниям Англии, Бельгии, Греции, Индии, Италии, Испании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Финляндии, ФРГ, Югославии, Японии и других стран — по нескольку раз в день. Особенно запомнилось телеинтервью с прямой трансляцией через спутник из студии Останкино — вся эта космическая супертехника, множество экранов с твоим странно-чужим лицом на фоне голубого неба и самое страшное — «черная дыра» телекамеры. В первой такой передаче переводчиком был Алик Гольдфарб — когда-то переводивший пресс-конференции на Чкалова. Сама возможность таких передач поражала — как примета нового времени «гласности».

На меня и на Люсю легла в эти первые месяцы почти непереносимая нагрузка — но делать нечего, приходилось тянуть... Наша жизнь в Москве. Подготовка в письменной форме ответов почти к каждому большому интервью, иначе я не умею, печатанье их Люсей. В доме непрерывно люди — а мы так хотим остаться вдвоем, у Люси заботы по кухне — и не на двоих, как в Горьком, а на целую ораву. В 2 часа ночи Люся с ее инфарктами и байпассами моет полы на лестничной клетке — в доме самообслуживание! — а я опять что-то спешно пишу на завтра. Кроме интервью, еще масса всяких дел — письмо Горбачеву, о котором я пишу ниже, предисловие к книге Марченко, напряженная работа подготовки к Форуму, и люди, люди, люди — друзья, знакомые, просто желающие познакомиться, желающие уехать из страны, иностранцы, приехавшие в Москву и считающие своим долгом посетить Сахарова, послы всех европейских стран, посещающие Сахарова по поручению своих правительств, каждый день сумасшедшие, во время и после Форума — очень многие западные участники. Когда началось массовое освобождение политзаключенных, о чем я пишу ниже, Люся стала вести списки освобожденных, сообщая о новых освобожденных в агентства (естественно, сразу в два-три), а также сообщая о запинках на этом пути. Инкоры же — или радиокомментаторы — многое перевирают, и вот уже вместо сообщения Люси о голодовке Миколы Руденко с требованием ответить о судьбе забранного у него на обыске писательского архива мы

слышим по западному радио, что академик Сахаров сообщил о голодовке Руденко с требованием эмиграции, а супруга лауреата заявила, что это дело якобы показывает обратную сторону политики кремлевских руководителей — слова, которых она не говорила и не могла сказать, это не ее стиль, мягко говоря. Подобная путаница почти каждый день, очень искажались мои высказывания по СОИ.

Таковы будни нашей жизни. Может, у меня мания величия, но мне хочется надеяться, что все же это не вовсе бесполезная суета и не игра в свои ворота, а оказывает — пусть с очень малым КПД — реальное воздействие на два ключевых дела: освобождение узников совести и сохранение мира и разоружение.

Итак, интервью первых месяцев... Во всех бесчисленных интервью декабря и января я постоянно повторял, что критерием глубины, подлинности и необратимости демократических преобразований в стране является полное освобождение узников совести, что противоречивость существующей ситуации разительно отражается в том, что люди, выступавшие за гласность, продолжают оставаться в заключении в эпоху гласности. Обычно я называл в своих интервью несколько (5—12) фамилий людей, дела которых были мне хорошо известны.

В середине января появились первые признаки того, что многие узники совести будут освобождены (интервью советского представителя в Вене и др.). Одновременно возникло опасение, что этот процесс будет далеко не таким, как мы все мечтали, — не полным и не безусловным освобождением. Я помнил также о своих беседах с прокурором Андреевым и Марчуком, они говорили о необходимости «отказа от антиобщественной деятельности».

Я решил написать М. С. Горбачеву еще одно письмо, в котором высказал свои мысли и опасения. В этом письме я, в частности, писал: «Без амнистии невозможен решающий нравственный поворот в нашей стране, который преодолеет «инерцию страха» (я использовал название известной книги В. Турчина), инерцию равнодушия и двоемыслия. Конечно, только амнистии для этого недостаточно. ...Я буду с Вами откровенен. Нельзя полностью передоверять это дело тем ведомствам, которые до сих пор осуществляли или санкционировали беззакония и несправедливость (КГБ, прокуратура, суд, органы МВД). ...Будет очень плохо, если все сведется к вымогании покаяний и отказов от так называемой антиобщественной деятельности, защите чести мундира упомянутых мною ведомств. ...Мне кажется целесообразным созыв специального совещания при ЦК КПСС по вопросам амнистии, возможно, с приглашением на него представителей движения за права человека в СССР, представителей творческой и научной интеллигенции» (я назвал несколько имен: Каллистратова С. В., Богораз Л. И., Гефтер М. Я., Ковалев С. А.).

Ответа на это письмо я не получил.

Между тем долгожданный процесс массового освобождения узников совести начался. Сейчас, когда я пишу эти строки (апрель 1987), освобождено около 160 человек. Много это или мало? По сравнению с тем, что происходило до сих пор (освобожденных и обмененных можно пересчитать по пальцам), по сравнению с самыми пылкими нашими мечтами — очень много, невероятно много. Но это только 20—35% общего числа узников. (Д о п о л н е н и е. **Ноябрь 1988 г.** Сейчас освобождено большинство известных узников совести. Лиц, известных мне по фамилиям, в заключении осталось лишь несколько человек. Но все еще многие не известные мне узники совести находятся в психиатрических больницах и в заключении по неправомерным обвинениям — таким, как отказ верующих от службы в армии, незаконный переход границы, фальсифицированные уголовные обвинения и др.) Принципиально важно — это НЕ безусловное освобождение узников совести, не амнистия. Тем более это не реабилитация, которая подразумевает признание несправедливости осуждения. Мои опасения оправдались. Судьба каждого из заключенных рассматривается индивидуально, причем от каждого власти требуют письменного заявления с отказом от якобы противозаконной деятельности. Т. е. люди должны «покупать» себе свободу, как бы (косвенно) признавая себя виновными (а ведь многие могли это сделать много раньше — на следствии и на суде — но отказались). То, что фактически часто можно было написать ничего не содержащую бу-

мажку, существенно для данного лица, но не меняет дела в принципе. А совершившие несправедливое, противоправное действие власти полностью сохраняют «честь мундира». Официально все это называется помилованием. Никаких гарантий от повторения беззакония при таком освобождении не возникает, моральное и политическое значение смелого, на самом деле, шага властей в значительной степени теряется как внутри страны, так и в международном плане. Возможно, такая процедура есть результат компромисса в высших сферах (скажем, Горбачева и КГБ, от поддержки которого многое зависит. А может, Горбачева просто обманули? Или он сам не понимает чего-то?). Компромисс проявляется и на местах: как я писал, заключенные часто имеют некоторую свободу в выборе «условных» формулировок. Много лучше и легче от этого не становится. Но на большее в ближайшее время, видимо, рассчитывать не приходится.

В эти недели я, Люся, Софья Васильевна Каллистратова, разделяющая нашу оценку реальной ситуации, предприняли ряд усилий, чтобы разъяснить ее стоящим перед выбором заключенным, облегчить им этот выбор. Мы всей душой хотим свободы и счастья всем узникам совести. Широкое освобождение даже в таком урезанном виде имеет огромное значение. Наши инициативы, однако, далеко не всеми одобрялись. Однажды, в первых числах февраля, к нам приехали Лариса Богораз и Боря Альтшулер. Произошел трудный, мучительный разговор. Нам пришлось выслушать обвинения в соглашательстве, толкании людей на капитуляцию, которая будет трагедией всей их дальнейшей жизни. В еще более острой форме те же обвинения были предъявлены Софье Васильевне. Очень тяжело слышать такое от глубоко уважаемых нами с Люсей людей, близких нам по взглядам и нравственной позиции. Но в той объективно непростой ситуации, в которой мы все оказались, возникновение подобных расхождений неизбежно. Все же, мне кажется, эти расхождения носят временный характер, уже сейчас они несколько смягчились.

О некоторых событиях и встречах первых месяцев в Москве.

В первых числах января я дал интервью советской прессе, а именно «Литературной газете». Интервью, однако, не было напечатано. Произошло все это так. 30 декабря после семинара в ФИАНе ко мне подошли два корреспондента «Литературной газеты» — Олег Мороз (тот самый, которого мне «сватал» Виталий Лазаревич Гинзбург за два месяца до этого) и Юрий Рост, известный фотокорреспондент. Они попросили разрешения прийти домой и взять интервью. Подумав несколько минут, я согласился с условием, что мне будет предоставлен на подпись окончательный, согласованный со всеми инстанциями текст, возможно, с некоторыми сокращениями и исправлениями. Если я найду их приемлемыми, я подпишу интервью, и после этого оно уже без всяких изменений пойдет в печать, в противном же случае вообще ничего не должно публиковаться. Только такая форма ограждала меня от возможных искажений моей позиции. Мороз и Рост согласились и тут же дали мне бумажку с предварительными вопросами. В первый день нового года, когда все нормальные люди отдыхают после новогодней попойки, я усиленно работал над этими не простыми для меня вопросами, а Люся печатала и редактировала (как мы это обычно делаем). Вопросы были в основном те же, что и у инкоров, и мои ответы тоже были такие же (Афганистан, узники совести, принцип пакета, ядерные испытания), но хотелось для дебюта в советской прессе быть особенно ясным и логичным.

Вечером 30 декабря мне предстоял телемост, я спешил и согласился с предложением Роста и Мороза, что они подвезут меня в своей машине. Разговаривая между собой, они упомянули с уважением какого-то Яковлева и, обращаясь ко мне, заметили: «Не беспокойтесь, это не тот, которого вы, кажется, побили». Я подтвердил, что действительно побил. Эти молодые люди были в не служебном общении, по-видимому, похожи на многих других известных мне московских интеллигентов — западное радио, во всяком случае, они регулярно слушали. Первый вариант интервью Мороз и Рост записали 3 января (задав несколько дополнительных вопросов), затем в течение января приходили еще два или три раза. Они сделали коекакие приемлемые для меня изменения и сокращения и добавили еще три-четыре вопроса, в тексте которых содержалась полемика с моими наиболее острыми ответами. Мороз и Рост рассказали, что интервью одобрили ре-

дакторы отделов, но не одобрил главный редактор Чаковский, и теперь оно проходит все более и более высокие инстанции, дойдя до «предпоследней» ступени (намекалось, что это — Лигачев, последняя — верхняя — ступень была бы Горбачев). При последней встрече они сказали, что публикация интервью откладывается на неопределенное время, во всяком случае до январского пленума, «на котором многое должно решиться». На самом деле интервью просто не состоялось. До такого уровня гласность не распространилась. А жаль. Появление моего интервью в советской прессе было бы крупным событием «перестройки» — с учетом того, что я в своих ответах не пошел ради «проходимости» по пути самоцензуры.

Хотя интервью и не пошло, но некоторый профит мы от него все же имели. Люся написала от моего имени, а я подписал, письмо корреспонденту «Литературной газеты» Аркадию Ваксбергу (пишущему на моральные и юридические темы) о деле арестованного незадолго до того в Киеве человека, и попросила Роста и Мороза передать письмо адресату. Библиотекарь Проценко был арестован по обвинению в составлении и хранении рукописи религиозно-исторического содержания, суд вернул дело на доследование, но оставил Проценко в следственной тюрьме. Ваксберг (не ссылаясь на меня) обратил внимание прокурора на это нарушение, Проценко был освобожден, а затем дело в отношении его было прекращено.

Одним из главных вопросов всех интервью с иностранными корреспондентами и с «Литгазетой» было мое отношение к Горбачеву и к политике «перестройки». На самом деле очень важно было выяснить все это прежде всего для самого себя, для нас с Люсей.

Еще в Горьком мы видели поразительные изменения в прессе, кино и телевидении. В той же «Литературной газете» в репортаже А. Ваксберга о пленуме Верховного суда можно было прочитать такие вещи, за «распространение» которых совсем недавно давалась статья 190-1 или 70 — в том числе документальная справка, согласно которой на семидесяти процентах поступивших в Прокуратуру ходатайств о пересмотре судебного дела, получивших стандартную резолюцию «Оснований для пересмотра нет», — отсутствует пометка о том, что дело затребовано — т. е. ответы Прокуратуры просто штамповались, или дело о 14 людях, сознавшихся в убийстве, осужденных и казненных, которые потом оказались полностью непричастными к преступлению, — т. е. их показания явно были даны в результате избиений или других пыток. Гласность действительно захватывает все новые области, и это производит сильнейшее впечатление, обнадеживает! Наибольшее развитие гласность получила в журналистике. Но опубликование какого-либо материала, информации или идеи не означает, что последуют реальные действия (сейчас еще в большей степени, чем в прежний период). Следует также сказать, что наиболее продвинутая область перестройки — гласность — тоже все еще имеет некоторые темы, остающиеся под запретом, такие, как изложение неофициозных точек зрения в международной политике, критика крупных партийных руководителей — а министров уже можно! — большая часть статистических данных, судьба узников совести и др. (Добавление. **Декабрь 1988 г.** Сейчас в ряде отношений гласность еще более расширилась. Но одновременно появились новые принципиально важные ее ограничения. Большое беспокойство вызывает неполное и одностороннее освещение драматических событий в Азербайджане и Армении и некоторых других особо острых вопросов. Тут гласность, к сожалению, «буксует» — как раз в тех случаях, когда ее общественное значение могло бы быть особенно велико. В 1988 году повсеместно имели место ограничения в подписке на «перестроечные» издания, по-видимому, в результате какого-то компромисса с антиперестроечными силами; сейчас острота этой проблемы несколько снизилась.) Наряду с гласностью чрезвычайно важны другие аспекты новой политики: в социальной области, в экономике — повышение самостоятельности предприятий, в децентрализации управления, в укреплении роли местных советских органов (которые сейчас оттеснены на задний план партийными органами). (Добавление. **Июль 1988 г.** В июне состоялся пленум ЦК КПСС, специально посвященный реформе экономики — переходу на полный хозрасчет с отменой центрального планирования и лимитного — т. е. по определенным из центра лимитам — снабжения.)

Решения по этим вопросам, исполнение которых должно, конечно, про-

водиться постепенно, имеют огромное принципиальное значение. Особенную роль играют намечающиеся изменения системы выдвижения кадров и выборов на партийные, советские и хозяйственные руководящие должности (доклад Горбачева на январском пленуме, его идеи пока не отражены в каких-либо решениях). На январском пленуме говорилось о планах реформы Уголовного кодекса и другого законодательства. Новое также есть в международной политике, я потом буду говорить об этом подробней. В целом следует сказать, что реальных, а не словесных проявлений новой политики все еще мало. В них еще сильней, чем в области гласности, проявилась известная незавершенность, половинчатость, даже определенная противоречивость политики. Например, важный закон об индивидуальной трудовой деятельности (ИТД) сформулирован очень робко, неопределенно, в нем совершенно не предусмотрены меры активного стимулирования, очень ограничен круг лиц, которые могут заниматься ИТД, много других ограничений. Почти одновременно с законом о ИТД принят другой закон — о так называемых нетрудовых доходах, фактически, вопреки названию, дающий возможность преследовать именно за ИТД. В первые месяцы после принятия закона о нетрудовых доходах было множество случаев абсолютно нелепого его применения. О противоречивости и неполноте процесса освобождения узников совести я уже писал, это меня особенно беспокоит. Одновременно с принятием Закона о кооперации Министерство финансов установило столь высокий уровень налогов (до 90% дохода), что фактически это сделало развитие кооперации невозможным. Важнейший Закон о государственном предприятии не содержит четких гарантий самостоятельности предприятий в планировании и в финансовой области (в особенности в использовании дохода). Что я безоговорочно поддерживаю — это борьбу с пьянством, этим жестоким бедствием нашего народа. Жизнь, однако, выявила, что и здесь было много непродуманного.

Какая же моя общая оценка? В 1985 году, слушая одно из первых выступлений Горбачева по телевизору в больнице им. Семашко, я сказал моим соседям по палате (гебистам, больше я ни с кем не мог тогда общаться): «Похоже, что нашей стране повезло — у нее появился умный руководитель». Я рассказал об этой своей оценке в декабрьском интервью-телемосте из студии в Останкино, она отражает мою первую реакцию, в основном сохранившуюся с тех пор. Мне кажется, что Горбачев (как и Хрущев) действительно незаурядный человек в том смысле, что он смог перейти невидимую грань «запретов», существующих в той среде, в которой протекала большая часть его карьеры. Чем же объяснить непоследовательность, половинчатость «новой политики»? Главная причина, как я думаю, в общей инерционности гигантской системы, в пассивном и активном сопротивлении бесчисленной армии бюрократических и идеологических болтунов — ведь при реальной «перестройке» большинство из них окажется не у дел. Горбачев в некоторых своих выступлениях говорил об этом бюрократическом сопротивлении, это звучало почти как крик о помощи. Но дело даже глубже. Старая система, при всех своих недостатках, работала. При переходе к новой системе неизбежны «переходные трудности» (из-за недостатка опыта работы по-новому, отсутствия кадров руководителей нового типа). И вообще. Старая система создавала психологический комфорт, гарантированный, хотя и низкий, уровень жизни. А новая — кто знает. И последнее — не могу исключить, что и Горбачев, и его ближайшие сторонники сами еще не полностью свободны от предрассудков и догм той системы, которую они хотят перестроить.

Добавление 1988 г. Перестройка сложившейся в нашей стране административно-командной структуры экономики крайне сложна. Без развития рыночных отношений и элементов конкуренции неизбежно возникновение опасных диспропорций, инфляция и другие негативные явления. Фактически наша страна уже испытывает экономические трудности. Повсеместно ухудшилось снабжение населения продовольствием и промышленными товарами первой необходимости. У меня особое беспокойство вызывают «зигзаги» на пути демократизации. Создается впечатление, что Горбачев пытается овладеть контролем над политической ситуацией путем компромиссов с антиперестроечными силами, а также укрепляя свою личную власть недемократическими реформами политической системы. И то, и другое чрезвычайно опасно! Демократизация невозможна без широкой об-

щенародной инициативы. Но «верха» оказались к этому не готовы. Отражением этого явились, в частности, антиконституционные законы, направленные против свободы митингов и демонстраций. Все это вызывает у меня большую настороженность!

Таким образом, ситуация необычайно запутана и противоречива. Главная надежда — на постепенную смену всех кадров, на объективную необходимость «перестройки» для страны — ради преодоления застоя, на то, что «новое всегда побеждает старое» — знаменитые слова Сталина, их хорошо нам вдолбили в годы молодости.

В руках Горбачева четыре основных рычага — гласность (тут дело запущено и начинает уже раскручиваться самоходом), новая кадровая политика, новая международная политика с целью ослабления пресса гонки вооружений, общая демократизация. Во всех своих интервью на Запад в 1987 году и для «Литературки» я говорил, с разной степенью подробности и детализации, в духе этих мыслей. Кроме уже упомянутых телемостов (два с США, с Канадой и с ФРГ), мне особенно памятны хорошо получившееся интервью по телефону корреспонденту «Голоса Америки» Зоре Сафир, подробное интервью для итальянского телевидения по поводу выступления Горбачева на январском пленуме ЦК КПСС и интервью журналу «Шпигель». К последнему я также написал небольшое добавление в связи с неточностями в интервью тому же журналу Роя Медведева. В этом добавлении я сам, однако, допустил неточность. Дискутируя с Медведевым, я написал, что академик П. Л. Капица никогда не выступал в мою защиту во время ссылки в Горький. Мне передали со слов жены Петра Леонидовича, что им были написаны большое письмо на имя Андропова и телеграмма на имя Брежнева. Я ничего не знал до последнего времени об этих попытках П. Л. Капицы. Подробней я пишу об этом в «Воспоминаниях», глава 3-я второй части.

Моя позиция в отношении «перестройки» не всеми принимается, в том числе в диссидентских кругах здесь и в эмигрантских — на Западе. В одной из издающихся в США на русском языке газет появилась статья под примечательным заголовком: «Прощенный раб помогает своему хозяину» (этот образ, видимо, возник в результате моего рассказа о пьесе Радзинского, о которой я писал выше, правда, автор статьи ухитрился перепутать Лунина с Лениным). Более огорчила меня переданная на Запад статья Мальвы Ланда, об этом мужественном и честном человеке я не раз писал в книге «Воспоминания». Грустно, но что поделаешь. Надеюсь, что и это недоразумение разрешится, как и описанное выше с Ларой и Борей.

Как я уже писал, в первые месяцы после возвращения из Горького нас посетили послы большинства западных стран. Принимали мы их, так же как других гостей, в комнате Руфи Григорьевны (самой просторной в квартире, но сильно нуждавшейся в ремонте после семи лет безнадзорности). Люся устраивала вполне приличный, на мой взгляд, чай-кофе с печеньем.

Очень интересной и содержательной была встреча с группой государственных деятелей США — с Киссинджером, Киркпатрик, Вэнсом, Брауном и другими. Мои собеседники произвели на меня сильное впечатление — это, несомненно, острые, умные, четкие во взглядах и позициях люди, далеко не «беззубые». Сам факт их визита ко мне был нетривиальным проявлением уважения ко мне и к моему международному авторитету. Они, в основном, задавали вопросы и слушали меня — а я пытался наиболее четко выразить свою позицию в вопросе о горбачевской «перестройке» и о том, как к этому следует подходить Западу. о разоружении, о СОИ, о правах человека и гласности (большая часть всего этого потом вошла в мои выступления на Форуме). Одна из основных мыслей, которую я защищал в беседе, следующая: Запад жизненно заинтересован в том, чтобы СССР стал открытым и демократическим обществом, с нормально развивающейся экономикой, социальной и культурной жизнью. Именно с этим были связаны многие вопросы гостей. Киссинджер, в частности, очень четко и откровенно сформулировал свой вопрос: «Не существует ли такой опасности, что СССР осуществит демократические преобразования, возникнут условия для ускорения его научно-технического развития, экономика окрепнет, а затем он вновь усилит экспансионистскую направленность своей внешней политики и на новом уровне развития будет представлять еще

большую опасность для мира во всем мире?» Я использовал кавычки, но на самом деле это вольный пересказ по памяти. Аналогичные, близкие по смыслу вопросы поставили Вэнс, Браун и другие гости. Я ответил, что вопрос, конечно, очень серьезный, но, по моему убеждению, следует опасаться не нормального развития в СССР открытого и стабильного общества с мощной, в основном мирной, экономикой, а потери мировой стабильности и одностороннего военно-промышленного развития закрытого, экспансионистского общества.

Дополнение **1988 г.** Отвечая на аналогичные вопросы сейчас, я считаю необходимым подчеркивать, что Запад должен активно поддерживать процессы перестройки, широко сотрудничая с СССР в вопросах разоружения, экономики, науки и культуры. Но эта поддержка должна осуществляться «с открытыми глазами», не безусловно. Антиперестроечные силы должны понимать, что любой их успех, любое отступление перестройки одновременно будет означать срыв поддержки Запада. Это уточнение позиции отражает мою озабоченность «зигзагами» перестройки.

Браун и Вэнс также сформулировали вопросы, относящиеся к проблеме СОИ. На мой контрвопрос, санкционирует ли Конгресс боевое развертывание системы СОИ, если СССР откажется от принципа пакета (подробней я разъясню суть проблемы ниже), мои гости с некоторой долей уверенности высказали мнение, что в изменившейся после отказа СССР от принципа пакета политической ситуации Конгресс не утвердит развертывания СОИ в космосе. Я говорил также об освобождении узников совести и свободе эмиграции. Особенно внимательно слушала и записывала эту часть беседы г-жа Джин Киркпатрик — она произвела на меня впечатление очень умной и твердой женщины.

Мы не пустили фототелекорреспондентов в дом, но разрешили им снимать на улице. Это было уменьшенное подобие встречи на вокзале, ламп-вспышек было почти столько же.

Люся к приезду американцев, кроме традиционного кофе, сделала свое «фирменное» блюдо — творожную ватрушку, она получилась удачно, гости, в том числе Джин Киркпатрик, вполне ее оценили. Генри Киссинджер сказал, что такую вкусную ватрушку делала когда-то его еврейская мама в годы его детства.

Другая встреча в конце января — начале февраля была с президентами американских университетов. Их приезд в Москву намечался давно, когда мы были еще в Горьком, и теперь состоялся в более нормальных обстоятельствах. Все они приехали в Москву по туристской визе на три дня и от нас направились в Вену на конференцию по правам человека. Вместе с ними в Москву приехал, тоже по туристской визе, Алеша — в качестве переводчика, и конечно — чтобы повидать нас. Это было большое событие для всех нас. Алеша уехал 9 лет назад, и все это время казалось, что он никогда уже не сможет приехать в СССР.

Его разрешение на поездку было получено в самый последний момент, после моих телеграмм в советское посольство в Вашингтоне и послу СССР в США Добрынину. На Восточном побережье США в эти дни был сильный снегопад, самолеты не летали по погодным условиям, и Алеше пришлось срочно добираться из Бостона в Нью-Йорк на арендованной машине. 8 часов он пробивался по шоссе, покрытому тридцатисантиметровым слоем снега!

Состоялись две большие беседы с президентами и, кроме того, еще очень содержательный разговор с Германом Фешбахом, в основном посвященный проблеме СОИ. Герман давно был другом наших детей, много помогал им. Люся встречалась с ним в США в 1979-м и 1985—86 гг., а я был знаком с ним лишь заочно. Я давно хорошо знал его книгу «Математические методы теоретической физики» и совместную книгу с Вейскопфом по ядерной физике.

После отъезда президентов Алеша еще задержался на шесть дней. Он много и интересно рассказывал об американской жизни, она представала перед нами уже не в перспективе постороннего наблюдателя, а изнутри. Один из его рассказов о том, как он, будучи аспирантом, во время каникул подрабатывал через бюро найма (не знаю точно, как это у них там называется). Он приходил каждый день к 6 утра, и уже через три — три с половиной часа кто-нибудь брал его на временную (однодневную) работу — подборщиком мусора, продавцом в магазине вместо заболевшего, грузчиком, маляром, штукатуром и т. п. Скоро его заметили (Алеша всегда любую работу делает быстро и на совесть, «выкладываясь», как работнику ему цены нет) и брали одним из первых, почти сразу, как он приходил. Средний дневной заработок при этом составлял вначале 29 долларов, а потом возрос до 35 долларов. Неплохо по советским нормам. Рассказывал также Алеша и о других сторонах американской жизни — о референдумах по разным спорным вопросам городского и штатного характера, об организации здравоохранения и образования и т. п.

Очень огорчил нас Алеша в последние дни симптомами нервного переутомления: сказались систематические перегрузки и почти беспрерывный стресс той жизни, которой он — и вообще наши дети — жили последние годы, начиная с момента нашей ссылки в Горький, голодовки за выезд Лизы, Люсиного инфаркта, моих голодовок с известием о смерти в 1984 году, с фальшивками КГБ и беспрерывной борьбой за нас, с поездками по всему миру, страшного волнения за Люсю во время операции на открытом сердце (на расстоянии мне было легче, я обо всем узнавал задним числом, а кое-что вообще по ее приезде), и при этом Алеша всегда напряженно работал — над диссертацией в офисе и по дому...

Приближался Люсин день рождения и Форум. По случаю первого приехал Эд Клайн с женой Джилл и дочкой Кэрол (также приехали приятельница Кэрол и ее друг). Я уже писал в «Воспоминаниях» об Эде, об его участии в издании «Хроники» и других правозащитных делах, о той неоценимой и постоянной помощи, которую он оказывал нашим детям. Люся много раз говорила мне, что наши дети просто погибли бы без этой помощи. С Эдом у наших детей и Люси давно крепкая дружба. Я тоже всегда считал его своим другом, заочным, так как не надеялся, что он и я когда-либо окажемся в Москве. Теперь это произошло. Мне кажется, что мы оба не разочаровались друг в друге. Что я еще дополнительно понял (или утвердился в мнении) — что Эд очень умный, тонкий и предельно деликатный человек. В первый же день его приезда я дал ему прочитать подготовленные к Форуму тексты моих выступлений. Одобрение Эда было очень важным для меня.

Так называемый Форум за безъядерный мир, за международную безопасность проходил в Москве 14—16 февраля 1987 г. Это было широко организованное, пропагандистское, в основном, мероприятие. Одним из «дирижеров» Форума был вице-президент АН СССР Евгений Павлович Велихов, он же пригласил участвовать меня.

Первый контакт с Велиховым был у меня в начале января. В Москву приехал итальянский физик Зикики с идеей организации «Мировой лаборатории» — некоего международного многопрофильного научно-исследовательского центра, занимающегося десятью — тридцатью особо важными научными проблемами из разных областей науки, имеющими большое практическое или теоретическое значение. Не мне судить, хорош ли этот проект с точки зрения организации науки, нет ли во всем этом элемента рекламы или политиканства. Аналогия, которая мне приходит на ум, — это Сибирское отделение АН, организованное М. А. Лаврентьевым. Элемент рекламы там, несомненно, был, но в целом затея, кажется, себя оправдала (впрочем, тоже не мне судить). Среди проектов Зикики была работа по МТР, именно поэтому меня пригласили. В кабинете Велихова сидели Зикики, академик Кадомцев (один из руководителей работ по МТР, физик-теоретик) и переводчик. Кадомцев кратко, но содержательно рассказал о достижениях последних лет по управляемой термоядерной реакции и о существующих проектах, это было мне крайне интересно, ведь я с конца 60-х годов совершенно не следил за этими делами. Оказывается, имеется возможность создавать в «бублике» постоянный циркулярный ток с помощью соответствующим образом организованного высокочастотного поля, правда, пока только при относительно низкой плотности плазмы (удачные эксперименты проведены в Японии). Существуют также способы непрерывной смены термоядерного горючего. Таким образом, «Токамак», по-видимому, избавляется от основного принципиального недостатка — импульсного режима работы.

Потом Зикики рассказал о своих проектах и обсуждал их с Велиховым. Я задавал вопросы, в основном воздерживаясь от высказывания своего мнения. В конце разговора я предложил Зикики посетить нас дома.

Велихов после встречи (которая происходила в Президиуме АН) подвез меня на своей машине, при этом впервые с ним возник разговор о предстоящем Форуме. Я в двух словах сказал о своем отрицательном отношении к принципу пакета. Велихов заметил, что у него другая точка зрения, и предложил мне присутствовать на обсуждениях по вопросам разоружения, которые проводятся в узком составе с участием Сагдеева, Гольданского и Раушенбаха.

Вечером к нам домой приехал Зикики с женой, неожиданно для нас с ним в качестве сопровождающего был Велихов (очевидно, он не мог пустить Зикики к нам одного). Все прошли на кухню, за столом возник оживленный общий разговор. Велихов как «настоящий мужчина» откупорил бутылку вина, вообще вел себя непринужденно и почти по-свойски и в то же время тактично и даже, как мне показалось, с некоторым пиететом. Все это было довольно занятно, особенно если вспомнить, что еще не так давно Велихов, так же как другие академические начальники, не лез за словом в карман, рассказывая всякие небылицы о моем полном благополучии, в том числе во время голодовок. В разговоре с одним из наших иностранных друзей (очевидно, Велихов не знал о наших отношениях) он установил некий рекорд в этом жанре, сославшись на сведения, якобы полученные им от моей первой жены, живущей с ним в одном доме. (Клава умерла в 1969 году. Велихов живет в коттедже на одну семью.)

Через неделю секретарша оргкомитета Форума пригласила меня на совещание. Оно происходило в Институте космических исследований под руководством Велихова и Сагдеева (директора ИКИ). В небольшой комнате собралось человек 20—25. Велихов рассказал о программе Форума, большую часть остального времени я задавал вопросы, на которые отвечали присутствующие. У меня создалось впечатление, что все совещание было созвано ради меня. Информация, которую я получил, была очень полезной для подготовки выступлений на Форуме, для большей уверенности.

По окончании Сагдеев пригласил меня посмотреть научно-документальный фильм о комете Галлея и эксперименте Ве-Га, очень эффектный.

Через 10—12 дней состоялось второе совещание, на этот раз в Президиуме Академии, носившее в основном организационный характер. После совещания Велихов попросил меня остаться, так как со мной «хочет поговорить Гурий Иванович» (Марчук). Минут сорок мы ждали его приезда в кабинете Велихова. На стенах висели шутливые рисунки, видимо, подаренные хозяину к какому-то юбилею, а на полках шкафов стояли всевозможные справочники и сувениры. Велихов рассказывал о своей работе в энергетической комиссии, о трудностях и бессмыслице, которые возникают из-за отсутствия разумных экономических регуляторов хозяйственной жизни. Наконец, секретарша позвонила о приезде президента, и мы поднялись к нему. Велихов кратко рассказал о предстоящем Форуме. Марчук спросил, собираюсь ли я выступить на Форуме, и если да, то он просит меня очертить контуры моей позиции. Гурий Иванович, так же как во время нашего декабрьского разговора, добавил, что я имею большой авторитет во всем мире и поэтому моя поддержка мирных усилий СССР очень важна. В какой-то форме Марчук дал понять, что речь идет о внешней и внутренней политике «Михаила Сергеевича, которому очень трудно». Я сказал, что собираюсь выступить, и очень кратко описал свою позицию, особенно подчеркнув необходимость не обусловливать соглашение о сокращении стратегических ядерных ракет соглашением по СОИ (отказ от принципа пакета). Этот тезис вызвал резкие возражения Велихова, с которым солидаризировался Марчук. Я сказал, что убежден в своей правоте и что мое участие в Форуме имеет смысл только потому, что мое представление о том, что надо делать ради мира и разоружения, отличается от официозного. Это обсуждение также было полезно для меня, помогло яснее понять аргументы сторонников пакета и четче сформулировать свои.

За неделю до Форума у нас возникла идея (к сожалению, с опозданием), что полезным был бы приезд Ремы в качестве помощника и переводчика в беседах с иностранными учеными — подобно тому, как Алеша помогал в общении с президентами университетов. Но осуществить это мы не смогли, не успели, Рему не пустили.

Перед Форумом я встретился с делегацией Федерации американских ученых (ФАС), возглавлявшейся докторами Джереми Стоуном и фон Хиппелем (они приехали к нам домой сразу же по приезде). Хиппель и Стоун рассказали о позиции ФАС, Хиппель показал тезисы своего доклада.

Первые два заседания Форума происходили по секциям (ученые, бизнесмены, религиозные деятели, деятели культуры, политологи и политики, может, еще кто-то), затем было общее заседание в Кремле с участием и речью Горбачева и заключительный банкет. Секцию ученых возглавлял председатель ФАС фон Хиппель, а фактически — тот же Велихов. Заседания «ученой» секции происходили в гостинице «Космос».

Я оказался «главной приманкой» для многих западных участников, меня непрерывно «атаковали» и в кулуарах, и дома, во время и после Форума. После Форума я сочинил стишок, начинавшийся так: «Хоть и кончился Форум, в дверь все так же бум-бум-бум».

Но и для меня самого участие в Форуме было важным, так как оно представляло собой первое публичное появление после многих лет изоляции, давало возможность изложить позицию перед широкой аудиторией.

В секции ученых было четыре заседания по темам: сокращение стратегических ядерных арсеналов, европейская безопасность, проблемы ПРО, запрещение подземных ядерных испытаний.

Я выступал на первом, третьем и четвертом заседаниях.

Первое выступление я начал с общих вопросов. Приведу большую цитату:

«Как гражданин СССР я в особенности обращаюсь со своими призывами к руководству нашей страны, наряду с другими великими державами несущей особую ответственность за положение в мире.

Международная безопасность и реальное разоружение невозможны без большего доверия между странами Запада и СССР, другими социалистическими странами.

Необходимо разрешение региональных конфликтов на основе компромисса; восстановление стабильности всюду в мире, где она нарушена; прекращение поддержки дестабилизирующих и экстремистских сил, всех террористических группировок; не должно быть попыток расширения зоны влияния одной стороны за счет другой; необходима совместная работа всех стран для решения экономических, социальных и экологических проблем. Необходима большая открытость и демократизация нашего общества — свобода распространения и получения информации, безусловное и полное освобождение узников совести, реальная свобода выбора страны проживания и поездок; свобода выбора места проживания внутри страны; реальный контроль граждан над формированием внутренней и внешней политики.

Несмотря на происходящие в стране прогрессивные процессы демократизации и расширения гласности, положение остается противоречивым и неопределенным, а в чем-то наблюдается попятное движение (например, в законодательстве о свободе эмиграции и поездок).

Без разрешения политических и гуманитарных проблем прогресс в области разоружения и международной безопасности будет крайне затруднен или вовсе невозможен.

Но есть и обратная зависимость — демократизация и либерализация в СССР и тесно связанный с ними экономический и социальный прогресс будут затруднены без ослабления пресса гонки вооружений. Горбачев и его сторонники, ведущие трудную борьбу против косных, догматических и своекорыстных сил, заинтересованы в разоружении, в том, чтобы гигантские материальные и интеллектуальные ресурсы не отвлекались на вооружение и перевооружение на новом технологическом уровне. Но в успехе преобразований в СССР заинтересован и Запад, весь мир. Экономически сильный, демократизированный и открытый Советский Союз явится важнейшим гарантом международной стабильности, хорошим и надежным партнером для других стран в совместном решении глобальных проблем. И наоборот. Если на Западе возобладает политика изматывания СССР при помощи гонки вооружений — ход мировых событий будет крайне мрачным. Загнанный в угол противник всегда опасен. Нет никаких шансов, что гонка вооружений может истощить советские материальные и интеллектуальные ресурсы и СССР политически и экономически развалится — весь исторический опыт свидетельствует об обратном. Но процесс демократизации и либерализации прекратится, научно-техническая революция будет иметь одностороннюю военно-промышленную направленность, во внешней политике, как можно

опасаться, получат преобладание экспансионистские тенденции, блокирование с деструктивными силами».

Я, таким образом, не только повторил обычные свои общие тезисы, но и выступил с активной поддержкой начинаний Горбачева и его сторонников, за дальнейшее углубление его реформ, обращаясь не только к СССР, но и к Западу. Вторая часть выступления касалась конкретных вопросов сокращения стратегических вооружений. Поддерживая в принципе схему одновременного пятидесятипроцентного сокращения всех видов стратегического оружия СССР и США, я далее сказал: «Пропорциональная» схема наиболее проста, и вполне оправдано, что продвижение началось именно с нее. Но она не оптимальна, так как не решает проблемы стратегической стабильности.

Большая часть ракетно-термоядерного потенциала СССР — мощные шахтные ракеты с разделяющимися боеголовками. Такие ракеты уязвимы по отношению к предупредительному удару современных и высокоточных ракет потенциального противника. Принципиально важно, что одна ракета противника с разделяющимися боеголовками уничтожает несколько шахтных ракет. То есть уничтожение всех шахтных ракет при примерном равенстве сторон (СССР и США) возможно с использованием противником лишь части его ракет. Стратегическое значение «первого удара» колоссально возрастает. Страна, опирающаяся в основном на шахтные ракеты, может оказаться вынужденной в критической ситуации к нанесению «первого удара». Это объективная военно-стратегическая реальность, которую не может не учитывать противоположная сторона. Я хочу подчеркнуть, что такое положение никем не планировалось при развертывании шахтных ракет в 60-х и 70-х годах. Оно возникло в результате разработки и принятия на вооружение разделяющихся боеголовок и повышения точности стрельбы. Но сегодня шахтные ракеты, вообще любые ракеты с уязвимыми стартовыми позициями, являются важнейшим фактором военно-стратегической нестабильности. Поэтому я считаю чрезвычайно важным при сокращении ракетно-стратегических вооружений принять принцип преимущественного сокращения ракет с уязвимыми стартовыми позициями, т. е. тех ракет, которые принципиально являются оружием первого удара. Особенно важно преимущественное сокращение советских шахтных ракет, так как они составляют основу советских ракетно-термоядерных сил, а также американских ракет МХ. Возможно, целесообразно часть советских шахтных ракет одновременно с общим сокращением заменить на менее уязвимые ракеты эквивалентной ударной силы (ракеты с подвижным замаскированным стартом, крылатые ракеты различного базирования, ракеты на подводных лодках и т. д.). Для американских ракет МХ проблем замены, как я думаю, не стоит, так как они составляют менее существенную часть в общем балансе и их можно безболезненно уничтожить в процессе двустороннего сокращения».

Последний конкретный вопрос в этом первом выступлении — об определении порога сокращения стратегических сил из условия сохранения стратегической стабильности. Я указал на трудности получения ответа. В частности, я подчеркнул, что этот вопрос (о предельно допустимом ущербе) нельзя решать исходя из психологии мирного времени... ситуация, о которой идет речь, вообще не имеет прецедента. Уровень... может быть близок или равен уровню гарантированного взаимного уничтожения!

«Вернуться к этому вопросу целесообразно после осуществления пятидесятипроцентного сокращения.

Безъядерный мир — желанная цель. Он возможен только в будущем, в результате многих радикальных изменений в мире. Условиями мирного развития сейчас и в будущем являются: разрешение региональных конфликтов; равновесие обычных вооружений; либерализация и демократизация, большая открытость советского общества, соблюдение гражданских и политических прав человека; компромиссное решение проблемы противоракетной обороны без объединения ее в пакете с другими вопросами стратегического оружия».

Я кончил формулой: «Кардинальным, окончательным решением проблемы международной безопасности является конвергенция, сближение мировых систем социализма и капитализма».

Зал долго аплодировал мне, как и некоторым другим выступавшим.

Говорят, в этот (или следующий) день в зале находился Добрынин (бывший посол СССР в США, замминистра иностранных дел), он ушел сразу после моего выступления.

На другой день я говорил о СОИ. Я сказал, что в вопросе разоружения возникла тупиковая ситуация. «Соглашения о разоружении, в частности о значительном сокращении баллистических межконтинентальных ракет, и о ракетах средней дальности и поля боя должны быть заключены как можно скорей независимо от СОИ в соответствии с линиями договоренности, наметившимися в Рейкьявике.

Компромиссное соглашение по СОИ может быть, по моему мнению, заключено во вторую очередь. Таким образом опасный тупик в переговорах был бы преодолен.

Я постараюсь проанализировать соображения, приведшие к принципу «пакета», и показать их несостоятельность. Я также попытаюсь показать несостоятельность доводов сторонников СОИ. Начну с последнего.

Я убежден, что система СОИ неэффективна для той цели, для которой она, по утверждению ее сторонников, предназначена.

Объекты СОИ, размещенные в космосе, могут быть выведены из строя еще на неядерной стадии войны, и особенно в момент перехода к ядерной стадии с помощью противоспутникового оружия, космических мин и других средств. Также будут разрушены многие ключевые объекты ПРО наземного базирования. Использование ракет, имеющих уменьшенное время прохождения активного участка, потребует непомерного увеличения числа космических станций СОИ. Системы ПРО обладают особенно малой эффективностью в отношении крылатых ракет и ракет, запускаемых с близкого расстояния. Результативным способом преодоления любой системы ПРО, в том числе СОИ, является простое увеличение числа ложных и боевых головок, использование помех и различных способов маскировки. Все это и многое другое заставляет считать СОИ своего рода «космической линией Мажино» — дорогой и неэффективной. Противники СОИ утверждают, что СОИ, будучи неэффективной в качестве оборонительного оружия, является щитом, под прикрытием которого наносится «первый удар», т. к. может быть эффективной для отражения ослабленного удара возмездия. Мне это кажется неправильным. Во-первых, удар возмездия не обязательно будет сильно ослаблен. Во-вторых, почти все приведенные выше соображения о неэффективности СОИ относятся и к удару возмездия.

Тем не менее в настоящее время ни одна из сторон, по-видимому, не может отказаться от поисковых работ в области СОИ, поскольку нельзя исключить возможности неожиданных успехов и, что существенней и реальней, — поскольку концентрация сил на новейшей технологии может принести важные побочные результаты в мирной и военной областях, например, в области компьютерной науки. Я все же считаю все эти соображения и возможности второстепенными в масштабе огромной, непомерной стоимости работ по СОИ и при сопоставлении с негативным влиянием СОИ на военно-стратегическую стабильность и на переговоры о разоружении. Сторонники СОИ в США, возможно, рассчитывают с помощью усиления гонки вооружений, связанной с СОИ, экономически измотать и развалить СССР. Я уже говорил вчера, что подобная политика неэффективна и крайне опасна для международной стабильности. В случае СОИ «асимметричный» ответ (т. е. преимущественное развитие сил нападения и средств уничтожения СОИ) делает такие расчеты особенно беспочвенными. Неправильно также утверждение, что наличие программы СОИ побудило СССР к переговорам о разоружении. Программа СОИ, наоборот, затрудняет эти переговоры».

В дополнение к сказанному на Форуме особо следует подчеркнуть, что взаимное уничтожение системы ПРО с элементами космического базирования на неядерной стадии «большой» войны может спровоцировать переход войны в «глобальную термоядерную войну», т. е. уничтожение человечества.

Все то, что я говорил против СОИ, как на Форуме, так и до него, усиленно цитировалось. В частности, в советской прессе и в прессе некоторых социалистических стран, и в западной коммунистической и левой печати отмечалась только эта сторона моей позиции (конечно, само по себе необычно, что я вообще был упомянут в советской прессе, причем уважительно). Но гораздо более важной, с политической точки зрения, и не три-

виальной, является другая сторона моей позиции — о принципе пакета! Тут освещение в прессе было гораздо более бледным, неточным. Мне даже пришлось несколько раз выступать со специальными «уточнениями-опровержениями». Выступая против пакета, я опираюсь на предполагаемую мною малую эффективность СОИ, причем не только против «первого удара», но и против «удара возмездия», на огромные возможности так называемого «асимметричного ответа». Я исхожу также из того, что ни одна из сторон не может полностью отказаться от поисковых работ в области, которая, возможно (не наверное, конечно), сулит определенные достижения. Я предполагаю, что отказ СССР от принципа пакета создаст новую политическую и стратегическую обстановку, в которой США не будут осуществлять развертывание систем противоракетной обороны в космосе (насколько мне известно, в Рейкьявике Рейган уже соглашался на мораторий развертывания СОИ). В противном же случае, если после отказа СССР от принципа пакета в США возобладают противоположные тенденции и начнется развертывание СОИ, мир просто возвращается к существующему сейчас положению, но с политическим выигрышем СССР. Демонтаж стратегических ракет прекращается, в СССР развертываются большие силы ракет с неуязвимым стартом и создаются системы уничтожения и преодоления СОИ. Вряд ли США заинтересованы в таком ходе событий.

Таковы те аргументы в пользу разрыва пакета, с которыми я выступил на Форуме, до и после него.

Через две недели после Форума СССР отказался от принципа пакета в отношении ракет средней дальности, затем выступил с предложением относительно ракет малой дальности и оперативно-тактических ракет. Я считаю эти шаги чрезвычайно важными и продолжаю надеяться на разрыв пакета также в отношении стратегического межконтинентального оружия. Такое действие СССР вместе с положительной реакцией США изменили бы лицо мира.

Сразу после моего выступления утром 15-го выступил Стоун от имени ФАС. Он поддержал идею отказа от принципа пакета. Затем выступил Кокошин (заместитель директора Института США и Канады Арбатова). Он возражал против моего тезиса об особой опасности шахтных ракет, говорил, что и с ракетами на подлодках далеко не все в порядке — они тоже не вполне неуязвимы (что, вероятно, само по себе правильно, но не меняет оценки шахтных ракет как оружия первого удара). Затем, уже по поводу принципа пакета, с возражениями мне выступил Велихов. Он говорил, что ученые должны опасаться вторгаться в область политики. А зачем же тогда Форум? — мог бы я сказать. Я давно слышал «советы» не входить в политику от Неделина, от Хрущева, от Славского — как раз тогда, когда я делал важный и правильный шаг. Я думаю, что и мои выступления на Форуме были правильным вторжением в политику.

Вечером 15-го я выступал еще раз — по вопросу о подземных ядерных испытаниях. Прекращение подземных ядерных испытаний я считаю относительно второстепенным делом, не имеющим решающего значения для прекращения гонки вооружений.

В этом же выступлении я сказал:

«Ядерное оружие разделяет человечество, угрожает ему. Но есть мирное использование ядерной энергии, которое должно способствовать объединению человечества. Разрешите мне сказать несколько слов по этой теме, связанной с основной целью Форума.

В эти дни в выступлениях участников много раз упоминалась катастрофа в Чернобыле, явившаяся примером трагического взаимодействия техники и человеческих ошибок.

Нельзя тем не менее переносить на мирное использование ядерной энергии то неприятие, которое люди вправе иметь к ее военным применениям. Человечество не может обойтись без ядерной энергетики. Мы обязаны поэтому найти такое решение проблемы безопасности, которое полностью исключило бы возможность повторения чего-либо подобного Чернобыльской катастрофе в результате ошибок, нарушения инструкций, конструктивных дефектов и технических неполадок».

Далее я изложил идею подземного размещения ядерных реакторов, закончив словами: «Я считаю, что мировая общественность, обеспокоенная возможными последствиями мирного использования ядерной энергии, долж-

на сосредоточить свои усилия не на попытках вовсе запретить ядерную энергетику, а на требовании обеспечить ее полную безопасность».

Готовясь к Форуму, я сомневался в целесообразности включения этой темы. Меня убедила в этом Люся, и, конечно, она была права! Она также настаивала на включении тезиса о необходимости мирового закона, обязывающего все государства строить новые ядерные реакторы с обеспечением их полной безопасности, т. е. под землей, и предусматривающего поэтапное закрытие всех размещенных на поверхности земли ядерных реакторов. Я тогда не решился, зря, и, конечно, теперь (не только в этой книге) всегда пишу и говорю о международном законе.

Сразу после окончания Форума состоялась специально для меня организованная пресс-конференция. Первоначально речь шла о пресс-конференции в МИДе в пресс-центре. Я поставил условием, чтобы могли присутствовать моя жена и мой гость из США (Эд Клайн). Референт сказал, что это не составит проблемы. Но потом он подошел с несколько смущенным видом и сообщил, что присутствие кого-либо в МИДе, кроме делегатов Форума, исключается. На этот раз референт подошел за полчаса до пресс-конференции. Я несколько секунд подумал и согласился (в противном случае надо было устраивать пресс-конференцию в доме, что очень обременительно). Меня провели в большую комнату, где уже сидели другие участники — Хиппель, Визнер, Кокошин и ведущий — советский комментатор Познер и несколько десятков — до ста — западных корреспондентов, многие с фотоаппаратами и видеотелекамерами, со множеством микрофонов. Все сидячие места были заняты, многие стояли и сидели на полу. Хиппель и Визнер кратко рассказали о совещаниях секции ученых, я пересказал содержание своих выступлений. Кокошин выступил с теми же возражениями, что утром. Было несколько вопросов.

Через час все было кончено, и я поспешил домой, где уже собрались за праздничным столом гости — 15 февраля день Люсиного рождения, впервые за 8 лет мы с Люсей встречали его в Москве.

16 февраля в Большом Кремлевском дворце состоялось заключительное заседание Форума. Выступали председатели всех секций, затем Горбачев. Хиппель в своем выступлении упомянул о моем участии. В опубликованном в «Известиях» тексте это место не было опущено, за исключением того, что я являюсь лауреатом Нобелевской премии мира.

Я аплодировал некоторым местам из речи Горбачева, каждый раз в мою сторону устремлялось множество телекамер, в том числе советских. Люся, сидя дома, видела меня по телевизору.

После речи Горбачева состоялся большой банкет. У меня, как и у всех гостей, были билеты на определенный стол — у меня в самом конце зала вместе с врачами. На столе стояли закуски и напитки (в том числе, несмотря на антиалкогольную политику, грузинское вино), участники Форума протискивались к столам и брали все, что им хочется. Меня сразу обступила большая толпа иностранных и советских участников, не отпуская ни на минуту. Я разговаривал то с одним, то с другим. Я не понял (не имел времени сообразить), что в зале, в другом его конце (возможно, чем-то отделенном) был Горбачев и другие члены правительства. Я потом узнал это от Стоуна и его жены и Хиппеля, они сидели рядом с Горбачевым, жена Стоуна с женой Горбачева. Если бы я знал все это вовремя, я бы попытался туда пробиться, быть может, смог бы что-то сказать по волнующим меня вопросам (об узниках совести, о принципе пакета). Еще более существенно — мой личный контакт с Горбачевым имел бы политическое значение, а его отсутствие явилось некой победой «антигорбачевских сил». К сожалению, я тут оказался не на высоте, не сумел сориентироваться. Два эпизода могли бы открыть мне глаза, но я понял их смысл только задним числом. Еще до заседания я говорил со многими людьми, в их числе с писателем Даниилом Граниным и другими. Некто — по-видимому, представитель Интуриста (или МИДа, или КГБ) подвел ко мне пожилого иностранца, представил меня и сказал: «Андрей Дмитриевич, с вами хочет поговорить мистер Хаммер». Я знал, конечно, имя этого американского промышленника, одного из самых богатых и удачливых бизнесменов, более 60 лет имеющего большие и выгодные экономические связи с нашей страной в сочетании с разнообразными гуманитарными, филантропическими и культурными делами. Хаммер за эти годы встречался со всеми руководи-

телями СССР — от Ленина до Горбачева. Это был человек среднего роста, подтянутый. В начале разговора лицо его показалось мне устало-безразличным. Хаммер говорил со мной по-русски, четко и правильно произнося короткие фразы. Он сказал: «Я считаю, что очень важно, чтобы еще в этом году состоялась встреча Горбачева с Рейганом. Я буду говорить об этом с Горбачевым. У меня есть некоторые идеи, в частности, относящиеся к прекращению войны в Афганистане. Я буду также говорить об этом с моим другом Зией (президентом Пакистана)». Я сказал: «У меня также есть идея по вопросу о встрече Горбачева и Рейгана. Хорошей основой для встречи мог бы явиться отказ СССР от так называемого принципа пакета (я далее коротко пересказал свое выступление на Форуме). Хаммер явно заинтересовался, лицо его оживилось, в глазах появился острый, сосредоточенный блеск. Наш разговор, однако, быстро прервался, так как подошла известная балерина Майя Плисецкая и увлекла д-ра Хаммера с собой. У меня возникла мысль, что, так как Хаммер будет видеть Горбачева, он мог бы передать ему список 19 заключенных, судьба которых в особенности нас волновала. Перед самым банкетом я увидел того человека, который знакомил меня с Хаммером (на этот раз он привел кинорежиссера и актера Питера Устинова), и попросил еще раз свести меня с Хаммером. «Хорошо, я попрошу его к вам подойти». «Это неудобно, я сам к нему подойду. Вы только найдите мне его». Он ответил что-то неопределенное, а потом Хаммер действительно подошел ко мне, и я передал ему список узников особого режима для Горбачева (тут Хаммер, как мне показалось, не проявил особой заинтересованности). Я мог бы догадаться, что Хаммер сидит рядом с Горбачевым, а мне туда путь заказан (но не догадался). Перед уходом я хотел пройти в уборную, которая, как я знал, была за дверью в конце зала. Но когда я туда направился, мне перегородили путь двое плотно сложенных людей в хорошо сшитых костюмах. «Туда нельзя. Пройдите в уборную в другом конце». Это были, несомненно, сотрудники охраны Горбачева и членов правительства, но я опять этого не понял, во всяком случае я не понял, что Горбачев рядом. Конечно, неизвестно, мог ли я добиться, чтобы меня к нему пропустили (охранники — люди серьезные).

После Форума продолжалась та же напряженная жизнь. Среди многочисленных встреч я запомнил одного из участников Форума, американского «левого» Дэниела Элсберга, в прошлом эксперта Пентагона по планированию операций, получившего известность тем, что он в свое время передал прессе документы о подготовке американскими службами так называемого тонкинского инцидента (якобы имевшего место нападения вьетнамских катеров на американский флот). Разговор с Элсбергом был вполне содержательным, он рассказал много конкретно важного. Сам Элсберг произвел на меня впечатление человека искреннего, умного и эрудированного, страстного и эмоционального, быть может, даже не всегда уравновешенного. Конечно, наши позиции сильно отличаются, но все же не настолько, как это можно было предполагать. Другая встреча с западными «левыми» — с «зелеными» из ФРГ Петрой Келли и Бастианом, генералом в отставке.

В марте и мае состоялись встречи с премьерами Великобритании и Франции, Тэтчер и Шираком, посетившими СССР с официальными визитами.

Люся уже встречалась с г-жой Тэтчер и с г-ми Миттераном и Шираком в мае 1986 года. Возможно, эти встречи сыграли, наряду с другими факторами, какую-то роль в нашем освобождении.

К Маргарет Тэтчер Люся и я были приглашены на ленч в посольство Великобритании. За столом, кроме нее и нас, были посол с женой — формально именно они устраивали ленч, министр иностранных дел Д. Хау и переводчица. Я говорил на свои обычные темы — об узниках совести (тут особую заинтересованность и осведомленность проявил сэр Джеффри Хау) и о разоружении, подчеркнув необходимость использовать возможности, возникшие в связи с отказом СССР от пакета в отношении ракет средней дальности. Я, так же как до этого на Форуме, говорил о важности для всего мира, в том числе для Запада, поддержки политики перестройки в СССР, с сохранением позиции по вопросу прав человека. В ходе беседы за столом Джеффри Хау вспомнил, как он несколько лет назад (может, два года назад) говорил с Громыко о «проблеме Сахарова», и тот «пошутил»: «Вы знаете, я не люблю сахар, никогда его не употребляю». Видно было, что эта шутка потрясла Хау настолько, что он даже через несколько лет вспоминал о ней с недоумением.

С господином Шираком я виделся на приеме в Академии наук. Ширак беседовал минут двадцать с президентом АН Марчуком с глазу на глаз в его кабинете. Затем Ширак произнес речь перед собравшимися в зале приглашенными академиками. Это была хорошая речь, но я боюсь, что многие присутствующие ничего не поняли, т. к. не было перевода (мне дали русский текст). До своего выступления, выйдя от Марчука, Ширак около десяти минут разговаривал со мной. Вокруг толпились корреспонденты с микрофонами и кинокамерами, так что каждое слово попало в прессу. Ширак вспомнил, присовокупив комплименты, о встрече с Люсей в Париже, я передал наилучшие пожелания от нее, говорил об узниках особого лагеря и 190-й статьи, особо о деле Евсюковых. В последующем интервью французским корреспондентам я много говорил об Афганистане, впервые говорил о бомбардировках советской авиацией госпиталей, развернутых французскими и немецкими врачами-добровольцами.

В начале апреля я послал письмо на имя Э. Шеварднадзе с просьбой способствовать освобождению Мераба Коставы. Через несколько недель Мераб был освобожден. В мае мне позвонил секретарь канцелярии МИДа Иванов. Он сказал: «Вы посылали письмо на имя министра иностранных дел по вопросу об осужденном Коставе. Я могу информировать вас, что Костава помилован и в настоящее время находится на свободе». Я спросил: «Сыграло ли в этом роль мое письмо?» Иванов: «Я ничего об этом не могу вам сказать». На самом деле я уверен, что сам факт этого звонка является косвенным подтверждением того, что освобождение Мераба в какой-то степени связано с моим письмом.

В мае важным событием для меня был международный семинар в Москве по проблемам квантовой гравитации. Я вновь (впервые после памятной встречи в Тбилиси в 1968 году) увидел Джона Уилера, познакомился с Дезером. Оба они были у нас дома. Люся в прошлом году встречалась с Дезером в Бостоне, с Уилером же она до сих пор не была знакома. Мне кажется, что наша встреча была не пустой, запоминающейся и теплой — благодаря Люсе и, конечно, благодаря нашим замечательным гостям. Мы говорили и об общественных, и о научных проблемах. Среди первых, как обычно, о СОИ. Уилера глубоко волнуют принципиальные проблемы интерпретации квантовой механики и вообще философские, эпистемологические проблемы, приобретшие такую остроту благодаря революционному развитию физики и космологии в двадцатом веке. Я, вероятно, не всегда его понимал и не во всем был с ним согласен. Но общее вдохновляющее впечатление от его необыкновенно яркой научной индивидуальности, от его личности вообще — очень сильное. Уилер сказал, что собирает книги и статьи об интерпретации квантовой механики. Оказалось, что он не знает лекций Л. И. Мандельштама о косвенных измерениях. По моей просьбе Е. Л. Фейнберг выслал ему их.

Я также встретился со Стивеном Хоукингом. Я знал его работы, в том числе о квантовом излучении черных дыр (знаменитое хоукингское излучение), об его болезни, о действиях в мою защиту. Сейчас, мне кажется, между нами возникла какая-то внутренняя связь, что-то более глубокое, чем просто беглое знакомство и обмен научными сентенциями...

Я не знаю медицинской квалификации болезни Хоукинга, но вижу ее ужасные проявления — сильнейшую миопатию, приковавшую его к креслу-каталке, лишившую речи. Общение Стивена с другими людьми осуществляется с помощью компьютерного устройства. Перед его глазами на дисплее бегут строчки словарика, и он еле заметным нажатием бессильных пальцев переводит нужные ему слова на экран, набирая фразу. Затем механический голос произносит эту фразу вслух (как «говорит» Стивен, с «американским акцентом», т. к. машину делали в США). Только несколько слов, в том числе «Да» («Иес»), Стивен может сказать сразу, без набора. Так он участвует в научных дискуссиях, общается с друзьями и близкими, пишет одну за другой свои статьи, содержащие глубокие и оригинальные идеи. Стивен женат, у него есть дети. Сила духа этого человека поразительна, он сохранил дружелюбие к людям, чувство юмора и неистощимую любознательность, огромную научную активность. Хоукинг ездит по всему миру, участвуя в многочисленных научных семинарах. Я несколь-

ко раз разговаривал с Хоукингом, когда он с помощью своего механического кресла выезжал из зала заседаний, и один раз присутствовал при общей беседе его с 10—15 участниками семинара — это было нечто вроде пресс-конференции по основным вопросам интерпретации квантовой механики и в особенности — введенной Хоукингом (вместе с Хартли) «волновой функции Вселенной». Во время первого разговора Хоукинг дал мне оттиски своих последних работ — о потере когерентности в сложных топологических структурах, о направлении стрелы времени и др. Первую работу он докладывал на семинаре и сказал, перефразируя Эйнштейна: «Бог не только играет в кости, но и забрасывает их так далеко, что они становятся недоступными». На другой день я сказал Стивену, что прочитал его лекцию о стреле времени и очень рад, что он теперь признал справедливость критики Пейджа (его сотрудника) по поводу ошибочного предположения о повороте стрелы времени в момент максимального расширения Вселенной и м а к с и м а л ь н о й энтропии. Поворот стрелы времени возможен лишь в состоянии м и н и м а л ь н о й энтропии. Я не привел по робости самого простого и ясного примера — замкнутой Вселенной в состоянии ложного вакуума с положительной энергией и равной нулю энтропией. В этот момент Хоукинг сделал движение пальцами, и компьютер произнес бесстрастно: «Йес!». Я, к сожалению, не сказал, что впервые высказал идею о повороте стрелы времени (в состоянии минимальной энтропии) еще в 1966 году и несколько раз возвращался к этой теме.

Во время разговора рядом стоял неизвестный мне человек. Потом он подошел ко мне и сказал: «Я — Пейдж». Он открыл на заложенном месте Библию на английском языке. Это было Евангелие от Матфея. Пейдж, видимо, предлагал мне Библию в подарок. Я постеснялся, не решился взять — тем более, что я все же плохо читаю по-английски, а на русском Библия у нас есть, и мы знаем ее... Я все время вспоминаю лицо Хоукинга, его глаза.

В конце июня во французском посольстве состоялась церемония вручения мне дипломов Академии наук Франции и Академии моральных и политических наук и медали Института Франции. Французские ученые много лет добивались проведения этой церемонии, но она могла состояться лишь после нашего возвращения в Москву. Однако и на этот раз их несколько обвели вокруг пальца. Ширак, беседуя с Марчуком во время своего визита в СССР, просил его содействовать проведению церемонии либо во Франции, либо, если это затруднительно, в Москве. Марчук, естественно, «выбрал» второе. Управление внешних связей Академии (УВС) санкционировало проведение во французском посольстве церемонии вручения медали и дипломов мне и замечательному математику В. Арнольду, тоже избранному во Французскую Академию (Владимир Арнольд — сын моего университетского профессора математики Игоря Владимировича Арнольда).

На церемонию были приглашены Марчук и советские ученые, ранее избранные в Академию наук Франции. Одновременно представители УВС устно санкционировали проведение в ФИАНе научного семинара в честь Арнольда и меня, в соответствии с договоренностью Марчука и Ширака, с приглашением советских и иностранных докладчиков. Но в последний момент Марчук известил французское посольство, что проведение научного семинара невозможно, так как это создаст «нежелательный прецедент» (?!) Два члена французской делегации, физик доктор Мишель и доктор Мартэн, в знак протеста против этого некорректного действия советской Академии и тех, кто стоял за ее спиной, решили отказаться от приезда в СССР и участия в церемонии. Остальные французские ученые решили все же провести долго откладывавшуюся церемонию без семинара. Среди приехавших членов делегации были известные математики А. Картан с женой и Л. Шварц.

Церемония состоялась 29 июня. После вручения дипломов и медалей Арнольд и я выступили с ответными словами.

Я, в частности, повторил тезис об ответственности ученых в современном мире — в проблемах мира, обеспечения необходимого человечеству прогресса и безопасности использования его достижений, в создании атмосферы доверия и открытости общества, в защите людей, ставших жертвой несправедливости.

Говоря о безопасности прогресса, я упомянул идеи подземного размещения ядерных реакторов и необходимость соответствующего международного закона.

Я поблагодарил всех тех, кто принимал участие в нашей судьбе во время горьковской депортации и изоляции и способствовал освобождению. Подчеркнул большое значение приезда в Москву докторов Мишеля и Пекера во время нашей голодовки 1981 года.

В моем выступлении содержались серьезные упреки в адрес Академии наук СССР и ее членов. В отличие от большинства зарубежных академий АН СССР не выступила против моей депортации в 1980 году. Четыре ее члена, в том числе ученый секретарь (т. е. Скрябин), опубликовали направленную против меня провокационную и клеветническую статью. Я высказал надежду, что когда-нибудь они дезавуируют ее. Я также осудил отказ Академии способствовать проведению научного семинара.

Я думаю, что отказ в проведении семинара произошел по требованию КГБ (слишком было бы много чести для меня!). Перед церемонией мы видели около машины гебиста, через несколько минут одна из щеток оказалась украденной. Вечером, после церемонии и моего выступления, затронувшего, в числе прочего, Академию, «неизвестные лица» (безусловно, КГБ) разбили на машине заднее стекло. ГБ явно давало мне понять, что я должен держаться в определенных рамках, и «защищало» Академию, персонально Скрябина.

Более неприятное, зловещее напоминание о неоднозначности нашего положения имело место за несколько дней до этого. Позвонил некто Мухамедьяров (неизвестный нам лично человек, сидевший, кажется, в 70-е годы в тюрьме и психушке и, по слухам, ведший какие-то малопонятные игры с КГБ). Я взял трубку. Мухамедьяров сказал: «Я говорил вчера с вашей женой. Она сказала, что обо всем можно говорить по телефону. Я бы предпочел встретиться лично, но раз вы не хотите, скажу по телефону, не называя фамилий. Мне пришлось в последнее время иметь контакты со многими работниками КГБ, в том числе с весьма ответственными. Они рассказали, что в конце 1981 — начале 1982 года было принято решение о ликвидации Елены Георгиевны (т. е. об убийстве), это решение не было утверждено на самом высоком уровне (видимо, в Политбюро. — **А. С.**)». Даты Мухамедьяров назвал после моего вопроса, несколько неуверенно. Я сказал, что в случае убийства Елены Георгиевны я также убью себя. Я спросил: «Кто сказал вам все это?» — «Один работник КГБ, генерал, занимается вопросами...» (я забыл, какими именно, но не имеющими отношения к нам, кажется, Мухамедьяров сказал, вопросами культуры).

Звонок Мухамедьярова, несомненно, был инспирирован КГБ, как напоминание и угроза. Что за этим последует — не знаю, скорей всего — ничего. По существу сообщения Мухамедьярова я думаю, что: возможно, на каком-то уровне КГБ на каких-то этапах действительно рассматривался план физического устранения (убийства) Люси. Как это часто бывает, те, кто распространяет клевету, начинают сами в нее верить. Поэтому в КГБ мог внедриться «яковлевский» стереотип Люсиного образа и наших отношений — властной, честолюбивой и корыстной женщины, манипулирующей безвольным, далеким от жизни «тихим старичком», в прошлом гениальным ученым, ныне склеротиком. Мы имели множество доказательств ненависти КГБ к Люсе. Вот один из эпизодов, постоянно стоящий у меня перед глазами. Однажды во время моего нахождения в больнице Люся поехала за хлебом и еще чем-то в магазин (известный под названием «Стекляшка»). Выходя из машины, она поскользнулась на глинистых буграх и упала, больно ушиблась (потом оказалось, что она сломала себе копчик). Люся несколько минут не могла подняться и лежала на земле. Ее обступили гебисты из двух сопровождающих машин, они злорадствовали и деланно хохотали. Никто из них не сделал даже малейшей попытки помочь упавшей женщине.

Убийство Люси кому-то могло показаться способом решения «проблемы Сахарова». Очевидно, этот план, если он существовал, не был принят в простейшем варианте. Но многое из того, что я рассказывал в предыдущих главах, слишком близко к нему приближается. После инфаркта могли возникнуть надежды, что все разрешится само собой, конечно, при этом не надо было допускать к Люсе врачей, и тем более — не разрешать

поездки за рубеж. Именно такова была принятая по отношению к ней тактика. Вероятно, не случайно милицейский пост у дверей московской квартиры, отпугивавший врачей, был установлен сразу после того, как в поликлинике Академии у нее диагностировали инфаркт. Более мелкая, но характерная деталь. В 1983 году, когда Люся ехала в Москву, и ей было особенно плохо, я заказал для нее через медпункт кресло-каталку. Ее должны были встретить с ней в Москве на вокзале. Но «кто-то» отменил этот заказ.

Попыткой морального убийства Люси были «желтые пакеты», писания Яковлева, опубликованные в 1983 году в 11 млн. экземпляров, другие клеветнические публикации. Они, к сожалению, часто попадали на благоприятную психологическую почву. Людям свойственно искать слабые стороны у тех, кто находится слишком на виду («тысячи биноклей на оси!»). Многие считали Люсю инициатором голодовок, многие не верили, что она вернется из зарубежной поездки к мужу и в ссылку. И сейчас те, кто не одобряет ту или иную сторону моих выступлений (позицию по отношению к узникам совести, участие в Форуме, отношение к перестройке и Горбачеву, осуждение СОИ или, наоборот, принципа пакета), — склонны видеть в этом пагубное влияние Люси. Только вчера (написано в июле 1987 г.) один из рефьюзников говорил Люсе, что она обладает неограниченным влиянием на меня, советуя при этом мне более «политично» высказываться по проблеме СОИ , чтобы не растерять поддержку (как он сказал, бывшие мои друзья говорят: Сахаров — уже не Сахаров). На самом деле Люсино влияние огромно, но не безгранично, и лежит оно совсем в другой плоскости, чем СОИ, разоружение и т. п. — касается человеческих отношений в первую очередь. И основано оно не на ее давлении на меня, а на взаимной любви в нашей счастливой, несмотря на все испытания, жизни.

Еще одна линия событий последнего времени. В конце мая 1987 г. ко мне пришли крымские татары. Около месяца держал голодовку их соотечественник Умеров. Требование — прием Горбачевым делегации крымских татар для решения их национального вопроса. Я послал телеграмму Горбачеву, в которой обращал его внимание на сложившееся трагическое положение, и другую телеграмму — Умерову с просьбой о прекращении голодовки. Получив мою телеграмму, Умеров снял голодовку. 7 июля ко мне пришел инструктор Ждановского (по месту жительства) райкома партии Резников и сообщил, что ему поручено передать мне следующее: «Несколько дней назад делегация крымских татар была принята товарищем Демичевым, который заверил их, что Советское правительство рассмотрит вопрос о восстановлении автономии крымских татар». Хотел бы надеяться, что это сообщение действительно знаменует поворот в судьбе крымских татар.

В феврале — мае 1987 г. Люся и в меньшей степени я были вынуждены уделять много сил и внимания переезду из Горького: разбору тысяч — без преувеличения — препринтов, книг, журналов, писем, упаковке вещей, ремонту двух квартир. Мне через Академию, явно по указанию высоких инстанций, дали квартиру! Вместе с квартирой Руфи Григорьевны, в которой также прописана Люся (а я до сих пор — с 1971 года — был «захребетником»), у нас две двухкомнатные квартиры на одной лестнице. Если бы у нас была такая благодать 10 — 12 лет назад! Как писал Межиров, «все приходит слишком поздно»...

6 июня из США приехала Руфь Григорьевна, ее сопровождала Таня с Мотей и Аней. У Тани с детьми была виза на месяц, фактически они уехали 2 июля. Это были дни, полные волнующих, сильных впечатлений для нее и детей. А для нас дни большой радости общения с ними, детских голосов в нашей «двойной» квартире.

Полгода мы жили втроем. У нас за эти месяцы успел установиться некий уклад жизни, одним из центров которого была Руфь Григорьевна. Мы с Люсей надеялись, что она проживет с нами еще какое-то время, по крайней мере несколько лет. Судьба распорядилась иначе.

Вечером 24 декабря Руфь Григорьевна ужинала вместе со всеми на кухне принимала живое участие в общем разговоре о перипетиях академических выборов. Казалось, что она спокойно провела ночь. Но утром Люсе не удалось ее разбудить... Поздно вечером Руфь Григорьевна умерла на руках Люси и Зори (ее племянницы). В течение дня на ее лице

несколько раз мелькнуло что-то вроде улыбки, в последний момент она приоткрыла глаза и вновь их закрыла...

Мне кажется, что жизнь Руфи Григорьевны, несмотря на всю ее трагичность, можно назвать счастливой. Она прожила ее с огромным достоинством, неизменно находя способы быть полезной близким и дальним, умея видеть хорошее в окружающих и красоту в мире. Ей повезло с дочерью и другими близкими ей людьми. Суждения ее были ясными и меткими. Ее уважали все, кто с ней встречался, и очень многие любили. Что касается меня, то я чувствовал в Руфи Григорьевне очень близкого человека еще с момента наших первых встреч осенью 1971 года.

Люся всегда была очень близка со своими детьми, вынужденная разлука с ними — огромная беда ее и их жизни. Та непереносимая нагрузка, которая легла на детей во время «горьковского семилетия», не прошла для них даром. Об Алеше я уже писал. У Ремы возник большой перерыв в профессиональной работе, это, конечно, создает большие трудности.

Еще трудней, трагичней с моими детьми от первого брака, особенно — с младшим сыном Дмитрием. Из-за противодействия сестер я не мог жить с ним в годы его отрочества и юности. Сестры тоже не уделяли ему достаточно внимания. Получилось так, что он не «удержался» ни на физфаке, где он дошел до середины второго курса, ни в медвузе — там он числился только один семестр. Он не удерживался долго также ни на одной работе. Как сложится его жизнь, жизнь его сына (Дима в эти годы женился, потом развелся)? Эти вопросы — самые трудные, самые мучительные для меня, для нас с Люсей.

Что еще я думаю, на что надеюсь в нашей жизни в будущем?

Конечно, есть мечта о науке. Может, она не осуществится — слишком многое упущено за годы работы над оружием, потом — общественных дел, горьковской изоляции. Ведь наука требует безраздельности, а это все было отвлечением от нее. И все же уже присутствие при великих свершениях в физике высоких энергий и космологии — это само по себе глубочайшее переживание, ради которого стоило родиться на свет (тем более, что в жизни есть и многое другое, общее для всех людей).

Возможно, я буду также принимать участие (пусть даже в каком-то смысле формальное) в тех делах, где играет роль мое имя, — в проблеме управляемого термоядерного синтеза, подземного размещения ядерных реакторов, управления моментом землетрясений.

Похоже, что мы — я и Люся — не сможем полностью отойти от общественных дел, даже если получат разрешение проблемы узников совести и свободы выбора страны проживания — а пока им не видно скорого конца. Жизнь всегда что-то преподносит и требует внутренней гибкости (и одновременно — принципиальности).

В 1988 году особое беспокойство вызвали события в Азербайджане и Армении. Я написал в марте 1988 года письмо на имя М. С. Горбачева, в котором сформулировал свою позицию по этому вопросу (поддержать требования армянского населения Нагорного Карабаха о переходе НКАО в Армянскую ССР, и в качестве первого шага — о выводе области из административного подчинения Азербайджанской ССР), подчеркнул необходимость полной свободной гласности, а также изложил позицию по проблеме свободного возвращения крымских татар в Крым. В связи с этим письмом у меня состоялась встреча с членом Политбюро А. Н. Яковлевым.

Мои главные мысли по вопросам разоружения и мира отражены в выступлениях на Форуме и в других выступлениях первой половины 1987 г. Я продолжал их развивать и в дальнейшем. В 1987-88 гг. я дополнил свою позицию принципиально важным тезисом. В настоящее время численность армии СССР значительно превосходит численность армий всех других государств. Исключительно важным было бы одностороннее сокращение срока службы в армии (ориентировочно — в два раза), с одновременным сокращением всех вооружений (но с сохранением в основном офицерского корпуса). Сокращение срока службы является эффективным и реальным сейчас способом уменьшения численности армии. Я убежден, что такой шаг будет иметь очень большое значение для улучшения всей политической обстановки в мире, для создания атмосферы

доверия. Он создаст предпосылки для полной ликвидации ядерного оружия. Очень велико также будет социальное и экономическое значение этого шага.

В предисловии к выступлениям на Форуме, опубликованным в «Тайм», я писал:

«Мои взгляды сформировались в годы участия в работе над ядерным оружием; в активных действиях против испытаний этого оружия в атмосфере, воде и космосе; в общественной и публицистической деятельности; участии в правозащитном движении и в горьковской изоляции. Основы позиции отражены в статье 1968 года «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», но изменяющаяся жизнь требовала ответных изменений, конкретного ее воплощения. В особенности это относится к последним переменам во внутренней жизни и внешней политике СССР. Главными и постоянными составляющими в моей позиции являются — мысль о неразрывной связи сохранения мира с открытостью общества, с соблюдением прав человека так, как они сформулированы во Всеобщей декларации прав человека ООН; убеждение, что только конвергенция социалистической и капиталистической систем — кардинальное, окончательное решение проблем мира и сохранения человечества».

Глава 3

НОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, НОВЫЕ ЛЮДИ, НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продолжаю после двухлетнего перерыва. Постараюсь описать некоторые недавние события, не вошедшие в предыдущие главы, в том числе — мое участие в значительнейшем событии последних лет, Съезде народных депутатов СССР.

Это было время больших изменений в общественном сознании во всей стране, во всех ее слоях. Я тоже на многое смотрю несколько иначе, чем два года назад, даже чем полгода назад.

В июле — августе 1987 года мы (Люся, Руфь Григорьевна и я) провели месяц в Эстонии, в местечке Отепя. Галя Евтушенко имеет там дом и живет каждое лето, часть весны и осень. Она подыскала нам очень удобное жилье — две небольшие комнаты с кухней (в которой был баллонный газ). Вторая половина дома сдавалась другой семье, и еще одна дачница жила в сарайчике. Сами хозяева имели другой дом в нескольких кварталах от нас и еще ферму за городом, где жили родственники хозяйки. Я пишу обо всех этих подробностях, так как уже в них — образ жизни, который сильно отличается от того, с чем обычно встречаешься, скажем, в Подмосковье.

Я впервые был в Прибалтике, если не считать двух кратковременных приездов в Таллинн на конференцию и в Вильнюс на суд Ковалева.

Южная часть Эстонии с ее многочисленными озерами и покрытыми лесом холмами очень красива. Мы собирали грибы и ягоды, Люся купалась в озерах и каждый день возила Руфь Григорьевну по окрестным местам. Это лето оказалось последним в жизни Руфи Григорьевны.

Но есть какое-то удовлетворение в том, что нам удалось провести его именно так — на природе, свободно и счастливо. И главное — вместе. Еще год назад это было бы невозможно.

В Эстонии нас поразил высокий — в особенности в сравнении с Европейской Россией — уровень жизни, организованности и хозяйственной активности. Мы приехали из Москвы на нашей новой машине. Уже само состояние дорог после разбитых, годами не ремонтированных дорог в соседней Псковщине производило потрясающее впечатление. Мы видели

аккуратные домики-фермы, разбросанные на больших расстояниях друг от друга, крестьян, заготавливающих с помощью *своей* косилки корм для *своих* коров (их несколько на каждой ферме) и обрабатывающих поле с помощью *своего* трактора. На обочине дорог под небольшим навесом выставлены фляги со свежим молоком, специальные машины забирают их и доставляют на молокозавод.

В Эстонии нам часто приходилось слышать — мы больше и лучше работаем, поэтому лучше живем. Это, конечно, только малая часть правды, лежащая на поверхности. Более глубокая и истинная причина — та, что социализм прошелся по этой земле своим катком позднее и с гораздо меньшей силой и последовательностью, имея для своей разрушительной работы меньше времени. В республиках, входивших в состав СССР с самого начала, гораздо глубже осуществился трагический процесс уничтожения активных слоев крестьянства, в том числе чисто физического. Одновременно сильней произошло размежевание общества с выделением партийно-государственных бюрократических, паразитических по их сути, структур. Не случайно в этих «старых» республиках так медленно развиваются арендные, кооперативные и тем более частные формы хозяйства при почти не скрываемом противодействии местных партийных и государственных органов.

Сейчас именно Прибалтика дает всей стране пример общенародного движения за истинную, а не показную перестройку, за радикальное решение национальных проблем (идеи республиканского хозрасчета и Союзного договора).

Летом 87-го года в советской прессе впервые после 60-х годов в журнале «Театр» было опубликовано интервью со мной о постановке пьесы Булгакова «Собачье сердце». Эта более или менее случайная для меня публикация привлекла большое внимание. К сожалению, я, хотя и видел корректуру, не настоял на устранении некоторых неудачных мест. Получилось, что я выражаю опасения, что в космос полетят люди с собачьими (погаными) сердцами. Такой банальной красивости я не говорил. На самом деле можно было опасаться, что у власти встанут люди с нечеловеческими сердцами, реально же я сказал, что в театральной постановке чувствуется приближение 37-го года — чего Булгаков не мог предвидеть. Из произведений Булгакова я особенно люблю «Белую гвардию» («Дни Турбиных»), не мыслю советской литературы без «Мастера и Маргариты». Многие другие произведения, в том числе «Собачье сердце», нравятся мне гораздо меньше.

Осенью 87-го года в «Московских новостях» было опубликовано второе мое интервью — о телевизионном фильме «Риск». Кажется, мне удалось там сказать что-то важное. Затем последовало интервью для тех же «Московских новостей», но уже общественно-политического характера. В нем я впервые упомянул о необходимости и возможности сокращения в 2 раза срока службы в армии (подробней об этом я пишу ниже). Эта идея была поддержана в многочисленных письмах в редакцию МН. Но в декабре 1987 г. моя статья для газеты «Аргументы и факты» (тоже в форме интервью), где я более развернуто пишу о проблемах разоружения, не была напечатана.

В октябре 1987 года мы с Люсей опять оказались в Прибалтике, а именно в Вильнюсе на узкой встрече ученых США (во главе с Пановским) и ученых из советской группы по проблемам разоружения во главе с Сагдеевым, которая была организована при Институте космических исследований. На этой встрече Пановский отстаивал идею о необходимости открытого проведения всех работ в области новейшей техники, которые по своим параметрам могут быть использованы для создания новых типов оружия (например, разработка лазеров с высокими характеристиками). При этом Пановский подчеркивал необходимость научного анализа для определения этих параметров.

В конце 1987 года я сделал два шага, противоречащих моему обычному принципу действовать индивидуально и не принимать на себя каких-либо административных обязанностей. Я потом сожалел об этих шагах.

Речь идет, во-первых, о моем согласии принять на себя обязанности председателя комиссии при Президиуме АН СССР по космомикрофизике. Реальные организаторы этой комиссии М. Ю. Хлопов и А. Д. Линде

уверяли меня, что мои обязанности будут чисто почетно-формальными и не потребуют каких-либо усилий. Все, конечно, оказалось совсем не так. Все же что-то интересное, возможно, в этой деятельности будет — в частности, поддержка важных проектов, таких, например, как создание международной космической обсерватории и создание радиоинтерферометра с космической базой. Какое-то приближение к научной работе (что давно стало для меня недосягаемой мечтой) при этом, быть может, произойдет. Космомикрофизика — новая наука, возникшая на стыке ранней космологии и физики элементарных частиц — я писал в предыдущей книге об этом направлении, в возникновении которого я сыграл некоторую роль своей работой о барионной асимметрии Вселенной.

Более печальная история произошла с так называемым Международным фондом за выживание и развитие человечества. Организация Фонда — изобретение Велихова и, возможно, его сотрудника Рустема Хаирова. Велихов еще в дни Московского Форума (о котором я писал в главе 2) привлек к этому проекту Джерома Визнера, еще кого-то из иностранцев, состоялось несколько организационных совещаний в США и в Москве. Я узнал о проекте лишь в конце 1987 года от Визнера, приехавшего к нам домой уговаривать меня вступить в Фонд, затем эти уговоры продолжил Хаиров. Не вполне понимая в основном чисто административно-финансовые функции Фонда (так же, как многих других фондов), я предполагал, что, войдя в Совет директоров, я наконец смогу реально способствовать проведению исследований и мероприятий в целях выживания человечества и устранения глобальных опасностей в духе развивавшихся мной на протяжении многих лет идей. Я рассматривал поэтому вступление в Фонд как логическое продолжение своей предыдущей деятельности. Это была большая ошибка. Частично она произошла из-за того, что Визнер и особенно Хаиров нарисовали передо мной вполне утопическую картину будущей работы Фонда и тех возможностей, которые возникнут при моем в нем участии.

13 и 14 января 1988 года прошли первые организационные заседания Совета директоров, а 15 января состоялась встреча с М. С. Горбачевым (заранее назначенная, что заставляло нас торопиться и скомкало весь организационный этап). На первом заседании Фонда выяснилось, что Визнер и Велихов набрали в состав Совета директоров 30 членов из разных стран, гораздо больше, чем первоначально предполагалось (вероятно, 4—5 членов было бы более чем достаточно). Такой Совет директоров с самого начала оказался крайне громоздким и неэффективным.

Хуже же всего, что у Фонда по существу не было задач, не дублирующих уже ведущиеся во всем мире работы по проблемам разоружения и экологии и другим глобальным проблемам. Сейчас, когда уже прошло более полутора лет с момента объявления Фонда, он все еще не нашел себе областей деятельности, которые оправдывали бы его громкое название и широковещательные заявления организаторов, сложную и дорогостоящую структуру. Провозглашенный международный характер деятельности Фонда и его организационной структуры не только не увеличил возможностей работы, но, наоборот, — крайне затруднил выбор и формулировку проектов, сделал работу более сложной, очень громоздкой и дорогостоящей.

Заседания Совета директоров должны происходить поочередно в СССР, США и в других странах, с привлечением экспертов, сотрудников аппарата Фонда и других лиц. Каждое такое заседание оказывается непомерно дорогим. В СССР, в США, в Швеции были организованы штаб-квартиры Фонда, с раздутым аппаратом, с огромными затратами на ремонт и оборудование штаб-квартир и на жилые квартиры сотрудников (я пишу о том, что мне известно по Москве). Исполнительный директор Фонда и часть сотрудников московской штаб-квартиры — иностранцы, им выплачивается большая зарплата в рублях и в конвертируемой валюте. Большая, по советским масштабам, зарплата выплачивается также советским сотрудникам. При выполнении проектов Фонда потребуются зарубежные командировки исполнителей. В целом, если попытаться дать оценку Фонда, отвлекаясь от частностей и немногих полезных, но недостаточно масштабных начинаний, он выглядит как типичная бюрократическая организация, работающая сама *на себя* (и на своих сотрудников).

Накануне первого заседания Фонда я написал шесть заявок на проекты и передал их исполнительному директору.

Вот темы этих проектов:

1. Исследование возможностей и последствий сокращения срока службы в армии СССР.
2. Подземное расположение ядерных реакторов атомных электро- и теплостанций.
3. Разработка условий договора об открытом проведении научных и конструкторских исследований, которые потенциально могут способствовать созданию особо опасных систем оружия. (В соответствии с предложением Пановского).
4. Законодательное обеспечение свободы убеждений.
5. Законодательное обеспечение свободы выбора страны проживания.
6. Гуманизация пенитенциарной системы.

К сожалению, только три последние темы были приняты Советом директоров (далеко не сразу, и до сих пор еще не оформлены в качестве проектов). В январе 1988 года я надеялся, что Фонд сможет повлиять на разработку новых законов о свободе убеждений, о свободе передвижения и о гуманизации пенитенциарной системы — как я думал, в результате сотрудничества исполнителей проектов с Институтом государства и права и другими учреждениями, занимающимися разработкой проектов законов. Эти надежды оказались несбыточными. Институт государства и права оказался на практике не имеющим прямого отношения к разработке окончательных вариантов законов, проникнуть в более высокие сферы, конечно, было нереально. Но колесо по пользующейся на Западе популярностью теме «прав человека» начало крутиться, вовлекая все новых и новых людей. Из-за догмы международного характера Фонда все три темы стали международными и вместо участия в разработке законодательства работа по этим темам была переориентирована на сравнительное изучение законодательства и практики. Меня сделали председателем Комитета Фонда по правам человека, была организована Группа проекта (подразумевается проект Фонда по правам человека). Группа проекта содержит три подгруппы:

1. СССР и США по теме «свобода убеждений».
2. СССР и США по теме «свобода выбора страны проживания».
3. СССР, США, Швеция по пенитенциарной системе.

С советской стороны в Группу проекта вошли некоторые диссиденты, в том числе Сергей Ковалев и Борис Чернобыльский. То, что именно эти темы получили наибольшее развитие (хотя в основном пока формальное), связано с огромной заинтересованностью на Западе темой прав человека и желанием Велихова и Визнера сыграть на этом, используя мою личную популярность, и подправить таким образом дела Фонда, в особенности финансовые. Все это поставило меня в очень ложное положение, тем более что сейчас темы прав человека в их «классическом» варианте кажутся мне далеко не столь определяющими, как несколько лет назад. Появились новые возможности изменений в стране во многих областях, большинство узников совести освобождены, проблема эмиграции, оставаясь актуальной, стала менее острой и в какой-то степени двигается; в то же время многие проблемы, о которых мы ранее не смели и думать, вышли на первый план: национально-конституционное переустройство страны и весь комплекс национальных проблем, кардинальная экономическая реформа, в том числе многопартийная система, реальное решение экологических проблем, социальные проблемы, судьба малообеспеченных людей, здравоохранение, образование. В качестве члена Совета директоров я не обязан следить за конкретной работой по проектам, в том числе за работой Группы проекта по правам человека. Но так как меня сделали также председателем Комитета по правам человека (я не уследил, как это произошло), то определенные обязанности на мне лежат. Выполняю я их очень поверхностно, формально, на большее нет ни сил, ни желания. Я, быть может, виноват перед теми, кого вовлек в это дело, но что поделаешь.

15 января состоялась встреча Фонда с М. С. Горбачевым. Со стороны Фонда присутствовали директора, некоторые, приглашенные Велихо-

вым, Визнером и исполнительным директором Рольфом Бьернерстедом, лица, в их числе Арманд Хаммер и Стоун, и некоторые работники аппарата Бьернерстеда.

Нас попросили подождать в комнате, соседней с той, где должно было проходить заседание. За пять минут до начала вышел Горбачев и сопровождающие его лица, он за руку поздоровался с собравшимися, обменявшись с некоторыми несколькими словами. Я сказал, что благодарен ему за вмешательство в судьбу мою и моей жены: «Я получил свободу, одновременно я чувствую возросшую ответственность. Свобода и ответственность — неразделимы». Горбачев ответил: «Я очень рад, что вы связали эти два слова». Мы прошли в зал. После выступления Горбачева с краткими речами выступили Велихов, Визнер, некоторые «рядовые» директора (в их числе Лихачев и я) и некоторые приглашенные лица. Я в своем выступлении сказал, что значение Фонда связано с его независимостью от государственного аппарата какой-либо страны, от организаций и структур, преследующих частные цели. Я рассказал о предложенных мною темах (кроме подземного расположения ядерных реакторов, я не успел об этом упомянуть в выступлении, но после собрания подошел к Горбачеву и сказал отдельно). Центральным в моем выступлении был вопрос о сокращении срока службы в армии. Я передал Горбачеву составленный в декабре — январе по моей просьбе список еще оставшихся к тому времени в заключении, ссылке и психбольницах узников совести. К сожалению, этот список был составлен несколько небрежно и неудачно, отчасти по причине очень больших трудностей в получении достоверной информации, отчасти же в силу недостаточной серьезности тех бывших узников совести, кто этим занимался. По моему мнению, эта небольшая печальная история тоже является одним из проявлений внутренней дезориентированности их в новых условиях. В списке не было конкретных данных по делам указанных там лиц. Я в своем выступлении сказал, что у меня есть список, и послал его Горбачеву по кругу (нас рассадили вокруг большого мраморного стола в форме овала, в центре которого на уровне пола находилась великолепная цветочная ваза или клумба). Список оставил у себя сидевший недалеко от меня человек. Заметив мой изумленный взгляд, Горбачев сказал, что это его советник (я потом узнал, что его фамилия Фролов). Этот список был передан в Прокуратуру СССР. Нам несколько раз звонил по поводу списка заместитель Генерального прокурора Васильев. Возможно, список сыграл какую-то роль в судьбе некоторых освобожденных в 1988 году узников совести.

В конце собрания с речью выступил М. С. Горбачев. Кратко сказав о том значении, которое он придает Фонду как международной организации, созданной в духе принципов нового политического мышления, большую часть своего выступления он посвятил скрытой, иногда явной дискуссии со мной (и с другими сторонниками более радикальной политики). Горбачев подчеркивал опасность спешки и перескакивания через необходимые промежуточные этапы. В связи с проектом сокращения срока службы в армии он сказал об опасности и бесполезности односторонних актов СССР в области разоружения, сославшись на недавний опыт моратория на проведение испытаний (по-моему, пример не убедителен; для анализа последствий такого гигантского беспрецедентного шага, как двукратное сокращение срока службы в армии, с последующим переходом к профессиональной армии,— аналогии вообще малопригодны).

Это была моя первая личная встреча с М. С. Горбачевым. До этого я только говорил с ним по телефону в декабре 1986 года. Потом, в 1989 году, было еще несколько встреч, о которых я буду писать. Мое первое личное впечатление о Горбачеве было в основном благоприятным. Он показался мне умным и сдержанным человеком, находчивым в дискуссии. Линия Горбачева представлялась мне тогда последовательно либеральной, с постепенным качественным наращиванием реформ и демократии.

Конечно, я был не удовлетворен половинчатостью, иногда противоречивостью некоторых действий руководства и порочностью некоторых законов, например, закона о нетрудовых доходах. Но я в основном относил это за счет ограничений, которые неизбежны для любого руководителя, в особенности реформатора, за счет «правил игры», присущих той среде, в которой делал свою карьеру и находился Горбачев. В целом я видел в Горбачеве инициатора и достойного лидера перестройки. Отношение Горбачева ко мне показалось мне уважительным, и даже со скрытым оттенком личной симпатии. Ниже я буду писать о дальнейшей эволюции моих оценок политики и личности М. С. Горбачева.

Начало деятельности Фонда ознаменовалось неприятной историей — конфликтом между Хаировым и Бьернерстедом, начавшимся с необоснованного увольнения Бьернерстедом одной сотрудницы. Велихов принял сторону исполнительного директора, и Хаиров вынужден был уволиться.

Я был не удовлетворен Уставом Фонда и написал набросок альтернативного проекта, вероятно, не реальный. Одним из пунктов там было предложение обязать директоров принять на себя пятьдесят процентов стоимости зарубежных поездок. Хотя все директора — люди с положением, имеющие определенный доход, на меня посмотрели как на сумасшедшего. (Я ранее всегда ездил в командировки, разумеется, в пределах СССР, только за свой счет.) Я до сих пор думаю, что принятие моего предложения многое поставило бы на свои места. Кажется, у Фонда до сих пор нет Устава, принятого Советом директоров.

В феврале — марте 1988 года вспыхнули события, связанные с проблемой Нагорного Карабаха. Они показали всю лживость утверждений официальной пропаганды о якобы «нерушимой дружбе народов нашей страны», выявили трагическую глубину национальных противоречий, загнанных вглубь террором и отсутствием гласности. Эти противоречия носят, как мы теперь знаем, всеобщий характер, охватывают всю страну. Более 60 лет армянское большинство населения Нагорного Карабаха подвергалось национальному угнетению со стороны азербайджанских властей. В новых условиях перестройки у армян возникла надежда на изменение нетерпимого положения. В феврале состоялось решение Областного Совета народных депутатов с призывом к Верховным Советам Азербайджана и Армении о переходе Нагорного Карабаха из Азербайджанской ССР в Армянскую ССР. Азербайджан ответил отказом, затем (очень скоро) произошел Сумгаит. Позиция центрального руководства страны представляется мне недопустимо нерешительной, постоянно запаздывающей, не принципиальной. Больше скажу. Она кажется мне несправедливой, односторонней и провоцирующей. Столь же односторонними и тенденциозными оказались, за малыми исключениями, центральная пресса и телевидение. Гласность в этих критических условиях забуксовала (потом это много раз повторялось).

В связи с Нагорно-Карабахской проблемой, преступлениями в Сумгаите я впервые задумался о негативных сторонах политики нового руководства страны, об их возможных явных и скрытых причинах.

Примерно 20 марта я написал открытое письмо Горбачеву о проблеме крымских татар и о проблеме Нагорного Карабаха. Я отвез один экземпляр в редакцию «Московских новостей», где после публикации интервью о фильме «Риск» у нас появился хороший знакомый Геннадий Николаевич Жаворонков. Тот сейчас же отнес письмо главному редактору Егору Яковлеву, которого мы тоже к тому времени лично знали. Другой экземпляр я отдал в отдел писем ЦК КПСС, что имело скорее формальное значение, т. к. Яковлев, со своей стороны, сообщил в ЦК о моем письме и послал туда копию. На другой день утром мне позвонил начальник АПН Фалин и пригласил для беседы в связи с моим письмом к 12 часам. Он назвал номер высылаемой за мной машины. Вскоре после того, как я выехал, позвонил секретарь члена Политбюро А. Н. Яковлева. Подошла Люся. Яковлев пригласил меня приехать к нему к 5 часам. Так как Люся рассчитывала, что я успею хотя бы частично на семинар в ФИАН, то попросила заехать за мной туда. Фалин встретил меня еще в комнате секретаря. Это был человек довольно высокий, с удлиненным лицом, хорошо известным телезрителям «Девятой студии» и других программ и пресс-конференций. Он повел разговор в тоне большого дружелюбия и даже некоторой «доверительности». Он сказал, что по воле судьбы был советником многих генсеков, начиная с Хрущева. То ли в последние годы Брежнева, то ли при Черненко у него возникли принципиальные разногласия с «хозяином», и ему пришлось уйти. Он получил

при этом возможность целиком посвятить себя научной работе, что отвечало его склонностям. Именно в этот период он чувствовал себя, по его словам, наиболее свободным и был вполне счастлив, в остальные же годы его работа была для него трудной, нередко неприятной. В апреле 1985 года Горбачев, только что избранный на пост генсека, предложил Фалину вернуться к роли советника. Фалин сказал, что он, прежде чем согласиться, изучил программные заявления Горбачева и другие сведения о его намерениях и решил, что от него не потребуется действий и публичных высказываний, противоречащих убеждениям. Фалин сказал далее, что он начиная с 1968 года очень внимательно следит за моей деятельностью и выступлениями, читает все написанное мною. Он относится ко мне с глубоким уважением и неоднократно защищал меня от несправедливых обвинений, в том числе перед Хрущевым и Брежневым (он привел какие-то примеры). Пожалуй, наиболее интересными (хотя не обязательно точными) были его характеристики роли Горбачева и ситуации в высших эшелонах партии. Он сказал, что только Горбачев является инициатором всех без исключения принципиальных изменений во внутренней и внешней политике и фактическим автором всех программных документов начиная с апреля 1985 года. Фалин добавил: «к сожалению», давая этим понять, что исключительная роль одного лица делает ситуацию неустойчивой и не исключает возможности ошибок (моя интерпретация). Сейчас я знаю, что очень велика роль Лукьянова, с которым Горбачева многое связывает. Но Фалин не назвал этой фамилии. Фалин сказал, что партия по существу расколота на две противостоящие друг другу фракции, имеющие противоположные взгляды по основным принципиальным вопросам. Но, к несчастью, Михаил Сергеевич, по словам Фалина, не хочет это признать. Он не пояснил — то ли по наивности и доверчивости (что от человека на таком посту ожидать трудно), то ли, наоборот, по тактическим соображениям скрытного и расчетливого политика.

По основной теме встречи — о моем письме — Фалин пытался удержать меня от публикации, ссылаясь на крайнюю остроту ситуации. Он сказал, что письмо было немедленно, в первые же часы, доставлено М. С. Горбачеву, и он его прочитал.

Фалин просил меня воздержаться от публикации хотя бы до 26 марта. На этот день якобы в Ереване намечены забастовки, демонстрации и митинги, и крайне опасно разжигать страсти. В связи с событиями в Сумгаите Фалин сказал, что «мы приняли принципиальное решение иногда задерживать опасную информацию, давать ее в неполном виде, но никогда не публиковать ложной информации» (это было, по-видимому, косвенным признанием, что ранее публиковалась заведомо ложная информация, я вспомнил в этой связи о цифрах радиоактивного заражения после Чернобыльской аварии). Фалин (как и несколькими часами позднее Яковлев) защищал точность официальных сообщений о событиях в Сумгаите. В дальнейшем, однако, выяснилось, что эти сообщения не были точными. Я пишу эту главу не на основании дневника, на дневник у меня не было времени и сил. Я, в частности, не помню, что именно я обсуждал с Фалиным, что — с Яковлевым, так что возможны некоторые ошибки.

Я, конечно, не успел в ФИАН на семинар. Люся, в одном халате, на машине срочно подвезла меня к проходной ФИАНа, где я пересел на присланную туда черную «Волгу» ЦК. С сиреной, иногда по полосе встречного движения, мы очень быстро добрались до здания ЦК на Старой площади.

Яковлев оказался невысоким, слегка полноватым человеком с округлым лицом, живой мимикой и неожиданно быстрыми движениями. Потом я узнал, что некоторые коллеги по Политбюро называли его по-дружески «Полундра», очевидно в связи с тем, что во время войны он служил на флоте *. Лигачева называли «Полкан», что тоже довольно метко и забавно. Разговор сразу пошел об армяно-азербайджанских проблемах. Я спросил: «Почему нельзя было «с ходу» объявить о том, что требование Совета народных депутатов НКАО (Нагорно-Карабахской автономной

* А. Н. Яковлев служил в морской пехоте. (Прим. ред.)

области) является обоснованным и будет удовлетворено, ведь это внесло бы ясность в ситуацию. Не произошло бы Сумгаита. Такие вещи происходят, только когда можно повлиять на решение, но и сейчас не поздно вывести Нагорный Карабах из подчинения Азербайджану». Яковлев ответил: «Ничего нельзя менять в административно-национальной структуре. Это вообще необычайно опасно как прецедент, ведь у нас множество «горячих точек», где в любой момент может произойти взрыв национальных страстей. А в данном случае все еще несравненно сложней. 400 тысяч армян в Азербайджане оказываются в положении заложников. Закавказье наводнено оружием, оно в огромных количествах поступает через границу. Спички достаточно, чтобы вызвать пожар». Я сказал, что армяне в Азербайджане, как мне сообщили, готовы пойти на риск при условии ясной и твердой позиции центрального руководства. Конституционные трудности не очень принципиальны, на очередном заседании Верховного Совета их можно разрешить.

Яковлев, как показало время, был не прав во многих пунктах. Вскоре, в июле и еще раз в январе пришлось пойти на серьезные шаги. Но они были сделаны слишком поздно и ничего поэтому не решили. Взрыва насилия эти шаги не вызвали. Зато начисто придуманная провокация о поругании священной рощи в населенной азербайджанцами части НКАО действительно вызвала бурю, массовые акты насилия, 500-тысячную демонстрацию в Баку под националистическими и исламско-экстремистскими лозунгами, вынужденное бегство из Азербайджана более 130 тысяч армян. Как известно, в ответ в Армении начались акции по изгнанию азербайджанцев, сопровождавшиеся избиениями и убийствами. До этого армяне вели себя сдержанно (более 8 месяцев), однако в эти дни было убито более 20 азербайджанцев. Это огромная трагедия. Число азербайджанских беженцев, согласно выступлению Везирова на Съезде, составляет 160 тысяч. Вероятно, полная цифра армянских беженцев в целом по всем «потокам» не меньше этой цифры. То есть очевидно, что предлог всегда может быть найден или сфабрикован, если есть достаточно мощные силы, заинтересованные в кровавой анархии, при условии бездействия центральных властей и косвенной поддержке местных (будем исходить из такой модели событий в Сумгаите, Фергане и других местах, хотя существуют некоторые непроверенные факты, заставляющие предполагать несколько другую расстановку причин). Часть разговора была посвящена проблеме крымских татар. Яковлев сказал: «Почти все, что вы требуете, уже решено в результате работы правительственной комиссии». Я сказал, что это не так. Решения комиссии несовершенны и плохо выполняются. На местах в Крыму власти продолжают проводить откровенно дискриминационную политику. Я требую свободного и организованного возвращения крымских татар на родину, т. е. возвращения всех желающих с государственной помощью. Только так может быть восстановлена историческая справедливость. Организованное возвращение не должно означать, например, составления властями списков «хороших» татар. Я действительно не поставил в своем письме вопрос о восстановлении национальной Крымско-Татарской АССР, что вызвало возмущение наших друзей, крымских татар, и даже разрыв некоторыми из них отношений со мной. Но я убежден, что сейчас восстановление АССР невозможно хотя бы по чисто демографическим причинам, даже если все крымские татары вернутся в Крым. Может, более реально создание гораздо меньшей национально-территориальной единицы с компактным поселением там крымских татар, конечно, на полностью добровольной основе.

В разговоре с Яковлевым я поднял тему судьбы Рауля Валленберга. К сожалению, я располагал в это время ошибочной информацией, это свело на нет мои усилия и, возможно, ухудшило на какое-то время психологический климат поисков. Вернусь на год назад. В марте или феврале 1987 года мне позвонил из Женевы брат Рауля по матери Ги Дарделл и сообщил, что у него есть крайне важная информация о том, что Рауль, по-видимому, жив, несмотря на неоднократные заверения советских властей о его смерти, и находится где-то в лагере в 300 км от Москвы. Я просил срочно прислать мне более полные сведения. В конце мая мне действительно принесли из ФИАНа распечатанное письмо Дарделла, при-

сланное туда из шведского посольства (неизвестно, почему не принесенное мне прямо домой). В письме Дарделла содержались какие-то рассуждения об опытах с мю-мезонами (я понимал, что это только фон, маскировка) и была приписка от руки — всего несколько строк. В приписке говорилось, что Рауль Валленберг находится в лагере в поселке Мирный в 18 километрах к югу от Торжка. Он содержится там вместе с пленными поляками времен второй мировой войны. В конце 1986 — январе 1987 года в лагере вспыхнула тяжелая эпидемия гриппа, многие поляки умерли, Валленберг тоже болел, но остался жив. Неизвестно, находится ли он там под своим именем или под каким-то вымышленным. Текст письма Дарделла на машинке на немецком языке, приписка — от руки, на ломаном русском. Мне передали, что человек (до сих пор мне неизвестно его имя) написал приписку уже будучи в СССР, так как опасался перевозить ее через рубеж. В июне в СССР была Таня. Она приехала вместе с Руфью Григорьевной и детьми, как я писал в главе 2, и, оставив с нами бабушку, уехала с Мотей и Аней обратно в США в начале июля. Я передал через нее устное сообщение Дарделлу, в котором просил о дальнейших подробностях. Я также настаивал на максимально быстрой проверке правильности сообщения с тем, чтобы в случае, если первичные источники информации надежны, обязать шведское правительство предпринять решительные шаги по спасению Рауля Валленберга. Мне казалась совершенно недопустимой любая проволочка. Если Валленберг жив, то страшно даже подумать, что после стольких лет страданий по вине советских властей он останется еще какое-то время в заключении по причине нерасторопности своих друзей! Даже если это только месяц. Если же он умер, то надо в конце концов узнать все подробности его судьбы — потребовав от советских властей его дело. Только получив исчерпывающие документы и достоверные свидетельские показания, можно поставить на этом деле точку.

Мы, однако, весь остаток 1987 года и начало 1988 года не имели от Дарделла никакой информации, он вообще исчез из нашего поля зрения. Приезжал, правда, один из юристов Комитета Валленберга, но от него тоже ничего нового мы не узнали. Я тогда впервые столкнулся с тем, как неорганизованно и плохо ведутся поиски Валленберга. Потом у меня создалось очень печальное впечатление, что вся эта сложная и дорогостоящая система комитетов и комиссий крутится в основном вхолостую. Конечно, они получают много свидетельств, что кто-то видел Валленберга даже много после его официальной смерти. Но среди этих свидетельств, несомненно, очень много ложных, данных ради вознаграждения или саморекламы, и в их массе просто теряются истинные сообщения, если такие есть.

Возвращаясь осенью 1987 года из Эстонии, мы с Люсей сделали крюк и разыскали Мирный. Это само по себе было некоторой эпопеей. Но хотя в Мирном и были какие-то подозрительные здания, они были мало похожи на лагерь. Потом Люся еще 2 раза ездила в Мирный — один раз с Юрой Шихановичем и Бэллой Коваль, другой раз со мной. В разговоре с Яковлевым я просил проверить нахождение Валленберга в Мирном. Произошел также более общий разговор о деле Валленберга. Яковлев убежден, что все слухи о том, что Валленберг жив, — ложные, он при этом сказал, что они подогреваются спецслужбами Запада для обострения советско-шведских отношений, это, конечно, вызывает у меня настороженное отношение к его мнению в целом. Яковлев также утверждал, что Валленберг был арестован, потому что осуществлял обмен евреев на шведские военные грузовики. Это по существу было действием на стороне врага. Яковлев заметил: «Сколько лишних советских солдат погибло в результате этого обмена, никто не считал». Он также утверждал, что шведы помогли немцам восстановить разбомбленные англичанами и американцами шарикоподшипниковые заводы, без которых Германия не могла продолжать войну (за деньги, не за жизни евреев). Я далеко не уверен, был ли реально произведен обмен евреев на грузовики, и если был, то участвовал ли в этом Валленберг. Скорей уверен в обратном. История слишком смахивает на рассказ Мешика, что Тимофеев-Ресовский якобы был замешан в нацистских опытах над людьми. Во всей литературе о Валленберге нет никаких упоминаний об обменах шведских

грузовиков на евреев. Хорошо известно также, что немцы еще до приезда Валленберга в Будапешт отказались осуществить обмен евреев на грузовики. Я хочу также сказать, что, в отличие от Яковлева, я не согласен, что спасение от смерти многих реальных живых людей в обмен на предоставление немцам транспортной техники (не снарядов!) было несомненным преступлением или даже ошибкой. Тем более что война уже шла к концу. Тут надо смотреть на цифры, как ни кощунственно это звучит (впрочем, военные все время это делают). Хуже другое. Англичане и, кажется, американцы в эти же месяцы отказались бомбить подъездные пути Освенцима, сберегая бомбы для военно-промышленных объектов.

В конце беседы Яковлев спросил меня, кем была Люся на войне, и, прощаясь, сказал: «Передавайте, пожалуйста, мой привет санинструктору и старшей медсестре». Так закончилась моя вторая беседа с членом Политбюро (первая беседа была с Сусловым за 30 лет до этого!). Я вынес из этой и следующих бесед с Яковлевым впечатление о нем как об умном, очень хорошо осведомленном во внутри- и внешнеполитических вопросах человеке, несомненно, ориентированном на перестройку «чуть левее Горбачева». Я думаю, что это человек, который не будет претендовать на первое место, но на второе — может и должен. Вместе с тем, именно на фоне общей левой позиции, я почувствовал, что у Яковлева (а значит, вероятно, и у всех остальных перестроечных деятелей) остался некоторый «неприкасаемый запас» догматических истин. Мне несколько трудно сформулировать, в чем он заключается, но он есть.

Через неделю Фалин вновь позвал меня в АПН и вручил ответ по Мирному. Это была прекрасно снятая панорама поселка и документ, в котором сообщалось число жителей поселка, а также число голов рогатого и не рогатого скота. В заключение сообщалось, что старожилам района неизвестна фамилия Валленберг, человек с такой фамилией никогда в районе не проживал. Через несколько месяцев летом к нам наконец приехал Ги Дарделл. И тут выяснилась потрясающая вещь. Поселок Мирный никакого отношения к Валленбергу, безусловно, никогда не имел. Ги сообщили адрес лагеря по телефону, при этом он перепутал север и юг и, отмерив от Торжка на карте 18 км в сторону Калинина, увидел там кружок с названием Мирный. Эта его ошибка привела к тому, что полтора года все поиски шли по ложному следу. Совершенно нелепая ситуация, и если Валленберг жив, невероятно трагическая. Но нелепость на этом не кончается. Оказывается, Ги и членам Валленберговского комитета был известен номер лагеря, о котором шла речь в сообщении: ОН-55. Они не сообщили этого номера нам, не сочли нужным.

Вскоре мы с Люсей на нашей машине поехали (уже в четвертый раз) в район Торжка. Люся, как всегда, за рулем. Адрес и в этот раз оказался неправильным, но мы все-таки нашли лагерь, зная его номер. Мы ехали по указанному нам направлению, но уже понимали, что едем куда-то не туда. Кончился асфальт, проселок перешел в колею от телеги. Вдруг Люся увидела четырех молодых людей, у которых, как ей показалось, мы сможем что-то узнать. Действительно, среди этих людей была женщина, работник суда, которая знала, где лагерь ОН-55. Им надо было добраться в Торжок, мы их подвезли и вместе с ними доехали до лагеря, находящегося на окраине Торжка (точней, в нескольких километрах от города по направлению к Старице, но на машине это несущественно). Я подошел к проходной, увидел на ней табличку с номером ОН-55. Группа офицеров, очевидно сменившись, садилась в машину. Я сказал, что ищу одного поляка, старого человека. Я слышал, что здесь в лагере содержатся поляки. Капитан вступил в разговор и резко сказал: «Здесь нет никаких поляков. Вы ошиблись. Вам надо куда-то еще». Дальше разговаривать было бесполезно. Я вернулся в машину, где сидела Люся и наши спутники. Мы вскоре простились с ними и поехали в Москву. Спросить у работника суда о поляках не удалось, это надо было делать наедине. Итак, мы нашли лагерь по номеру, и хотя бы в этом отношении информация не была чистым враньем. Внутрь лагеря мы проникнуть, конечно, не могли. (Очевидно, надо вернуться к тому, что я просил Таню передать Ги два года назад — проверить надежность источника информации и требовать от шведского правительства обратиться к Горбачеву. Потеряно два года, это горько. — Написано в **1989 г.**)

В марте — апреле ко мне обратились от издательства «Прогресс» с просьбой написать статью для сборника под названием «Иного не дано» — о проблемах перестройки. В сборнике участвовали многие известные авторы, главным редактором был Юрий Николаевич Афанасьев — ректор Историко-архивного института. Вскоре мы узнали его как человека четких прогрессивных убеждений, политически инициативного и смелого. Я написал статью под заглавием «Неизбежность перестройки». Люся, читая ее, говорила, что она ни в коем случае не будет напечатана, как слишком острая (я, как всегда, поставил условие, что либо статья печатается целиком, либо я ее снимаю, такое обещание было дано не только мне, но и всем авторам). Люся ошиблась, книга вышла в июне, накануне партконференции, причем моя статья была далеко не самой интересной и острой. Я ясно чувствую, что если бы я писал статью даже несколькими месяцами позднее и тем более сегодня, она выглядела бы совсем иначе. Мы все сейчас проходим путь «политпросвещения» с поистине невероятной быстротой. При этом мы как раз за эти месяцы марта — июня 1988 года почувствовали с большой остротой не только поступательный ход перестройки, в первую очередь гласности, но и противоречивый, внутренне опасный характер происходящих в стране процессов. Появилась знаменитая сталинистская статья Нины Андреевой, в конце февраля произошла Сумгаитская трагедия. Выборы на 19-ю партконференцию проходили не демократическим способом, дав подавляющее преимущество антиперестроечным кандидатам. Ю. Н. Афанасьев явился инициатором коллективного письма по этому поводу. В письме, в частности, высказывалась мысль о возможном переносе партконференции на полгода с целью обеспечить более демократические выборы (на самом деле авторы письма понимали нереальность этого предложения). Я тоже подписал это письмо.

В конце апреля — мае мы с Люсей по впервые полученным (купленным, конечно, но так у нас говорят) в хозотделе Академии путевкам провели три недели в Пицунде. Это были замечательные дни, свободные, плодотворные и счастливые. Нам почти никто не мешал, мы были вдвоем. Комнатка у нас была очень маленькая, но с великолепным видом на море с высоты 12-го этажа дома-башни. Я работал за обеденным столиком, Люся выставляла на балкон ноги и тумбочку с пишущей машинкой. Так мы размещались. Люся начала там писать свою вторую книгу — о детстве, до рубежа 1937-го (несколько страниц были написаны еще в Москве). Я работал над выступлением, которое мне предстояло через месяц (чуть более) на конференции, посвященной столетию со дня рождения Фридмана. Я согласился еще давно сделать обзорный доклад о барионной асимметрии Вселенной, но так как я сильно отстал от текущей, довольно объемной литературы, то мне пришлось как следует поработать в Москве и Пицунде над статьями, которыми меня щедро снабдили друзья. В ходе этой работы я многое понял. Выступление, как мне кажется, получилось интересным и даже, в каких-то деталях, содержало новые идеи. Но в основном вопросе — за счет какого именно конкретного процесса образовалась барионная асимметрия Вселенной — все еще нет ясности.

Большую часть дня мы работали, по вечерам обычно гуляли вдоль моря. Купаться было еще холодно не только мне. На завтрак, обед и ужин надо было ходить в столовую в двух-трех сотнях метров от нашей башни. Часто я, хотя бы раз в день, ходил туда один и приносил Люсе еду в номер. Возвращаясь из столовой с тарелками, я обычно видел Люсю на балконе, она приветствовала меня с этой высоты.

В Пицунде нам пришлось вмешаться в судьбу одной молодой пары. В столовой Люся обратила внимание на расстроенный вид обслуживающей нас официантки-абхазки. Оказывается, она познакомилась с молодым человеком, отбывавшим ранее срок заключения, они собираются вступить в брак, но председатель райисполкома под разными предлогами откладывает регистрацию брака. Сейчас он вызвал к себе молодого человека на беседу. Причина, по-видимому, заключается в том, что он не является постоянным жителем Пицунды, работает в геологической партии и имеет только временную прописку, но, став мужем местной жительницы, он получит уже постоянную прописку. В Пицунде, как во всяком курортном районе, прописочные ограничения особенно сильны. Вероятно, в соответствующих инструкциях не рекомендуется прописывать бывших заключенных. Я послал председателю райисполкома очень вежливую телеграмму, в которой напомнил, что право вступления в брак не может иметь внезаконных ограничений. Телеграмма возымела свое действие. Вскоре счастливые новобрачные пришли к нам в номер с цветами и поблагодарили нас за вмешательство.

Из Пицунды мы поездом по очень красивой дороге поехали в Тбилиси. Там проходила интересная конференция по физике элементарных частиц. В Тбилиси мы были не впервые, но в этот раз он показался нам особенно спокойным, нарядным, каким-то западным по духу. Мы смотрели на нависший над Курой балкон старинного дома и обсуждали между собой, кто же там живет. Мы, конечно, не могли представить себе, что менее чем через год окажемся в Тбилиси при совсем других, трагических обстоятельствах и жить будем именно в этом доме.

Часть июня мы провели в Ленинграде, жили и работали в огромной квартире Ленинградского дома приезжающих ученых. Там не было столовой, и мы пытались купить полуфабрикаты в кулинарии при одном из самых фешенебельных ресторанов Ленинграда. К Люсиному потрясению, ей удалось купить только полусъедобную кашу — «шрапнель»: мы оба ни разу не видели ее со времен войны. В целом в Ленинграде, как и во всей стране, уже тогда было плохо с продуктами, за год положение не стало лучше. Конференция проходила одновременно с заседаниями Фонда, мне пришлось метаться из одного конца города в другой. Я все больше разочаровывался в Фонде. После конференции я принял участие в «круглом столе» по проблемам космологии для научно-популярной телевизионной передачи и в Ленинградской телевизионной программе «Пятое колесо». Участие в «Пятом колесе» было моим первым выступлением по советскому телевидению. Его смотрели не только в Ленинграде, но и в Москве и прилегающих к Ленинграду областях. К сожалению, из передачи выбросили все, что относилось к проблеме Нагорного Карабаха.

В июле состоялось долгожданное заседание Президиума Верховного Совета по проблеме НКАО. Оно транслировалось по телевидению, что само по себе было событием. Накануне мы, с некоторым запозданием, организовали массовую отсылку телеграмм в поддержку вывода НКАО из административного подчинения Азербайджану и введения там подчиненной лишь Москве администрации. Идея отсылки телеграмм принадлежала Люсе (как и множество других организационных идей за годы нашей совместной жизни). Мы позвонили нескольким известным нам предполагаемым единомышленникам в Москве и Ленинграде, просили их отсылать телеграммы и в свою очередь позвонить другим известным им людям, с тем чтобы те тоже продолжили распространение потока телеграмм. Мы предполагаем, что в целом было несколько десятков телеграмм.

Мы с Люсей также посетили накануне Президиума только что приехавшего в Москву Расула Гамзатова, в его по-восточному богатом доме, с просьбой поддержать эту идею. Разговор был трудный, несколько уклончивый, и Люся считала, что бесплодный. Однако на заседании Президиума Гамзатов выступил прекрасно. Кстати, нам показалось, что в доме Гамзатова большую позитивную роль играет следующее поколение — дочь и зять.

Наше предложение не было принято, оно вошло в состав принципов так называемой особой формы правления, принятой через полгода. Но тогда, в январе 1989 года, уже и это предложение было недостаточным. В июле же 1988 года было принято постановление, ограничивающее только поддержкой экономического и культурного развития НКАО и экономическими и культурными связями НКАО с Арменией. Это было бы очень важно в феврале и, быть может, помогло бы снять напряжение, но сейчас постановление Президиума отстало от произошедших в сознании людей изменений и поэтому было почти бесполезно. Все же, я думаю, наши телеграммы-обращения не были излишними.

Трансляция заседания Президиума по телевидению (ее смотрела вся страна, как в следующем году трансляцию со съезда) произвела на нас и, я думаю, на многих, удручающее впечатление. Позиция Горбачева была

откровенно предвзятой — было ясно, что решение им (именно им) уже принято — и откровенно проазербайджанской. Он вел заседание диктаторски, антидемократично, с пренебрежением к мнению других членов Президиума, особенно армян, зачастую просто невежливо. Он то и дело перебивал выступавших, комментировал их выступления. Одного из членов Президиума, ректора Ереванского университета С. Амбарцумяна (однофамильца президента Академии) он перебил и спросил: «Кто дал вам право говорить от имени народа?» Амбарцумян побледнел, но сумел ответить с достоинством: «Мои избиратели», — и продолжил выступление.

Мы не знаем, чем объясняется такая антиармянская и проазербайджанская позиция Горбачева, проявившаяся даже после трагедии землетрясения. Горбачев мог бы иметь в Армении передовой отряд перестройки, самых верных и работящих друзей. Лозунги первых месяцев национального движения в Армении доказывают это со всей ясностью. Армяне быстро отработали бы все, что было упущено за время забастовок. Но он избрал другой путь. Почему? Некоторые говорят — это большая политика, отражение огромной роли в мире (и в стране) ислама, с которым нельзя ссориться. Другие приводят тот же аргумент, что и Яковлев, — боязнь новых Сумгаитов. Наконец, говорят, что нельзя создавать прецедент территориальных изменений в стране, где столько «горячих точек». Мне все эти аргументы кажутся недостаточными. Они не должны были перевесить принципиальных соображений национальной справедливости. Есть и такие, которые связывают позицию Горбачева с его предполагаемыми связями с азербайджанской (или иной) мафией или с какими-то родственными связями. В условиях, когда ничего не известно о подлинных биографиях высших руководителей страны, все, относящееся к высшему кругу нашего общества, недоступно гласности, подобные предположения возникают с равной легкостью на пустом или не на пустом месте, и их невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.

Перед заседанием 18 июля и сразу после него я пытался позвонить М. С. Горбачеву, чтобы изложить ему от своего имени и имени моих единомышленников идею «особой формы правления» (тогда еще не было этого слова, но говорили — президентское правление). Я не мог дозвониться. Секретарь просил меня ожидать звонка у телефона. В состоянии непрерывного нервного напряжения мы провели в этом ожидании неделю. В это время в Москве была совершенно непереносимая жара и духота. Наконец я решил, что Горбачев просто не хочет со мной разговаривать, заранее зная, о чем будет речь. Я прекратил попытки, и мы уехали из города, что было намечено неделю назад.

В июле в нашем доме начался капитальный ремонт без выселения жильцов — замена отопительных батарей и труб, штукатурные работы, окраска и побелка и т. д. Обои мы меняли год назад. Это только усугубило дело — трудностями их защиты. Люся воспользовалась ремонтом для смены сантехники, ванны, отваливающихся после горьковского периода кафельных плиток. Это была очень тяжелая эпопея в наших условиях, количество грязи, которое пришлось, главным образом Люсе, выгребать ежедневно, и всяческих перестановок и защитных устройств для мебели и обоев было неописуемым. В июле и августе, после попытки позвонить Горбачеву, нам удалось все же вырваться дней на двадцать из Москвы в Протвино, находящийся недалеко от Серпухова небольшой городок, где расположены самые большие в СССР ускорители элементарных частиц — уже существующий, строящиеся и проектируемые. Меня давно уже приглашали туда посетить центр экспериментальных исследований физики высоких энергий и, когда я наконец согласился, организовали показ грандиозных залов, центров обработки информации, рассказали о проекте и возможностях будущего ускорителя и планах и перспективах работ на нем. В 1988 году предполагалось, что это будет установка для накопления двух протонных пучков с энергией 3 ТэВ (3×10^{12} эв) в двух ускорительно-накопительных кольцах, расположенных в подземном кольцевом туннеле общей протяженностью 21 километр. Его строят метростроевцы и уже выполнили в 1988 году более половины работы. Протоны двигаются в противоположных направлениях и отклоняются к центру колец магнитным полем специальных магнитов с обмотками из сверхпроводящего

сплава. Обмотки охлаждаются жидким гелием (температура жидкого водорода недостаточно низка для существующих промышленных сверхпроводников). Накопительные кольца имеют общие прямолинейные участки, на которых происходит столкновение встречных пучков с общей энергией сталкивающихся частиц 6 ТэВ. Во время нашего визита в ЦЕРН в июне 1989 года его директор Карло Руббиа рассказал, что существует проект, согласно которому ЦЕРН поставит в Протвино разработанный в ЦЕРНе источник антипротонов, и установка будет работать на столкновении пучков протонов и антипротонов, при этом исчезнет необходимость в двух ускорительно-накопительных кольцах, весь проект будет дешевле, и главное — его можно будет осуществить значительно раньше. Большую часть времени мы были свободны и работали — Люся продолжала работу над своей книгой, я тоже что-то делал. По вечерам мы выезжали в окрестности Протвино, очень живописные, и собирали грибы, потом Люся их жарила. На два дня нам пришлось прервать нашу спокойную жизнь и съездить в душную Москву в связи с ремонтом. Однажды неожиданно к нам в Протвино приехали Ю. Н. Афанасьев, Л. М. Баткин, Карпинский, Ю. Ф. Карякин, еще два или три человека, я сейчас не помню, кто именно. Они приехали в связи с проектом организации дискуссионного клуба с задачей обсуждения основных проблем перестройки — экономических, социальных, юридически-правовых, экологических, международных. Мы придумали название клуба — «Московская трибуна». Главным аргументом необходимости организации такого клуба как одного из зачатков легальной оппозиции была оценка существовавшего в то время политического положения в стране как очень противоречивого, с опасными симптомами сдвига «вправо», в том числе называлось прекращение свободной подписки на газеты и журналы, издание постановлений, ограничивающих свободу кооперативов и узаконивающих налоговый пресс на них, практическое замораживание экономической реформы, ограничения гласности, недемократический характер 19-й партконференции, отсутствие решения проблемы НКАО, в дальнейшем (уже после первой встречи) принятие антидемократических указов о митингах и демонстрациях и полномочиях специальных войск МВД. Был принят первый вариант обращения инициативной группы «Московской трибуны», на основании которого через несколько месяцев она была организована. Я согласился войти в инициативную группу. Но фактически Баткин и другие играют в деятельности «Трибуны» гораздо большую роль, я же в значительной степени пассивен. В начальный период организации «Трибуны» не все шло гладко, но в целом она представляется интересным и важным начинанием.

В те же месяцы я оказался вовлеченным в другую общественную организацию, гораздо более массовую, с драматической историей становления и с неясными, но, возможно, большими перспективами влияния на общественную жизнь и сознание. Речь идет о «Мемориале». Еще задолго до 19-й партконференции группа молодых людей, в их числе Пономарев, Самодуров, Игрунов, Леонов и Рогинский, выступила с инициативой создания мемориального комплекса жертвам незаконных репрессий — сначала, кажется, речь шла только о памятнике, потом о целом комплексе, включающем также музей, архив, библиотеку и т. п. С большой быстротой идея распространилась по всей стране. В Москве и во многих других местах сформировалось общественное движение, ставящее своей целью поддержку создания мемориального комплекса, причем не только в Москве, а и в других местах, в том числе и там, где были расположены основные сталинские лагеря рабского труда и уничтожения. Движение стало ставить перед собой не только историко-просветительские цели, но и помощь оставшимся в живых жертвам репрессий — юридическую и моральную. На 19-й партконференции было передано Афанасьевым обращение движения с несколькими тысячами подписей. Конференция приняла постановление о создании памятника жертвам репрессий (только памятника, т. е. фактически это было просто подтверждение не выполненного за 27 лет решения 22-го партийного съезда). Движение стало принимать организационные формы, к нему примкнули так называемые творческие союзы — Союз кинематографистов, Союз архитекторов, Союз дизайнеров и другие, а также «Литературная газета». Они стали именоваться «члены-учредители», что, конечно, не совсем правильно, лучше бы — коллективные члены. Был

открыт счет «Мемориала», на него стали поступать взносы от граждан и перечисления от концертов, лекций, демонстраций фильмов. Наконец, с помощью письменного опроса на площадях Москвы был создан Общественный совет «Мемориала». Прохожих просили назвать тех, кого они хотят видеть в Общественном совете — любое число кандидатур. Набравшим наибольшее число голосов было предложено войти в Общественный совет. В их числе оказался я и согласился, так же как большинство тех, кто получил доверие людей. Отказался от вхождения в Общественный совет А. И. Солженицын. В декабре, уже будучи в Штатах, я позвонил ему, чтобы поздравить с 70-летием. В этом разговоре Солженицын объяснил свой отказ двумя причинами. Во-первых, тем, что советские власти ответили на создание им «Архипелага ГУЛаг» высылкой его с родины. Этот аргумент представляется мне неправильным. Общество «Мемориал» не несет ответственности за действия властей. Второй аргумент — опасение, что идеологическая линия «Мемориала» не соответствует его представлениям об исторической науке. Поясняя свою мысль, он сказал, что принципиально недопустимо ограничиваться осуждением только сталинских репрессий и тем более осуждением репрессий только против тех, кто на самом деле были соучастниками преступлений. Преступления режима начались в 1917 году и продолжаются до сих пор, это одна цепь физического уничтожения народа и его лучших представителей, развращения народа, обмана, жестокости, лицемерия и демагогии ради власти и ложных целей коммунизма. Эту цепь преступлений начал Ленин, поэтому его личная вина перед народом и историей огромна, но тема преступлений Ленина — все еще табу в СССР, и, пока это так, Солженицыну нечего делать в «Мемориале». Кончил Солженицын пожеланиями успеха мне в борьбе, которую я веду в СССР в соответствии с обстановкой и возможностями. Конечно, я воспроизвел тут слова Солженицына по памяти, дополняя фрагментами других его выступлений, а также используя собственную их интерпретацию. Что можно сказать по существу? В многочисленных дискуссиях на собраниях «Мемориала», в различных проектах устава, в личных беседах все время звучит тема необходимости расширения временных рамок зоны интересов «Мемориала» за пределы эпохи сталинской власти, необходимости более четкой и исторически верной идеологической платформы. Вместе с тем, необходимо учитывать, что «Мемориал» — массовая организация, формирующаяся на основании некоторого массива основных идей, целей и представлений, общих для всех ее членов, при условии взаимной терпимости в других вопросах. При этом «Мемориал» действует в условиях советской действительности, при крайне настороженном, а быть может — просто враждебном к нему отношении. Поэтому мне представляется правильной осторожная формулировка устава, в которой речь идет о жертвах сталинских репрессий и других жертвах террористических и незаконных методов управления государством. Что авторы устава и «Мемориал» в целом не впали в конформизм — ясно из реакции властей, ЦК, из всех трудностей легализации «Мемориала».

Чтобы больше не возвращаться к моему разговору с Солженицыным, расскажу еще о некоторых его моментах. Я позвонил из Ньютона в начале дня. Подошла Аля, жена Александра Исаевича. Мы поговорили несколько минут, потом она позвала Александра Исаевича, заметив, что он сам никогда не подходит к телефону. Произошел тот разговор, о котором я уже написал. В конце я сказал, в ответ на его пожелания успехов, о важности его писательской работы и добавил: «Александр Исаевич, между нами не должно быть недоговоренностей. Вы в своем «Теленке» глубоко меня обидели, оскорбили. Речь идет о ваших высказываниях о моей жене, сделанных как в явной форме, так и в ряде мест без указания имени, но совершенно ясно, о ком идет речь. Моя жена совершенно не тот человек, как вы ее изображаете, и ее роль в моей жизни совсем иная. Она бесконечно верный, самоотверженный и героический человек, никогда никого не предававший, далекий от всяких салонов, диссидентских и не диссидентских, никогда не навязывавший мне никаких «наклонов»". Александр Исаевич несколько секунд молчал, очевидно, он не привык, чтобы кто-то обращался к нему с такими прямыми обвинениями. Затем он сказал: «Хотел бы верить, что это так». Эта фраза по обычным меркам не была, конечно, извинением, но для А. И. видимо, и это было большой уступкой.

Осенью 1988 года я впервые выступал на митинге. Он был создан «Мемориалом» около Дворца спорта Автодорожного института *. Люся отвезла меня туда на машине, но сама не могла присутствовать, так как машину пришлось поставить на довольно большом расстоянии от места митинга, и ей с ее ногами было бы трудно дойти. Собравшиеся — несколько сот человек, может, больше тысячи — узнали меня, и мне пришлось, после нескольких других ораторов, выступить. Я, конечно, заранее не готовился, но, кажется, получилось удачно, в отличие от моего следующего выступления, на конференции «Мемориала» в октябре, где я должен был говорить первым и читал по бумажке заранее подготовленный текст, вышло позорно скучно.

Эта конференция готовилась как учредительная, должна была принять устав и объявить о создании всесоюзного историко-просветительского общества «Мемориал». Но примерно за неделю в ЦК начали возражать против проведения учредительной конференции под разными, малопонятными предлогами, в частности это произошло при встрече Юдина (какого-то начальника из ЦК) с секретарями творческих союзов-учредителей. Те испугались и потребовали от исполнительного комитета (рабочего органа «Мемориала») отложить проведение учредительной конференции. На самом деле в ЦК, конечно, просто боялись создания массовой независимой (трудно управляемой) общественной организации, в которой, к тому же, участвуют многие пользующиеся известностью люди. Исполнительный комитет опасался разрыва с членами-учредителями, от которых мы зависели материально, и с санкции Общественного совета изменил характер конференции — вовсе отменить ее или перенести на более поздний срок было невозможно: люди с мест уже съезжались. Учредительную конференцию назначили на 17 декабря, но ее проведение опять было сорвано, и она состоялась лишь в конце января. Одновременно возникла атака на «Мемориал» по еще одному направлению — представители «Мемориала» в середине декабря были лишены доступа к банковскому счету «Мемориала» (кажется, по устному указанию того же Юдина директору банка). Формальный предлог — что «Мемориал» официально не зарегистрирован. За неделю перед назначенной в январе учредительной конференцией члены Общественного совета «Мемориала», в их числе Афанасьев, Бакланов, Евтушенко, были вызваны в ЦК. Меня первоначально не позвали, но вызванные заявили, что без меня они не поедут, и в последний момент за мной заехал на машине Пономарев. По дороге он рассказал мне ситуацию со счетом, а также предупредил, что будет оказываться большое давление с целью добиться отсрочки учредительной конференции. Но дальше откладывать мы не можем, не имеем права. На местах члены «Мемориала» подвергаются большому давлению, ситуация становится опасной. Мы должны заявить, что, если нам не будет предоставлено помещение, мы проведем конференцию на квартирах. Я сказал, что полностью с ним согласен. У подъезда ЦК я распрощался с Пономаревым и прошел наверх. Заседание проходило под председательством Дегтярева — заместителя нового заведующего идеологическим отделом ЦК Вадима Медведева, который недавно сменил на этом посту А. Н. Яковлева. Дегтярева Медведев пригласил из Ленинграда, где он, как мне сказали, активно поддерживал «Память». Дегтярев начал свое выступление очень агрессивно. По поводу счета он заявил, что «Мемориал» не имеет права распоряжаться этим счетом, поскольку Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, принятое вскоре после 19-й партконференции, поручает создание памятника жертвам сталинских репрессий Министерству культуры СССР, значит ему принадлежат все собранные средства. Члены Общественного совета энергично возражали, ссылаясь на то, что средства собирались целевым образом для «Мемориала», все, кто давал деньги, знали это, что подтверждается объявлениями в прессе; передача денег Министерству культуры явилась бы совершенно незаконной и вызовет бурю протестов. Тогда Дегтярев слегка сменил тон и сказал, что «Мемориал» не может владеть счетом, поскольку он не зарегистрирован. Затем Дегтярев пустился в рассуждения о том, что вскоре будет принято постановление о создании

* Указанный митинг происходил в мае около Дворца спорта «Динамо». (Прим. ред.)

при райисполкомах(?!) комиссий по расследованию сталинских преступлений, местные группы «Мемориала» вольются в эти комиссии, таким образом исчезнет необходимость в создании общества «Мемориал» и не надо проводить учредительную конференцию. Помощник Дегтярева добавил, что проект устава совершенно не доработан юридически, и его, как коммуниста, поразило, что там нет слова «социализм». Мы отвечали резко, почувствовав опасность. Я, в частности, сказал, что официальная комиссия и общественная организация — это разные вещи. Значение общественной организации — именно в ее независимости, и потерять эту независимость мы не согласимся ни за что. Если нам будет отказано в поддержке и помещении, мы проведем учредительную конференцию на квартирах (я выполнил совет Пономарева). Что касается слова «социализм», то устав — не программа партии, там нет места таким теоретическим рассуждениям. Выходя с совещания, я спросил Афанасьева: «Ну как?» (Я имел в виду общую ситуацию и в особенности позицию ЦК; Афанасьев, конечно, именно так и понял мой вопрос.) Он ответил: «Очень плохо». Но, по-видимому, это была психологическая атака перед принятием решения, и мы ее выдержали. Такие арьергардные атаки в практике властей — обычная вещь, мы много раз с ними встречались. Накануне конференции меня вызвал в ЦК В. А. Медведев. Обсуждались те же темы, но в гораздо более дружеском тоне. Вернувшись домой, я узнал, что по указанию ЦК остановлено печатание «Вестника „Мемориала"» — издания, предназначенного для раздачи участникам конференции. Причина — наличие там двух «крамольных» материалов: сообщения с требованием вернуть советское гражданство А. И. Солженицыну и опубликовать «Архипелаг ГУЛаг», а также моей предвыборной программы. Я позвонил по телефону сначала Дегтяреву, затем Медведеву, говорил необычайно для меня резко (Люся утверждает, что она впервые такое от меня слышала). Я спрашивал: «Это запрет или рекомендация? Если запрет, то вы принимаете на себя большую ответственность. Если рекомендация — то мы вправе с нею не считаться». Медведев отвечал, что «мы не запрещаем вам печатать, что вы хотите, это не наша функция, но от того, как вы поступите, будет зависеть наше отношение к «Мемориалу». Я говорю: «Мы все это уже учли, решили печатать, все, как подготовлено, дайте указание отменить запрет на печатание!» Медведев: «Мы не давали такого запрета». Я: «Вы прекрасно знаете, что это не так! Отмените запрет!» Медведев ничего не ответил. Но через 20 минут печатание было возобновлено. Однако оказалось, что Афанасьев еще накануне согласился снять материал о Солженицыне, и на этом месте в газете появилось белое пятно. Учредительная конференция подтвердила ранее принятое решение.

Еще один телефонный разговор с Медведевым у меня произошел в апреле. Четыре женщины в Иванове объявили голодовку, требуя возвращения верующим храма, отнятого в 30-е годы и занятого под склад. Я позвонил Медведеву и просил его вмешаться. Он ответил, что ему ничего неизвестно об этом деле. Однако какой-то работник ЦК (я не знаю, до моего разговора или после) позвонил в горисполком Иванова и потребовал ни в коем случае не уступать «экстремистам» (этот термин фигурировал в местной прессе). При помощи обмана и угроз удалось заставить женщин прекратить голодовку. Председатель Комитета по делам церкви, склонный уступить верующим, был вскоре вынужден уйти в отставку (возможно, что тут были и другие причины).

Положение «Мемориала» продолжает оставаться крайне сложным и неопределенным и после учредительной конференции. «Мемориалу» до сих пор отказывают в регистрации на том основании, что единственный закон о правилах регистрации общественных организаций, принятый в 1932 году, относится не к общесоюзным организациям, а не более чем к республиканским. Все существующие общесоюзные организации созданы по постановлениям правительства и в регистрации якобы не нуждаются. «Мемориал» по-прежнему не имеет доступа к своему счету в банке. Местные организации и их члены подвергаются преследованиям. Некоторые мемориальцы хотели пикетировать Президиум Верховного Совета, с трудом удалось их отговорить. Я говорил во время Съезда с Медведевым и Лукьяновым, они ссылаются на то, что вскоре новый Верховный Совет примет закон о регистрации. Но когда это будет, и не возникнет ли какого-либо противоречия с уставом «Мемориала»? Такое противоречие могут устроить нарочно...

В октябре я впервые присутствовал на Пагуошской конференции по приглашению Виталия Гольданского (руководителя советской секции). В качестве гостя была также приглашена Люся. Конференция проходила в местечке Дагомыс, недалеко от Сочи. Участники и многочисленные гости были размещены в фешенебельной интуристской гостинице. Там же проходили заседания. Все это, включая питание, конечно, за счет хозяев конференции. Так же был оплачен проезд участников (но Люся свой билет оплатила). Шел конец курортного сезона, море и бассейн был и к услугам приехавших. По вечерам — виски-водка парти с обильной бесплатной выпивкой, некоторые не вполне соблюдали меру.

Для меня и Люси главное было понять, что происходит на секциях (по вопросам экологии, сокращений стратегических вооружений, равновесия обычных вооружений в Европе, запрещения химического оружия, контроля над сокращением вооружений, проблем развития Третьего мира, контроля над ядерными испытаниями) и на пленарных заседаниях. Моя позиция тут такова — если КПД (коэффициент полезного действия) работы пагуошцев очень мал, но отличен от нуля, то в силу огромного значения глобальных проблем существование Пагуошского движения в конечном итоге оправдано. Мы были свидетелями довольно низкого уровня обсуждения проблем (в особенности это относилось к экологии), по-моему, это следствие того, что многие стали профессионалами борьбы за... (мир, среду обитания, разоружение, все равно за что), это не способствует объективности и научному подходу. Еще более меня огорчило, что Движение как бы работает само на себя, не имея прямых выходов в правительственные круги и в масс-медиа. Все же я думаю, что есть косвенный положительный эффект — через личные контакты участников Движения в научных и правительственных кругах. Так что — пусть работают. Но без меня! На конференции я выступил по докладу секретаря Движения, особенно уделив внимание экологическим проблемам, в том числе опасности для генофонда, вызванной накоплением вредных мутаций в результате химизации жизни на Земле. С очень интересным предложением, касающимся сохранения тропических лесов, выступила Люся. Она предложила, чтобы все страны отчисляли определенный процент своего национального дохода в пользу стран — хозяев тропических лесов, которые прекратят вырубку лесов (и начнут их восстановление). Это была бы справедливая плата за кислород, в конечном счете — за жизнь. Сумма отчислений должна быть такова, чтобы сделать вырубку лесов экономически невыгодной не только для государства — хозяина лесов, но и для всех его граждан. Пока идея Люси не получила должной поддержки и распространения.

Еще в июле я был приглашен принять участие в «круглом столе» в редакции журнала «Век XX и мир» на тему «Мировая революция, конвергенция и другие глобальные концепции» (название темы было сформулировано как-то иначе — я не помню). Я заранее подготовился к своему выступлению, мне кажется, что получилось удачно. Я говорил о взаимосвязи основных глобальных проблем и о том, что единственным кардинальным решением, обеспечивающим выживание человечества, является конвергенция — совокупность встречных плюралистических изменений в капиталистической и социалистической системах. Я утверждал, что сейчас беспредметно спорить, возможна ли конвергенция, — она уже идет, в социалистическом мире это перестройка. В январе или феврале материалы «круглого стола» были опубликованы в журнале «Век XX и мир».

Другой «круглый стол», в котором я принял участие, состоялся в ноябре по инициативе «Огонька». Тема — «Политические, культурные и экономические аспекты перестройки». Были американские и советские участники, последние явно выступали на более высоком уровне.

Осенью 1988 года ко мне дважды обращалась редакция «Нового мира» (редактор С. П. Залыгин) с просьбой о поддержке.

В первый раз это был вопрос о публикации «Чернобыльской тетради» Григория Медведева. Я написал предисловие к этой волнующей документальной повести, написанной специалистом-атомщиком, ранее работавшим в Чернобыле и находившимся там сразу после аварии. Публикация встречала очень большое сопротивление со стороны ведомств, причастных

к аварии. Я подписал составленное С. П. Залыгиным письмо к М. С. Горбачеву с просьбой о разрешении публиковать повесть. Я обычно редко подписываю документы, составленные не мной, но тут отступил от этого правила, хотя стиль письма был мне совершенно чужд.

Другой раз это было еще более громкое дело о публикации в «Новом мире» А. И. Солженицына — «Архипелаг ГУЛаг». Залыгин добился разрешения публиковать это главное произведение Солженицына в журнале начиная с январского номера 1988 года. На обложке одного из осенних номеров при этом предполагалось напечатать соответствующее объявление. Но политическая конъюнктура «в верхах» в который раз изменилась, и от ЦК поступила команда отменить публикацию. Залыгин отказался. Тогда команда была передана непосредственно в типографию, где уже печатали обложки. Большая часть тиража обложек была уничтожена. Таковы нравы «телефонного права». Я тогда подписал совместное письмо от имени Залыгина и моего, адресованное, конечно, опять Горбачеву.

В обоих случаях был, правда далеко не сразу, положительный результат. Произошло ли новое изменение конъюнктуры или сработало наше письмо, вряд ли мы когда-нибудь узнаем.

В середине октября 1988-го ко мне подошел Е. Л. Фейнберг и сказал, что он по просьбе Сагдеева хочет обсудить со мной, согласен ли я стать членом Президиума Академии. Он добавил, что Сагдеев почему-то стесняется говорить на эту тему сам. По мнению Е. Л., было бы очень важно, чтобы в Президиум вошел человек, способный удерживать теперешних членов от всяческих их безобразий. Я сказал, что подумаю, но в душе склонялся к тому, что это во всяком случае гораздо важней, чем Фонд, и менее обременительно. Я, конечно, обсудил этот вопрос с Люсей. Она как-то пассивно (но скорей отрицательно) отнеслась к этому и не дала мне определенного совета. На другой день я сказал Е. Л., что был бы согласен. Вскоре после этого позвонил сам Сагдеев, я повторил ему то же самое, он поблагодарил меня за это решение и добавил, что он сам выдвинут в члены Президиума, но в силу ряда причин не может войти в Президиум и хочет предложить мою кандидатуру. Сагдеев не упомянул о Е. Л. Фейнберге, не сослался на него. Через несколько дней, 20 октября, состоялись довыборы членов Президиума, взамен ушедших по возрасту, по списку, составленному Президиумом. Сагдеев отказался от баллотировки и предложил мою кандидатуру, вызвав аплодисменты зала. При этом он поставил в трудное положение другого кандидата в члены Президиума, академика Гапонова-Грехова, который за несколько дней до этого уступил свое место Сагдееву, но совсем не был готов уступить его мне. В результате он до перерыва не отказался (не решился), а после перерыва, когда уже было поздно отказываться, так как были составлены списки и отпечатаны бюллетени, призвал всех вычеркивать его фамилию и голосовать за меня. Свыше 80 человек его не послушались и голосовали против меня. Но все же я получил большинство голосов, числа не помню.

На первом же заседании Президиума, на котором я присутствовал, я «уцепился» за выборы нового директора Института водного хозяйства АН СССР. Этот институт и его бывший директор ответственны за многие экологические преступления, и было неясно, какова будет позиция нового директора. По моему предложению Президиум рассмотрел на одном из своих заседаний (к сожалению, без меня) этот вопрос. В дальнейшем я несколько раз пытался добиваться более правильной позиции Президиума в ряде ключевых вопросов, как эколого-экономических, так и организационных. Это были, в частности, два обсуждения вопроса о целесообразности строительства канала Волга-Чограй, о строительстве Крымской АЭС и других особо опасных станций, ряд вопросов выборов директоров институтов АН и, наконец, — выборы от Академии наук народных депутатов. К сожалению, мне не хватает умения организовать поддержку и в еще большей степени — информации. Я все же надеюсь, что что-то полезное сумею сделать.

Окончание следует

Семен Липкин

МАРТОВСКОЕ СОЛНЦЕ

Грек

У самого Понта Эвксинского,
Где некогда жил Геродот,
У самого солнца грузинского,
Где цитрус привольно растет,

Где дышит в апреле расцветшая
Пугливая прелесть цветов,
Где пышет вражда сумасшедшая
Различных племен и родов,

Где землю копают историки
На твердом морском берегу, —
Кофейню в неприбранном дворике
Никак я забыть не могу.

Туристы, простые и знатные,
Дороги не ищут сюда.
Бывают здесь люди приятные,
Почтенные люди труда.

Армяне-сапожники, умницы,
Портные, торговая сеть,
Мыслители рынка и улицы
Здесь любят в прохладе сидеть.

В обычаях жителя местного —
Горячий, но вежливый спор.
За чашечкой кофе чудесного
Неплохо вести разговор.

Там, в дальнем углу, — завсегдатаи,
И это видать по всему.
Как рады седые, усатые
Соседу они своему!

Он смотрит глазами блестящими,
Издерганный, смуглый, худой.
Поднимет руками дрожащими
То кофе, то чашку с водой.

Поднимет — и в жгучем волнении
На столик поставит опять.
— Я сделал им там заявление:
А что, если смогут узнать,

О нашей проведают гибели
Бойцы Белоянниса вдруг?
За это и зубы мне выбили.
— А много ли? — Тридцать на круг.

— Да что ты, чудак, ерепенишься?
Вернулся? Живи как-нибудь.
Еще ты не старый, ты женишься,
Но рот себе справь, не забудь...

Он слушал и шутки отбрасывал
Оливковой нервной рукой.
А море закат опоясывал
И шум утихал городской.

Казалось, что крик человеческий
Рождался в глубинах морских:
Одних проклинал он по-гречески,
По-русски рыдал о других.

Переселенец

Тихо напевает арычок
О звезде над Тихим океаном
И о том, что белый кабачок
При дороге вырос под каштаном.

Пестики, покрытые пыльцой,
Средь листвы колеблемый фонарик...
Кружку пива пьет товарищ Цой,
Загорелый, высохший малярик.

В тайники тоскующей души
Проникают запахи соблазна.
Шашлыки, пельмени, беляши, —
Вкусно, жирно, дешево и грязно.

Все похоже на родной уют,
На стене — следы густой олифы,
Предлагая сорок разных блюд,
Сверху вниз бегут иероглифы.

Дальше — рынок. Продают собак.
А на среднеазиатском лёссе
Набухает рис. Пахуч табак.
Хороши пшеничные колосья.

Что в полях желтеет вдалеке?
Корсянка. И над нею звонок
Комариный плач. В тугом мешке
Неподвижен за спиной ребенок.

Старый Цой, о чем же ты грустишь?
Может, погрузился ты в нирвану?
Иль в твою насильственную тишь
Ворвалась тоска по океану?

Здесь чужая, знойная земля,
В воздухе — неясная тревога,
И бежит, и кружится, пыля,
Грейдерная бойкая дорога.

Серый полдень

Мне полдень видится дождливый,
Он в темно-серое одет,
Высокомерный и брюзгливый,
Как твой полуоглохший дед.

Из той же выходец породы,
Что анджеловский Моисей,
Он бормотал, снегобородый,
О жизни всей — да и своей.

В тот год (я не нуждаюсь в датах)
Был голод. Шел к тебе твой дед,
И на его пальто в заплатах
Ложился полдня серый свет.

Жена не с ним. Не любят дети.
Внук презирает без причин.
И он один на белом свете,
Всегда один, давно один.

Он упадет. Угрюмый дворник
Сердиться будет лишь на то,
Что, убегая, беспризорник
Уносит мертвого пальто.

Стихотворный переводчик

Как влюбленный, ты околдован,
Здравомыслен, трезв, как судья.
Ты не раб, однако окован,
Такова планида твоя:

Попадая в плен, не сдаваться,
Не меняя, все изменить,
Как десантник, в тайну ворваться,
И, как брат, ее сохранить.

Раскопки

Держава загадочных хеттов,
Империя неких кушан
Имели жрецов и поэтов,
Оратаев и горожан,

Имели возничих и зодчих,
Чертоги и плесень темниц,
В собраньях — вельмож и рабочих,
А в храмах — богинь и блудниц.

Ученые тщатся поныне
Услышать и то, что мертво,
Прочесть на изрезанной глине
Восточных владык хвастовство,

Внушая потомкам надежду
В раскопках узнать, например,
Имелась ли разница между
Россией и СССР.

Перед боем

Будет бой — и хуже: окруженье.
Мертвым в землю мне придется лечь
Или пленом кончится сраженье
И войду я в газовую печь.

Но кого же вспомню в душегубке?
Брата и сестру? Отца и мать?
Иль дурные мысли и поступки
В миг последний стану вспоминать?

За окном — короткий конский топот,
В комнате — комод и образа,
Молодой, дрожащий, жаркий шепот,
Ждущие и жгучие глаза.

* * *

Ты самому себе не лги,
А только слух свой напряги.

Когда внезапно занедужится,
И голова твоя закружится.

Попробуй заболеть, прилечь,
Из грубой глухоты извлечь

Как будто весть потустороннюю,
Не только речь, но и гармонию.

И мысль твоя заговорит,
И ты почувствуешь, что слит

С тем, что есть ты и есть незримое,
Творящее, а не творимое.

Сигнал

Длится такая дорога
Тысячи лет.
Слышим опять у порога
Тысячи бед.

К людям придет ли подмога
В эти края?

Где Он, карающий строго
Наш Судия?

Кто из бараньего рога
Ко мне воззвал?
Это тревога, тревога
Трубит сигнал.

Закатная свеча

Были утра, были полдни,
А в такие вечера
Звезды, свечечки Господни,
Загореться вам пора.

Виноватого украсьте
Вашим светом, дайте мне

Чистых праведников счастье —
Ночью умереть во сне.

Чтоб огонь ко мне спустился,
На ветру не трепеща,
Чтоб я тихо засветился,
Как закатная свеча.

Ночь и день

Шабаш деревьев, разноголосица
Птиц, травы, поездов.
Ждешь — на тебя внезапно бросится
Дьявол из-за кустов.

Что ты постигнешь, дума-отгадчица,
В черной осенней мгле?
Ветер и ветви пугают; прячется
Дьявол в каждом дупле.

Утром казалось — ангелы встретятся,
Близко их голоса,
То не зеленые листья светятся
А серафимов глаза

Ночь — норовая наша обыденность,
Стойбище, быт, закон.
День — это наша выдумка, видимость,
Наш вожделенный сон.

* * *

Надоело грешить не грехом, а грешками,
Что противней всего.
Обнажается суть в этом скучном бедламе
Существа моего.

Надоело грешить, да и трудно молиться,
Забываю слова.
Я частица того, что само есть частица
Моего существа.

Как мне трудно молиться, слова забывая,
С детства нужные мне.
Дни летят, как снежинки, весь мир закрывая,
Дни мелькают в окне.

Мартовское солнце

Березы не болеют,
А весело белеют,
Заглядывают в окна
И смотрят: что у нас?
А что у нас? Простуда
Да грязная посуда,
И воздух умирает,
Как некий древний сказ.

За окнами такое
Сияние покоя
И мартовского солнца
Так важен обиход,
Пусть где-то бомбовозы
Гудят, а здесь березы
Белеют, озаряя
Мой медленный уход.

В переулке

Теплый вечер затихает
И становится смуглей.
Серебром благоухает
Старость тополей.

В переулке все смешалось:
Населенья бедный бред,
И незримый стыд, и жалость
Тех, которых нет.

Их домов малоэтажных
Тоже нет давным-давно.
Льется свет гигантов важных
Из окна в окно.

Льется мертвый, льется лживый.
Но, вникая в чуждый свет,
Тополя живут — и живы
Те, которых нет.

Анатолий Курчаткин

РЕКВИЕМ

ПОВЕСТЬ

1

О, Господи, я еще не знал, что через несколько месяцев буду его хоронить. Мне казалось, и в нынешнем своем состоянии он проживет еще годы и годы,— такой запас крепости и здоровья был в нем, столько энергии, физической и интеллектуальной, еще совсем недавно, природа рассчитала его лет на сто, не меньше!..

Мать лежала в больнице, и мы в основном обитали в квартире вдвоем. Я вел хозяйство, ездил через весь город с передачами и еще умудрялся сидеть за столом: тем самым, за которым когда-то, в детстве, делал уроки, а позднее, в год после армии, писал журналистскую белиберду для молодежной газеты, от недели к неделе все больше сходя с ума от подневольности своего пера, заранее ограниченного высшею волей комсомольского областного начальства, а пуще всего — от тупой необходимости неуклонно следовать в своем подневольном вдохновении куцым реалиям поверхностного пространства жизни, не смея ничего ни прибавить к ним, ни убавить, но обязанный непременно приправить их розово-сладким сиропом социалистического идеала в его развитии... Я тогда тяготился и этим столом, в то время еще по-прежнему стоявшим на том же месте, где он стоял и в пору моего подросткового взросления, и оттого напоминавшим мне обо мне ином, каким я уже не был, а более того не хотел быть, я тяготился вместе со столом и всем родительским домом, его укладом, его атмосферой — и рвался из него в какое-то иное обитание, что имело бы иной вкус, иной запах, иной цвет, уходил, снимал комнаты, углы... пока не выдрался насовсем. В красный город Москву, к другому говору вокруг, к другим людям — в иное обитание.

И вот ухнули в Лету, минули, сделались прошлым без году два десятка лет,— и я снова, как ни разу со дня своего отъезда отсюда, жил здесь не гостевой, поскакушечье-воробьиной, а обыденной размеренной, рутинной бытовой жизнью, заново осваивая овощные и молочные магазины, булочные и «гастрономы», узнавая старые их порядки и приноравливаясь к новым. Картошка по утрам бывала в угловом магазине на Ломоносова, но могло и не оказаться. Хлеб в ближайший продуктовый привозили после обеда, а в булочную, что в «стоквартирном» доме, на рассвете, к открытию. Колбасу и масло продавали по талонам, четыреста граммов колбасы на талон, масла — двести граммов, по два талона на человека в месяц. Талоны выдавали в ДЭЗе, дирекции по эксплуатации зданий, ЖЭКе по-старому — согласно списку постоянно прописанных,— разок, на стыке месяцев, сходил, получил талоны и я, предъявив для того угрюмой, безъязыкой бабе из бухгалтерии книжку квартплаты; дирекция располагалась все

в том же двухэтажном, сложенном из кирпича и оштукатуренном, но какого-то барачного склада доме, здесь я в свои шестнадцать лет обрел удостоверивший мою принадлежность к советскому гражданству паспорт, молчаливо выброшенный мне в окошечко равнодушной паспортисткой, и получение талонов напомнило мне то давнишнее событие моей жизни, ожидавшееся как праздник и свершившееся рутинным механическим действом...

Брат объявлялся через три дня на четвертый, чаще всего под самую ночь, когда мы оба с отцом уже лежали в постелях, разделенные тонкой стенкой между комнатами, громыхал холодильником на кухне, брякал кастрюлями, шаркал по коридору и потом, наконец, возникал в дверном проеме, приглядываясь в темноте, рассеянной уличными фонарями, в белесоватую мглу, свободен ли диван, я обычно расставлял для себя посередине комнаты раскладушку, и он, стараясь потише, застилал диван, ложился, чтобы встать утром раньше меня, вновь прогреметь холодильником, прошаркать по коридору и уйти, хлопнув за собой входной дверью.

И снова день мы жили с отцом вдвоем. Поднявшись и готовя на кухне завтрак, я слышал из дальней комнаты короткий металлический скрип и — продолжением ему — такой же короткий, мучительный вскрик, бросался туда, чтобы помочь,— отец, ухватившись за спинку кровати, вставал, перемещая тело из ночного горизонтального положения в вертикальное дневное, перемещение это давалось ему какой-то страшной болью, ломавшей все его кости, и крик вырывался из него помимо всякой его воли, как он ни стыдился того. Ничего-ничего-ничего, быстро проговаривал он, когда я оказывался перед ним, все в порядке, не надо помогать, и, держась за облупившуюся никелированную спинку рукой, с омертвевшим от жуткого напряжения лицом, осиливал себя спустить ноги на пол и встать. У-ух, выдыхал он, с облегчением качал головой и глядел на меня с каким-то виноватым, будто оправдывающимся видом. Вот, что такое, непонятно, так изматывает, говорил он, еще прислушиваясь к уходящей боли, но уже освобождаясь от нее и светлея лицом. И шутил следом, толкая меня в плечо своим большим, крепким, усеянным пигментными пятнышками «гречки» кулаком: думаешь, я уже все, развалина? я еще вполне, меня бы вот только боль эта отпустила!..

Он очень исхудал за те несколько месяцев, что я не видел его, широкий, крупный его костяк, будто рентгенно обозначив себя, весь выступил наружу, торчала барабаном грудная клетка, вылезли твердыми углами плечи, перильно вывалились ключицы. Днем, в одежде, этой его страшной худобы не было видно, широкая его кость не давала заметить ее, и только вот по утрам, когда он вставал с постели и был в майке, и обнаруживалась некая тайная, скрытая от глаза работа организма, медленно, постоянно и, видимо, неуклонно вот уже два почти года съедавшего самого себя.

И все же я не верил в близкую его смерть; год назад, в больнице, он был совсем плох, не мог пройти двадцати метров от двери своей палаты до двери отделения, чтобы расстаться со мной на пороге, проводить взглядом до выхода, я тогда уже попрощался с ним, сказал себе, запомни это ваше свидание, запомни навсегда, но он выкарабкался, выбрался из своей немощи, перемогся, и спустя несколько месяцев, в новый мой приезд, мы осилили с ним на прогулке по улицам нашего рабочего поселка километра два, не меньше. Он задыхался, уставал, мы шли медленно, но два километра соотносились с теми двадцатью метрами как сто к одному!

Однако жить по-бобыльи, ходить в магазины, стоять там в очередях, готовить себе еду, следить за квартирой — это ему было не по си-

лам, да к тому же следовало ездить в больницу с передачами, а каких забот должна была потребовать мать после предстоящей ей операции — вообще неизвестно, положиться на брата — невозможно, у сестры — пять рабочих дней в неделю, с утра до вечера, другой конец города да собственная семья, требующая женского обихода, а я что ж — вольный хлебопашец, ни перед кем никакого отчета, ни отпуска не надо просить, ни станок с собою тащить, бумага с ручкой — весь инструмент, и вот я приехал, жил здесь, в родительском доме, доме своего детства и юности, замороженной армией на три долгие года, отставив на время собственную жизнь в сторону, и если говорить о тревоге, что мучила меня, то она имела отношение не к отцу, а к матери. Операция, что предстояла ей, была связана со злокачественной опухолью, и была эта опухоль в кишечнике, в прямой кишке.

2

Оба они, и мать, и отец, приехали сюда, когда на месте нынешних домов и улиц шумела, как писалось во всех юбилейных номерах многотиражной заводской газеты, вековая тайга. Эту «вековую тайгу» я еще застал в детстве: она начиналась в каком-нибудь километре от нашего дома, лохматясь сумрачными еловыми лапами на другой стороне улицы так называемого «индивидуального поселка», что громадной избяной подковой охватывал «соцгород»; первые метров сто пятьдесят — двести в таежную глубину были вполне культурны, вычищены лесником, но ягода — и земляника, и черника, и брусника с костяникой в конце лета и осенью — росла на каждом шагу, под каждым кустом, и попадались поляны — присядешь да так и не встанешь с места, пока не наберешь свою детскую корзинку с верхом.

Отец приехал в двадцать девятом, закончив в своем глухоманном сибирском городе счетоводческий техникум. Техникум в городе был, а работы по специальности не имелось, как не имелось ее вообще никакой и прежде, когда закончил школу: удавалось только, если случалось затоваривание, подработать грузчиком в речном порту, неделю-полторы в месяц, благо, отец был крепок и необычайно силен от природы. Не знаю, существовал ли уже тогда тот механизм жесткого послеучебного распределения с крепостным закабалением молодой жизни на тридцать шесть бесконечных месяцев, что был введен в действие платой за бесплатное обучение позднее, видимо, нет, не существовал: получать назначение прибыл отец в горисполком, и там ему без всяких околичностей было сказано, что работу он получит только в обмен на два организованных колхоза. Выдали предписание, револьвер в карман с десятком патронов и велели в неделю уложиться. В детстве, когда впервые услышал от него рассказ об этом его участии в эпохальных событиях коллективизации, я был страшно разочарован, что револьвер так и пролежал всю неделю в кармане нетронутым, не случилось никакого кулацкого нападения, а само образование колхозов произошло до постного просто. «Ну дак, власть велит, дак надо»,— решили мужики на созванном отцом сходе и пошли ставить свои имена в список, тут же, с общего благословения, избрав себе и председателя. Наверное, в других местах, на том же Урале, где-нибудь даже в соседней деревне все происходило по-иному, но у отца вот так. Может быть, и в том было дело, что это был именно он, отец: смущался, косноязычил, краснел, не жал ни на кого, а уж тем более не грозил, просил, а не приказывал — очень я хорошо представляю, как он делал это.

Но вот вопрос: понимал ли он, что он делает, осознавал ли меру праведности и, выражаясь высокопарно, исторической необходимости совершаемого? Нет, надо полагать. Не понимал и не осознавал. Сколько ему было тогда, в двадцать девятом? Неполные двадцать три года. И что он имел за плечами к этим своим двадцати трем? Биржу труда сразу после выпускных экзаменов в школе, безработные пустые дни, ордера на разовую работу в порту — и снова пустые безработные дни, учебу в техникуме, обретение специальности и угрозу новой безработицы... А тут, в недальнем уральском городе, за четыреста верст на запад, собираются строить какой-то завод-гигант, и там тебе обещают твердое рабочее место; приезжаешь — так оно и оказывается, есть, имеется, и только вот нужно перед тем... как оно было там сказано: исполнить долг? помочь в строительстве новой жизни? подставить плечо под общенародное дело? — да и убедительно ведь, наверное, говорилось, с чувством правоты, боли, романтической одержимости, с воодушевляющим фанатическим блеском в глазах...

Мать сделалась здешней жительницей со второго захода. Первый раз она приехала сюда в тридцатом году — в четырнадцать с половиной лет, закончив у себя в селе семилетку, проработала несколько месяцев учетчицей электроэнергии на заводе, что-то заскучала по дому, по оставленной там матери, моей бабушке Кате впоследствии, и, не отпросившись ни у кого, не уволившись, только сказав своему хозяину-земляку, что уезжает, с тем же плетеным лыковым коробом, с которым прибыла, села на поезд, и он понес ее обратно на родину — прочь, прочь от этого людского варева, от этого индустриального шума и суеты, от вздыбленной, искореженной котлованами земли... Но там, на родине, негде было работать, негде учиться, и если с работой так ли, эдак ли, рано или поздно что-нибудь наладилось бы — в той же школе, на железной дороге, на лесном складе,— то с учебой ничего невозможно было придумать, потолок достигнут, а учиться хотелось, страшно хотелось, до изнеможения, да обнаружилось, что ее, оказывается, и тянет туда, в эту вздыбленную шумную жизнь, словно бы обещающую некий праздник впереди, она уже хлебнула той жизни, и та сделалась потребна ей, необходима,— и, спустя новые полгода, мать снова очутилась здесь, только теперь она была умудрена опытом прошлого своего приезда и пошла не на сам завод, а на строительство: там сразу давали общежитие, а кроме того, прямо при тресте были какие-то экономические курсы, и уже через несколько дней по приезде она училась на них.

Это, скорее всего, был конец тридцать первого, и с той поры мать с отцом ходили по одним улицам, вдыхали один и тот же состав воздуха, творимый дымящими трубами мартенов, домен и электроцентрали, одни учреждения оформляли им всякие необходимые для жизни бумаги — ляпали печати, ставили подписи, удостоверяли, подтверждали, ходатайствовали,— но пробежало еще целых восемь лет, пока они встретились.

Я не знаю, как они жили эти годы. Я знаю какие-то события, происходившие с ними, но события — только внешняя оболочка течения дней, тонкая пленка на их поверхности, скрывающая своей дымкой истинное содержание. По правде говоря, эта их жизнь, до встречи, не очень-то интересует меня. Детям не должно знать о родительской юности. Юность сумбурна, полна опрометчивых, оступчивых шагов, неверных решений, ложных пристрастий, истинное лицо человека вылепливается лишь семьей, когда он, не успев еще сам осознать того, перестает принадлежать одному себе, когда приходит к нему испытание *долгом* перед призванной им на свет из небытия, вне его воли и подчас желания, беззащитной, крохотной новой жизнью,— вот это-то истинное лицо и должно знать сыну и дочери.

Впрочем, подобно палеонтологу, что по какой-нибудь одной кости может реставрировать весь облик вымершего доисторического жи-

вотного, я, конечно же, могу восстановить юность родителей в тех мельчайших деталях, что, оказавшись недостоверны формально, будут абсолютно точны в сущностях,— но я не испытываю в том потребности. Они неразрывны для меня, что бы и как бы у них ни было все эти прожитые вместе годы, они начинаются для меня с того дня в тридцать девятом, когда линии их судеб, давно блуждавших друг вокруг друга, пересеклись, и даже туда, в ту пору, когда они еще вились по отдельности, все равно я смотрю каким-то таким образом, что эти линии сливаются для меня в одну.

На обороте небольшой, мелкого формата фотографии написано карандашом: «1 мая 1938 г». На невысокой каменной тумбе с отходящими от нее, что-то огораживающими цепями сидит, развернувшись вполоборота, смотрит, улыбаясь, через плечо в объектив молодая красивая женщина в пальто с воротником «шалкой» и сдвинутом набок неизвестного цвета, почему-то мне кажется, красном берете, а рядом, за нею, вокруг нее, вбирая ее в себя, растворяя ее в себе малой частицей,— плотная человеческая толпа: фасы, затылки, профили, спины, плечи, древки транспарантов — женщина выделяется из толпы лишь тем, что смотрит в объектив, что это ее фотографируют, а не кого-то другого, да еще тем, что она моя мать.

То первомайская демонстрация, колонна, видимо, стоит где-то на пути к «городу», как у нас всегда говорили, имея в виду центр, а может быть, даже, заключая по огораживающим что-то фундаментальным цепям, и в собственно «городе» уже, где-нибудь на «плотине», с которой без малого два века назад и зачался город, перед самым уже вступлением на площадь, носящую имя первой русской революции, где на обильно забранной красной материей деревянной трибуне ждут ее, вздымая в приветствии руку, партийные, советские и хозяйственные руководители города и области. День, судя по пальто, в которые одеты люди, и по головным уборам,— холодный, ветреный, но — солнечный, полный света, все ярко, грифельно, четко, полно радости, бодрости, силы и — предвкушения близкого уже движения.

Они еще не встретились, мои мать и отец, мать на этой фотографии еще не знакома с ним, и отец еще, возможно, не подозревает о ее существовании, но их неведение друг о друге не мешает мне видеть отца на этой фотографии рядом с матерью,— может быть, он просто вышагнул случайно из кадра, угодил под его обрез, а может быть, и попал даже, есть там, присутствует невидимо, скрытый нечаянно чьей-то чужой спиной. Ему нравится его работа экономиста в планово-производственном отделе завода-гиганта, она дает необходимую нагрузку его интеллекту, доставляет удовольствие уже одним сознанием твоей причастности к делам этого гиганта, флагмана советского машиностроения, прокладывающего путь к индустриализации страны, к новой, справедливой, прекрасной жизни, и так великолепно после рабочего дня, быстро переодевшись дома и наскоро перекусив (вызвали сюда, поближе к подступающей новой жизни, из оставшегося на обочине индустриализации глухого сибирского города родители, и нашлось на флагмане дело и для них), так великолепно и упоительно погонять на заводском стадионе футбольный мяч — и два, и три часа подряд,— ощущая потом, по вечерней дороге домой, как изнеможенно гудит счастливой усталостью все тело и ждет, ждет уже завтрашнего дня — чтобы снова проходная, снова работа... И эта молодая, двадцатидвухлетняя женщина, что носит имя моей матери, она тоже любит свою работу, она тоже экономист, только в строительном управлении, что строит и строит всякие новые цехи заводу-гиганту, ей нравятся торжественные праздничные собрания в только что построенном заводском Доме культуры, когда в президиуме за красным столом сидят твои руководители, которых обычно никогда не видишь, когда под аплодисменты зала производится награждение лучших работников грамотами, денежными премиями в конвертах и ордерами на внеочередное приобретение обуви и мануфактуры, и ей тоже удалось перевезти сюда свою мать, будущую мою бабушку Катю, у них на двоих комната в квартире коридорной системы по улице, носящей имя Ильича, в квартире теплый туалет с канализацией, и из крана на кухне течет вода...

Правда, ни у него, ни у нее не получается что-то с настоящим образованием. Ей только удалось закончить те курсы, на которые поступила тогда, сразу по приезде. Потом училась в двух техникумах, совмещая учебу с работой, хорошо училась — нет, отлично,— сдавала курсовые, зачеты, экзамены, но вышло так, что расформировали один техникум, потому как обнаружилось, что программа обучения там была составлена еще по старорежимным, царского времени образцам, все пришлось начинать заново, заново поступать на первый курс, заново долбить азы, а когда дело дошло до выпуска, расформировали и этот техникум — все руководство его оказалось троцкистским, соответственно то есть были составлены и программы,— и вместо дипломов выдали только справки о прослушанных курсах... Ему, в свою очередь, пришлось отказаться от учебы в Ленинградском кораблестроительном. Сначала он года четыре поступал в него, потому как, несмотря на крестьянское происхождение своих родителей, сам уже шел по разряду «служащих», поступил, наконец, на заочное отделение, отучился год, другой — и больше не выдержал: просить отпуск на сессии, хотя отпуск вроде и полагался согласно закону, оказывалось каждый раз таким испытанием, таким героическим одолением трудностей, что сил на это одоление не хватило.

Правда, словно бы некое дыхание тревоги, некое затаенное напряжение было разлито в окружающем воздухе, и, случалось, иногда им опахивало то его, то ее. Однажды ему позвонили из отдела кадров и приказали в обеденный перерыв подойти в комнату номер такую-то к спецуполномоченному НКВД. С какой бы, казалось, стати ему, ничего не знающему за собой, по дороге в эту комнату номер такой-то обливаться тяжелым пóтом ужаса, готовясь к самому дурному? — однако же было именно так. А вызов оказался более чем невинным. Когда он, постучавшись, открыл дверь, из-за стола встал ему навстречу его бывший сокурсник по сибирскому техникуму, засмеялся довольно и выбросил вперед руку для приветствия: «Что, в штаны уже наложил? А я тут просматриваю дела, вижу — знакомое имя, смотрю биографию — да это ты! Ну, решил повидаться!» Того-то помнишь, вел разговор бывший сокурсник, ныне спецуполномоченный НКВД на заводе-гиганте. Расстреляли. Зам. директора торга был, крупные хищения обнаружились. А вот того, ну ты с ним дружил даже какое-то время? Тогда же еще, вскоре, как мы закончили, на Беломорканал отправили, на перековку,— скрыл свое происхождение, подлец, разоблачили его. А этот-то вот, самый активный у нас был, чистокровным троцкистом на поверку оказался, десять лет ему впаяли!.. Обеденный перерыв подошел к концу, они распрощались, тот, кому предстояло стать моим отцом, с пустым, урчащим желудком пошел на свое рабочее место в другом здании, и долго его потом не отпускала, жала на душу, скручивая тревогой, мысль: а только ли ради воспоминаний был этот вызов, не нужно ли приготовиться в будущем к чему-то такому, к чему, как ни готовь себя, подготовиться все равно невозможно?.. Ее, молодую красивую девушку, будущую мою мать, вызывали в тот дом, где размещался отдел кадров, не-

однократно. Этот же самый, бывший его сокурсник? — уточняли они уже после, сделавшись мужем и женой. Нет, оказалось, не тот. И в другую комнату. И было у нее хуже, чем у него. От нее потребовали сотрудничества. Другими словами, чтобы по назначенным дням и часам она приходила сюда и писала доносы. На тех, с кем работает, с кем дружит, с кем рядом живет. О чем и о ком они говорят, с кем дружат сами, к кому ходят в гости и кого приглашают к себе. Ой, я ни с кем не вижусь, я нигде не бываю, едва не плача, отказывалась она. Вре-ешь, грохал по столу кулаком энкаведешник, нигде не бываешь! Бываешь, еще как бываешь! И разворачивал перед нею такую картину ее жизни, что было ясно: о ней-то самой кто-то докладывал, доносил, подробно и обстоятельно. А если не хочешь сотрудничать, не желаешь советской власти врагов выявлять, кричал на нее этот человек, значит, сама враг! А с врагами у нас разговор короткий! Впрочем, стучал он на нее кулаком и грозил посадить на третий или четвертый раз, а в первые вызовы был ласков, мягок, просителен, хвати у него сил играть чуть подольше, кто знает, может быть, она и уступила бы его настояниям.

Однако же все, что происходило с ними дурного, довольно легко забывалось и им, и ею — обоими, во всяком случае, не оставляло в том, что называется душой, глубокого, долго не заживающего рубца, а личные свои неудачи они отнюдь не были склонны расценивать как некие закономерности, как некие следствия, проистекающие из объективно наличествующих причин.

Что ж из того, что так не везет с учебой,— такова жизнь: кому-то везет, а кому-то нет. И что ж тут такого, что в отделе кадров сидят эти спецуполномоченные из НКВД: газеты пишут, кругом вредители и шпионы — так как же им не сидеть. А если какой из них топочет ногами и бухает кулаком, ну так ведь люди разные, почему не попасться среди них и эдакому. А то, что чувствуешь себя, отправляясь к ним, без вины виноватым,— тоже феномен не великой сложности: лес рубят — щепки летят, и почему одной из этих щепок не оказаться тебе? Главное, не дошло б до войны, а все остальное — мелочи, не стоящие внимания. А не случится войны — завод через год-другой выйдет на все свои проектные мощности, будет обувать и одевать все машиностроение страны, а оно уже, в свою очередь, будет поить и кормить ее, даст возможность утолить любые человеческие потребности и нужды. И тогда появится в продаже вдоволь одежды, станет в достатке еды, построят для всех жилье с удобствами, рядом с этим заводским стадионом вырастет еще один, и еще, с теннисными кортами, с волейбольными, баскетбольными, городошными площадками, с крытыми бассейнами — ходи и плещись...

И словно прямым подтверждением этой недальней прекрасной жизни на призаводскую площадь, что, подобно площади Красной, вымостилась серой брусчаткой, приходит гремучий, звенящий, брызжущий искрами трамвай. Здесь, на площади, его «кольцо», такая рельсовая петля вокруг обнесенного чугунной изгородью небольшого зеленого садика, и, вырвавшись из нее, трамвай вылетает на стремящую себя вдаль стальную рельсовую дорогу, и она, потряхивая его на стыках, побалтывая на поворотах, мчит вагоны вдоль дощатого заводского забора, вдоль шумящей сосновой рощи, остатка прежнего леса, вдоль заборов других строящихся заводов — туда, туда, в «город», куда прежде приходилось добираться перекладными, выехать куда было целое событие, а теперь тридцать минут — и вот он, Пассаж, с протоптанными ступенями широкой лестницы, и торговая улица Вайнера... все, все близко! и в воскресный день можно просто так взять да поехать в центр и погулять вволю по плотине над прудом!

3

Мать уже была в больнице, когда я приехал. Она легла накануне, вернее — это я приехал на следующий день, как она легла; так мы договорились по телефону: я выезжаю, когда ее, наконец, положат. Она ложилась в больницу уже месяца два: являлась туда, собрав вещи, в приемном покое ее выслушивали, измеряли давление, давление оказывалось много выше нормы, а сердце захлебывалось в тахикардии, и ее отправляли домой — подлечиться, наладить давление, укрепить сердце. Она послушно исполняла все врачебные назначения, снова собирала вещи, являлась — и снова все оказывалось по-старому: давление выше всякой нормы, тахикардия — и ее опять отправляли домой. Но вот, наконец, положили, решив в нарушение какой-то инструкции об использовании койко-места, в предоперационный период готовить ее к операции прямо в больнице, билет у меня был заранее приготовлен, как и в предыдущих случаях,— и на этот раз сдавать его не пришлось.

Свидания в больнице разрешались во второй половине дня, в непозднее вечернее время, с пяти до семи, и, когда я, наконец, увиделся с ней, вышло, что она пролежала здесь уже полные двое суток, срок для всякой больницы изрядный, за который успеваешь войти в ее быт, пропитаться им и успевает сузиться до пределов ее стен весь окружающий мир: ни морей-океанов где-то там вдалеке, ни лесов, ни полей, ни заводов с фабриками, ни правительства-политбюро с их георгиевскими залами, только эта палата, тесно заставленная железными кроватями, одна из которых вместе с половиной деревянной тумбочки принадлежит тебе, только этот коридор, ведущий своим длинным узким рукавом в туалет, только эти полупотемки туалетных кабинок, только эта белая голизна позвякивающей хромом и никелем процедурной...

Больница находилась на задах видного, внушительного здания медицинского института, примыкая одним боком к металлической ограде центрального городского стадиона, идти к ней следовало мимо завода ЭМА — судя по названию, выпускавшего какую-то электромедицинскую, а может, механическую аппаратуру,— была обнесена дощатым забором с распахнутыми воротами и так походила на какое-нибудь производственное строение, что я и принял ее сначала за некий отдельно стоящий цех этого завода ЭМА и некоторое время ходил вокруг в недоумении, не решаясь зайти в ворота, пусть и распахнутые, пока другие ее посетители, редкие еще из-за только-только кончавшегося рабочего дня, не подтвердили мою догадку, что это больница и есть.

Уже позднее, много спустя, наездившись сюда, я понял, почему она показалась мне похожей на производственное строение. Ее приземистое двухэтажное здание в форме скобы, крашенное в охристый цвет, имело большие, громадные даже, квадратные окна с частоячеистым переплетом,— такие большие окна делают сейчас только у цехов, чтобы впускать вовнутрь много света, и обычно эти большеоконные строения из-за всей той внутрицеховой копотно-мазутно-масляной грязи, что является неизбежной спутницей их деятельности и так же неизбежно вырывается наружу, приобретают с годами какой-то замызганно-обветшалый, если провести аналогию с человеком, словно б неухоженно-небритый вид,— вот такой она и была. Ее построили еще век назад — откуда и взялись эти громадные несовременные окна,— и затем полные сто лет, ни на минуту не пустея, она перекачивала через себя болящих и страждущих, сквозь все революции, все войны, все коллективизации с индустриализациями, превратясь, наконец, в областную онкологическую больницу, и что ей были

всякие косметические ремонты вроде заново окрашенных стен и перекрытой кровли: здание ее сносилось за век, одряхлело, и ему требовалась операция омоложения, а не румяна на щеки.

— Ну, здравствуй, здравствуй! — сказала мать, появляясь в дверном проеме, около которого я ждал ее, и мы обнялись, поцеловались, от нее пахло мылом и недорогим одеколоном, который она всегда, всю жизнь употребляла вместо духов, седые ее, коротко подстриженные волнистые волосы тщательно промыты, и весь облик ее был довольство и радость, глаза улыбались, голос звонок — ничего от раковой больной, унылый, обреченный образ которой помимо воли заранее жил уже у меня в воображении.

Местом свиданий в больнице служил подвал, вернее, расположенная в длинной стороне «скобы» центральная его небольшая часть метров в двадцать пять, с давящим низким потолком, с толсто обмотанными изоляцией трубами теплоснабжения, проложенными вдоль стен на уровне головы, там-сям по узкой кишке подвала стояли продавленный диван, два продавленных кресла, несколько обшарпанных банкеток, несколько сплоток обшарпанных канцелярских стульев. А дверь, около которой мы встретились, скрывала собой холодную, гудящую ветром, крутую подвальную лестницу — путь на свидания был у больных только через нее.

— Что, как там папа? — первым делом спросила мать, когда мы устроились на одной из банкеток, и я, сняв пальто, положил его рядом с собой на стул. С собственной операцией все было решено, хода назад нет, и она больше не думала о себе, заботой ее был оставленный отец. Сутки с лишним он пробыл один — пока я ехал в поезде,— и что из того, что говорила с ним из больницы по телефону-автомату, по телефону он мог и не сказать всего.

Я успокоил ее, подтвердив информацию отца о себе, подпустил для убедительности каких-то несущественных деталей отцовской жизни в сутки его одиночества,— и тревога оставила мать, она облегченно поговорила со мной о всяких других вещах, о моих московских делах, о невестке, о внуке, о наших планах на лето и затем, как решившись, особым, таящимся голосом сказала:

— Ты знаешь, у него ведь это тоже рак...

Я знал, я это давно знал. С той еще поры, когда встретился впервые с его врачами, и они открыли мне, что болезнь его — лейкемия, белокровие по-другому, правда, не типичная какая-то лейкемия, с какими-то непонятными особенностями, но тем не менее лейкемия, не что иное.

Я только не знал, что знает это она. То есть о лейкемии она знала, но вот о том, что злокачественная...

— Как ты думаешь, с воспалением легких... как-то тут могло быть связано? — спросила она.

Она и сейчас, до сих пор, чувствовала себя виноватой в его болезни.

В немощного, изнемогающего под бременем анемии, из крепкого, полного сил человека отец превратился два с половиной года назад, а началось все с пневмонии,— когда мать лежала здесь, в этой больнице, первый раз, медсестра по телефону сообщила ему о результатах гистологии, и он, обезумев, понесся к ней через весь город, стояло лето, держалась несусветная жара, он вспотел, но ему было так плохо, что он всю долгую, едва не часовую дорогу трамваем высовывался и высовывался из окна под встречный ветер, остужая себя...

Ну что ты, при чем здесь воспаление легких, утешающе сказал я. Я и в самом деле думал, что ни при чем, и найти слова, которые бы облегчили ее муку, не составило для меня труда.

— Но непонятно, откуда у него тогда эта лейкемия? — когда я умолк, будто настаивая на своей вине, с интонацией возмущения спросила мать.— Что он, с какими-нибудь рентгенами был связан? Откуда ее могло надуть?

Миновав некую невидимую возрастную черту, не знаю, с какой поры, но все заметнее год от году, она стала употреблять экономные народные обороты, всяческие просторечия и смысловые усекновения,— видимо, прожитая взрослая жизнь мало-помалу уже вытеснялась из нее старостью, и между нею нынешней и детством перекидывался тот неизбежный мосток, что соединяет устье с истоком поверх этой прожитой жизни напрямую, и, взойдя на который, видишь, должно быть, прожитую взрослую жизнь как чужую.

— Нет, ну откуда, чем ее могло надуть? — недовольная моим затянувшимся молчанием, вновь задала свой вопрос мать.— Это ведь не простуда!

Ей мало было просто слов утешения, утешить ее было не в моих силах,— она нуждалась в объяснении, в понимании причин случившегося. Словно бы понимание могло облегчить ее боль. Не простуда, разумеется, не простуда, сказал я. Но лейкемией болели всегда. И в прошлом веке, и в позапрошлом... Редкая болезнь? Редкая, конечно. Но кому-то ведь и редкая должна выпасть. Случай не выбирает.

Про себя, однако, мне думалось совсем по-другому: а откуда рак у нее? Ведь ее работа тоже никогда не была связана ни с какими облучениями.

Но вслух я ничего этого не произнес.

Время шло, подвал, человек за человеком, наполнялся людьми в уличной одежде, пришедшими на свидание, хлопала лестничная дверь, впуская в подвал больных в халатах и пижамах, вызванных из палат подоконным криком, мест для сидения стало не хватать, я взял свое пальто со стула и положил на колени, жарко в подвале было и без того, а тут сделалось еще и по-банному душно, по спине бежал пот, я чувствовал, как у меня распаренно горит лицо, и вокруг были такие же багровые, полыхающие лица; периодически кто-нибудь пытался открыть дверь на лестницу, чтобы оттуда тянуло холодным воздухом, но попытчика тот же миг заставляли отказаться от его намерения. «Еще только простудиться недоставало!» «Нам, кроме ангины, других болезней хватает!» — раздавалось враз несколько голосов, и мать тоже вставилась в этот хор со своим протестом, а потом уж вместо нее при чьей-нибудь новой попытке провентилировать подвал протестовал я.

— Погляди, вон, в зеленом халате, красивая такая женщина, и мужчина в дубленке рядом с ней, видишь, да? — показала мне мать на пару, сидевшую неподалеку на диване напротив.— Та самая, о которой я тебе говорила. А в дубленке — это муж ее. Какая дубленочка, а? Шик-блеск! На двадцать лет ее старше.

Восторг матери по поводу великолепной, тонкой выделки, лоснисто-коричневой чужой дубленки, как и весь ее предыдущий рассказ о жене владельца этой дубленки, два уже дня ее соседке по тумбочке, был абсолютно бескорыстен, лишен зависти или простого недовольства, это был восторг соучастия, п р и о б щ е н и я, это был восторг в самом чистом его виде. Никогда в жизни ни она, ни отец не имели такой одежды, никогда у них не было трехкомнатной пятидесятишестиметровой квартиры в центре на четверых, обставленной к тому же антикварной мебелью, никто из ее троих детей не ходил в школу с углубленным изучением иностранного языка, никогда муж ее не числился ни в какой номенклатуре и не звался директором, никогда и

сама она не занимала никакого ответственного поста в Облсовпрофе, чтобы «делать» каждое лето путевки в черноморские здравницы на всю семью, никогда она не ездила ни в Чехословакию, ни в Германию, ни в Венгрию, ни во Францию, а уж тем паче Японию, да руководителем группы, так что бесплатно, за казенный счет, всего этого в собственной жизни ей всегда и не хватало: просторной квартиры, чтобы иметь с мужем отдельную от детей комнату и наоборот — возможности поехать в отпуск вместе с детьми, возможности дать им «язык», возможности поглядеть хоть одним глазком на другие страны-народы, элементарного достатка, наконец, чтобы не просиживать вечера за штопкой носков, распяленных на графинной пробке... Однако же то, что какой-то реальный, конкретный человек, реальный настолько, что твои сангигиенические принадлежности лежали в одной общей тумбочке с нею, имел все это, обладал этим, мог всем этим пользоваться, наполняло ее словно бы неким чувством гордости за вздымавшийся рядом уровень жизни: он существовал все-таки, был, имелся, он оказался не сказкой, а действительной былью, а значит, обещанное ей когда-то в юности счастье тоже было реальностью и лишь разминулось с нею.

Пара, на которую показала мать, поднялась, и мужчина с женщиной пошли по узкому проходу между сидящими людьми к двери на лестницу. Проходя мимо нас, женщина кивнула матери, мать остановила ее, представила меня, я полупривстал с банкетки, придерживая на коленях пальто, поклонился, получив в ответ два быстрых, сдержанных полупоклона, и соседка матери с мужем последовали по коридору дальше. У мужчины был крепкий, в седом венчике редких волос глянцево-складчатый затылок, а лицо его за тот миг, что мы стояли напротив друг друга, запомнилось мне своим энергично-бесцветным, заскорузло-деревянным выражением — лицо аппаратчика, не ведающего в жизни никаких сомнений и думающего о ней грубо и просто, как о девке, которая, хочет, не хочет, а все равно, рано ли, поздно ли, обязательно даст. Жена и в самом деле выглядела основательно моложе его, ей было лет тридцать семь, тридцать восемь. И была она не так красива, как ярко, грубо, вызывающе полна зрелой, не вмещавшейся в ней женской силы, сознанием ее и упоением от ощущения ее в себе,— это угадывалось в ее стати, взгляде, повороте головы, походке и придавало ее облику ту особую величественную властность, за которую в народе подобных женщин, если она не без налета вульгарности, зовут кобылкой, а если вульгарное минуло ее, то царицей.

И вот этой полной чувственной женской силы «кобылке», этой «царице» предстояла та же операция, что и матери. Вскроют, отхватят с запасом сантиметров в десять пораженный участок кишки вместе со сфинкром, зашьют анальное отверстие, пристегнут оставшуюся кишку к проделанной дырке в брюшине,—и живи дальше свой век с задним проходом впереди.

Правда, операцию ей, как я знал все от матери же, должна была делать сама зав. отделением, а это, свидетельствовала больничная информация, было не просто гарантией благополучного исхода, но и самого качества операции, это означало, что операция будет сделана точно по показаниям, щадяще и надежно. Впрочем, соседка матери и вообще наблюдалась в обкомовской поликлинике и могла бы лечь в обкомовскую больницу, где ковры в коридорах и палаты на одного человека, а в палате — телевизор, а при палате — душевая комната, не говоря о том, что все напичкано техникой, но таких специалистов, как здесь, в обкомовской больнице нет, и потому пришлось взять направление сюда...

— Вот сейчас она, наверное, радуется, что на двадцать лет ее старше,— следуя своим мыслям, сказала мать, глядя, как муж ее палатной соседки, расставшись с той у двери на лестницу, уходит в глубь подвального коридора к выходу.— Если б ровесники, а? Ему еще сорок, а она с такой штукой... Ладно, это мне уже семьдесят. А она... Ужас! Семьдесят — это все-таки... не все и доживают! Многие не доживают. Чего ж теперь, куда денешься, раз дожила. От чего-то же надо умирать.

От старости, хотелось сказать мне, и вновь я оставил свои слова при себе.

— Да-а, от чего-то умирать надо...— как отвечая самой себе на некий непроизнесенный вопрос, повторила мать, покачав головой.

Она говорила обо всем этом без надрыва, без жалости к себе, а с той как бы даже залихватской, веселой легкостью, что всегда появлялась в ней в пору любых жизненных затруднений, из которых она не видела выхода собственной волей,— будто отдавала вожжи судьбы бьющейся под колесами дороге: правь, не правь — все равно вынесет, куда поведет колея. Она словно обминала себя под обстоятельства, приспосабливала себя под ту форму, которую они навязывали, приноравливаясь не двигать рукой, не шевелить ногой, скрючиться, пригнуться к коленям... чтобы после, в свой срок, переспособиться к иной форме,— не изменившись нисколько во внутренней своей сути. И было это врожденное, всосанное с молоком матери, нет — впитанное еще через пуповину или благоприобретенное, нажитое своим собственным опытом? Возможно, и то, и другое. И всосанное-впитанное, и нажитое, благоприобретенное.

Мы досидели с нею до самого позднего времени, до которого было позволено находиться в подвале. Кругом уже снова сделалось пусто, стало легче дышать, и в забранные решеткой подпотолочные оконца, которые, когда я пришел, были еще сумеречно-сини, светили желтые фонарные огни. Наверху прокатился и стих, отзвякав тарелками, отбренчав алюминиевыми ложками, скорый больничный ужин, мать вызывали к ее порции, я отправлял ее, говоря, что подожду, она отказалась: «Да что там есть. Возьмешь ложку, смотришь — и не лезет ничего. Вот ты принес, это и поем». «Ну все, правил, что ль, не знаете, заседаете тут, запру вот вас на ночь!» — появилась, наконец, выгоняя нас, некая баба в распяленном на толстом животе синем халате, и мы с матерью снова обнялись, снова поцеловались, и она, запахнувшись, скрылась за ледяным зевом лестничной двери.

На улице я обогнул здание больницы по внутреннему двору, зашел с торца и, отыскав глазами указанное матерью окно на первом этаже, увидел ее в нем. Она уже ждала меня там, отведя в сторону занавеску и с напряжением вглядываясь в слепую темноту перед собой. Боже мой, ё-моё, думалось мне, пока я, проваливаясь в сугробную пухлоту, отыскивал натоптанную тропку к окну, вот я был их маленьким сыном, они растили меня, не спали из-за меня ночей, сидели надо мной, когда я болел и, похоже, умирал, и разве было кому до меня дело на всей этой громадной земле, кроме них? — никому! умер бы — и никто б не заметил, и нет сейчас, кроме выращенных ими детей, никому дела до них...

Палата была женская, и мать не дала мне оглядеть все ее пространство, откинув занавеску ровно настолько, чтобы лишь показать свое *место*. Ее место, считала она, очень приличное: у стены и не около окна, так что не дует, но и недалеко от него, так что днем светло, можно читать, и еще широкий проход между кроватями — удобно скидывать ноги, когда встаешь, единственно что соседка ря-

дом, другая, не та, что я видел, на кровати впритык,— как раз после операции, только перевели из послеоперационной, не спит ночами, не давая спать и ей, и не в состоянии ухаживать за собой, а из нового отверстия у нее все время идет, приходится ходить за нею, несколько раз в день обмывать, менять салфетки и заново обматывать бинтами, потому что она иногородняя, и специального пояса ей никто не сшил и не привез.

Узкая вертикальная полоса палатного нутра, открывшаяся мне в щель между занавеской и оконной рамой, давала полное представление обо всей палате: и о ее тесноте, и о ее многолюдности. Кровати, с подбористыми солдатскими тумбочками между ними, стояли и у стен, и посередине, где вдоль, где поперек, где сразу две рядом, как у матери с другой ее соседкой, и так вот, знал я из подвального описания матери, было втиснуто туда четырнадцать кроватей, и на них, дождавшись своей очереди лечь, лежали и те, кому лишь еще предстояло самое начальное обследование, и те, кто уже ждал операции — как моя мать, и те, кто уже прооперировался и поправлялся, и те, кому после операции уже не суждено было выписаться, кто отходил, в хрипах и бульканни обессилевшего дыхания, слабея день ото дня все больше и больше, и должен был выйти отсюда только на носилках, ногами вперед...

Ну все, иди, пока, махнула мне мать рукой, опустила занавеску и осталась там, в громадной четырнадцатиместной палате наедине со своей страшной болезнью, как были, впрочем, наедине с нею и все остальные обитатели этого здания с производственными квадратными окнами.

С трамвайной остановки у завода ЭМА, если все равно, каким путем, можно было поехать домой и в ту, и в другую сторону. Один путь лежал через центр, через вокзал, а потом — через долгую, трехкилометровую дорогу с непрерывными заборами десятков заводов по обе руки, другой — через окраину, через старую часть города, носившую название завода, занимавшего собой, наверное, не меньшее пространство, чем тот, строить который приехали полвека назад мои родители, первым, сыпя с проводов искры, подкатил трамвай, что шел через окраину, я сел в него, и почти всю долгую дорогу он грохотал мимо темных силуэтов градирен и труб на фоне подсвеченного огнями мартеновских цехов белесого неба тянулись вверх и расползались вширь мглистым туманом дымы, и от них саднило горло.

Глядя в окно на трясущийся за ним незабытый родной пейзаж, я все перебирал, переминал в памяти наше свидание с матерью. Деньков через пять-шесть будут делать, сказала она мне, когда я спросил о возможном сроке операции. И добавила, непонятно понизив голос, не с надеждой, а желанием надежды: «Вообще врач, который мне делать будет, говорил, что у меня только локализованный участок поражен, может быть, сфинкр еще и оставят.— И взглянула на меня с этим желанием надежды в глазах, нет, надеждой надежды, вот как: — Хорошо, если б так. Чтобы нормальным человеком остаться».

Деньков, значит, через пять-шесть, через пять-шесть,— повторял я, глядя в окно и ничего не видя за ним. Ну, через неделю, может быть. Через пять-шесть, через неделю...

4

Операцию матери не сделали ни через пять дней, ни через шесть, ни через неделю.

Она заболела. Была ли тому виной холодная, гудящая сквозняком лестница, которую, ходя на свидания, не мог миновать никто из боль-

ных, или уж и без того бы случилось так, но в больнице началась эпидемия гриппа. Захворала соседка матери, с которой лежали бок о бок, да мать все продолжала ухаживать за ней,— и свалилась сама.

Высокая температура продержалась у нее несколько дней, а потом пошла субфебрильная, тридцать семь и три да тридцать семь и три, она страшно ослабла, еле ходила, купаясь в поту от малейшего усилия, мучилась насморком, снова замерцал пульс, и в бронхах открылись хрипы. Наши свидания в подвале прекратились, она опасалась, что, потную, на лестнице ее заново вмиг прохватит, и мы виделись через окно палаты, объясняясь знаками, а морсы и еду, что приносил из дому, я пересылал в урочный час через окно передачи, получая от нее обратно тем же путем чисто, блистающе вымытые баночки, бутылки, полиэтиленовые пакеты. Раз и другой в официально отведенное время, прождав примерно по часу, я встретился с ее врачом. Это оказался молодой человек около тридцати, с темным, хмуро-неприветливым лицом, у него был вид озабоченного тяжелой, неподъемной мыслью мастерового, какими их изображают в фильмах про борьбу пролетариата в царской России, говорить ему со мной не хотелось, я видел, как ему буквально физически тяжело это, и все те четыре или пять минут, что мы простояли друг против друга, больше говорил, наверное, я, чем он. Да, жалко, что заболела, совсем уже была готова к операции. А кто вам сказал про сфинкр, ваша мать? Это вообще не ее дело. И не ваше. Какие показания будут, так и сделаем. Это рак, вы что, не понимаете? Не все ли равно, как мы сделаем, что вы так, собственно, инспектируете? От вас все равно ничего не зависит. Еще вопросы есть? Извините, мне некогда. И ушел — хмурый, недоброжелательный, чем-то, когда-то и навек придавленный, с прячущими какую-то боль глазами,— человек, о котором я ничего не знал, кроме того, что вычитал у него в лице, и которому — без всякого права выбора, абсолютно однозначно — должен был доверить свою мать.

Раздобыв телефон заведующей отделением, я позвонил ей, она сразу же согласилась на встречу, назначив час, и вышла ко мне ровно в названное время, минута в минуту. С нею мы проговорили еще меньше, чем с лечащим врачом матери. Она была деликатно-строга, деловита и железно-непререкаема. Вслушиваясь в твердые, бесстрастные интонации ее голоса, глядя на ее сухо-закрытое, непроницаемое лицо, академически завершенное в своей непроницаемости легкими желто-проволочными очками, я понял, почему она, а не кто другой, хотя и не знал я этих «других», заведует отделением. У нас все врачи хорошие, сказала она. Вы что-нибудь имеете против вашего? Ничего не имеете. Ну так что тогда, мне не понятно. Это его операция, он должен делать. Не высказанное матерью желание, прозвучавшее в той неосознанной зависти, с которой тогда, во время нашего первого свидания в подвале, она поделилась со мной, что ее соседке в зеленом халате, направленной из обкомовской поликлиники, будет делать операцию сама зав. отделением, заставило меня попросить заведующую сделать операцию и матери, и заведующая, без малейшей заминки, все с той же деликатно-деловитой, бесстрастной интонацией ответила: «Да нет, ну зачем же. Это не моя операция. А врачи у нас все хорошие, я же вам говорю».

«Царице» между тем в свой, установленный срок операция была сделана, все прошло благополучно, и, отлежав положенное время в реанимации, а затем в послеоперационной, она вернулась в палату к матери, только теперь место ее было не рядом с матерью, а в другом конце палаты. Случалось, когда мы разговаривали с матерью знаками через окно, в щель между занавесками я видел мелькание зеленого халата «царицы»,— она уже ходила без всякой помощи, и раз, сдавая

в окно передачу, я видел, как она медленно прошаркала коридором к подвальной лестнице на свидание с мужем.

А мать все что-то не поправлялась и не поправлялась, температура не проходила, хрипы в бронхах не исчезали, ее уже вовсю кололи атибиотиками, а она кашляла так, что от одного вида этого кашля ясно было, что ни о какой операции не может быть и речи,— легкие ее просто не примут в себя наркоз. Время для меня будто остановилось. Я приехал заряженный на постоянное, ежесекундное напряжение, я был пулей, засланной затвором в патронник, и ждал операции матери, как скорого, обжигающего удара в капсюль... а вместо этого пришлось словно бы извлечься из глухого гнезда патронника обратно в магазин, обратно к обычной, рутинной жизни, и это состояние расслабленной извлеченности угнетало меня, томило, я ничего не мог делать, вел хозяйство, стряпал, ездил с передачами, но и лишь; сидеть за столом, работать, как работал еще даже сразу по приезде,— на это я не мог поднять себя, во времени словно образовались пустоты, мне нечем было заполнить их, и часто, съездив с передачей, половину обратной дороги я проходил пешком, заглядывая в различные полузабытые городские закоулки, от узнавания которых екало сердце,— сейчас, задним числом, я ощущаю эти дни как дарованные мне судьбой для прощания с родным городом.

Больница, как обнаружилось в пору этих моих пеших прогулок, стояла недалеко от площади, имевшей название Коммуны, площадь была исполосована рельсами трамвайных путей, в скверике между путями располагалась аллея ударников труда здешнего района — унылые, скучные портреты однообразно оптимистичных мужчин и женщин, отличавшихся друг от друга именами и профессиями в подписях,— а в другом, более обширном сквере через дорогу выхваченным из ножен мечом вонзался в небо серый гранитный обелиск памятника борцам, павшим за установление советской власти на Урале в годы гражданской войны, у подножия обелиска гудел, трепался на ветру голубой всполох вечного огня, и около него, в какой бы час утра, дня или вечера ни проходил, несли с автоматами в руках дежурство мальчики и девочки подросткового возраста с выпущенными поверх одежды красными галстуками. Раза три я стал свидетелем развода караула. Караульное помещение, откуда совершался развод, какое-то внушительное, старокупеческого вида, крашенное охрой строение, находилось на моем пути из больницы, и я шел рядом с марширующими, в нескольких метрах от них, вглядываясь в их лица, в их одежду, в оружие, воронено поблескивающее на груди,— юные их лица были полны сознания значительности совершаемого, самоуглубленно отстранены от окружающего мира и плакатно-суровы, одеты они были во что-то полувоенное, какие-то форменные брюки, какие-то бушлаты и уж точно солдатские шапки со звездочками посередине, и совершенно настоящими были автоматы АКМ с прочными деревянными прикладами и примкнутыми рожками магазинов, только вот, наверно, рожки были пусты, и в казенной части у автоматов просверлена дырка.

Ребята шли, стараясь печатать шаг, оружие на каждый удар ноги вздрагивало у них на груди, а особенно тянула носок, поднимала его чуть не до уровня бедра разводящая — девочка обычно,— и так они доходили до вечного огня,— девочка-разводящая, остановившись строго напротив гудящего пламени, отдавала команду, и часовые из-за ее спины, еще усерднее печатая шаг, расходились в разные стороны, делали прямой угол, подступали к сменяемым, те при их приближении выступали на шаг вперед, поворачивались на девяносто градусов, лицом к сменщику, обменивались с ним какими-то односложными фразами — должно быть, пост такой-то сдан, пост такой-то принят,— и сменяющий заступал на место прежнего караульного, застывал, вперив в пространство перед собой отрешенный, нездешний взгляд, а смененный проделывал его путь, только в обратном порядке, и разводящая, приняв обоих от стоявших часовых под свое командование, вела их, все так же старательно высоко выбрасывая ногу, в караульное помещение.

Поглядеть на картину смены вооруженного пионерского караула стекалось, бывало, пять, шесть человек, а то и добрый десяток, и тогда лица караульных становились еще отрешеннее, еще суровее, еще значительнее,— возможно, они ощущали себя в этот момент кем-то вроде кремлевских гвардейцев на посту номер один у Мавзолея, свершавшееся действо было, должно быть, для них неким актом приобщения, хотя, спроси их, они, пожалуй, не смогли бы ответить, к чему же они приобщались, что оно значило в сокровенной своей, внутренней сути, это приобщение...

И каждый раз, наблюдая развод, помимо воли— видимо, потому, что памятник был борцам, павшим за установление Советской власти в годы гражданской войны,— я вспоминал о смерти своего деда, отца матери, в честь которого и получил имя. Боже мой, совсем мальчишка, двадцать семь лет — много ли, когда тебе самому за сорок? — столько ему было, двадцать семь, тогда в марте одна тысяча девятьсот восемнадцатого, когда еще ни о какой гражданской никто не ведал. За какую власть был он? За советскую, за учредительную, за монархию? За какую-то был,— это наверняка. Но едва ли, чтоб за монархию. Что ему в монархии, какой особый резон? За монархию тогда стояли те, кому имелось что терять вместе с нею, а что было терять ему, недоучившемуся студенту мещанского сословия, обязанному монаршьей власти только солдатской шинелью? — ничего. И за какую же власть был тот часовой у двери городского почтамта, что самым убедительным аргументом в их перепалке избрал верный трехгранный русский штык,— русский русского, солдат солдата, свой своего, до всякой гражданской войны, вооруженный безоружного, лишь потому, что один зачем-то стоял у двери почтамта, никого не пуская внутрь, а другой зачем-то пытался пройти. Зачем он пытался пройти? Что за надобность влекла его туда? А может, и надобности никакой не было, а был обыкновенный русский кураж — чего стоишь, браток? чего охраняешь? а ну, пропусти! — и ответом — то же куражливое русское «х... ты у меня пройдешь!», и только вместо слов — штык, а расплатой за кураж — жизнь, и никакой еще гражданской войны в помине, и оба, может быть, за одну власть... Но борьбой ли за власть движется гражданская война? не слепою ли, бессмысленной яростью неудовлетворенных желаний и притязаний, что жжет, сжигает нутро, и, чтобы загасить ее адский жар, потребна кровь, много крови, и ничего, кроме крови, залить ее не может?

5

В один из этих пустых дней, бродя по городу, в самом центре, на задах внушительного, державного вида здания гор.- и облисполкомов, украшенного бронзовым шпилем с часами-курантами, я наткнулся на торговый киоск, за окном которого на прилавке лежали целой горой полиэтиленовые пакеты с зефиром. Пакеты были большие, и в каждый, как гласил ценник, болтавшийся на бечевке, натянутой поперек окна, вместилось ровно два килограмма. Склеенные попарно пористо-взбитые белые лепестки немного умялись в пакетах под собственной тяжестью, но от этого их аппетитная плоть смотрелась через стекло окна лишь еще соблазнительнее.

Я изумился. Это был зефир, натуральный зефир, за которым в любом магазине Москвы во мгновение ока возникла бы настоящая свалка, хватали бы — не успевали продавать, а тут он лежал такой горой, и никто не толпился около киоска, никто его не брал. То ли зефир в моем родном городе не очень ценился, то ли причиной невнимания к нему была дневная пора, разгар рабочего дня — улицы, несмотря на центр, и в самом деле выглядели довольно пустынно,— и я, решив, что мне необыкновенно повезло, не раздумывая долго, взял два пакета, четыре килограмма.

Я купил этот зефир для отца. Отец, заметил я за ту пору, что мы уже прожили вместе, полюбил сладкое. Поев, он словно бы испытывал беспокойство, у него оставалось как бы чувство ненасыщения, и, чтобы насытиться, заглушить беспокойство, он обязательно должен был завершить еду сладким. Обычно это бывали вафли, потому что никаких других сладостей в магазинах не продавалось, но и вафли мог он есть не все, в основном — «Апельсиновые», а они появлялись в продаже не очень-то часто, и потому, увидев зефир, я буквально возликовал. Мало что будет отцу какое-то разнообразие, но зефир кроме того, что там ни говори,— это зефир!

Вечером, в завершение ужина, вместо блекло-цветных бумажных упаковок с вафлями я торжественно подал на стол доверху наполненную вазу.

Отец охнул:

— Да ты что!

Я стал рассказывать, как я шел, увидел, схватил... и в голосе моем, услышал я себя, помимо моей воли звучало хвастливое довольство собой.

— Да, отхватил! Ну, спасибо! Надо же! — сказал отец, благодарным движением беря из вазы зефир.— А ты? Ты тоже бери! — велел он мне.

Но мне не хотелось. Я был так рад, так горд собой, так упоен своей нечаянной охотничьей победой, что мне было большей радостью видеть, как ест этот зефир он, чем есть его самому.

Отец откусил от воздушного лакомства кусок, прожевал, запил чаем из граненого стакана, из которого он всегда пил, откусил еще, снова стал жевать, и на лице его появилось выражение, будто он настороженно прислушивался к чему-то в себе.

— Хм. Своеобразный вкус,— сказал он, то ли с поощрением, то ли с недоумением.

Второй смысл его интонации я пропустил мимо ушей. Еще бы, это же зефир, не что-нибудь, ответствовал я.

Он доел зефирину, подумал и съел еще одну, а больше не стал.

— Все. Мне достаточно. Да на ночь глядя... совершенно ни к чему.

Наутро за завтраком он одолел вообще полштуки, а в обед и в ужин — ни одной.

— Ты знаешь,— найдя в буфете «Апельсиновые» и открывая их, виновато сказал он мне.— Я зефир, видимо, не люблю. Не ел никогда... не привык.

Делать было нечего. Нужно было налегать на зефир мне. Кто-кто, а мать-то вот действительно не любительница сладкого, и не помощницы ей палатные ее соседки, с утра до вечера озабоченные работой своего кишечника, один пакет всей палатой они, может быть, и осилят, а с начатым уж точно должно управиться мне.

Я взял зефир, откусил — в невольном предвкушении того вкусового наслаждения, что должен испытать,— и все во мне обомлело.

На зубах хрустел словно бы мелкий песок, а нёбо обволокло какою-то жирной, вязкой, отвратительной пленкой, и был у этой пленки вкус нефти.

Так вот что имел в виду отец, говоря: «своеобразный вкус», вот это что за зефир, а мне, жалея меня: «Не привык»!

— Да он же ведь несъедобен,— промычал я, с трудом проглатывая откушенный кусок.— Как же ты ел?

— Да, да, невкусный,— тут же охотно подхватил отец.— Но у нас, видишь, и сдобу никакую нельзя покупать, тоже все с этим привкусом... но мне думалось, так и положено.

Я вспомнил: в прошлые, и довольно давние уже, мои приезды с семьей мы пару раз покупали так вот к столу всякую сдобную выпечку, и всякий раз она оказывалась несъедобной: та же отвратительная жирная пленка во рту, тот же вязкий, словно бы нефтяной вкус... Но чтоб еще и песок на зубах!

Боже, бывает же от какого-нибудь пустяка, мелочи какой-нибудь, чепуховины, от какого-нибудь, как говорят, лопнувшего ботиночного шнурка так плохо, так скверно — что хоть в петлю.

Вот так скверно сделалось мне.

Болезнь диктовала отцу свои условия, подчиняла его жизнь своему невидимому, неслышимому, но от того не менее явному ходу, крутила и вертела им, как хотела, и нужда его в сладком тоже была ее прихотью, ее забавой, ее развлечением, и вышло, что, принеся ему этот несъедобный зефир, я вроде как подыграл ей, вовсе того не желая — словно бы понасмешничал над ним!..

Неистраченный, невостребованный до сих пор запас как бы кинетической энергии, накопленной мной к операции матери, буквально распирал меня, подобно перегретому пару в закрытом котле, раздирал, толкал хотя бы на какое-нибудь действие,— и мне вдруг помнилось, что я смогу, сумею сделать то, на что в обычной, обыденной своей жизни никак бы не решился, ни при каком условии, да простонапросто пожалел бы сил: заставлю тех, кто делает эту гадость, о т в е ч а т ь. Добьюсь, чтобы этот зефир стал съедобен. И докажу в конце концов самому себе, что бороться можно и нужно, капля точит камень, большое складывается из малого и количество рано или поздно переходит в качество — несомненно!

На следующий день я входил в высокие державные двери державного здания с курантами и бронзовым шпилем. Здесь в этом здании, как помнилось мне, вместе с исполнительной властью помещался и городской комитет народного контроля.

Комитет занимал один из внушительных широких коридоров дома власти — на каком-то из верхних этажей, может быть, и на самом верхнем. Я сунулся, разумеется, в приемную председателя, и там вежливой, благожелательной секретаршей мне было разъяснено, что нужно обращаться в соответствующий отдел комитета и отдел по контролю за продовольственными товарами находится в комнате номер такой, вот прямо по коридору, потом повернуть, там небольшая лестница, и за нею.

Я шел коридором, глядя по сторонам на двери, вернее, на черно-золотые плашки на них, уведомлявшие, какой отдел находится за ними: «Отдел контроля в тяжелом машиностроении», «Отдел контроля в капитальном строительстве», «Отдел контроля в химической и лесоперерабатывающей промышленности» — такие примерно надписи были на досках; некоторые двери приоткрыты, и за ними тоже находились приемные, сидели секретарши, стояли на столах пишущие машинки и телефоны. Во всем ощущался государственный размах, обстоятельное, уверенное в себе государственное могущество, в возду-

же словно бы витал дух самого Закона, готового обрушить свою карающую тяжелую длань на преступивших его пределы со всею заключенной в ней силой.

Отдел по контролю за продовольственными товарами, однако, оказался расположен мало что в самой дальней, похожей на закуток, части коридора, куда и в самом деле вела какая-то непонятная лестничка, но и занимал уж совершенно не державного вида малюсенькую, с низким потолком, обшарпанно-нищую комнатенку за разбитой дверью, ощеренной расковырянным около замка деревом, и сидела в этой комнатке всего одна древнего вида старуха с седыми редкими волосами, прямым египетским рисунком обрамлявшими ее иссохшее лицо,— за таким же древним, облезлым, залитым чернилами канцелярским столом.

Да, да, это ко мне, ответила она на мой вопрос, проходите, садитесь, что вы говорите, невозможно есть? это безобразие! а с собой вы принесли? очень хорошо! хм, с виду такие аппетитные... нет-нет, я не могу попробовать, я не ем сладкое, у меня диабет, я вам верю, полностью верю... а может быть, просто несвежий продают, с просроченной датой реализации? ну-ка на ценнике... нет, совсем свежий! а, это первый трест столовых, они совсем рядом тут, я сейчас сюда главного технолога вызову, пусть-ка ответ держит!

Она нашла в справочнике нужный номер, набрала его и сухим, безжалостным голосом, с той особой мертвящей интонацией, какую умеет придать ему только действительно обладающий властью чиновник, пригласила главного технолога срочно явиться к ней.

Несмотря на древность, старуха была вполне деловита, расторопна, и в действиях ее проглядывала четкая машинная отлаженность.

— Подождите минут пятнадцать, пока подойдет,— попросила она и углубилась в бумаги, которыми была занята до моего прихода. Листала, перекладывала их с места на место, переворачивала лицом вниз, что-то вписывала. Бумаги были разграфлены, похоже, они являлись какими-то списками.

Неожиданно старуха оторвалась от бумаг и глянула на меня.

— Вообще, вы знаете,— сказала она,— с качеством продовольственных товаров происходит что-то ужасное. Что-то совершенно ужасное. Вы знаете, вот этот хлеб, кирпичом, белый за двадцать копеек. Раньше он мог лежать несколько дней и не терять вкуса, ах, как я его любила! а теперь? Вечером купишь, утром в рот взять невозможно!

Да, да, посочувствовал я ей было и не сдержался: ну так вот и займитесь, выясните, в чем дело. Кому, как не вам.

Старуха сокрушенно покачала головой. Иссохшее ее лицо имело выражение сурового достоинства, и оно не исчезло с лица даже при столь характерном движении; возможно, это выражение и было ее лицом.

— Если б, вы знаете, в моей воле... Вы знаете, сколько сидят в других отделах? А на продовольствии я одна!

Одна, изумился я, хотя мне и следовало бы уже догадаться.

— Одна! — подтвердила старуха.— И я не на ставке. Я на общественных началах. Не я бы — у них никого бы не было. Просто, вы знаете, у меня дома... а, да и что вообще сидеть дома, мне без общественной работы было бы жить невозможно... я в торговой инспекции работала, много лет, дело знакомое, предложили — я обрадовалась, и вот уже одиннадцать лет.

Одиннадцать лет на общественных началах, снова не смог удержать я своего изумления.

— Да, одиннадцать лет,— с гордостью, опять подтвердила она.— И лично мне ничего не надо. Я ничего и нигде не попрошу и не возьму. Это сейчас сумасшествие какое-то: все, кто связан с торговлей, крадут и крадут. А я в торговой инспекции еще в двадцать седьмом начинала, двадцать один год мне был,— мы скольких к стенке поставили, но чтобы хоть крошку самим?! — Она подняла со стола стопку листов и показала их мне.— Вот удалось для ветеранов партии продовольственные заказы организовать. Себя я туда не включила. Понесла утверждать, мне говорят: а почему самой нет? А я не отношусь к ветеранам, я только в войну вступила. Решите включить в какой-нибудь список — не откажусь. Плохо стало, вы знаете, с продуктами. Совсем плохо. Включили. Что же ты, говорят. Но чтобы самой себя? Нет, вы знаете, это весь стыд потерять надо, это не по-большевистски!

Похоже, я сам, не дав к тому никакого повода, становился вместо исповедающегося исповедником. Похоже, старуха готова была длить и длить свой рассказ... и лишь надрывный кряк рассевшейся двери прервал ее.

Открывшись, дверь впустила в себя молодую круглобокую женщину, без верхнего пальто, но в громадной шапке-малахае, закрывавшей ей лохмами шерсти лоб до самых глаз, глаза эти смотрели настороженно и даже враждебно, они были пусты от таящейся в них враждебности, как пусто темное автоматное дуло, глядящее прямо на тебя, и как в темной пустоте глядящего на тебя дула, независимо от причины, по которой оно наведено в твое лицо, таится у г р о з а, так таилась она и в настороженной, враждебной пустоте взгляда вошедшей женщины.

Это и был главный технолог.

— Все изготовлено по технологии, продукт свежий, никаких претензий быть не может,— ответила она, выслушав объяснения старухи, по какому поводу звана сюда. Ко мне она села боком, едва не спиной. Вошла, глянула, оценив что к чему,— и я для нее словно бы перестал присутствовать здесь.

— Но товарищ, однако, вот утверждает,— указала на меня старуха.

Тон ее в личном разговоре с главным технологом странно изменился. В нем уже не было прежней мертвящей властности, обещающей неотвратимое наказание, какое-то тонкое, еле уловимое изменение произошло с ним, тонкое, но вместе с тем несомненное, она как бы отрекалась от меня этим изменившимся тоном, проводила между мной и собой ч е р т у, и черта эта предназначалась для демонстрации главному технологу, никому другому; ублаготворив меня ее вызовом, старуха как бы для подстраховки, на всякий случай стремилась ублажить и ее, была, казалось, еще минуту назад полностью со мной, исповедовалась мне, жалилась — и п р о д а л а.

— У товарища, может, со вкусом не в порядке, — все так же сидя ко мне затылком, сказала главный технолог.— А я говорю, и вот по ценнику видно: продукт свежий. И готовится с полным соблюдением технологии, согласно ГОСТу, я лично слежу.

Старуха молчала, откровенно понуждая своим молчанием включиться в разговор меня, и ничего другого, кроме как и в самом деле вступить в него, мне не оставалось. Вы следите, сказал я, но есть-то тем не менее это нельзя.

— Не знаю, не знаю.— Главный технолог по-прежнему не желала видеть меня и обращалась к старухе.— Сколько мы это изделие варим, никто к нам никогда никаких претензий. Да что это такое! — вдруг вскинулась она, всплеснув руками.— Продукт, как я понимаю, экспертизы на качество в лаборатории не проходил?! Не проходил! —

поняла она по молчанию старухи.— Экспертизы не проходил, у человека со вкусом не в порядке, а мне бегать? У меня работа стоит!

Старуха общественница, со своим сурово-аскетическим лицом, сидела, замерев, сложив перед собой на разграфленных листах иссеченные морщинами руки с какою-то неумолимой отстраненностью, и ясно было, что никакой надежды на дальнейшее ее участие в этом разговоре нет и не может быть.

Ощущение разверзшейся под ногами болотной *хляби* возникло у меня. Влекомый распирающей меня энергией, я взлетел сюда, на верхний этаж этого державного здания в надежде найти здесь *опору*, в надежде попасть на дорогу, которая бы вывела меня к намеченной цели, а дороги-то и не оказалось, ни асфальтовой, ни грунтовой — никакой, и мало что дороги — просто твердой земли, хлябь, болотная хлябь чавкала под ногами, и я уже увяз в ней по щиколотку, по колено, по пояс!..

Брито, говорил я главному технологу. Стрижено, отвечала она. Брито, пытался доказать я. Стрижено, упорно твердила она.

Скажите, у вас есть дети, спросил я. Ничего лучшего, как воззвать к ее родительскому инстинкту, я больше не в состоянии уже был придумать.

— Еще дети мои здесь при чем? — отозвалась главный технолог, не поворачиваясь ко мне, и едва ли я мог рассчитывать тут на какой-то другой ответ.

Меня интересует, сказал я, вы детям своим даете этот ваш зефир?

Нечто невероятное произошло с моей собеседницей. Она как-то мелко, рывками задвигалась, заворочалась на стуле, переместилась с ягодицы на ягодицу, повернула голову в шапке-малахае и глянула на меня.

— Какой зефир? — с вкрадчивой кошачьей затаенностью спросила она. И ткнула пальцем в лежащий на столе пакет.— Это, что ли, зефир? — Враждебная темная пустота ее глаз готова была разрядиться выстрелом, и он раздался: — Смотреть надо лучше, что покупаете! Зефир это!.. Это не зефир, это «сладость «Лакомка» называется! У нас и оборудования нет, чтобы зефир варить! «Сладость «Лакомка» — вот это что, так и по накладной идет!

Но помнил же я, что там было написано, на том ценнике, прикрепленном среди других к туго натянутой поперек окна бечевке.

— Не может быть! — отпарировала мои слова главный технолог и поднялась со своего места.— Я думаю, я больше не нужна здесь,— сказала она старухе.— Не смотрят, что покупают, а потом бегай. У нас все по ГОСТу, пожалуйста, проверяйте, я не боюсь. Можете в лабораторию, в торговую инспекцию послать. Пожалуйста. Все по ГОСТу, мне нечего бояться. Могу я идти? — нетерпеливо переступив ногами, требовательно спросила она.

— Да, пожалуйста,— с суровой удовлетворенностью покивала старуха; главный технолог, подрагивая лохмами шерсти на шапке, колобом покатилась к двери, та крякнула, открывшись, и крякнула еще раз, закрывшись за ней, а старуха, ничего мне не говоря, полезла в стол, вытащила жестянку с сургучом, поставила ее на электроплитку сбоку от себя, воткнула в розетку вилку провода и только после этого объяснила: — Пошлем, действительно, на экспертизу. Я, вы знаете, чувствую некоторое неудобство. Вызвать вызвала, а не сообразила, что в лаборатории не исследовалось. Вот мы опечатаем пакет, чтобы никакой подмены быть не могло, напишем сопроводительную бумагу... и тогда будем иметь объективную картину.

Она положила перед собой чистый лист, навалилась высохшей грудью на стол и, низко пригнувшись, выворачивая голову вбок, с видом старательной ученицы стала неторопливо выводить на листе аккуратные строчки.

Я чувствовал себя затянутым в болотную пучину уже по грудь, и все меня продолжало засасывать, глубже и глубже, еще несколько мгновений — и только хлюпнет над макушкой.

А что же, просто на вкус, ну, десять человек собрать, такую проверку никак нельзя, спросил я, предпринимая последнюю попытку вытащить себя, подобно Мюнхгаузену, из чавкающей бездны.

— Ну что вы! — подняла на меня глаза старуха.— Это будет необъективно. Контроль, вы знаете, должен основываться только на основе объективных данных. Это его главнейшая заповедь. Я ей всегда, всю жизнь строго-настрого следовала, с первого дня работы,— так нас учили, и я тоже потом так учила. Вот сейчас тридцатые годы принято ругать, а у нас, в тридцатые, вы знаете, какой контроль был?

Суровое вдохновение овевало ее высушенное неподкупное лицо, египетская рамка седых прозрачных волос вокруг него почудилась мне парусом, туго наполненным ветром воспоминаний. Похоже, она готова была обрушить на меня новую серию исповеди.

Поступайте, как полагаете нужным, махнул я рукой, поднимаясь со стула.

Я *узнал* старуху. Я уже даже не мог забрать у нее свой злосчастный зефир,— она бы не отдала его мне. Она сочла необходимым послать его на исследование — и должна была сделать это, какие бы помехи тому ни возникли. Ничто на свете не могло бы своротить ее с избранного пути. Ей невозможно было доказать ничего. Она видела, слышала и понимала только то, что хотела видеть, хотела слышать и хотела понимать. И это было для нее так же естественно, как естественно человеку дышать, есть и пить, освобождаясь от продуктов своей жизнедеятельности. Я их достаточно перевидел, таких стариков и старух, еще и в ту пору, когда они были ощутимо моложе, хотя и в ту пору они уже были стары. Впрочем, и не столь уж много я их видел. Селекционированные эпохой геологических перемен, облученные великими лозунгами, как облучают для лучшей всхожести рентгеновскими лучами зерно, они были расстреляны, сгноены в лагерях — вытравлены из жизни, как тараканы из жилища,— они сохранились *в остатке*, случайным благоволением судьбы, на боковом, закоулочном командирстве, на мелких должностных креслицах и стульях, сохранились и в лагерях — еще в меньшем остатке, почти невидимом глазом, почти несуществующем,— но все они, и прожившие свой век на воле, и проволоченные по пересылочным нарам, будто клейменные одним тавровым знаком, в глубинной, краеугольной своей сути невытравливаемо были схожи друг с другом; схожи друг с другом — и отличны от всех прочих. Они как не существовали сами по себе, были — и не были, они принадлежали группе, коллективу — *организму*, они являлись лишь его клеткой, составной его частью, переставшей функционировать, как только ее отделяли от целого, им требовалось непрестанное, шумное движение внутри человеческого месива — толкаться о чужие локти, чужие плечи, бедра,— эти сталкивания давали им ощущение полноценности их бытия, ощущение своей нужности, *принадлежности*, только в коллективном деянии, коллективном устремлении, служении общей идее их жизнь обретала смысл. И в той же мере, что и активны, были они властепослушны. Они прислушивались к голосу власти как к высшему, окончательному Закону, они были сплошным Ухом, внимавшим тому, что произносится там, наверху, хотя бы и вполголоса, вчетверть голоса, хотя бы и невнятным бормотанием,— им нужны были указания, нужны были поставленные *задачи*. Служение идее было главным в

их жизни, а идея овеществлялась во Власти, и значит, служение власти, несмотря ни на что, было главным жизненным делом. По слову власти они готовы были все принять и все оправдать, во все поверить и все отринуть,— лишь бы прозвучали слова из тех лозунгов, которыми их когда-то облучили.

Рассказывать отцу о своем бесславном походе в Комитет народного контроля я не стал. Что уж тут было рассказывать!

Но через несколько дней, вернувшись из больницы от матери, я получил от него газету с торопливо записанным на ее полях телефонным сообщением для меня.

— Я что-то не понял ничего — давая мне газету, недоуменно сказал отец.— Из какого-то треста звонили, какой-то технолог, главный, что ли. Спросила, живет ли тут такой, вот, говорит, я продиктую для него...

На газетном поле отцовским, ясным когда-то, красивым, а теперь, от боли в костях, дерганым, ломаным почерком, с пропусками отдельных слов, означенных многоточием, было написано: «Городское управление торговли. Биохимическая лаборатория. Акт экспертизы. ...исследованием, произведенным... нарушений в качественном составе продуктового изделия «сладость «Лакомка» не обнаружено. Заведующая лабораторией... старший лаборант П. Лужко».

— Что это значит? — с прежним недоумением спросил отец.— Она там продиктовала еще от какого числа экспертиза и какая именно, но я не успел записать. Попросил повторить, а трубка уже положена.

Пришлось, как мне того ни хотелось, раскрыться. И, как я ни старался обернуть свое посещение державного дома одной комической стороной, отец все равно расстроился.

— Ну что ты, ну разве можно тратить себя на подобное. Заранее известно — ничего не добьешься. Единственно умное: обжегся — и впредь не суйся. Все, ничего другого. То-то я подумал еще, когда она диктовала, что это у нее голос такой торжествующий...

А на следующий день раздался еще один звонок. Акт экспертизы дошел и до старухи из комитета. Ее голос был исполнен сурового, мертвенного достоинства. К сожалению, уважаемый, сказала она. Я вас очень хорошо понимаю, но объективные данные... Контроль может опираться только на объективные данные. Против объективных данных индивидуальные особенности... Иначе будет волюнтаризм.

В этом нашем недолгом, не более чем минутном разговоре с нею меня особенно умилило словечко «волюнтаризм», волей-неволей связанное в первом своем значении для всякого, помнящего падение Хрущева, именно с ним. Не с того ли, шестьдесят четвертого года появилось это понятие в ее лексиконе?

Спустя еще несколько дней, вновь оказавшись невдалеке от того киоска на задах державного здания, я специально свернул к нему,— на прилавке за окном горой лежали прозрачные полиэтиленовые пакеты со склеенными попарно белопенными лепестками, но новенький ценник, болтавшийся на прижатой к стеклу бечевке, теперь ясно и крупно гласил: «Сладость «Лакомка». Это было написано так ясно, так крупно, так в н у ш а ю щ е, что и впрямь хотелось задуматься: а не примерещилось ли тебе слово «зефир»...

6

Минул уже чуть не месяц, как я приехал. Мать, наконец, стала поправляться, снова решилась на свидания со мной,— одолевать лестничный сквозняк я привез ей из дома пуховый платок: она куталась в него перед тем, как ступить на лестницу, и, спустившись в подвал, снимала. Соседку, за которой она ухаживала и от которой, видимо, заразилась, выписали, та уехала к себе домой, в недальний, километров за семьдесят, славный своими плавильными, коксохимическими, трубопрокатными и тому подобными производствами город, прислала матери оттуда письмо, где жаловалась, что домашние от нее сейчас шарахаются, боятся ее, и ей приходится даже готовить себе отдельно; другая соседка, прозванная мной про себя «царицей», тоже покинула палату,— вся послеоперационная пора протекла у нее в высшей степени благополучно, больше ей не требовалось внимания специалистов именно этой больницы, и муж, просверкав черной эмалью служебной «Волги», увез ее поправляться окончательно в условия больницы обкомовской.

Мать много и часто говорила теперь с отцом по телефону. В предбаннике, как принято называть подобные помещения, около окна передач висело на стене два телефона-автомата, в определенные часы больным разрешалось здесь находиться, и вот она звонила оттуда. О чем были эти их многоминутные, будто сшитые из лоскутов, разрываемые то беспричинным отбоем, то скандальным требованием какого-нибудь другого больного освободить телефон, долгие, затяжные разговоры? По отцовским фразам, когда становился свидетелем разговоров, я представлял о чем. Но в общем-то я старался не прислушиваться к ним. Этим разговорам предназначено было быть вовсе не телефонными, эти разговоры должны бы были вестись наедине, в тихой сосредоточенности,— и только вот мать с отцом не имели для того никакой возможности.

Во время их телефонных разговоров мать и обнаружила, что одно ухо у нее почти не слышит. Какую-то пору она не верила самой себе, потом это стало слишком очевидно, ее показали отоларингологу, и выяснилось, что на одно ухо она и в самом деле почти оглохла. Был тому причиной собственно грипп, давший осложнение, или же антибиотики, которыми ее кололи без всякой меры,— установить это не имелось ни малейшего шанса, да и не было в том никакого смысла: установи, не установи — слуха она лишилась безвозвратно. И получалось теперь: если минует благополучно то черное наркозное беспамятство, которое рассечет ее жизнь на ДО и ПОСЛЕ, если вынырнет из него и предстоит ей жить дальше,— жить теперь такой, тугоухой: а? что? повторите?!

Об этом — «если ей предстоит жить дальше» — мать теперь говорила постоянно, чего не было, когда она только легла в больницу. «Да уж надо ли делать?» — спрашивала она в наши свидания, вопрошающе глядя на меня, и я, сам ничего толком не знающий, должен был что-то говорить ей, находить какие-то слова убеждения — надо ли? надо! — имея под ними лишь ненадежную основу неясного мне врачебного решения, она слушала, соглашалась, но немного спустя говорила снова: «А может, пусть, ладно, сколько проживу еще, столько и проживу? Не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Вон как со слухом... и думать не думала!»

Теряясь, какими словами укрепить ее, я снова попросил врача о встрече; он был хмур, недоволен и даже раздражен. Сомнений в необходимости операции у него не было, а вот то, что она откладывалась и откладывалась... Из его речи выходило как-то так, будто мать чуть ли не специально заболела гриппом, оттягивая операцию, а теперь что же, вообще не хочет делать, лежала месяц, занимала место, и нате вам, до свидания?!

Вечером мать, позвонив мне по телефону, плакала: оказывается, врач после нашей с ним встречи пришел и отчитал ее — почти теми же словами, что употреблял в разговоре со мной. Во мне все перево-

рачивалось от ее слез — хоть лезь на стену, хотелось рвануть, примчаться в больницу забрать ее оттуда... но где еще могли сделать ей операцию? — больше нигде!

Было самое начало марта, когда я приехал. Прочно и пушисто лежали снега, стояли морозы, и чтобы подойти к окну материной палаты, нужно было обходить сугробы окольной тропой. Теперь же подступил апрель, вовсю таяло, снег осел, почернел, больничный санитар в ватнике поверх халата широкой деревянной лопатой расчистил дворовую канаву для стока вешней воды, и к палатному окну, по оттепельной, грязной затверделой наледи, стало можно ходить напрямик.

7

Операцию матери сделали совершенно неожиданно. На утреннем обходе зав. отделением сама, чего ни разу не случалось, послушала ее, измерила давление, потрогала пульс, и через час врач матери, придя в палату, объявил ей: больше сегодня не есть, только пить, сегодня готовим — завтра операция.

Из реанимации со второго этажа, рядом с операционной, мать не спустили ни через сутки, ни через двое. В температурных листах в окне справок напротив ее фамилии стояло «состоян. тяж.», и в графе «температура» — 39,2°. Встретиться лично врач отказался, сказав, что необходимости в этом нет никакой, а по телефону сообщил, что все прошло, как и должно пройти в ее возрасте, имеются кое-какие осложнения, но говорить мне о них — все равно я ничего не пойму, так что и не о чем говорить.

Мать спустили вниз, в послеоперационную палату на третьи сутки к вечеру. Первой узнала об этом сестра, помчалась в больницу и сообщила новость нам с отцом уже оттуда, повидав мать и посидев около нее.

— Ой, что с ней сделали, что с ней сделали, не жилец наша мама! — рыдала она в трубке, отвечая на мои вопросы.

Я успокаивал сестру, отнеся ее рыдания на счет обычной женской впечатлительности. Ведь она же после операции все-таки, говорил я. После скальпеля. Не может она себя хорошо чувствовать. А было бы плохо, ее бы из реанимации не спустили.

— У них там места нет. Там новые прооперированные!..— рыдала сестра.

Я не поверил ее причитаниям.

Но когда наутро я прибыл сменить ее на дежурстве, чтобы она могла поехать к себе на работу, попросить несколько дней отпуска без содержания, я понял ее.

У матери было белое, белое абсолютно, я и понятия не имел, что может быть белое до такой степени, будто налитое глубокой голубизной, лицо, это было, видимо, именно такое лицо, про какое говорят «мертвенно-белое», и, укрытая по грудь белой, подсиненной, но рядом с ее лицом казавшейся серой простыней, вздыбленная на подушке изломом рамной части специальной кровати, она не лежала, а п о к о и л а с ь. Она не ответила на мое приветствие, не сделала попытки повернуть голову в мою сторону, не отозвалась на мою, потрясенную, должно быть, улыбку, и не дрогнуло даже ничего у нее в глазах от моего появления,— она была в сознании, и ее не было здесь, она была где-то в ином миру, в другом измерении, во всяком случае — на грани с ним, ее втягивало туда, будто в воронку, уже захватило, уже держало,— и на всем облике ее лежал словно бы з н а к. Из-под простыни, которой она была укрыта, выбегали, свисали вниз, заталкиваясь концами в стоящие на полу под кроватью литровые банки с какою-то красно-бурой жидкостью, извилистые, желто-

кирпичные черви дренажных трубок. Что, значит, ты должен делать... наставляя меня, сестра завернула на матери простыню, спустив верхний ее край к ногам, и мне открылся неестественно громадный, вздутый и слева как-то торчащий вбок, коричнево сожженный йодом живот матери, перепоясанный внизу бурой, пропитавшейся кровью и клеем марлевой повязкой, закрывавшей шов, с левой стороны над повязкой, там, где живот был выпячен бугром, лежали, одна на другой, свернутые вдвое, втрое и вчетверо чистые белые тряпочки, вот, сказала сестра, снимая их стопку, надо следить все время, чтобы на шов не текло, и какое-то долгое, ужасное мгновение глаза мои отказывались глядеть на обнаженное место: кольчато-круглый, выпученный, кроваво-фиолетовый спекшийся сгусток чего-то живого, разодранного, кричащего болью... Это была колостома — вывод того, что осталось от прямой кишки, наружу.

Я хочу выматериться в этом месте. Вернее, вслед за взрывающимся где-то в глубинах сознания именем Вседержителя, не отделяясь от него даже самой малою паузой, вырываются наверх, нанизываясь одно на другое, самые грязные, самые чудовищные ругательства, о существовании которых в себе я и ведать не ведал, и почему они так связаны, Божье имя, и эти отвратительные самому произносящему их слова? ...и чтоб вам в рот раком...— что-то вот вроде этого ловлю я в себе, и пытайся я додуматься до этого специально — ни в жизнь не додумался бы.

Послеоперационная палата вмещала в себя четыре кровати. Дежурить приходили еще к одной, женщина, лежавшая наискосок от матери, уже управлялась без чужой помощи, а та, что занимала кровать через проход, она, как и мать, не могла ни попить сама, ни стронуться с места, перевалиться немного на бок, чтобы уберечься от пролежней, и так же, как у матери, свисали из ее тела в банки под кроватью две кирпичные дренажные трубки, так же, как и у матери, у нее все время торчал в вене катетер с вливающейся по нему глюкозой, с нею тоже нужно было сидельничать, но никого около нее не появлялось, и мы с дежурными от той, другой кровати принуждены были взять эту обязанность на себя: и поили, и ворочали с боку на бок, перестилали простыни, подпихивали судно под беспомощные бедра, бегали за медсестрой, когда в стеклянном градуированном стакане на стойке кончалась прозрачная жидкость.

От первых шести суток дежурства в памяти у меня остался один неразлепимый ком из нескончаемой череды разнообразных мелких действий, почти бессмысленных этой своей мелкостью, этой незначительностью каждого из них,— если б не их непреложная обязательность. Я примелькался в гардеробе, где при моем появлении меня больше не спрашивали, к кому я иду, я примелькался больным в коридоре, которые больше не глазели на меня с любопытствующим интересом: а это тут что за борода? Я примелькался женщинам в палате, которые больше не замечали, что рядом с ними мужик, я перестал для них быть мужчиной, сделавшись такою же непременной принадлежностью палаты, как тумбочка, только не на четырех ножках, а на двух ногах, да ходячая. В ночные дежурства выпадали целые блоки времени в десятки минут, когда делать оказывалось нечего, глаза связывало дремотой, усидеть на стуле было невозможно, и с наступлением ночных часов я приспособился притаскивать из ординаторской венское кресло, заменяя им до рассвета стул, и тогда, задремав, можно было отвалиться головой на спинку, пусть и деревянно-жесткую...

Дни стали отслаиваться один от другого, перестав слепливаться в ком, примерно с седьмых суток. Утром седьмого дня, придя в больницу сменить дежурившую в ночь сестру, еще издали, от порога, увидев

глаза матери, я понял, что она выкарабкалась. На щеках у нее, будто некая слабая розовая тень, появился и румянец, но я его углядел позднее, специально всматриваясь в ее лицо, а тогда, от порога, я увидел только ее глаза. Они были живые, какими не были все предыдущие дни, их изменение было еґдва заметно, почти неуловимо, но оно произошло тем не менее, ось повернулась — и началась обратная дорога от мира того в мир этот. Сестра, когда я сказал ей про глаза, не поверила мне. А я вот не вижу ничего, ответила она. Но я отсутствовал в палате целую ночь и предшествовавший ей вечер, взгляд мой обострился отсутствием, и я был уверен в своей правоте. Оставалось лишь ждать тому подтверждения.

Подтверждение явилось в тот же день, спустя несколько часов,— в лице врача, до того старательно избегавшего со мной всяких встреч, пресекавшего любые попытки разговоров с ним, отсылавшего меня из палаты при врачебных обходах. А тут он вошел в палату, весь будто светясь, от обычной хмурой придавленности не было и следа, поздоровался со мной, даже подав руку, и сказал, кивая на мать на кровати: «Что! Пошло на поправку, все отлично! А плохо было с вашей мамой, такое осложнение, я уж думал...» Что, было все-таки, вскинулся я, но он уже понял, что допустил промашку, раскрылся в том, в чем не хотел раскрываться, и передо мной снова уже был он прежний: «Да не ваше дело, что было. Все нормально теперь с вашей мамой».

Оказывается, пришли результаты анализов, на которые у матери были нынче утром взяты кровь и моча,— эти результаты и подвигли его на визит сюда. А что у нее было за осложнение, с чем оно было связано, с особенностями ее организма, особенностями опухоли или с ходом операции,— так это и осталось для меня тайной за всеми семью печатями. «Главное, успокойтесь, опухоль у вашей мамы была локализованной, метастазов не должно быть»,— напоследок, уходя, только и сказал мне еще врач.

Ожившие глаза матери не означали, впрочем, ни ее возвращения к нормальному телесному функционированию, ни, значит, конца дежурств около нее — она по-прежнему не вставала и не могла самостоятельно управиться с жизнедеятельностью своего организма, и по-прежнему вызмеивались из нее дренажные трубки,— и именно в эти дни, когда она начала оживать, когда температура у нее, понемногу-понемногу, но с каждым днем все заметней, пошла вниз, когда она, наконец, действительно вернулась с пограничья того мира в мир этот, мы с сестрой, каждый по раздельности, но оба, услышали от нее: «А надо ли все это было? Из-за каких-нибудь нескольких лет... Что мне от этой жизни? Через такие муки...»

О, Господи, из меня в этом месте вперемешку с твоим именем снова рвутся ругательства. Прости меня, Господи, и не суди раба твоего.

На одиннадцатый день после операции мы с сестрой подняли мать постоять около кровати, на двенадцатый, вцепившись мне в руку, она прошла по палате, на тринадцатый одолела десять метров по коридору...

И тут, когда мы очутились в коридоре вместе с нею, у меня будто заново открылись глаза, и я обнаружил, что, приходя сюда практически ежедневно, вот уже десять дней подряд, я, оказывается, ничего не видел вокруг, видел — и не видел, ни этих стен, ни людей в них, я словно бы находился в некоей клетке, с глухою надежностью закрывавшей от меня весь окружающий мир, и сейчас, выйдя с матерью в коридор, я как открыл в этой клетке дверь, вышагнул вон — и стал видеть, и видел уже потом все время:

мальчик маленький, светлоголовый, коротко, перьями стриженный, с яблоком в руках, в серо-коричневом свитерочке на голом теле, шел мне навстречу по коридору, и что он делал здесь, к кому пришел, почему его пропустили сюда? проститься с кем-то? с матерью, отцом? кто-то очень близкий должен был быть, чтоб его пропустили... но ведь он уже не первый раз попадается мне на глаза, то утром, то днем, то вечером, он и вчера был здесь, и позавчера, а значит... Он лежал здесь — вот что, этот восьмилетний мальчик, ученик второго класса некой средней школы из недальнего города областного подчинения, напиханного, как и все остальные вокруг, будто мешок под завязку, разнообразной тяжелой промышленностью, он лежал здесь — ходил, топал по этому коридору в разгар учебного года, вместо того, чтобы сидеть за партой и писать в тетради... а и не надо ему было сидеть там, не надо было ничего писать,— ему и операции уже не стали делать, просто держали здесь, вкатывая день ото дня все большую дозу наркотиков, милосердствовали — потому как в родном его городе этих доз не нашлось бы для него ни в одной больнице — и ждали, когда он уже не сможет ходить по коридору, когда обессилеет и сляжет, когда...

изможденный худой мужчина с пушащимся седым венчиком редких волос вокруг усеянной какими-то шишками плеши нес из палаты тарелку с недоеденной кашей вернуть раздатчице; одна рука, немощно упертая локтем в бедро, держала на отлете алюминиевую, даже на вид гремучую тарелку, вторая была на животе, вжималась в него ладонью и будто переламывала мужчину своим нажатием, заставляя сгибаться... мать приостановилась, вгляделась в мужчину, он уже прохлестал задниками тапок нам за спину,— она окликнула его слабо, и от некрепости голоса, и от неверия: «Березовский?!» Мужчина остановился, оглянулся на нас, и в том, как остановился, как оглянулся, было признание — да, Березовский,— а вы кто, не узнаю, говорил его изможденный напрягшийся взгляд, мать назвалась, мы с вами до войны в одном тресте работали, вы потом в другой заместителем главного инженера перешли, и его лицо тоже озарилось узнаванием: как же, как же, тоже, значит, после операции, а это сын, что ли?.. одна рука с тарелкой каши немощно на отлете, другая вдавлена в живот, видеться последний раз без малого полвека назад, молодыми, полными сил, надежд, упований, прожить жизнь — и встретиться под ее опускающийся занавес в вековом замурзанном здании онкологической больницы. А, ладно, чего говорить-то, начав было что-то отвечать матери о своей жизни, отнял мужчина вдруг руку от живота и махнул ею. Прожил — и где она? не знаю, что и говорить. Прижал руку обратно к животу, повернулся и захлестал задниками тапок дальше. И после, сколько мы с матерью, гуляя по коридору, ни сталкивались с ним, если впервые за день — кивал легонько, и лишь, прохлестывал, не останавливаясь, мимо, а если не впервые — и не кивал, и вообще не смотрел в нашу сторону, будто он и знать ее не хотел, прошлую свою, дальнюю молодую жизнь,— как ее и не было совсем...

и еще увидел я самого себя: бегущего поутру, в тесный промежуток между десятью и десятью тридцатью, к сестре-хозяйке в кладовую поменять использованные грязные пеленки на чистые, и нужно прибежать обязательно в эти полчаса, а иначе сестра-хозяйка куда-то исчезнет, и потом уже не поменять пеленки за целый день; может быть, и перехватишь ее где-нибудь на бегу, на лестнице, ведущей в подвал, в дверях черного хода или в том же коридоре,— но не уговоришь пойти с тобой в кладовую, хоть разбейся, нет, не уговоришь; а и не просто нужно прибежать в промежуток между десятью и десятью тридцатью, а постараться, как ни держит тебя какое-нибудь дело в палате около матери, прибежать пораньше, к открытию кладовой,

опередить других подобных тебе, заскочить вовнутрь в числе первых и набрать с табуретки, поставленной посередине узкого прохода между двумя рядами стеллажей, пеленок получше, поплотнее да поцелее, потому как если не успеешь в числе первых, то достанется тебе уже лишь всякая шваль в утюжных прожогах, сквозных протирах и несостирываемых пятнах, пояски да платочки вместо пеленок, а начнешь говорить что-то, просить, сестра-хозяйка, молодая еще совсем, но, как всегда на таких местах, почему-то уже чудовищно мясистая, заплывшая тугим жиром баба в лопающемся халате, ответит равнодушным, будто механическим криком: «Беречь надо, аккуратнее пользоваться, где на вас напастись!» На глаза тебе попадется какая-то приглядная, славная чистая стопка чего-то отглаженного в дальнем углу стеллажа, ты было потянешься к ней, и попытка твоя тут же будет пресечена новым криком, уже не механическим, не равнодушным, а исполненным настоящей внутренней страсти: «А ну-к не трогать! Не трогать, кому говорю! Там для вас, что ли? Вон — дано, и бери, а туда нечего со своими руками!..»

На пятнадцатый день мать перевели в большую палату, ту самую, в которой она уже отлежала месяц до операции. Она еще не в силах была дойти до туалета, куда теперь ей следовало ходить, потому как судно в большой палате не полагалось, она не могла без помощи надеть на себя и застегнуть специальный, сшитый сестрой пояс, без которого было ей никак невозможно, и еще оставалась необходимость во всяких назначенных врачом и вмененных в обязанность нам с сестрой процедурах... но она и так уже пролежала в послеоперационной, маленькой палате сверх всяких норм, дольше всех, место ее требовалось другим — и ее перевели. Ее перевели — и значит, прекращалось наше с сестрой сидельничество с нею: на большую палату зав. отделением пропусков не выписывала.

Но в гардеробе при нашем появлении уже давно не заглядывали в список, и раз да другой, да еще раз да другой, пользуясь тем, что у нас у обоих имелись белые халаты, мы с сестрой прошли к матери в отделение, сестра — и прямо в палату, а в последнее мое удавшееся посещение, помогая матери в ее нескончаемой и вечной теперь, до конца ее дней возне с колостомой, пришлось все же зайти в эту палату и мне, потом выйти и снова зайти, выйти и зайти — и так чуть не час, и поначалу я все мучился, все опускал глаза долу, полагая, что своим присутствием смущаю женщин, мешаю им жить их повседневной жизнью.

Но они на меня, как и в той, послеоперационной палате, попросту не обращали внимания. И здесь, в этой палате, им тоже было не до смущения, не до стеснений там всяких, какая, может быть, и чувствовала себя еще женщиной, но большинство — нет, не чувствовали, слишком близко они стояли у ч е р т ы, у г р а н и ц ы, и не было им дела до меня, кто я, мужик ли, баба ли, врач или просто так, пришел сюда — ну, и смотри, ну, и нюхай, ты, падло, я, может, уже ниче-го скоро н-и-ч-е-г-о!..

Возможно, именно так она и думала, эта вымотанная своей борьбой за жизнь, с испитым, глинистым лицом, с горящими сухим температурным жаром глазами, нестарая еще, лет, наверно, пятидесяти женщина на крайней, у самого входа кровати, напрочь сбросив с себя прикрывавшую ее простыню, обнажив свое явно сильное прежде, а сейчас выступившее наружу сочленениями всех составляющих его костей жилистое тело и с какими-то привываниями, приухиваниями, на виду у всех, невидяще глядя в высокий потолок над головой, на ощупь царапавшая себя по животу, там и здесь, и, доцарапавшись, выковыривающая из кровавого, спекшегося отверстия колостомы сухой, козий коричневый катышок. Это она, когда мать только спустили сверху, лежала вместе с нею в послеоперационной и уже управлялась с собой сама. Как ей завидовали все остальные в палате! и говорили о том, не в силах скрыть своей зависти! а теперь оставалось только отводить от нее глаза. Температура у нее от нормальной взлезла уже к тридцати девяти и опускалась чуть ниже лишь по утрам, какой-то страшный, жуткий процесс шел внутри ее организма, волочил ее на виду у всех против ее воли туда, к ч е р т е, и все, кроме нее самой, еще таившей надежду, знали, куда ее тащит.

Она уже практически не вставала, и вновь, по второму разу, уже отдежуривший около нее не один срок, приехал к ней, взяв на работе отпуск без содержания, муж — неразговорчивый, малорослый, корявый можжевеловый куст против нее, стройной ели в прошлом,— с уставшими, измочаленными, полными покорного терпения светлыми глазами мужичок: подавал судно, доставал из-под кровати брошенные ею туда катышки, укрывал простыней, поил и уходил в мужской туалет, где, пристроившись на подоконнике, не обращая внимания на все туалетные звуки вокруг и на запахи, и проводил основное время, смолил «беломорину» за «беломориной», мы то и дело то тут, то там сталкивались с ним, молча разойтись было неловко, я говорил что-нибудь вроде того: «Не лучше?» — хотя и знал, что не лучше, и он отвечал, а то и опережал меня, не давая спросить, как делился: «Не жилица, все, че говорить. Уж побыстрее бы».

В тот день, когда мне в последний раз удалось проникнуть в отделение, мать, провожая меня, об этой, умирающей сопалатнице и заговорила на прощание.

Видишь, как бывает, сказала она. Бегала уж вовсю. Чего уж, казалось...

Она недоговорила. Я понял почему. И что именно она не смогла выговорить.

Но мне не стоило никакого труда утешить ее. Мне это не стоило ни малейших усилий, не было надобности, будто ворочая камни, искать, подбирать какие-то особые слова — они сами приходили мне на язык. У матери все было по-иному, чем у той ее сопалатницы. Она действительно в ы к а р а б к а л а с ь.

8

Я проснулся оттого, что отец разговаривал с кем-то по телефону. Должно быть, его плохо было слышно, и он кричал. А? Что? Повторите! Как вы сказали? Дверь в комнату была закрыта, и скорее всего он ушел с трубкой на кухню, затворив и кухонную дверь, но кричать приходилось так, что голос проникал через обе двери, прослоенные к тому же воздушной подушкой коридора. Кто-кто? Повторите, не понял! Срочно, говорите?

Я посмотрел на часы. Было уже десять утра. Лег я в десять вечера. И не слышал потом, приходил ли ночью брат, не слышал, как уходил на рассвете — если приходил, и не слышал, когда встал отец, не слышал его обычного вскрика при подъеме, который он, крепись, не крепись, не в силах был бы удержать в себе. Мать выкарабкалась, мой приезд, мое обитание здесь, в родительском доме, минувшие две недели дежурств — все оказалось небессмысленно, увенчалось у с п е х о м, и та пружина, что давала мне эту пору энергию, разжалась, расслабилась, не телефонный бы этот звонок, которого я, кстати, тоже не слышал, я бы, пожалуй, еще спал и спал.

Отец встретил меня на кухне виноватой улыбкой.

— Разбудил? Это от тети Нюры звонили, из автомата. Очень плохой автомат — будто из Владивостока.

Всегда, всю жизнь, сколько я помнил своих родителей, вернее, с того времени, как стал замечать, какие они, была в нем эта странная виноватость, как бы застенчивая неловкость какая-то, желание попросить ни за что ни про что прощения,— будто он уже одним своим пребыванием на земле помешал кому-то, кого-то утеснил, занял чужое место, и как это могло относиться к собственным-то уж детям? но было, проскальзывало и в отношениях с нами. Оно было, видимо, где-то вне его, вне его власти, это чувство, или, наоборот, так глубоко вогнано в него, на такую глубь, что уже не зависело от его воли... а ведь в молодости был он куда как не обделен талантами: и свободно играл на любых струнных, от балалайки до мандолины, и в футбол гонял не так, а за вторую сборную города, и стихи-рассказы печатал в газете, и даже статьи в ученых экономических журналах, куда и люди со степенями стояли в очередь,— из чего же она соткалась, из чего взялась, как сложилась в нем эта виноватость?

— От тети Нюры? — не сразу сообразил я.— От какой тети Нюры? — И до меня дошло: Господи Боже, да какая же еще тетя Нюра, одна у нас тетя Нюра, и ни о какой другой не может идти речь.— И что она, что случилось? — поторопился я замять неловкость своей непонятливости.

Что случилось, отец, однако, не знал. Что-то случилось, но что — осталось для него неясным, и то ли сам не расслышал, то ли звонивший, некий неизвестный ему мужчина, ничего не сказал об этом, он понял из их ватного разговора одно: тетя Нюра просит кого-нибудь срочно приехать к ней, или мать, или его самого.

— Надо бы съездить,— просяще глядя на меня, сказал отец. Он чувствовал себя вконец виноватым: прошено было мать, или в крайнем случае, его, старшее поколение родственников для поколения молодого — нечто вроде инопланетян, они обычно чужды друг другу, каждое на особину, а получалось, что ехать выпадало мне.

Вполне возможно, я не тотчас осилил бы себя на поездку, если б дежурства около матери еще продолжались, но они кончились, и, как ни убыло во мне энергии, на донышке все же ее еще оставалось немного, можно было наскрести кое-что по сусекам, и вечером, просунув в форточку в палатном окне матери передачу, так, через форточку, и поговорив с нею, потому как вниз, в подвал, спуститься у нее не было еще сил, то и дело заглядывая в бумажку с расписанным маршрутом, я сел на трамвай, который повез меня не к дому, а в противоположную сторону.

Здесь, в этой стороне, за все прожитые в родном городе годы я побывал считанное число раз — совсем чужая была сторона, и обликом, и даже, казалось, людьми, хотя, не исключено, так оно и было, даже людьми: в призаводском нашем поселке, как и в других подобных поблизости, жил народ пришлый, съехавшийся со всей ближней и не очень ближней округи, пересаженный волей высокой власти, учредившей индустриализацию, из одной почвы в другую и только укоренявшийся в ней, а здесь была сторона собственно города, одна из его прежних, старых окраин, здесь в основном жили те, кто и родился тут, у кого жили тут отцы и деды, для них город был иным, чем для пришлого люда, они имели иной опыт обитания в нем, и эта инакость поддерживалась, должно быть, инакостью уличного облика: сплошь старые, вековой давности дома, если двухэтажные, то непременно каменные в первом этаже, с поставленным на него крепким срубом из литых, очерневших от времени бревен, если же одноэтажные, то так же непременно с высоко вознесенным над их многооконным фасадом обширным мезонином, глядящим на улицу не простым, а какого-нибудь венецианского типа окном, и — могучие заплоты двухметровых заборов от дома к дому, без щелочек между досками, без пьяного наклона к дороге или вовнутрь, тяжелые, широкие двустворчатые ворота под треугольным навесом...

Однако трамвай громыхал, катил от остановки к остановке, давно уже миновал район центра, а тех прежних улиц все не появлялось, тянулись панельные унылые дома, чуть оживленные корзинками балконов на плоских стенах, квартал за кварталом, квартал за кварталом, и я понял, что новый город, начатый строительством бараков в таежной чащобе подле площадки под завод-гигант, пришел и сюда, и того, прежнего города нет больше и сохранился он только в моей памяти.

Тетя Нюра обитала где-то среди этих плоскогрудых пятиэтажек и островами возвышающихся над их разливанным морем девятиэтажных «башен». Когда-то она жила в таком вот, оставшемся в моей памяти бревенчатом доме с мезонином, был он, правда, на трех владельцев, но и та треть, что принадлежала тете Нюре, поразила в свою пору мое детское воображение гулкой величиной своих помещений, раздольем устланных домоткаными половиками и ковриками внутренних пространств с редко стоящей у стен мебелью. Раз всего, помнится мне, и был я в том ее доме. Она приходилась двоюродной племянницей бабушке Кате, то есть моей матери — троюродной сестрой, но с матерью отношения у них были далекие, хотя по возрасту именно они подходили для дружбы. Объяснение тому, думается мне, довольно простое: мать была привержена новой жизни, новому быту, новым праздникам, проведшая детство вдвоем с бабушкой Катей в нищенской почти скудости да по чужим углам, она верила, что счастье впереди, а не позади, бездетная же тетя Нюра, наследовавшая нажитый праведными трудами ее родителей дом, не получила от новой жизни ничего, кроме уплотнения во время войны, которое так никогда уже и не кончилось, хотя сами беженцы и уехали в родные края, она впереди не видела для себя ничего, и счастье, несомненно, осталось позади, в прошлых годах, в прошлой жизни; и несомненно, то же ощущение жило и в бабушке Кате, намаявшейся после страшного убийства мужа в восемнадцатом году столько, что никакие обещанные розы впереди соблазнить ее уже не могли. Вот они и были близки, бабушка Катя и тетя Нюра. Ездили друг к другу в гости на дни рождения и престольные праздники, пекли для того пироги в гостинец, покупали глазированных пряников и карамели «Раковая шейка» в магазине, всегда понемногу, едва ли не штучно — магазинное почиталось роскошеством, и один такой приезд тети Нюры лег мне на память до конца дней. Была у них то какая-то особая встреча или уж просто, как говорится, попутал бес, толкнул под руку, но только сели они за стол с четвертинкой водочки и поставили стопку мне. А минуло мне на ту пору четыре с половиной года, и прибежавшая спустя какое-то время по вызову соседки с работы мать нашла меня сидящим на краю канавы, прорытой для чего-то неподалеку за домом, и пьяно орущим разученную в детском саду любимую песню о пограничнике, который бдительно стоит на своем посту. После того случая тетя Нюра стала появляться у нас много реже, все ездила к ней бабушка Катя, да одна — должно быть, ей запретили брать с собой кого-либо из нас, детей,— так вот и получилось, что и была вроде тетя Нюра, по детским впечатлениям, близкой тебе, а в то же время почти и чужой.

Вожатая в динамике объявила нужную мне остановку, трамвай встал, железно проскрипев тормозами под днищем, двери раскрылись, и я сошел.

Перевалившй за середину апрель удлинил дни. Месяц назад в это время уже завязывались сумерки, а сейчас было совсем светло,

стояло над горизонтом солнце, и, вырванный неожиданным делом, непривычным маршрутом из того круга, в котором крутился, не имея минуты оглядеться по сторонам, я увидел, что на улице совсем уже нет снега, даже тех черных, спекшихся в ледяные надолбы его остатков, что долго лежат по всяким укромным, теневым местам, асфальт всюду сух, пылен, грязен, замусорен вылезшими из растаявших сугробов бумажками, неопрятно гола и тоже замусорена подсыхающая земля в газонах,— все словно бы жаждет ухода, ласки, приложенной хозяйской руки, томится в своей готовности отдаться ей... но ее нет, и кипящая вокруг обильная вечерняя толпа, бегущая с полунаполненными авоськами из одного магазина в другой, стоящая в очередях у скудных лотков, вытащенных горластыми продавщицами прямо на тротуары, поджидающая нужный номер трамвая на остановке,— словно отдельно от всего этого: от этих грязных, замусоренных тротуаров под ногами, от этих плоскогрудых домов, от этих пустых, заляпанных краской магазинных витрин,— чужда всему этому, едва не враждебна, как если б не у себя дома, не на своей земле, здесь — и не здесь, глазами, движениями, разговором вся устремлена куда-то в о н, куда-то в и н о е, куда — непонятно, но явно находящееся не тут.

Дом, в котором теперь жила тетя Нюра, оказался одной из пятиэтажек, детдомовски безлико стоявшей среди подобных других, единственное его отличие от прочих было в крупно намалеванном на торце терпеливою черной краской номере.

В дверь я звонил минут пять — мне не открывали. Я уж и отчаялся дозвониться, торкнулся к соседям, а куда она может деться, было мне ответом, если в туалет только, звоните, я снова стал нажимать на кнопку, и в самом деле, еще минуты через три, за дверью спросили: «Кто там?»

Я-то узнал ее сразу, хотя и ухнула в Лету с той поры, как мы виделись последний раз, целая прорва лет, а она все смотрела на меня через порог, слеповато щурилась, пытаясь найти в моих чертах следы того мальчика, которого она знала когда-то, и все не верила, что я — это я. И кажется мне, когда впускала в дом, отворяла дверь во всю ширину, чтобы прошел, так и не была уверена до конца, тот ли я, за кого себя выдаю.

Квартира, которую она получила в обмен на свой снесенный дом, была однокомнатной тесной клетушкой с тесной прихожей-коридором, с тесной малюсенькой кухней, и все заставлено, затыкано необходимой мебелью: кроватью, шифоньером, столом, стульями — не пройдешь. Но все полы, начиная от входной двери, застелены домоткаными половиками и пестрядинными ковриками, где в два, а то в три ряда — как в том, прежнем доме,— и ходила тетя Нюра по ним босиком.

— Лежала я,— волей-неволей признавая меня за того, кем я назвался, сказала тетя Нюра, проводя меня в комнату.— А мне встать — целое дело. Ты звонишь, я цап да цап за стул эдак — и все обратно. Как Ванька-встанька вроде,— усмехнулась она над собой.— А до двери дойти — тоже целое дело. Обезножела я, не ходят ноги.— Она и в самом деле, пропустив меня в комнату, остановилась в дверях и стояла, ухватясь за косяк.— Два уж года на улицу не спускаюсь, боюсь. Сойти сойду, а обратно? Вон соседка кефир да хлеб носит, тем и живу. А ниче и не могу больше есть, не принимает вон,— показала она на свой большой, будто ватный живот под халатом, уловив удивление в моем взгляде.— Мне ниче и не надо больше. Спасибо, что носит.

Она все же прошла в комнату, я поддержал ее, и она села на разворошенную свою постель, застеленную напротив кровати под покрывалом, с лежащими одна на другой сверху него двумя подушками.

— Что случилось, тетя Нюра? — спросил я.— Кто-то звонил от вас, просил приехать, но больно уж плохо было слышно.

— Когда звонил? — настороженно спросила тетя Нюра.

— Сегодня. Утром в десять часов.

— Мужской голос?

— Мужской.— Я потерялся и, ответив, не был уже уверен, в самом ли деле мужской. Услышав про звонок, она словно бы еще более усомнилась во мне и вызнавала подробности, чтобы поймать меня на некоей лжи.

— Да как сегодня?— после недолгой паузы сказала тетя Нюра.— Я уж ему — неделя, как велела.

— Нет, сегодня,— недоумевая, подтвердил я.

Тетя Нюра помолчала.

— Кобель шелудивый,— сказала она потом.— Я тут жду, жду, как, думаю, прихватит снова, да и с концом,— ну, и все, не успела...

Я не понимал ничего. Она говорила не со мной, она говорила сама с собой, и понятное ей было совершенно недоступно мне.

— Что случилось, тетя Нюра? — попытался я вернуть ее на нужную мне дорогу.— Так было плохо слышно, то лишь и удалось разобрать, чтобы приехал кто-то.

— А чего не мать? — не отвечая на мой вопрос, спросила тетя Нюра.— Лет уж пять ее не видела.

Я объяснил, где сейчас мать и что с нею, рассказал заодно и про отца,— она, оказывается, не знала ничего ни про нее, ни про него, но услышанное не взволновало ее, она восприняла это как информацию, и не более, как если бы речь шла о неких неизвестных ей людях, живущих в какой-нибудь Эфиопии или Никарагуа, и на широком ее, перемятом годами простодушно-настороженном, терпеливом рабочем лице появилось результатом моего рассказа словно бы даже удовлетворение.

— Может, ты вот тогда и возьмешь себе. На грузовик — да на станцию, а там уж придумаешь, как его в Москву-то... А то что ж, пропадет ведь. Ни за что ни про что. Такое наследство, как можно. Я помру — он его дня держать не станет, выбросит на помойку, а там или к чужим людям, или на доски. Не жалко разве?

— О чем речь, тетя Нюра? — чувствуя, что от всей этой словесной бестолковщины и невнятицы начинаю уже и дуреть, спросил я.— Что я должен взять? Что пропадет?

— Дак сундук же вот,— сказала тетя Нюра, наклоняясь вбок, захватила обеими руками угол своей постели и завернула ее синеполосчатым матрасом наверх.— Не узнаешь, что ли? Бабушкин-то.

Я узнал. Зеленое, что выглядывало из-под низко и косо спущенной на него простыни, было, оказывается, стенкой сундука, и сейчас, когда тетя Нюра задрала простыню вместе с матрасом, стенка стала видна доверху, открылась лезвийная тень щели между коробом и крышкой и под крышкой посередине короба — входное отверстие замка для ключа.

В груди у меня стиснуло. Я вспомнил, как сундук этот стоял у нас в квартире. Я стал осознавать себя в мире — он стоял, ходил, учился в школе — стоял, ушел в армию и вернулся—все стоял и только менял места, двигаясь от одной стены к другой, из одной комнаты в другую, из комнаты в кухню. «Двигаясь», впрочем,— не совсем точно, с места на место его нужно было носить, и для того по торцам к коробу, чуть выше середины, были приделаны большие, удобно ложившиеся в ладонь, кованые ручки, и в стенках для них, чтоб не мешали придвинуть сундук плотно к стене, были выбраны полукруглые, похожие на серп месяца углубления. В сундуке лежали какие-то «от-

резы» — плотно скрученные, похожие на мороженые коровьи ляжки с рынка, куски разноцветной материи, полученные в премии к различным праздникам, еще даже и до войны, лежали какие-то никем не носимые старые платья с оборками, кружевные платки, пласты кошмы для подшивки валенок, в него убирались на теплую пору зимние вещи, от тех же валенок до ватных пальто с цигейковыми воротниками, а на зиму — вещи «демисезонные», и когда в свой час они доставались оттуда, несколько дней от них душно пахло нафталином, и, засунув руку в карман, обнаруживал и сам этот нафталин, не сумевший истаять в плотном слое наложенных одна на другую одежд, похожий на сахар-рафинад, хрупкий, слюдянисто поблескивающий, острый белый камушек, который хотелось, подобно сахару, взять в рот. Сундук был привезен бабушкой Катей, когда она окончательно перебралась сюда из деревни, и достался ей в наследство от матери, а той — от ее матери, которую бабушка Катя звала бабушкой Марьяной. А уж откуда, каким образом он взялся у бабушки Марьяны — оставалось неизвестным, а впрочем, эта тайна не очень будоражила воображение, будоражило другое: год изготовления, некрупно выжженный раскаленным клеймом на внутренней стенке короба — «1837». Ясная, видимо, вначале, от времени дата пообтерлась, поблекла, но все же была вполне отчетлива, и эта цифра — 1837,— когда сундук открывался, окунала тебя в такое фантастически далекое, что казалось невероятным: неужели бабушка бабушки, хорошо известная тебе по рассказам, совершенно реальная для тебя, жила в ту пору? Год 1837-й неизбежно был связан в сознании со смертью Пушкина. «Прибежали в избу дети, второпях зовут отца»,— читал отец тебе вслух из серого маленького томика, и этот сундук и Пушкин объединялись для тебя в единое целое, и ты жил не сейчас, не в одна тысяча девятьсот сорок девятом, не в одна тысяча девятьсот пятьдесят третьем, а в том, 1837-м, и Пушкин написал это про тебя, это ты прибежал, полный любопытства и ужаса: «Тятя, тятя, наши сети притащили...»

Особенно почему-то запомнился мне сундук в пору, когда он стоял на кухне. Нас тогда было в квартире шестеро, ровно по четыре с половиной квадратных метра на человека, места для кроватей не хватало, и отец спал на кухне, на сундуке, к которому подставлял на ночь стул для ног. Шли годы, сундук кочевал от одной кухонной стены к другой, но всегда с таким расчетом, чтобы к какому-нибудь из торцов подставился стул, и, на ночь глядя, неизменно отец нес из кладовой скатку матраса. Однако по мере того, как время уходило от войны дальше и дальше, надобность в сундуке становилась все меньше. Был куплен платяной шкаф, а потом и второй, из отрезов, как говорила бабушка Катя, мануфактуры нашиты платья с костюмами и сношены, а новыми не запасались,— в сундуке лежали теперь всякая заваль и хлам; сестра стала жить отдельно, ушел в армию, вернулся, пообретался немного в родительском доме и убыл в Москву я,— сундук стал совсем не нужен, и стоял он, попусту занимая место, лишь потому, что бабушка Катя никак не могла расстаться с ним. Тетя Нюра знала, что сундук не нужен, и просила его, но бабушка Катя не отдавала. Вот помру — тогда, говорила она тете Нюре. Она умерла — и тетя Нюра забрала сундук на следующий день после похорон: пригнала грузовик — и забрала, и я же, помню, его грузил с братом...

— Хотите отдать? — Я все же не до конца еще понимал тетю Нюру.— Из-за этого просили приехать?

— Ну! — сказала тетя Нюра, опуская матрас обратно и оправляя простыню.— Помру вот не сегодня, завтра — и пропадет.

— Да почему же вот — помрете?! — не зная, как ответить ей, и

оттого с традиционной бодряческой фальшивостью проговорил я. — Поживете еще, зачем раньше времени кликать.

— Так ведь два уж раза меня звал,— понижая голос, будто боясь, что ее кто-то услышит, будто таясь, но и не смея не открыться, сказала тетя Нюра.— Опухоль же у меня,— как в прошлый раз, показала она себе на живот.— Почему и есть не могу. Непроходимость получается. В больницу возьмут — там говорят: операцию надо делать. А я не соглашаюсь, боюсь я их, врачей, вот и жду все время...

Она произнесла «опухоль», показав на живот, и меня всего, вот уж именно так — с головы до ног,— продрало игольчатым, ознобным морозом. Что-то мистическое почудилось мне в этом обвале опухолей вокруг, словно бы некое у к а з а н и е, некий п е р с т, значения которого постичь я не мог.

— А что же за опухоль, знаете? — стараясь как можно спокойнее и даже небрежно, будто о насморке, спросил я.

— Рак, говорят. Так ли, нет,— сказала тетя Нюра, ничуть не меняясь в лице.— Неделю назад снова «Скорая» увозила, соседка вон вызывала. Обратно домой доставили — я кобелю-то этому и велю: позвони. То и то передай, чтоб, мол, приехали. А зачем — молчок. Как я ему скажу. Скажу — он посмеется только, и все. И так-то вон, видишь, неделю до телефона шел. Такой кобель. Блядь приведет — меня на кухню, и сиди там. Час да другой, до полночи. С моими ногами-то. Измаюсь, пойду постучусь, а он: пошла назад! А то хуже еще: пьяный притащит ее среди ночи, ему тогда все одно, на кухне я, не на кухне. Я не сплю, лежу, а он дерет ее. Утихнет — да снова. И любит, кобель, чтобы сетка прямо звенела. Панцирная сетка-то, меня че уж — не забирает, а все равно нехорошо, пойди усни-ка.

Она уже совсем доверяла мне, уже не просто принимала меня за того, кем назвался, а изливалась мне, выговаривалась, и так ей было нужно это, так необходимо, так просилось из нее, что не имело теперь никакого значения и то, что близки мы с ней были только по крови, и то, что я все-таки не женщина, чтобы выслушивать от нее подобное, а мужчина...

— Про кого это вы говорите, тетя Нюра? — перебил я ее.

— Как про кого? — посмотрела она на меня с недоумением.— Про Пашку, про кого, ирода этого. Мужа моего второго сын. Не Василия, а Михаила, ты его и не знал, поди. Тоже пил, прости его Господи. Прописал, видишь, сынка, как тот из заключения освободился, где ему, говорит, еще прописаться, если не у отца. Сам преставился, а я маюсь. Он ведь не живет здесь, у жены живет, а сюда только блядей водит. Я уж, ползать-то могла, в домоуправление ходила, со мной и говорить не стали. Прописан — имеет право на что угодно. А чуть слово скажу — зарезать грозится. Ждет, когда я помру,— совсем воля будет. Как ни заявится — еще не подохла?! Я и ответить боюсь, молчу. На сундуке-то чего сплю? На кровати не разрешает мне. Дух у тебя, говорит.

— Так на чем же вы спать будете, если сундук отдадите? — спросил я.

— А на полу, на чем,— спокойно сказала она.— Знать буду, что сундук устроен, мне тогда хоть на чем. На всем хорошо.

Она говорила о сундуке как о живом существе, сундук был единственным, что связывало ее с прошлой, невозвратной, сломавшейся жизнью, с ушедшими навсегда, канувшими в небытие и хранимыми лишь в памяти родными людьми из этой прошлой жизни, и ей хотелось продлить ту жизнь, продлить память о ней, должно быть, совершенно неосознанно, ей мнилось, что, передав сундук дальше по родству, она как бы сохраняет и собственно ту жизнь...

Солнце, когда я вышел от тети Нюры, как раз укатывалось за горизонт, было малиново, бессильно уже, воздух посерел, исчезли тени, и все вокруг тоже обесцветилось, посерело, потеряло резкость очертаний, стал не виден кидавшийся в глаза мусор повсюду, сделалась незаметной грязь — все словно ушло в себя, замерло, притихло и не ждало больше никакой хозяйской руки. Уже не стояли лотки на тротуарах, не толклись очереди возле них, лишь доторговывали остатками скудных товаров, включив внутри себя свет, магазины, и редки теперь были люди на улицах.

Подошел трамвай, раскрыл двери, я поднялся в него, прокомпостировал билет, было свободно несколько одиночных сидений, сел — и спустя какое-то время услышал у себя над головой разговор:

— О, знаешь, я тоже тут вспомнил. Шарил на приемнике и наткнулся, «голос» какой-то, «Свобода» или «Немецкая волна», а может, «Свободная Европа», нет — «Би-би-си». Помнишь, Лехин батя рассказывал, мы еще не поверили, думали, лапшу на уши вешает, как он в пятьдесят шестом или в пятьдесят седьмом, в каком там? ну, в те годы где-то, да? под Челябинском на студенческой практике был и на велосипеде ездил. И деревни пустые. Одна, другая. Все цело, дома стоят, открыты, заходи, бери, что хочешь, а людей никого.

— Ну? — нетерпеливо понукнул второй голос.

— Еще испугался, говорил, не по себе стало, повернул обратно, давай дёру, а ему потом сказал кто-то, там «мертвая зона» какая-то, «военная тайна», всех кругом выселили, деревень двести, как ты, говорят, проехал, туда нельзя, там часовые кругом, пустили бы пулю в лоб, им отпуск за это, а он говорит, там никого, ни часовых, ни проволоки никакой, дорога — и жми на педали...

— Ну? — снова понукнул второй голос.

— Это я к тому, что услышал. По «Немецкой волне» этой. Нет, «Би-би-си». Братья Медведевы такие есть. Из диссидентов. И вот один из них открыл, журналы там какие-то медицинские, специальные изучал: под Челябинском у нас в конце пятидесятых — вспышка рака. Как эпидемия. Стал по населенным пунктам смотреть — и эпицентр выделил. Каштым или Куштум, так как-то называется. Американцам сведения передал, те со спутника замеры сделали — там до сих пор фугует! Там свалка оказалась. Щит водородный от американцев ковали, валили радиоактивные отходы без всякого смысла, они и зафуговали, и до сих пор фугуют. Вот где Лехин батя был, ништяк?!

— А знаешь, у Лехи батя от рака умер? — сказал второй голос.

— Ниче-е себе ништя-ак!..— не сразу, через паузу протянул первый голос.— Не, я не знал. Давно?

— Да месяца полтора назад.

— Я сейчас с Лехой мало, я не знал,— винящимся тоном проговорил первый голос.

Я обернулся и глянул наверх, на говоривших. Это были молодые, двадцатилетние ребята, здоровые и крепкие, и высокая значительность на их свежих, разгоряченных разговором лицах, что появилась, надо полагать, буквально в последние мгновения, не могла перебороть того довольства жизнью, той упоенности ею, которую они испытывали, того внутреннего напора энергии, что выхлестывала изнутри и заставляла так вот в трамвае извергаться целым водопадом слов.

Парни заметили мой взгляд, истолковали его по-своему и, стронувшись с места, перешли на несколько сидений вперед. Спустя недолгое время они снова мололи языками, и обладатель первого голоса снова говорил с веселой, напористой возбужденностью, а обладатель второго то и дело подбрасывал ему какие-то одобрительные фразы.

Трамвай гремел, лязгал, дергался на поворотах, летел по отходящему к ночи городу, лишь на какие-то секунды припадая к площадкам остановок, быстро выпуская и впуская немногочисленных пассажиров, и снова гремел, дергался, летел — а и какой же русский не любит быстрой езды! — и мимо неслись, сменяя друг друга, бетонные, основательные, похожие на крепостные стены заводские заборы, приземисто-сарайные заводские проходные, светлооконные многоэтажные здания заводских управлений, пробежал, протянулся рядом с трамвайным путем, в одном месте, потом в другом, оливково-пыльный дощатый забор, украшенный на каждой своей секции крупной буквой «М», такой привычной повсюду глазу в Москве и еще непривычной здесь. С той поры, когда родители мои были молоды, город расширился, укрупнился, помогутнел, трамвай с троллейбусом уже не справлялись с людскими потоками, и в помощь им в глубинах скальных пород пробивали туннели метро.

Трамвай вынес свои грохочущие вагоны на кольцо, на площадь, носящую имя первой пятилетки, обежал скверик с чахлыми деревьями за чугунной оградой и встал. Я сошел, пересек площадь и по улице, носившей когда-то, в годы моего детства, имя Вождя и Учителя, а теперь, после пятьдесят шестого года, сделавшейся проспектом имени одного из железных соратников Вождя, убившего себя прежде того, как убьет его Вождь, двинулся к дому. Мне хотелось выть. Все вокруг казалось мне сплошной раковой опухолью, все было поражено ею, сожрано дотла, и новая жизнь, выношенная в чреве матери, приходила на свет лишь для того, чтобы принять в себя предуготовленный яд и, переродившись, рассыпаться в зловонный прах, расцвет изначально нес в себе увядание, успех — неудачу, победа — поражение, дни человеческого пребывания на земле были пустой бессмыслицей, ложью, прикинувшейся Истиной, и сам я тоже был частью этой лжи, клеткой общей раковой опухоли, и где его было искать, искупления, в чем, и может ли быть спасение от сжирающей дотла смертельной болезни?

Темное, приплывшее откуда-то из-за пределов сознания мистическое чувство просило охорониться — как крестным знамением — родовой верностью, сыновней почтительностью перед ушедшими в небытие предками. Взять, в самом деле, сундук с собой, в Москву, черт с ними, с деньгами, пусть он выйдет тебе золотым — как-нибудь перемножешься, найти ему где-нибудь место, и загрузить найдется чем, будет стоять, связывая тебя с твоим родом, с прошлой жизнью, с твоими корнями, перейдет потом к сыну... но нет, облекаясь в плоть мысли, чувство начинало пожирать само себя. Куда эту восьмидесятикилограммовую дубовую тушу в современной, панельно-блочной городской квартире? Не было сундуку в ней места, ни закутка какого, ни сенцев, ни кладовой,— сплошные голые стены, прямоугольно сostыкованные друг с другом, и они требовали для себя иного содержания. Если б еще имелся у меня дом в деревне, загородное какое строение — тогда бы туда, там бы его звал, просил встать каждый угол, там бы он везде, всюду истинно был на своем месте,— но не имелось у меня ничего загородного, никакого дома, никакого строения. И выходило, что крестное знамение в виде родовой верности, может быть, и было кому-то доступно, может быть, и мог кто-то охоронить себя им, но мне этот путь был заказан...

Дома отец уже заждался меня к ужину.

— Ну-у, пропал, ну, пропа-ал! — встретил он меня на пороге.— У тети Нюры был? Рассказывай!

Мы сели за стол на кухне, налили себе по стакану кефира, выстоянного мной в молочном магазине еще утром, положили в тарелки творогу, который я утром же сам и варил на плите, потому как в магазинах никакого творога не продавалось, и, с трудом ворочая языком,

с долгими невольными паузами, я рассказал отцу о своем посещении тети Нюры.

— Ах, Боже мой, ах, Боже мой! — сокрушенно качая головой, проговорил он несколько раз по ходу рассказа. А когда я закончил— как оттаскал булыжники,— вздохнув и глядя в стол перед собой, развел руками: — Нет, видно, и сундуку век пришел. Видно, отслужил свое...

Предложить сундук сестре,— была у меня еще такая мысль. А вдруг ей почему-то захочется взять. Невероятно, но вдруг!

Не откладывая дела, я встал из-за стола, набрал телефон сестры,— нет, невероятного не свершилось. Жалко, ужасно жалко, сказала она в трубке, но где мне его... и так одни кровати, как в общежитии...

Отец, пока я говорил с нею, доел свой творог, взял чистое блюдце и из стоявшей на буфете пиалки, отцеживая ложкой воду, вытряхнул на блюдце горстку лопнувших пшеничных зерен с белыми острыми хвостиками ростков. Он прочитал где-то, что в пророщенной пшенице как-то необычайно подскакивает содержание всех и всяческих витаминов, употреблять ее постоянно — чуть ли не мертвых поднимает на ноги, и все полтора месяца, что я жил здесь, на буфете у него постоянно стояли три пиалки, день первый, день второй, день третий — готово к употреблению, и он обязательно съедал столовую ложку пшеницы в завтрак, в обед и в ужин, несмотря на то, что она в него уже не лезла.

— Ничего, ничего, ничего,— сказал он, когда я сел напротив него. Он видел, что мне заметны его усилия при этой сыроедческой трапезе, и испытывал потребность оправдаться, чтобы его страдания не выглядели напрасными.— Вот еще поем недельку-другую — и начну здороветь, силой с тобой померяемся — положу тебя.

Он и в самом деле, вплоть до своей болезни, когда схватывались бороться на руках, всегда побеждал меня — очень сильный был от природы,— и вполне возможно, он действительно верил, что еще окрепнет и вернет себе ту мощь.

Да что там, верил и я. От пшеницы или просто уж так, от природной своей крепости. Он был в рубашке, она скрадывала его страшную исхудалость, из-за широкой кости он казался вполне нормален, и я, глядя на него так вот в рубашке, тоже забывал об его перильно вывалившихся ключицах, о торчащих наружу ребрах.

Отец дожевал последнюю порцию зерна, проглотил, перемогши подкативший, видимо, изнутри ком отвращения, облегченно перевел дыхание и посмотрел на меня.

— Знаешь,— сказал он, и в голосе его я услышал смущение.— Очень хочется увидеть, как метро у нас пустят. Проехаться хочется. Посмотреть, какие станции будут.

О, Господи, вот он чем жил, какой надеждой, каким смыслом, вот что таил в себе! Вот ради чего насиловал себя и готов был все перемочь!..

Меня подняло с моего места, бросило к нему, и, наклонившись над ним, я обнял его, мгновенно ощутив под руками торчащие сочленения плечевых костей, притиснул к себе, притиснулся к нему сам,— взрослый мужик, взявший над ним опеку, маленький его сын, призванный на свет его волей.

— Увидишь,— сказал я,— увидишь! И наездишься — еще надоест!

— Понимаешь,— тем же смущенным, таящимся голосом проговорил он, вывертываясь ко мне лицом,— вот приехали сюда, ничего не было, а сейчас — метро. Очень хочется дожить.

9

Он не дожил ни до какого метро. Он умер четыре месяца спустя — в машине «Скорой помощи», по дороге в больницу. Его, однако, еще подняли в палату, притащили капельницу, пытались ввести физиологический раствор, но кровь уже не толкалась в венах, они опали, ушли вглубь, и медсестра только понапрасну истыкала ему всю руку.

«Северное» — носило название кладбище, где ему предстояло исчезнуть с земли, уйдя в нее. Тут была похоронена бабушка Катя, был похоронен мой друг,— знакомое было место, близкое, обхоженное и обсмотренное вдоль и поперек. Как ветерана некое высокое заводское начальство дало благословение хоронить его в парадной части кладбища — так называемой Почетной аллее,— обширном участке, лежавшем сразу за входом, давно включившем в себя уж не одну «аллею», а несколько.

Вечером накануне похорон мы вместе с матерью пошли на кладбище выбирать место для могилы. Так, чтобы я не боялась сюда приходить, говорила она. Чтобы у дороги близко и открыто. А то к бабушке вон идти — лес, глухомань, вокруг никого, меня каждый раз прямо страх разбирает. Если что — кричи не докричишься. А про кладбище это такое рассказывают...

Утром, однако, когда я пришел в кладбищенскую контору отдать полученный в загсе согласно справке о смерти ордер на могилу, в выбранном месте мне было отказано.

— Нет! — глядя мимо меня, уже в который раз, совершенно категорично ответил директор кладбища, повернулся, вышел из комнаты, где у нас происходил разговор, и, играя на пальцах брелком с ключами, пересек переднюю, вышагнул на крыльцо, сбежал к своей стоявшей возле него машине — красным «Жигулям» со сверкающими никелированными полосами по бокам — и стал открывать кабину. Я следовал за ним, все продолжая нудить, что нет никакой разницы, в том или ином месте «почетной аллеи» хоронить, ведь это один участок, и он, уже севши было, вылез обратно и, теперь глядя мне прямо в глаза, отчеканил, внятно каждое слово: — Ясно же, русским языком сказано: «Нет!» — сколько можно? Будут тут все ходить, выбирать себе! Мы сейчас на другом месте хороним, все! Могильщики не будут вам бегать по всему кладбищу!

И сел в машину окончательно, захлопнул дверцу, вставил, наклонясь вперед, ключ зажигания, повернул, нажал невидимо для меня ногой стартер, включил скорость, заперебирал руками по рулю, выворачивая его,— и машина красиво и мягко взяла с места, красиво развернулась на маленьком пространстве заасфальтированного пятачка около рубленого дома конторы и, всфыркнув дымком из-под заднего бампера, умчалась.

И ведь я его даже знал, этого кладбищенского начальника,— я его *узнал*. Он был то ли на год-другой старше меня, то ли младше, в школьную пору мы с ним ходили в один спортклуб, только я в баскетбольную секцию, а он, кажется, в футбол, и потом наши пути снова пересеклись: это когда после армии я работал в молодежной газете, собирал материал для какой-то корреспонденции о заводской самодеятельности, а он подвизался на заводе по комсомольской линии, отвечал за культурную работу, и меня направили к нему. Мы были с ним вроде как однокорытники, он — комсомольский работник, я — сотрудник печатного органа обкома ВЛКСМ, и он встретил меня с распростертыми объятиями: «Корешок! Не пропал, значит! Рад тебя видеть...»

Теперь он не захотел меня признавать — может, и в самом деле

не вспомнил, бывает,— но ведь я же не просил ничего незаконного, я не хотел ничего сверх, я только настаивал на том своем естественном праве, которое, собственно, и не правом было, а долгом — похоронить отца так, чтобы потом ни у кого из его близких не болело сердце.

Он уехал, этот бывший мой знакомец, а я, от скрутившего меня отчаяния, стоял, где стоял, соляным столпом. Не мог я не исполнить воли матери, никак не мог не исполнить! Но как мне было исполнить ее?

Однако от тарахтевшей поодаль мотоколяски с торчащими из кузова ломами, черенками лопат и каёлок уже шел ко мне, бил сапогами об асфальт могильщик — расхлябистый долговязый парень с похмельным лицом, в измазанной глиной зеленой брезентухе на теле.

— Чего там у тебя, мужик? — подходя, спросил он.

Я стал говорить что-то, еще не до конца осознав, что — могильщик, надо попробовать потолковать с ним, еще только начав осознавать это, но он уже прервал меня, замахав руками:

— Все ясно, мужик.— Оглядел меня сверху донизу — не оценивая, а как обмеривая — и сказал: — Начальник у нас крутенёк, если не по нему что — голову снимет.

Я понял.

— Сколько, чтоб по нему?

— Шесть петухов, меньше никак,— глядя на меня с какою-то ясной вдохновенной преданностью, сказал парень.— Нас бригада — четверо человек, чтоб никого не обидеть — петуха каждому на рыло надо? надо! Ну, и начальнику, чтоб голову не снимал. Ему — вдвое. Понятное дело? Так что шесть — меньше никак.

— Петух — это сколько? — Никогда раньше не слышал я такого названия.

— Десятка — сколько, мужик! — продолжая глядеть на меня с тою же вдохновенной преданностью, объяснил парень.

Шестьдесят рублей, всего-то! Господи, я уже готов был и к большему.

— Ну все, пойдем, покажешь, где хочешь,— позвал меня могильщик.

А когда гроб был опущен, засыпан, воткнута в землю пирамидка с оградой, положены на глинистый горб венки и я, подойдя к нему с напарником, отдал потребованные деньги, он сказал со скользящей ласковой улыбкой, ловя меня за руку:

— А пол-литра, мужик? Водяра-то? Согласно ритуала.

Это уже, да еще сейчас, было почти невозможно выдержать.

— Не многовато ли получится?

Ответ мой прозвучал, надо полагать, довольно резко.

— Ты что, мужик, не по-христиански? — подал голос его напарник — маленький, кряжистый, одни сплошные сбитые мышцы,— и если тому явно уже стукнуло тридцать, то этому до них нужно было еще жить и жить.— Смотри, выроем тебе по могиле стык в стык, матушку-то, небось, рядом положить захочешь? — а места и не будет!

Боже мой, Боже мой, мы хоронили, прощались, уйдя от света стоявшего дня во тьму, а они холодно и расчетливо наблюдали за нами и уже спрятали мысленно в могилу и мать!..

Бутылки не было, и я вынул из кармана, дал могильщикам еще десятку.

— Да ты что... живьем надо, нам еще покупать идти?! — вмиг теряя улыбку и злобнея глазами, сказал долговязый.— Живьем давай, непонятно?!

Не знаю, действительно ли они поверили, что «живьем» у меня нет ни наперстка. Но не было, и долговязому в конце концов пришлось отпустить мою руку.

Маленький что-то пробормотал мне вслед.

Мать, когда я вернулся к могиле, спросила с тревогой:

— Что-то неладно?

Видимо, она поглядывала в нашу сторону и происходящее там не показалось ей вполне нормальным.

— Ну, могильщики, сама понимаешь,— уклоняясь от ответа, сказал я.

— Да, могильщики...— обрывающимся голосом проговорила мать, понимая примерно, что там могло происходить, и не нуждаясь в конкретном ответе, да и не только не нуждаясь, но и не желая его, зажмуриваясь, пряча голову под крыло от этой конкретики, не обещающей ничего, кроме разнимающей душу горечи, и ни она, ни я не знали в тот миг, что таким вот обрывающимся голосом, зажатым от перехватывающих горло слез, ей теперь предстоит говорить все оставшиеся ей два с половиной года — срок, на который она переживет отца.

Я похороню отца и уеду, а она, оправившись после его смерти, начнет хлопоты по памятнику, и что там аляповатые уловки моего бывшего знакомца, увенчавшего свою комсомольскую карьеру должностью директора кладбища, в сравнении с той изощренной пыткой, которую обрушит на нее спеццех городского комбината коммунально-бытовых услуг. А и не только обрываться будет у нее голос в наши с ней телефонные разговоры, будет и срываться в плач — не без того, да едва не в каждый такой разговор, и я не придумаю ничего лучшего, как написать в обком — вот идиот-то! — попросить там о помощи, но никто ей оттуда ничем не поможет, ничего не изменится от моего письма — не извинятся перед ней, не ускорят, не вернут, не перестанут хитрить и обманывать, а мне из святилища областной власти не придет даже положенного вроде бы согласно всех норм отписочного ответа: «Ваше письмо получено... принято к рассмотрению...» — идиот, нашел место, куда писать! Впрочем, конечно, не совсем идиот, а просто уж от бессилия, от невозможности ничем помочь самому, от невыносимости этого бессилия... и кончится дело тем, что все же приеду взять ее хлопоты на себя, пойду с нею в этот спеццех, раз да другой, увижу все собственными глазами, пощупаю собственными руками — и, думая, что прекращаю так ее муки, заставлю мать согласиться на то, на что обманом да угрозами, шантажом да равнодушием заставляли ее дать согласие чужие люди, заставляли, выкручивали ей руки, унижали, но она не поддалась, устояла, а перед сыном вот — нет, сыну сдалась.

И правильно ли он сделал, этот ее сын? — то есть я, я, как бы мне ни хотелось говорить о себе тут в третьем лице. Но тогда мне помнилось, что так — единственно верно и по-другому нельзя. Память человеческая столь же бренна, сколь все остальное сущее на земле, и, стремясь к полноте материального ее воплощения, живые не имеют права истязать себя ею до утраты в себе чувства жизни. Так мне помнилось тогда. Но когда я вновь услышал в телефонной трубке ее обрывающийся голос и она сказала, что памятник готов, стоит, но лучше бы он не стоял, лучше бы не было его вообще, не может она его видеть, такой,— я усомнился в справедливости тех своих чувств и ужаснулся тому, что теперь виной ее слезам и отчаянию был я, я — не кто другой... но и ничего уже нельзя было повернуть вспять.

Потом настала зима, легли снега, могилу с памятником укрыло сугробом, и, не ходя на нее, мать успокоилась немного, и мне удалось даже, письмами и долгими телефонными разговорами, вроде бы убе-

дить ее, что памятник вовсе не плох, бывают, конечно, лучше — это безусловно, но не плох, нет, совсем не плох... хотя, разумеется, я и знал правду.

— Ой, может быть, может быть,— уже и поверив мне, а скорее, более желая поверить, говорила она.— Так боюсь весны, когда таять начнет. Пойду, увижу... прямо боюсь идти, вот не хочу идти...

Ей и не пришлось идти. Был тот же месяц март, что и три года назад, когда она легла в онкологическую больницу на новую операцию. Вмешательство ножа в живое тело и с самой благой целью — все равно вмешательство н о ж а; видимо, после операции в кишечнике у нее образовались спайки, очень она мучилась все эти минувшие три года, раза два, как тетю Нюру в свою пору, «Скорая» увозила ее в районную больницу с непроходимостью, два раза обошлось, на третий — нет. Через несколько часов, как мать доставили все в ту же районную больницу, ей сделали операцию, спаечную часть удалили — недолгая и нетяжелая была операция, и перенесла ее она хорошо, всего лишь три четверти суток и провела в реанимационной палате,— но по ходу операции, вскрыв полость, в печени у нее обнаружили новообразование. Никакая, значит, не локализованная была у нее тогда, три года назад, опухоль, значит, и другие участки были поражены, значит, недоотсекли что-то, недосмотрели, недоисследовали, а значит, и в самом деле не нужна была та операция... а впрочем, может быть, и не могли доисследовать, не имели аппаратуры, средств, чего там еще? и, произнося сейчас слова упрека, я беру грех на душу.

Дежурный хирург, делавший в районной больнице матери операцию, оказался не кем иным, как дочерью нашей соседки по лестничной площадке, в детстве мы вместе с нею играли во всякие дворовые игры вроде пряток и ляпок, как называли у нас салки, и когда сестра сообщила мне о случившемся, я, взяв у нее телефон, позвонил нашей бывшей дворовой приятельнице. Да, подтвердила она мне, употребляя всякие непонятные медицинские термины, громадный метастаз, вполпечени уже, прямо целый булыжник, гистология — нет, еще не пришла, но мы ведь и по цвету прекрасно определяем, сомнений нет никаких. И что, а сколько, косноязыча и не смея задать тот вопрос, который разрывал меня, забормотал я, и она пришла мне на помощь: может быть, три месяца, может, четыре, полгода — самое большее, и в муках, да, последние дни очень тяжелые.

Но не дошло ни до каких мук. Спустя два дня, вечером, незадолго уже перед сном, разговаривая с соседкой по палате, мать вдруг словно споткнулась, вскрикнула — и как задохнулась этим своим криком, рука у нее взметнулась в воздух — и упала. Медсестрам, прибежавшим по вызову соседки, делать уже было нечего: мать умерла.

Она умерла мгновенно — будто пузырек воздуха вошел в сердце и остановил его. Но откуда он мог взяться у нее в кровотоке? Правда, за несколько минут до того у нее сняли капельницу, но ведь с н я л и, не поставили, как воздух мог протолкнуться в вену при этом? А если не воздух, какая иная причина могла остановить сердце так мгновенно? Вскрытие ничего не показало, и патологоанатом записал в графе «причина смерти»: «рак печени».

Памятуя угрозу могильщиков, на следующий день после отцовских похорон мы с братом поставили около его могилы скамейку, отнеся ее от ограды на приличное расстояние, скамейка сохранила нам место, и мы похоронили мать рядом с отцом. В гробу она была молодая и не похожая на себя. На память о ней я взял синюю металлическую китайскую вазу для фруктов, какие продавались у нас повсюду в пятидесятые годы, и брошку, которую она очень любила и часто носила на груди. Брошка была из желтого металла, весьма похожая на золотую, с четырьмя ограненными красными стеклышками, по виду совсем неотличимыми от настоящих рубинов, тоже купленная еще в пятидесятых, в моем детстве, и мне даже запомнилась цена: тринадцать пятьдесят — рубль тридцать пять по-нынешнему.

Мы похоронили ее, я вернулся в Москву, и здесь, в Москве, глядя на лежащую у меня на столе перед глазами брошку, натыкаясь взглядом на поставленную женой в центре обеденного стола вазу, я обнаружил, что меня по-прежнему, как при известии о внезапной ее смерти, мучает тайна свершившегося. Что это все-таки было: Божья милость или же непонятная мне, непосвященному, скрытая кланово, преступная халатность медсестры? А если халатность медсестры, то есть убийство по сути, не должен ли я был сделать что-то, потребовать криминалистической экспертизы — повторного какого-нибудь вскрытия? Но если в самом деле халатность медсестры, убийство, то не было ли оно, не осознанное ею самой и не легшее грехом на ее душу, все тою же Божьей милостью, избавлением от близких мук?

Дни шли, а тайна материнской смерти все больше и больше терзала меня, все горше мне становилось и тяжелее, и вспоминал я еще, как заставил ее поставить на отцовскую могилу памятник, которого она не хотела...

Но в сороковой день по ее смерти, на рассвете, незадолго до обычного своего часа подъема, я проснулся оттого, что мне снилась музыка. Это была сороковая симфония Моцарта. Вернее, мне снилась не вся симфония, с первого звука до последнего, а лишь ее начальные, изумительные в своей прозрачной воздушности такты, смысл которых тщетно было бы передавать человеческой речью. И там, во сне, я испытал такой восторг, такую радость, что это было сверх моих сил — вынести их, чтобы не разорвалось сердце, и я проснулся. Проснулся — и удивился про себя: какой странный сон, чудно!

Я проснулся — и сон отлетел от меня, музыка исчезла, однако стоило мне закрыть глаза и снова поплыть в дремv, музыка зазвучала вновь, те же первые, начальные такты, и не было, кроме нее, ничего: ни света, ни тьмы — н и ч е г о, она одна, и звук восхитительно чист, какой-то небесной чистоты и ясности, словно б хрустален, и не походил на звуки никакого известного мне музыкального инструмента, словно это звучал сам воздух.

И опять я проснулся, не в силах выдержать того счастья, что переполняло меня, было выше меня, больше меня — сверх меня, и опять удивился сну, и опять заснул, и в третий раз зазвучали начальные такты симфонии, и теперь, когда я стал просыпаться, на грани сна и бодрствования, меня осенило: да это же мать подает мне знак!

Невероятно, чтоб это было случайностью. Это она прощалась со мной. Прощалась со мной, и прощала меня, и говорила мне, что там, где она сейчас,— ей хорошо, они встретились с отцом, и Господь принял их и соединил, а земная их жизнь вознаграждена.

Дмитрий Бобышев

«РУССКИЕ ТЕРЦИНЫ» И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Имена

1. Ефиму Славинскому

Столько худого хлебнул, а ни-ни:
не вспоминаются черные дни,
а вспоминаются белые ночи,
яркие сумерки,— только они...

Смольный собор в озареньи заочном,
тыльце ладони, студеной на ощупь,
сладкие горести, робкая страсть...
— Тянет обратно?
— Да как-то не очень,

разве когда переменится власть.
— Как бы не то! Хоть и в петлю залазь —
тупо стоит...
— Но об этом не надо:
наши родные залогом за нас.

А из решетки у Летнего сада
твердые звуки державного лада,
арфоподобные, надо извлечь.
— И не тянись из Не-знаю-где-града,

сытого самоизгнанья, сиречь.
То и твержу:
— Завела меня речь
с книжкою первозеленых «Зияний»
слишком неблизко... И — сумка оплечь.

Не получилось пыланий-сияний.
Разве что опыт осядет слоями,
истинно станешь не кем-то,— собой.

— А хорошо бы, ребята-славяне,
песнь кривогубую спеть на убой:
«В той степи глухой замерзал ковбой».

Милуоки, июль — сент. 1982

Яшина веревочка

Мерзо-сытая, американская,
скользкая без мыла, мразь,
все же захлестнула, не соскальзывая,
выдержала, не оборвалась,

Вниманию издателей! Отдел поэзии располагает стихотворной рукописью, подготовленной Дмитрием Васильевичем Бобышевым к изданию на родине.

напряглась, тошнотная, брезготная,
врезалась удавкой на затяг
в душу, занемогшую невзгодами,
теплую... И ни за что, за так —

все дары-сокровища... А прежде ведь,
шлаками житейскими дыша,
как она умела обезвреживать
яды, добролепая душа!

Видно, приземляясь, преждевременно
ликовала в новизне свобод...
Вот и — разрывное повреждение:
с ларами разлука — не Исход.

И такое хлынуло в пробоину
темное, что (знаю эту боль),
захлебнувшись мраками и болями,
кукарекнул разум, дал отбой.

Выскочил в какой-то юмор висельный
и, уже святым не дорожа,
всем язык в самоглумленьи высунул
точно: сквозь окошко гаража.

Поделюсь землею уворованной
(для себя в таможнях проносил).
Только глистоватую веревочку
вытошнить из памяти — нет сил.

Хьюстон — Милуоки, 13 мая 1984

По живому

1.

Рассказать бы простым языком
о голом комке протоплазмы,
что под галстуком и пиджаком
бьется из-, невылазный...

Да, и маменькин гогочка, и
злой зверек и амеба
тычется в закоулки свои
в жажде, в общем-то праведной, млека и меда.

Больно — значит, живешь. Больно жить.
Иногда — интересно.
И зарубкам излюбленным (чем же еще дорожить?)
за года не стереться.

Тут и случай: «До встречи Нигде».
Почему-то припомнилось Волково Поле,
почему-то перо — в (никогда не растил) бороде,
и — не станем додумывать боле...

И — никак, никуда, никогда:
перекресток вот эдаких, лучших
в переперченной жизни, и как ни хотелось бы — да,
нет, не выйдет, голубчик.

Не того ли же солнца припек,
и не те ли же зги вечерами?
А, как вышло-то вовсе не так, поперек:
что́ Страну,— мы себя потеряли,

и с пробоиной в ребрах, и черпая чорта бортом,
держим курс на какой-то Канопус.
Ну и что: если даже потонем, так это потом.
Раскрутили мы все-таки глобус.

2.

Ах, ты песня, песня русская,
выручай от заморской тоски,—
словно лезвие узкое, узкое
разрезает комок на куски.

Почему, для чего и откуда я?
И — куда? Подо мной — океан.
Что-то где-то должно быть напутано:
как допить непомерный стакан?

Я ведь русский, брательники, русский я!
И куда же меня занесло?
Карта Мира вселенская, хрусткая
нулевое мне кажет число.

Где-то поле и поскоки конские,
городецкий раскол калабах.
И в размор на припеке, на солнце
холодок пропотевших рубах.

Повернулась Европа на палочке
и пропала в воздушной тени.
Ах, Семен Ерофеич, с Пал Палычем
чокнись, друг, и меня помяни.

Над Атлантикой, 3 июня 1983

4.

Вещи могут морщиться, как лица,
вот одна возглавила пальто:
на себя неузнанно глядится
ошалелый дядька с пульсом 100.

Узнаешь ли давеча царевича
в дядьке? Неужели это — я!
Как у Владислава Ходасевича,
только по всезнанью — не змея.

В драку шел когда-то, как на праздник,
мир изъездил, исходил Париж.
А — в изветах, в язвинах напраслин
больно ли? О чем ты говориш .

На людей железо не замахивал,
слова не растлил, куная в яд.
Но признаньям этим, ох- и аховым
кто-то, похохатывая, рад.

А сейчас бы тихо чискнуть: мама!,
и вверху воробушек: чувить.

Шкурой подгнивая, рухнуть мало.
Рухнешь — как бы тех не придавить...

Отпусти мне лет побольше, скареда,—
каюсь и канючу, как цыган:
Дари-дари-да́ри, дари-да́ри-да.
Поздно, конь хромой, пустой карман.

И — да будь подольше не допета,
положи на ноты даже стон,
песня, у которой — ни секрета.
Если только точен тон.

Милуоки, февр. 1985

Физиономии

Как, однако, вожди некрасивы,
если даже и льстит аппарат.
Сколько тучной набыченной силы
выставляют они наперед.

Ни на гран, что мы ценим и любим
в собеседнике, в друге, в другом:
чистоумной открытости людям,
искры юмора — нет ни в дугу.

Но за тяжкими их орденами,
за буграми напыщенных лиц
до чего же они ординарны!
— Как бы с нами единая власть...

Оттого мудрецы и безумцы,
те, что были бы солью земли,
либо там на запечьи трясутся,
либо всяк на свободе замлел.

Кто-то скажет: — А так нам и надо...
Знал бы всё, не перечил бы впредь,
и — обратно бы в теплое стадо
потереться боками, попреть.

Перестань: всё равно, всё равно ведь
не втемяшиться в общий кулеш.
Ты уже непохож. Остановят.
Сам побрезгуешь, ложки не съешь.

А братва? А былая дружина,
что случалась роднее родных?
Да ничем она не дорожила,
всем давала с размаху подвздох.

Вот о ней-то горячего сраму
обобраться ли? Не оберешь...
Как чужую вчерашнюю даму
стыдно вспомнить.
А помнишь — и что ж!

Милуоки, окт. 1984

Жизнь Урбанская

4.

Кто отхватил сии: и земли, и стада?
Аэропорт, отель, театр — кто заграбастал?
Кому принадлежат сады: туда-сюда?..
Ты прав: маркизу Карабасу.

Ему: и даже тот за дальним полем лес...
Его — издательства, и зданья, и газета;
его и ловкий кот, что в сапоги залез:
маркиза Университета!

И даже я, его с проплешиной вассал,
взял греческое «Пси» и жестом «Тэту» кинул.
Орфеем эдаким, и оду возбряцал,
урбанистическим акыном...

Что вижу, то пою: зрю — Университет,—
луг — и студентами вдруг запестревший кампус.
Кто — с голубым пером, кто в тоге, кто и нет:
афро-корее-инде-канцы...

Чему учен, учу: с 12-ю моих
я под пятнистым и развесистым платаном
витийствую вовсю. И вместе русский стих
мы расплетаем-заплетаем.

Не чудо ль, что среди венеро-марсиан
«Соседа Котова» сужу я по науке:
виршеслагателя, цензуры — где изъян?
В России бы не зрели буки.

И вот — 12! Бьет раскатистый курант:
ланч-переланч... По мне — обед книго-червячный.
Пустеют поприща... А я тому и рад,
что труд и ячневый, и вящий.

Библи-отеческий, иначе говоря.
Читаю здешние и ваши альманашки,
где тужится поэт, лирически буря
бурят. Но хороши и наши...

Нет, хуже. Потому: рабы наоборот
(зачем уехали?) оттискивают в книжки
все фобии, что в них копились наперед,
сперва нагревшись на костришке.

Им и Америка — страна зубных врачей,
а о родной дыре — лишь в терминах анальных...
Захлопни альманах. Заглохни, книгочей...
Осталось 2 строфы финальных.

О чем бы в них? Как льдом позваниваю? Иль
по фене áглицкой гуторю на приемах?
Как под хмельком домой веду автомобиль?
Да тут и всяк — не промах.

А вот о чем: домой. Где спит лобастый карл
с настольной мудростью компьютерного рода,
с просторной ряшкой — электронный аксакал.
Нажмешь куда-то, и — вот эта ода.

Урбана, 1986

Из «Русских терцин»

* * *

Бесстыден, и любезен, и свиреп,—
ни дать ни взять, как Цезарь у Катулла,—
тяжелой государственности вепрь

в гнезде орла воссел короткотуло.
Ты скажешь: — У Истории в хлеву
свинья согнала курицу со стула...

— Но я-то на земле впервой живу!
Не наблюдал я, как летели перья,
но, кажется, увижу наяву

кровавый жир последней из империй.

* * *

Срок отмотал, судьбу благодаря:
«Я в будущем России поселился!»
— Как? Неужели — снова лагеря...

«Скажу лишь: изолирует солистов,
но хором пользуется дирижер.
Вот: демократы, националисты,

религиозники — влезают в спор.
А власть всегда ролями управляет
наличными,— так было до сих пор.

В Мордовии, меж тем, готов парламент...»

* * *

«Увижу ли народ освобожденный?..»
— Не Пушкину, так Блоку довелось.
Антихрист ли, Христос краснознаменный

гульнул, и снова в рабство впал колосс.
— Увидим ли его в духовной силе?
Ведь это все, что нам хлебнуть пришлось,

по вкусу лишь КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ.
Кого винить? Не ясно ль дураку:
мы сами проворонили, разини,

какую Родину!.. Россиюшка — куку!

* * *

Нет частной собственности — есть продукт,
но трогать не велел хозяин-барин.
— А как не взять: другие украдут!

И тянут всё и вся в худом амбаре
(да с гаерством: «Да я вас попросю...»):
тотально — толь и тюль, на стройке, в бане,

котам песок, объедки поросю
(«Ну, мыслимо ли жить с одной зарплаты?»),
пока страну не разворуют всю.

Зато покорно-пьяно виноваты.

* * *

Туды — «шекснинска стерлядь золотая»,
куда и «щука с голубым пером»...
ПОРТКИ БЫ МЫ ПЕРВЕЕ ЗАЛАТАЛИ!

(Зато, видать, и лезем напролом,
что стыдно отвернуть...) А ведь когда-то,
как нас, кормили Землю мы зерном:

чего-чего, — пахали мы богато!
Теперь вопрос: ЧЕМ ДЫРЫ ЗАЛАТАТЬ?
— Смекалкой полупьяного солдата?

И — кто есть русский? — Нищий? Или тать?

* * *

Как труд умеет очернить субботу,
так вот и мы — что толку, что сильны?
Злоравенство, небратство, лжесвободу

мы взяли сдуру лозунгом страны.
А как его сменить — не понимаем,
когда и в стаде все разобщены.

И мучится родимая, немая...
И душно, брат, — дышать и не проси,
покудова земля не принимает

Главнопокойника Всея Руси.

* * *

«Не дай нам Бог увидеть русский бунт,
бессмысленный и беспощадный». Пушкин.
...Тебя же первого и загребут.

И — по соплям. И — гирькой по макушке.
Звереем пьяными. Зато потом
такие паинькие сим-пам-пушки, —

самим не верится, что был погром.
Ярмо пожестче — и порядок, вроде...
Сначала справься там, в себе самом:

— А ну, как на духу — готов к свободе?

* * *

Мы — по бесправью — равноправны все.
Но нам и тут намного жальче женщин:
они же — словно белки в колесе...

И как-то удается ведь зажечь им
в крови пожар, и в доме ореол.
Воздать бы нашим любушкам, да нечем.

— Но почему: работаешь, как вол,
а ни тебе порядочной зарплаты,
ни отдохнуть, когда к себе пришел?

Поел — и спать. Всё бабы виноваты.

* * *

Да, это мы толпою шли в народ.
Учили: «Человек — от обезьяны.
Все люди братья. Значит, бей господ».

Увы, из нас повыбили изъяны
вот этой самой «будущей зари».
Теперь учить и некого — все пьяны —

и некому... А, что ни говори,
ведь мы и есть народ. Да, тот, который...
И вот идем толпой в золотари!

В — наладчики, кондуктора, вахтеры...

* * *

Считается пока, что это — мода:
раскрытый ворот и нательный крест.
Из тех же, безобиднейшего рода,

что были при Тиверии, — протест.
НО КРОТКИЕ НАСЛЕДОВАЛИ ЗЕМЛЮ...
Пускай с фальшивой цепочкой протез

на место Бога влез без угрызений, —
рассыплется... А Ты, Живый, гряди!
Избави нас от пасти Колизея.

Зато и крестик носим на груди.

* * *

Мы «красоту, спасающую мир»,
(нисколько не желавший быть спасенным),
пытались вызвать дребезгами лир;

полу-Орфеем, в пай с Анакреоном,
а то и полным Блоком был поэт.
Но пел «униженным и оскорбленным».

И если влёт поэта бил дуплет,
то публика тем самым признавала
его куплеты делом — разве нет? —

«О злостном утвержденьи Идеала».

* * *

Мольбу возносят «темные» бабуси
с благораствореньи воздухов,
и — благорастворяются воздуси.

И плавающий — на плаву, сухой.
И путешествующий сел под кленом.
И за недугующим стал уход.

И — реабилитирован плененный.
Земля родит, хотя и не сполна,
и власть уже не душит миллионы

Народу... Странно, а стоит страна.

* * *

Да. «Не стоит ни город, ни страна
без праведника». Здесь творец Матрёны
прав полностью. Молельщица — она,

в платочке бабка, коих миллионы.
Покрошит хлеб, и — паре у ворот:
— Входите, двери храма отворёны.

Помянет мертвый и живой народ,
и — в очередь, зятьку на опохмелье...
К тому еще и внуков обошьет.

Те: — Бога нет!.. Она: — Мели, Емеля!

* * *

Так и бывает: подпоят старушек
филологи в поморских деревнях;
те — в мыслях отойдут от постирушек,

и причепурятся, и: ох-да, ах-
да как заколыхают звоны-стоны...
Многоголосье! Глоссолальный Бах!

Свежо и дико, древне и достойно.
И где-то там, где ты — уже не ты,
запустишь диск... И — вот они, устои,

от коих дал ты, лапоть, лататы.

* * *

.. Но не поёт! Идет на крик крещендо.
Тысячелетье — разве это срок
для отрока-народа от Крещенья?

До — отреченья... Видно, не глубок
днепровский омут, где топили «прелесть»:
Перун уплыл, Велес и не промок...

Ну, а в подростке силушки прозрелись,
застыла кость неясного лица,
и, кажется, вот-вот наступит зрелость...

Нашед себя, ищи, сынок, Отца!

* * *

Аршином не измерить. Но — безменом:
противовес — исконнейшая Русь;
чека — Урал; а на плече безмерном

висит пространства лесопустный груз,
морозной беспредельностью укутан...
— Боишься ли Сибири-то? — Боюсь.

В мешок таежный сунь любую смуту,
и — нет говорунов. И — тишина,
понятная в оттенках лишь якуту:

— Однако, молчаливая страна.

* * *

Все заодно — новопородной массой...
Штаны мешком, щетина бритых щек —
обозначали с Родиной согласье,

энтузиазм, лояльность... Что еще?
...А патлы — от прозападных влияний —
с юнцов тогда срезались горячо.

Но моды непокорные виляли...
Теперь в толпе на бороды взглянуть, —
наружу лезут вятичи, древляне,

поляне, меря, кривичи и жмудь.

* * *

Ползут по сердцу слезные расплывы,
и облачные тени — тут и там,
где так Христовы старицы красивы

со звездами по синим куполам.
Холмы. Белоберезовые рощи.
Поляны и дубравы пополам.

И соразмерно всё, и что-то прочит,
и прошлое с грядущим заодно...
Вот здесь и лечь — нет сладостнее почвы —

и натянуть на голову дерно.

* * *

Да не сочтется эта речь за наглость:
— Не «Городу и Миру», — ей о ней,
стране моей сказал я с глазу на глаз

ей-ей же правду... Издали видней.
И ежели я не увижу боле,
как говорится, до скончанья дней

картофельное в мокрых комьях поле,
сарай, платформу в лужах и вокзал, —
ну, что ж, пускай. Предпочитаю волю.

Умру зато — свободным. Я сказал.

Петроградская сторона 1977 — Милуоки 1981

г. Урбана, США

Алла Сельянова

ЧЕРТОВА КАРУСЕЛЬ

РАССКАЗ

Окно выходит на восток, и я смотрю, как шторы, почти синие в полумраке, постепенно бледнеют, становятся пепельными. В форточку тянет запахом хлеба — значит, в пекарне уже идет работа.

Без трех минут пять, пора вставать и будить Ленку.

Вставать рано мне легко. Я и дома никогда не спала долго. А запах хлеба напоминает о домашних праздниках, когда мать поднималась ни свет, ни заря и замешивала тесто в большом глиняном горшке. Я почему-то хорошо помню этот горшок — широкий, коричневый, и одна ручка у него отбита наполовину. Горшок накрывали салфеткой, а потом телогрейкой, и скоро тесто вырастало в тепле, выползая из горшка пористым горбом. Тогда мы с сестрами делили тесто на шесть частей и лепили пироги, каждая — свои. Вера, старшая, всегда делала круглые, мне нравились узкие и длинные, а восьмилетняя Нюська каждый раз старалась придумывать новые, замысловатые, но всегда у нее в конце концов выходило что-то несуразное. На вкус же все пироги получались одинаковые, потому что тесто было мамино. Потом мы сидели за столом — мужья двух старших сестер, племянники и мы: Вера, Надежда, Любовь, Екатерина, Софья, Нюська и мама. Окна распахнуты, и те, кто проходит по улице, заглядывают к нам и здороваются. Я вижу: в полутемной комнате наш праздничный стол, мать, высунувшись в окно, держит тарелку, а старуха под окном все частит, благодарит мать, и ее ссохшаяся ручка забирает с тарелки пироги, среди которых и мой, длинный. Со старушечьей руки я перевожу взгляд на иконы в углу — они как раз позади матери, вижу Богородицу, и тайная мука в ее лице так не вяжется с теплым, солнечным майским днем за окном, с веселыми лицами сидящих за столом, с визгом разыгравшихся племянников...

Здесь нет образов, нет мух в комнатах, и окна первого этажа так высоки, что Ленка, возвращаясь под утро с прогулок, подставляет чурбан, чтобы постучать в стекло.

Здесь ранняя австрийская весна, деревня впритык к горам, дома в аккуратных оградах, белые сады и единственная улица со стоянкой для машин туристов.

Мы с Ленкой живем здесь почти три года. Из наших неполных девятнадцати.

Три года как бы за странным занавесом, по ту сторону которого идет всемирная война, а до нас не доносится почти ни звука. Иногда,

---

Алла СЕЛЬЯНОВА родилась в 1956 году в Мариуполе, выросла в Туле, училась в Тульском политехническом институте; бросив его после 4-го курса, поступила в Литературный институт, в 1984 году закончила его. Сейчас живет в Ленинграде. Печатала рассказы в альманахах и коллективных сборниках. В центральном литературном журнале публикуется впервые.

когда я вдруг словно забываю, что происходит, мне хочется сесть и написать домой письмо, я даже начинаю мысленно складывать первые строки, и рука уже тянется к тумбочке у кровати, где у меня припрятаны чистые листки, но тут я вспоминаю, что писать отсюда — все равно что пускать бумажных голубей в горящем доме. Какая всемогущая рука сможет донести мое письмо туда, в русский город, на Посадскую улицу, чтобы моя мать узнала, что я жива?

Будильник звонит громко и долго, но и сквозь его звон я слышу, как на кухне наша хозяйка Эльза ругается с Петером. Я представляю, как он глупо улыбается и кивает, но знаю, что он тут же пойдет и втихомолку все сделает по-своему. И Эльза это тоже знает.

Я встаю, надеваю платье и потуже закалываю волосы. Волосы нужно убрать так, чтобы ни один волосок не торчал, потому что Эльза превыше всего ценит аккуратность и говорит, что девушка обязана быть опрятной, особенно если работает на кухне. Пока я занимаюсь волосами, смотрю в зеркало на спящую Ленку. Ей нипочем ни будильник, ни голоса на кухне, она спит мертвым сном. Одеяло сползло, торчит нога, белая, как тесто, которое по утрам месит Петер. Ленка вся такая — молочная, рыхлая, сдобная, и я рядом с ней кажусь просто мумией, темной и высохшей.

— Ленка! — кричу я в зеркало.— Вставай!

Она и не шевелится.

— Вставай!— повторяю я терпеливо.— Пять уже!

— Пошла к черту,— отвечает она сквозь сон.

И так — каждое утро. Пока я застилаю постель, Ленка лежит, уже с открытыми глазами, приходит в себя, зевает, потом садится на кровати, свесив ноги, и смотрит в пол. Она голая, ей почему-то всегда жарко, душно, и каждое утро она злится на меня, словно я бужу ее по собственной прихоти.

Наконец, Ленка встает и начинает надевать лифчик, пыхтит, изгибается, но каждый раз с грехом пополам застегивает только один крючок, а остальные просит меня.

Волосы у нее распущены, они — предмет моей зависти, вьются сами собой, мягкими волнами, пепельно-серые и шелковые, и я бросаю взгляд на свою маленькую головку с прилизанными черными волосами, сколотыми на затылке.

Ленка копается еще долго, и, когда мы выходим, Эльза, в голубом шерстяном платье, уже ждет нас у дверей кухни, и лицо у нее немного недовольное.

— Доброе утро, фрау Эльза,— говорю я. Ленка только кивает.

— Доброе утро,— отвечает Эльза, коротко улыбнувшись.— Сейчас Петер привезет капусту.

И она уходит, легко перешагнув порог. Эльзе около тридцати, но мне кажется, что я в свои восемнадцать выгляжу старше. Слышно, как Эльзины каблуки стучат по лестнице, ведущей на второй этаж.

— Ты начинай, а я в пекарню сбегаю, погляжу, что там делается,— говорит Ленка.

Я чищу морковь, потом режу лук, разделываю курицу, а Ленки нет минут двадцать, но я-то знаю, что там, в пекарне, уже ничего не делается — Петер булки испек и уехал за капустой на своей кляче. Наконец Ленка возвращается, жуя горячую булку. Кусочек сует мне в рот.

Потом садится на табурете у окна, зевает часто, качает ногой и все ждет, когда появится Петер. Тот тоже работничек дай боже — показывается на другом конце улицы только часа через полтора, хотя

съездить-то нужно было в соседнюю деревню, которая видна от нашего дома, только она чуть повыше, в горах.

В восемь мы завтракаем тут же, на кухне. Едим тушеную капусту и пьем кофе с булками. Ленка сидит бок о бок с Петером, и я вижу, как он хватает ее за ногу, опуская руку под стол, будто для того, чтобы почесаться. Ленка невозмутимо ест, и на ее широком лице ничего не отражается.

Где-то под окном воркуют голуби. Я смотрю на начинающие зацветать вишни и думаю, что дома еще могут быть морозы, и мать, наверное, сейчас растапливает печь. Над домом дымный столб, вся Посадская в таких столбах. На матери старая, общая с дочерьми, душегрейка с темным мехом по низу и вытертый шерстяной платок. Если в сенях нет дров, мать, запахнув душегрейку поплотнее, пойдет через длинный коридор во двор, к сараю. А во дворе, может быть, намело за ночь, и мать вытащит из-за двери широкую лопату и начнет расчищать дорожку, потом пойдет к сараю, и снег будет тихо похрустывать под подошвами ее валенок.

Я не знаю, что там, дома, на самом деле. Когда я начинаю об этом думать, в душу входит ставшая привычной тоска.

После завтрака я мою посуду. Из-под стола торчат длинные ноги Петера в дырявых серых носках. В его ботинках почему-то нет шнурков, и во время еды он всегда вынимает ноги из ботинок и вытягивает их под столом.

Он бельгиец, Эльза привезла его из лагеря под Веной через несколько месяцев после нас. Ему было лет двадцать пять, он был сын владельца магазина из какого-то маленького бельгийского городка. Совершенно непонятно, каким образом Петера затащило в водоворот войны, видно, чистая случайность — Петер и сам, наверное, не понял, как его завертело и вынесло сюда, к австрийским Альпам.

Он альбинос, с белесыми ресницами и бровями, и даже глаза у него бесцветные. Поначалу он был как будто даже благодарен Эльзе за то, что она вытащила его из лагеря, уж очень явной была разница между лагерной бурдой и Эльзиными обедами. Он приехал такой худой, длинный, глаза все время бегали, и ел за четверых. Тогда он совсем не понимал, о чем просим его мы или Эльза, и, пока ему объяснишь, устанешь, проще самой сделать. Но потом, когда он уже стал понимать и немного говорить по-немецки, мешая его со своим французским, я увидела, что он просто лодырь. Только Эльза и могла с ним управляться, а с нами он лишь улыбался и курил самокрутки, одну за другой, сидя на лавке за домом. Курить он мог часами — погасит окурок о подошву и тут же закуривает следующую.

Раньше в Эльзином ресторанчике служила еврейка, но ее забрали, и Эльза взяла нас. Для ее маленького заведения трех работников было, пожалуй, многовато, но я подозреваю, что Ленке она просто не смогла отказать.

В венской тюрьме мы с Ленкой пробыли немного, недели полторы — нас вывалили туда прямо из вонючих вагонов, в которых мы ехали невесть по каким землям бесконечно долго. Двери вагонов открывались только на время кормежки.

Мы просидели в тюрьме дней десять, когда прошел слух, что завтра будут переводить в лагерь, и нам стало страшно, потому что мы уже слышали, что это такое. Но тут-то нас и взяла Эльза.

К этому времени мы были уже ни на что не похожи — тощие и грязные, а главное, почти потерявшие разум от ощущения, что с нами

случилось что-то непоправимое, страшное и что впереди, возможно, будет еще хуже.

Я хорошо помню, как в тот день нас выстроили в шеренгу — одних русских, и сначала вошел толстый, с розоватым лицом мужик, очень похожий на сумасшедшего Гриню Спасского с нашей улицы, так что мы с Ленкой одновременно вздрогнули, и я чуть сжала ее локоть. Мужик, проходя вдоль шеренги, задержал взгляд на Ленке, но все-таки, видно, что-то в ней ему не понравилось, и он пошел дальше, а у нас отлегло от сердца.

Следом за тем мужиком появилась Эльза, и в тот момент, когда она перешагнула порог комнаты, мы встретились с ней взглядами. Мне кажется, я не думала тогда ни о дальнейшей своей судьбе, ни о том, кто такая Эльза и зачем она сюда пришла — я смотрела во все глаза на ее чистый, отглаженный коричневый костюм, на розовую блузку, на блестящие, собранные в узел волосы,— и Эльза показалась мне призраком из довоенной жизни, так мы привыкли к грязи и вони за это время. Наверное, не одна я смотрела на нее т а к. А Эльза, обведя взглядом шеренгу, указала — мне показалось — на меня, но Ленка, выдернув свою руку, за которую я все еще держалась, шагнула вперед. Тут Эльза кивнула и мне.

Через час, после оформления документов, мы уже выезжали из Вены вместе с Эльзой, которая спросила нас о чем-то, как только мы тронулись, мы не поняли, мы понимали только команды, и тогда она отвернулась и всю дорогу молча смотрела вперед, сидя рядом с шофером. Я помню спину шофера в бежевой замшевой куртке и его почему-то опухшее и равнодушное лицо.

Нам были поручены кухня и зал, а Петеру — пекарня и телега с клячей для езды по Эльзиным поручениям. Но нам приходилось присматривать и за печью — этот альбинос увиливал, как мог, и часто засыпал на мешках с мукой — он, как и Ленка, любил поспать.

В ресторанчике было всего несколько столов, но в мирное время здесь собиралось, наверное, много туристов. А теперь туризмом никто не занимался, приезжих не было. По воскресным дням приходили старики из окрестных деревушек, они пили пиво и беседовали.

Сначала в зале работала Ленка, но через неделю Эльза поставила туда меня — Ленке трудно давался чужой язык, и она была недостаточно расторопна. Эльза дала мне для работы в зале свое немного поношенное синее платье с воланом по подолу.

У Эльзы был восьмилетний сын и муж с парализованными ногами. Муж почти все время сидел наверху, и мы слышали его голос, когда он звал Эльзу. Эльза говорила — хорошо, что Бог отнял у Макса ноги, иначе бы у нее отняли самого Макса.

Так мы и жили вместе — семья Эльзы, Петер и я с Ленкой.

Позавтракав, мы готовим завтрак для хозяев, а Петер садится в телегу и уезжает — развозить хлеб Эльзиным покупателям.

В девять я несу завтрак на второй этаж, в столовую. Столовая маленькая, в ней стол с четырьмя стульями и высокий буфет у стены. В граненых стеклах буфета играют искры.

Эльза иногда завтракает и внизу, а это — для ее мужа и сына.

Я ставлю поднос на стол, и Макс кивает мне с улыбкой, а Герард уже тянет руки к тарелкам. Он избалованный и красивый, словно с картинки, мальчик. И очень любит поесть.

Фамилия Макса — Адамовски, он австрийский поляк. Когда-то Макс работал у родителей Эльзы, которым принадлежали и дом, и ресторанчик, и Эльза сильно его полюбила. Родители ее не очень-то хотели видеть Макса своим зятем, но они умерли, один за другим, и

Эльза все-таки сделала Макса хозяином своего приданого. А через два года после их свадьбы Макса ни с того ни с сего парализовало, с тех пор он сидит в своем кабинете и редко, только по праздникам и семейным годовщинам, спускается вниз. Он может передвигаться только с чужой помощью.

Макс сидит на стуле немного боком — мешают больные ноги. У него всегда такой вид, словно ему стыдно за себя и свою беспомощность — он не стал капризным, как это чаще всего происходит с тяжелобольными. Когда он выходит к столу, на нем всегда безупречно чистая рубашка. Он ни разу не появился в столовой в халате.

— Пожалуйста,— говорю я и ставлю перед ним тарелку.

Он улыбается и слегка, в благодарность, дотрагивается до моей руки. Макс вообще старается больше улыбаться, но он, видно, не знает, что улыбка у него получается невеселой, в ней всегда проглядывает страдание, которое особенно заметно в его прозрачно-голубых глазах.

Когда тарелки вымыты, а курица, предназначенная для обеда, уже заброшена в кастрюлю, я выбегаю во двор покурить. Эльза страшно не любит, когда курят в доме.

Курить я научилась здесь, и помог мне в этом Петер. Ленку он тоже учил, но ей не очень понравилось. А я закуриваю, когда выпадает свободная минута, и мне нравится курить, когда рядом никого нет. Я затягиваюсь поглубже, и скоро все окружающее словно отдаляется, становится похожим на наваждение, а в душе опять просыпается тоска.

Как выйдешь во двор, справа от двери — лавочка. Петер уже сидит на дальнем конце ее, и я сажусь с другого края, подальше от него. Петер улыбается своей дурацкой улыбкой. Я закуриваю и отворачиваюсь, чтобы его не видеть. Я смотрю на горы. По ним — бурые и зеленые пятна, зеленые — это сосны, их запах доносит ветер, если дует с гор.

Я вспоминаю черемуху, которая росла у самого нашего дома. Весной, когда она цвела, вся крыша была засыпана белыми лепестками.

— Катя, иди ко мне,— говорит Петер, а сам подбирается поближе, двигая толстым задом по лавочке в моем направлении. Вот он уже рядом, и я чувствую его цепкую руку на своей талии. Я поворачиваюсь к нему и молча смотрю — не надеюсь его пристыдить, только изучаю его улыбающееся лицо. Потом отрываю руку, поросшую длинными белыми волосами, от талии и, так и не докурив, ухожу.

Петер ржет мне вслед.

Обед проходит так же, как и завтрак, а ужин — как обед, все совершается по точному расписанию, от которого за три года моей жизни в этом доме ни разу не отступали. Остальное время Эльза хлопочет по хозяйству, Макс сидит наверху, в своем кабинете, а Герард пропадает на улице. Ложится Эльза в одиннадцать, а ее муж сидит до глубокой ночи. Когда мы с Ленкой домываем пол, я, выбегая вылить грязную воду, вижу, что в его окне светится зеленый абажур. Может быть, Макс читает книги, которых в его комнате много, а может, просто сидит и думает о жизни — своей и вообще.

По вечерам в ресторанчике сидят крестьяне. Они пьют пиво, закусывают сосисками с солеными хлебцами. У Луизы пропал без вести сын, говорят они. Они говорят, что он был очень красивый и очень молодой, совсем мальчишка. Они говорят об одном, а думают о другом: мой мальчик тоже там, и завтра я тоже могу получить извещение. И еще, говорят они, дела обстоят так, что скоро всему конец, конец этой дерьмовой войне. Им очень хочется, чтобы конец наступал скорее.

Крестьяне старые, высохшие, с коричневыми лицами, с корявыми пальцами Когда я приношу им кружки, они кивают мне и благодарят.

В самые первые дни нашей жизни у Эльзы, когда кто-нибудь из нас входил в зал, все замолкали и с интересом — не враждебно — рассматривали. Теперь привыкли. Со мной они вежливы, но Ленку, когда она изредка помогает мне, любят похлопывать по заду. А один старик, с виду еще не дряхлый, заигрывает с ней: притянет к себе на колени и делает вид, что хочет поцеловать. Ленка отмахивается и кричит по-русски:

— Уу-у, старый хрыч!

Все смеются, хотя давно привыкли к этой игре. И никто из них не знает, что такое «хрыч».

Поздним вечером, когда я после уборки, перед сном, выхожу покурить, Ленка отправляется в сарай к Петеру. Там наверняка он сажает ее на колени и делает кое-что еще, но она не обзывает его, хотя именно Петеру это подошло бы больше.

В сарай Ленка начала ходить давно Уж не знаю, как они там объяснялись, но, видно, друг друга поняли. Почти ежедневно Ленка возвращается только к рассвету — вот почему так трудно поднять ее с постели. Про свои дела с Петером она никогда мне не рассказывает, мы вообще мало с ней разговариваем — разве на кухне, по хозяйству, хоть и выросли на одной улице, в соседних домах, и ходили в одну школу.

У Ленки всегда было много кавалеров — и в школе, и на танцах в горсаду, куда мы уже начали бегать в последнюю предвоенную весну. А здесь, в деревне, только один, кто может для этого сгодиться,— Петер.

Каждый раз перед уходом в сарай Ленка переделывает прическу и мажется помадой, чтобы через несколько минут Петер размазал эту помаду своими раскисшими губами.

Мы и раньше не были с Ленкой настоящими подругами, потому что я часто ей завидовала — и тому, что она такая красивая, и что мать одевает ее, как куклу,— а мы с сестрами вечно делили выходные туфли.

Когда оркестр в горсаду кончал играть, мы уходили домой обычно втроем — я, Ленка и какой-нибудь ее провожатый. Сидели на лавочке у Оки, над самым обрывом, пока Ленка не пинала меня незаметно ногой и я не убиралась восвояси.

Та зависть теперь, из другого времени, кажется мне простой и понятной, но все же я чувствую, что нас с Ленкой разделяет нечто большее, хотя здесь мы, выросшие рядом и вдруг насильно оторванные от дома, должны были только сблизиться.

Помаду Ленка выпросила у Эльзы, когда та поинтересовалась, не нуждаемся ли мы в чем-нибудь.

Тут я вспоминаю, как нас привезли в Вену — вшивых, ободранных, со спутанными и давно не мытыми волосами. В первое утро, когда мы проснулись в тюремной камере, мы увидели, что в ней только мы с Ленкой да еще одна низенькая большеротая девчонка — русские, а остальные чешки, француженки, польки и еще Бог знает кто. Одна из них села, подогнув под себя ноги, достала откуда-то зеркальце, яркую губную помаду и начала красить губы, тщательно прорисовывая линию. Они вообще почему-то выглядели куда лучше нас, не такие были потрепанные.

— Вот сука,— тихо сказала мне Ленка,— еще и красится.

Мы были страшно измотаны и подавлены всем, обрушившимся на наши головы. А когда Эльза привезла нас к себе, мы почти всю ночь, до утра, полоскались на кухне в огромном жестяном корыте, горячая вода и мыло казались нам даром Божьим.

Свою одежду и белье мы по приказанию Эльзы сожгли. Только черную юбку, в которой приехала, я не смогла сжечь — хорошенько выстирала и спрятала под матрац. Юбку эту, из дешевой шерсти, сшила мне мать — я хорошо помню, как сидела рядом и ждала, когда будет закончен пояс, чтобы тут же примерить.

Ленка докрашивается и уходит, а я надеваю кофту и иду покурить перед сном. Я становлюсь в тень так, чтобы на меня не падал свет из открытой двери. Где-то неподалеку слышится Ленкин смешок, потом приглушенный голос Петера, они отдаляются — видно, пошли в сад.

Тихо и холодно, я запахиваю кофту.

Дома уже глубокая ночь. Над крышей высокие звезды, и каждый звук летит в морозном воздухе далеко, несется до другого конца Посадской. Это все, что я знаю сейчас наверняка, а остального не могу даже предположить. Потому что идет эта проклятая война, из-за которой я сейчас стою здесь, курю, чего дома никогда не делала, на мне платье из никогда раньше не виданной материи, и вокруг все чужое.

Сегодня я слышала, как один старик сказал, что русские будто бы уже вошли в Австрию. Он сказал это спокойно, лишь констатируя факт. Сердце мое забилось так, что пришлось поставить поднос на стол, и я спросила — правда ли это и где он это слышал? Но старик ответил, что он ничего не слышал и ничего не говорил.

Ленка опять возвращается за час до побудки. Лицо у нее опухшее, круги под глазами, на щеке размазана помада. Ленка плюет на палец и вытирает щеку.

На кухню она выходит помятая, с красными, ничего не видящими от бессонницы глазами.

— Лена,— говорит ей Эльза,— я тебя очень просила убирать волосы. На кухне нельзя работать с такими волосами.

— Пошла ты к ... матери,— отвечает Ленка по-русски, вполголоса.

— Иначе будешь работать во дворе,— продолжает Эльза.

Ленка стоит к ней спиной и глядит в окно.

— Вот сволочь,— говорит она, когда Эльза выходит.

— Почему? — спрашиваю я, чувствуя, как во мне поднимается какая-то злость.

— А что ей от меня надо? Ишачишь целый день...

— Это кто — ты, что ли, ишачишь?

— И ты туда же?..

Ленка глядит волчицей.

Я ухожу во двор.

Стычки у нас все чаще и чаще. Я и сама не могу понять, почему наступают такие минуты, когда Ленка мне почти ненавистна.

Весь день мы не разговариваем, я стираю и полощу белье, а Ленка отжимает его и молча швыряет в таз, не глядя в мою сторону. Но к вечеру мы миримся и ужинаем на кухне вдвоем, потому что Петер лежит у себя в сарае и не может есть — у него разболелись зубы.

К Максу приехал его приятель, которого зовут Отто.

У него длинное, землистого цвета лицо с серыми глазами и тонкими губами. На Отто большой, словно с чужого плеча, серый штатский костюм, потому что теперь он не годится ни в офицеры, ни в рядовые,— у него язва желудка, о чем мы узнаем от Эльзы, которая просит специально для гостя приготовить что-нибудь помягче, а левая рука висит, как плеть,— перебито сухожилие. Выглядит Отто лет на пятьдесят, хотя, надо думать, ему не больше тридцати пяти, если он числится в приятелях у Макса и Эльзы.

Мы понятия не имеем, что заставило этого инвалида потащиться в гости в такой, казалось бы, неподходящий момент, но с вполне оправданным любопытством — это, пожалуй, первый новый человек в доме за такое долгое время — глядим из кухонного окна, как он все стоит с Эльзой на лужайке, говорит ей что-то и смотрит то в небо, то на горы; по отсутствию у него большого багажа мы определяем, что приехал он ненадолго.

Весь день Отто проводит наверху. Расставляя тарелки в столовой, слушаю, о чем они с Максом говорят,— конечно, о войне, о Гитлере, об Америке и американцах, много раз Отто произносит слово «энде» -- «конец», но их разговор кажется мне несвязным, потому что Отто почти все выкрикивает, зло, нервно, а Макс отвечает спокойно и тихо, как обычно: за годы своего сидения в кресле он сделался настоящим философом, но если бы он побывал на фронте, то наверняка бы вернулся оттуда таким же неврастеником, как Отто, если бы вообще вернулся.

Из двери кабинета тянет запахом крепких и вонючих сигарет.

К вечеру Отто, слегка пошатываясь, спускается в ресторанчик и подсаживается к старикам. Он приносит с собой непочатую бутылку, тут же заказывает много пива, начинает пить сам и угощает стариков. Те, давно соскучившись по новым лицам и свежим новостям, глядят на него выжидающе. Но Отто только без конца пьет, много курит и пьянеет на глазах.

Наконец Йозеф Ленау, тот самый старик, который любит заигрывать с Ленкой, не выдерживает.

— Ну, а что слышно в Вене? — спрашивает он с таким видом, будто это и не очень-то ему интересно.

— Что? — Отто поднимает голову.— Да, я из Вены. Я — из Вены. А если ты хочешь знать обо мне побольше, то я скажу тебе, что мне все давно осточертело. Все, все, все...

Он начинает без конца чертыхаться и каждую свою фразу запивает пивом. Йозеф Ленау больше не смотрит на него и ничего не спрашивает, только переглядывается разочарованно с сидящими за столом стариками.

И тут Отто замечает Ленку, которая вытирает мокрой тряпкой свободный столик. Отто тяжело поднимается и, захватив с собой бутылку, идет к Ленке. Он идет медленно и нетвердо, и старики провожают его взглядами, словно ожидая каждую секунду, что Отто не дойдет и завалится. Но он благополучно доходит.

— Фройлен, я хочу с вами посидеть,— говорит он Ленке и жестом приглашает ее за столик.

Он наливает в кружку из бутылки, подвигает Ленке, а сам закуривает.

— Тебя как зовут? — спрашивает он, глядя на Ленку, которая медленно делает первый глоток, морщится, но потом допивает залпом и с удовольствием.

— Лена,— отвечает она, ставя кружку на стол, и поправляется:— Хелен.

— Полька?

— Русская,— отвечает Ленка, немного замявшись.

Отто смотрит на нее, откинувшись на спинку стула, а потом начи-

нает хохотать, как сумасшедший, так что даже Эльза появляется в дверях.

— Она — русская? — спрашивает Отто у Эльзы, та кивает.

Отто опять хохочет, запрокинув голову, но потом замолкает и закрывает лицо здоровой рукой. Другая висит, и от вида этой неживой, словно приделанной руки мне становится не по себе. Ленка, настороженная и притихшая, все еще сидит, и мне кажется, что ей в эту минуту страшно.

— Война,— говорит Отто громко и как будто совершенно трезвеет в этот момент,— это все война. Чертова карусель...

А потом уходит, сильно пошатываясь, и видно, что он мертвецки пьян.

На кухне Ленка допивает пиво из чьей-то недопитой кружки.

— Давай я у Эльзы попрошу, она тебе нальет,— говорю я.

— А, ничего,— отвечает Ленка,— я не брезгливая.

Но я все равно иду к стойке, Эльзы в зале нет, и я беру две бутылки пива. По-моему, это первое воровство, которое я совершаю, но совесть моя почему-то совершенно спокойна. Я сую бутылки Ленке и подталкиваю ее к двери:

— Иди к Петеру, а я к вам выйду попозже.

В зале уже пусто — все разошлись после ухода Отто, будто посмотрели спектакль, и больше в театре делать нечего. Через полчаса я сижу на лавке рядом с Ленкой и Петером и допиваю остатки пива.

Потом мы втроем закуриваем — Ленка тоже курит, когда опьянеет, а ей сегодня перепало.

— Чего этот-то смеялся? — говорит Ленка по-русски, только для меня.— Чего смешного? Я, что ль, смешная? Или что мы русские? Получил свое, так молчал бы сидел.

— Но-но-но,— возражает Петер.— Я не могу понять. Попрошу по-немецки.

— Я говорю,— Ленка переходит на немецкий,— что надо этого,— она кивает в сторону дома,— прикончить. Поможешь? Поможет — в штаны наложит,— добавляет она по-русски.

— Но-но-но,— смеется Петер,— не надо прикончить. Здесь это будет не патриотизм. Здесь это будет только уголовщина.

И он смеется во весь рот, похлопывая себя по ляжкам.

Я впервые слышу, как он рассуждает.

— И-и, козел, залился теперь до утра,— говорит мне Ленка.

Петер, все смеясь своим дурацким смехом, встает, и, зайдя за угол, начинает справлять нужду, а Ленка кивает в его сторону, пожимая плечами:

— Пьяный, что ли?

Петер возвращается как ни в чем ни бывало, садится рядом с Ленкой и начинает ее целовать, не обращая на меня никакого внимания.

Я встаю и ухожу.

На кухне горел свет.

В дверях, спиной ко мне, загораживая здоровой рукой проход на лестницу, стоял Отто. Он загораживал проход Эльзе. Он был пьян и настойчив. Я стояла и не знала, что мне делать — пройти мимо них в свою комнату, что очень бы смутило Эльзу, а этого я не хотела, или возвращаться на лавочку, где тешились Ленка и Петер. Так я и стояла — ни туда, ни сюда, а Отто говорил негромко и отрывисто, словно задыхаясь от какой-то внутренней боли:

— Ты понимаешь... всему конец. Так и должно было быть... должно быть так... от этого нельзя уйти...

— Пусти, Отто,— послышался просящий голос Эльзы,— мне нужно идти.

— Куда, ну скажи — куда?

— Нужно уложить Герарда.

— Не ври. Не ври мне. Он давно спит, твой Герард! Тебе противно со мной, да? Иди! — закричал он вдруг, словно в истерике, и резко отступил назад, так что на меня пахнуло запахом его вонючего табака.

— Не кричи,— сказала Эльза,— только не кричи.

Они стояли друг против друга, и руки ее были прижаты к груди. Эльза сделала шаг к лестнице, но Отто, схватив ее за локоть, притянул к себе. Эльза, вроде, пыталась вырваться, но я почувствовала, что ей уже не хочется уходить. Может быть, ее останавливала самая обыкновенная жалость.

— Пусти, —сказала она тихо.

— Иди,— тоже неожиданно тихо ответил он и отпустил ее руку.

— Отто,— прошептала Эльза.

— Самое страшное... я сейчас понял... я никому не нужен. Мне ничего не нужно. И ты — уже не нужна. Пусто внутри. Вывалилось что-то там... или в госпитале вырезали... черти стояли вокруг стола... они меня резали. Они душу мою взяли. Может, я схожу с ума, но я чувствую в себе дыру, она во мне есть, я могу залезть туда руками... Да иди же ты, иди! — закричал он опять, задыхаясь, и схватился за грудь.

— Тебе нужно лечь,— сказала Эльза тихо и спокойно, как врач.— Я принесу тебе снотворное.

Но лицо у нее было испуганное.

— Уходи. Мне не нужно снотворное.

Он притянул ее к себе и поцеловал в лоб. Эльза отпрянула и побежала наверх, не оглядываясь, а Отто остался один.

Тут ко мне подошла Ленка и спросила:

— Кто это здесь орал?

— Тише,— прошептала я.

Ленка заглянула через мое плечо. Отто постоял немного, не шевелясь, потом махнул рукой и тоже стал подниматься по лестнице. Я услышала, как он бормочет:

— Чертова карусель... Чертова.

Мы с Ленкой прошли в свою комнату.

— Чего ты так рано сегодня? — спросила я.

— Захрапел, как медведь, и сказка недолга,— ответила Ленка.— А что мне около него сидеть, караулить, что ли? Чего этот-то орал— сам с собой?

— С Эльзой.

— Хотел чего-нибудь, небось,— усмехнулась Ленка.— Тоже мне, нашла себе любовей — один без ног, другой без руки.

— Твой зато и с ногами, и с руками,— зло ответила я.

— У тебя и такого нет,— сказала Ленка, и мы больше не разговаривали.

Она легла и тут же заснула, а мне не спалось, я еще покурила у приоткрытого окна.

Ночь выпала ясная, над горами висели яркие звезды. В деревне было тихо, только однажды мне показалось, что где-то проехала машина. Но я подумала, что этого не может быть — с какой стати кого-то понесет в эту глушь, да еще ночью?

Утром мы встали по будильнику, Ленка, впервые за долгое время выспавшаяся, вскочила вместе со мной, и выглядела свежо и бодро.

— Глянь, однорукий куда-то поперся,— сказала она, глядя в окно.— На прогулку, что ли? Спал бы себе...

Отто уходил не спеша по тропинке от дома, смотрел на еще больше побелевшие за ночь ветки вишен, и его серый костюм сливался с легким утренним туманом. Сначала я подумала — а вдруг он решил уехать незаметно, не прощаясь, потому что ему неловко за вчерашнее, но никаких вещей у него не было.

Скоро он совершенно слился с туманом, только черные шляпа и шарф еще виднелись некоторое время, словно плыли в прохладном белесом воздухе сами по себе.

—В горы гулять пошел,— сказала я, когда и шляпа с шарфом растаяли.

— С похмелья,— высказала свою догадку Ленка.— Рюмку б выпил, сразу б полегчало.

Возможно, мы обе были правы — что Отто решил прогуляться, потому что наверняка чувствовал себя неважно, может, это так и было, но он застрелился в километре от деревни, в лесу, у грязноватого в ту пору горного ручья, каких в лесу было много. Нашли его к вечеру двое мальчишек, приятелей Герарда, которые ходили в горы жечь костер.

Приезжала полиция, допрашивали всех нас, и особенно меня, Ленку и Петера, но самоубийство признали, на том все и кончилось.

Через неделю в деревне никто кроме тех двух мальчишек, потрясенных этим случаем, про Отто и не вспоминал. Дело было не совсем обычное, но чрезвычайно простое: приставил пистолет к виску и нажал. Фантазии разыграться негде.

Вечерами, закуривая на темном дворе, я иногда вдруг вспоминала лицо гостя — оно стало постепенно уходить из памяти, как уходят виденные недолго, мимолетом лица, но хорошо помнилась его фигура в коридоре, повисшая плетью рука и его бормотание — когда он поднимался по лестнице.

— Катька! — толкает меня Ленка.— Катьк, слышишь?

— Чего ты, сумасшедшая,— отвечаю я, ничего не понимая спросонья.

Ленка сидит у меня на кровати.

— Встань, чего скажу.

Я сажусь и слушаю.

— Слышь, мой нам побег предлагает.

— Что предлагает? — не сразу понимаю я.

— Побег! — шепотом говорит Ленка.

Я удивленно смотрю на нее — не потому, что она говорит что-то странное, а потому, что, значит, побег так и не выходил у нее из головы. Однажды, на какой-то румынской станции, она выскочила из вагона, шмыгнула под него, но тут же с другой стороны ее прихватил охранник. Он должен был стрелять, но почему-то не выстрелил, а только надавал Ленке тумаков и втолкнул ее обратно в вагон. После этого случая охранники стали обращаться с нами еще жестче.

— Куда — побег-то?— спрашиваю я.

— Да он на днях ездил куда-то, а там встретил одного своего. Тот ему говорит, все равно — конец, искать уже не будут. Хотят в Бельгию, к себе, бежать. На завтра сговорились. А мне одной с ними чего-то страшно. А, Катьк?

— Так чего ты меня сейчас разбудила, потом бы и сказала.

— Да неспокойно как-то. Спать даже не могу.

Но она легла и все-таки тут же уснула, а я так и не смогла, да и спать оставалось чуть больше часа.

Днем, как только мы остаемся одни на кухне, Ленка опять начинает говорить про побег.

— Ну ты как — решила? — спрашивает она.

Я молчу. Я не знаю, зачем мне бежать в Бельгию. К тому же с Петером я не побежала бы и в рай.

— Ну-ну, смотри. Вдвоем-то все лучше, веселей.

А Петер не подходит к нам весь день — может, соблюдает конспирацию? Зато без конца вертится около своего сарая — видно, подтаскивает что-нибудь.

Вечером, когда мы заканчиваем работу, Ленка начинает собирать свой узел: коричневое, доставшееся от Эльзы платье с белым кружевным воротником, несколько пар чулок, две рубашки, помаду с зеркальцем. Я даю ей два куска мыла. Поверх тряпок Ленка кладет завернутые в бумагу булки.

К Петеру, конечно, она не идет. Мы гасим свет, но уснуть не можем. Ленка ворочается с боку на бок, кровать под ней скрипит, и я тоже начинаю волноваться — как-то вдруг осознаю, что все это не игра и что действительно Ленки завтра уже не будет. Хорошо или плохо мы с ней жили, но теперь мне кажется, что без Ленки станет совсем одиноко.

— Кать, может, не увидимся больше? — спрашивает она из темноты.

— Может, не увидимся.

— Ты, если до наших доберешься, матери моей расскажи тогда, как мы тут с тобой...

Мы замолкаем, и слышно, как в окно ударяют редкие капли. Дождь собирался с полудня, но начался только к ночи.

— Дождя не хватало,— Ленка поднимается на локте и глядит в окно,— по грязи-то шлепать...

— Лен,— говорю я,— а помнишь, как тебя ребята в школе привязали ниткой к забору?..

Сама не знаю, почему вдруг это вспомнилось.

Ленка тогда стояла, привязанная, и ревела белугой, а оторваться почему-то не могла, эта нитка действовала на нее магически. Мальчишки смеялись и не подпускали меня к Ленке, и тогда я побежала за ее матерью. Это было во втором классе.

— А ну тебя,— говорит Ленка, все-таки засмеявшись. — Спать надо. Он в три часа стукнет. Услышишь — толкни меня.

Она отворачивается к стене. Узел лежит на стуле рядом с кроватью.

Дождь усиливается, и я представляю, как быстро размокают тропы в горах, по одной из которых пойдут скоро Петер и Ленка.

Господи, думаю я, Ленка бежит в Бельгию. Из Австрии в Бельгию. Кто бы мог подумать, кто бы мог предположить такое. Могли ли мы представить себе что-нибудь подобное, когда сидели, скрываясь от всех, за кустами смородины в Ленкином саду и читали тетрадку с любовными стихами, которую Ленка у кого-то на день попросила? или когда клянчили у матерей мелочь на кино? когда ходили на танцы в горсад?..

Тут вдруг вспомнился Отто, уходящий в туман, потом он шел уже под проливным дождем, и сквозь этот дождь я как будто услышала слабый выстрел, потом другой, третий, но все это было уже во сне.

Просыпаюсь я от звонка будильника. Почему-то страшно хочется спать, но уже пять часов.

Я сразу вспоминаю про Ленку и ее побег.

Узел, как лежал, так и лежит на стуле у ее кровати, а из-под края одеяла торчат по колено голые Ленкины ноги.

— Лен! — громко зову я.

— А? — она вскакивает и сидит несколько секунд с открытым ртом.

— Ворона кума! — отвечаю я.— В Бельгию побежим?

Мне отчего-то становится весело, и сон как рукой снимает.

— Времени сколько? — спрашивает Ленка, начиная что-то припоминать.

— Пять.

— Правда, что ли? — говорит Ленка и переводит взгляд на свой узел.— А этот где?

— Этот тоже, наверное, в сарае спит. Под дождик сладко спится.

Ленка встает и, махнув рукой, начинает развязывать узел. На рубашке расползлось большое масляное пятно — от булок. Ленка раскладывает свои вещи по местам, и видно, что она не огорчена, не очень расстроена.

Тут в дверь стучит и заходит Эльза. Она встревоженно спрашивает, где Петер,— его нужно отправить в город.

Мы пожимаем плечами.

Печь не затоплена, и нам приходится спешно делать все, что раньше делал Петер.

— Ты не слышала, как он стучал? — спрашивает Ленка.— Вот черт, надумал убежать. Мы, что ли, за него теперь отдуваться будем?

Я посмеиваюсь. Значит, Петер все-таки убежал.

Я представляю, как на рассвете он надел свою шляпу, взял узел с булками и совершил побег, то есть вышел из сарая и пошел по тропинке в горы, где сейчас ни одной живой души.

— А где он с тем бельгийцем должен встретиться?

— Шут их знает, где-то у трех сосен.

Да и представляют ли они, куда им идти?

В обед Эльза заходит на кухню и опять спрашивает нас, не знаем ли мы, где Петер. Она обязана немедленно сообщить в комендатуру.

Мы не знаем.

Но Эльза никуда ничего не сообщает — она, видно, поняла, что до Петера уже никому нет дела.

Вечерами Ленка тоскует. Ей очень скучно без Петера. Одна она сидеть не может, а я не в счет.

— Сколько он прожил-то здесь? — спрашивает как будто сама себя Ленка.— Два года да еще... сколько месяцев... раз... два... три,— она загибает пальцы.

Я молчу. Мне не хочется вспоминать, сколько здесь прожил этот альбинос.

Я только вспоминаю, как вскоре после его приезда Эльза послала меня посмотреть, хорошо ли идут дела у новичка. Петер сидел на лавке и глядел в пол. Булки пеклись.

Когда я вошла, он поднял голову, посмотрел на меня и подвинулся. Он сидел сгорбившись, словно нахохлившись, хлопал своими белесыми ресницами, и мне стало его жаль. Я тоже села на лавку.

И тут он, ни слова не говоря, вдруг опрокинул меня прямо на мешки с мукой, рыча, как собака. Я сначала онемела от изумления, но когда он задрал мне юбку и начал кусать в губы, я стала бить его как попало, а он только сжимал меня все сильнее. Я не хотела кричать, мне было бы ужасно стыдно, если бы на мой крик прибежали и обнаружили нас с ним на этих проклятых мешках. И я впилась зубами в его плечо так, что почувствовала, как хрустнула лопнувшая кожа и все его плечо залило кровью. Петер размахнулся и ударил меня по лицу со всей силы, что была у этого быка. Очнулась я уже на своей кровати, около меня суетилась Ленка.

Оказывается, Эльза сама пошла в пекарню и увидела меня лежащей без сознания на мешках, а Петер сидел в окровавленной рубахе и ел горячую булку.

Не знаю, что говорил Макс Петеру, которого вызывали после этого наверх, но вечером, когда мы встретились с ним во дворе, он улыбнулся как ни в чем не бывало и оскалил свои длинные, желтоватые от табака зубы.

А Ленка не кусалась, и с ней дела у Петера пошли хорошо.

Вот о чем я вспомнила, сидя в тот вечер на кухне, а Ленка все высчитывала, сколько здесь прожил этот подонок.

Петера заменили парнем, случайно забредшим в деревню. У него не было двух пальцев на левой руке, и он был немножко дурачок, хотя свою работу выполнял вполне исправно — возил все, что надо, месил тесто, только часто словно глубоко задумывался и забывал на это время о работе. Приходилось забегать к нему, чтобы проследить, не пересыпал ли он муки и не подгорели ли булки.

Днем он любил спать в углу, а когда печь топилась, сидел, смотрел на огонь и все пел нескончаемую однообразную песню на странном языке — он был то ли венгр, то ли цыган. Он кочевал, подрабатывал все время у кого-нибудь, а платили ему только едой.

В деревне уже вовсю говорили о скором приходе русских, но потом прошел слух, что вернее всего придут американцы. Крестьянам было все равно, кто придет, лишь бы скорее конец, и тогда вернутся сыновья, еще оставшиеся в живых, тогда стоянка опять заполнится машинами туристов и все наконец-то войдет в свою прежнюю колею.

И эти разговоры, и рассказ Йозефа Ленау, как он видел за двадцать километров отсюда несколько американских машин, и весна, которая все сильнее и ярче разгоралась,— все это будоражило и радостно тревожило душу.

Ленка уже не встает в пять, а спит, сколько ей вздумается, или просто валяется в постели. Иногда она ни с того ни с сего вдруг бросает работу и уходит во двор, сидит там на лавке, подставив лицо солнцу и вытянув ноги. Эльза словно ничего не замечает. Ленке она ничего не говорит, может, она просто не понимает, что Ленка хамит сознательно.

Однажды утром она зовет нас на второй этаж, в свою комнату, и открывает шкаф:

— Я хочу сделать вам прощальные подарки,— вам, наверное, недолго осталось здесь жить.

И дарит нам по платью — Ленке розовое, из какой-то нежной, полупрозрачной материи, с пышной юбкой, а мне построже, темно-зеленое.

— Опять со своими подачками,— ворчит Ленка, когда мы спускаемся по лестнице,— обноски свои раздает. Я дома получше сошью...

Однако, вслед за мной, сейчас же примеряет свое платье. Оно ей немного тесновато и в талии, и в груди, но Ленка, сняв платье, аккуратно складывает его в ящик под кроватью, где у нее хранятся готовые к отъезду вещи.

Когда-то мы еще приедем домой, думаю я. С тех пор, как нас согнали в вагоны и увезли за тридевять земель, я уже никогда ничего не загадываю.

С этого дня Ленка вообще не работает — лежит, скрестив ноги, на кровати или красит губы и уходит гулять в горы.

— Лена немного нездорова? — спрашивает Эльза.

— Да, ей нездоровится,— отвечаю я.

Понимает Эльза или не понимает?

— Русские в Вене,— говорит она.

Значит, понимает.

— Нам нужно ехать в Вену,— говорю я.

— Да-да,— кивает Эльза,— вы абсолютно свободны, вы можете ехать, когда хотите. Только будьте осторожней, на всякий случай.

Ленка лежит на кровати и что-то читает. В руках у нее старая, довоенная газета.

— Это что за слово? — спрашивает она и тычет куда-то пальцем.— Ну и кинозвезда, прямо как Валька Тихонова, которая на углу жила, помнишь? И что в ней такого?..

— Поехали в Вену,— говорю я,— наши уже там.

— Когда? — Ленка отбрасывает газету и заинтересованно смотрит на меня.

— Да хоть завтра. А сейчас пойдем, лестницу нужно вымыть.

— Тебе нужно, ты и мой,— отвечает Ленка,— а я к ней не нанималась.

Утром Эльза приносит наши документы.

Кляча запряжена, и цыган уже сидит в телеге, свесив ноги, поет и смотрит куда-то вдаль. Мы собираем вещи.

И тут появляется возбужденный до крайности Герард. Он бежит по двору, прыгая и крича, как оглашенный:

— Американцы, американцы!

— Где? — в один голос спрашиваем мы с Ленкой, но Герард уже мчится от дома куда-то на другой конец деревни.

Минут через десять въехали американцы, их было всего человек тридцать, они ехали по деревне колонной, веселясь, как экскурсанты, решившие прогуляться в горы. Среди них было много негров, и один, худой и длинный, как каланча, сидел в машине, шедшей последней, и, хохоча во все горло, обливал лицо водой из фляги. Потом он на ходу выпрыгнул из кузова и побежал рядом с машиной — очевидно, ему не сиделось на месте.

Крестьяне стояли у домов и с живым интересом глядели на американцев.

Мы с Ленкой тоже стояли у крыльца и смотрели, а Эльза без конца одергивала Герарда, который тыкал в негров пальцем.

— Привет союзникам! — весело крикнула Ленка по-русски.

Один негр прокричал ей что-то в ответ и сделал рукой неприличный жест, а остальные заржали при этом, как кони, выставив напоказ сверкающие белизной зубы.

Помахав обеими руками жителям деревни, негр, что замыкал колонну, бросился догонять уходящую за поворот машину.

Это появление едущих Бог знает куда веселых американцев никак не походило на смену власти.

Через полчаса американские машины возвращаются, Ленка, увидев их, выпархивает из дома, и вот я уже слышу ее радостный голос:

— Катька, Катьк! Открой окно!

Я распахиваю рамы. Ленка держит в руках большую, бурого цвета, странную коробку.

— Глянь, что американцы раздают!

Тут я вижу, что вся деревня вышла из домов, вижу смеющихся солдат и детишек, которые, как муравьи, тащат во все стороны такие же коробки.

Ленка нетерпеливо вспарывает пальцем склейку, откидывает крышку и ахает. В коробке чего только нет! Она вытаскивает и ставит на лавку банки с тушенкой, плитку шоколада, сухие концентраты, мыло в упаковке, пакет с медикаментами, какие-то небольшие коробочки непонятного назначения и даже несколько золотистых луковиц. Ленка разламывает плитку шоколада и дает уголок мне. Шоколад настоящий, горький и маслянистый.

— Побежали еще,— говорит Ленка, облизывая губы,— с собой повезем.

Я рассматриваю этикетку на мыле. Хорошее мыло, наверное. Здесь мы мылись и стирали мылом, которое почему-то и пены не давало, одно название что мыло.

Ленка уже несется к машинам. Я вижу, как она забирается в самую гущу солдат — те гогочут, а Ленка уже держит под руку молоденького черноволосого парня.

Дети растаскивают коробки по домам.

Яркое солнце над горами, шум голосов, смех, серые коробки.

Ленка приносит сразу три, одну дает мне.

Герард сбился с ног — он делает, по-моему, уже пятый заход за подарками. Притащив очередную коробку, он с необыкновенной быстротой пожирает шоколад и бежит назад, к машинам. Потом ему становится плохо. Эльза зовет меня наверх: Герард лежит на своей кровати, свешивается через каждую минуту и блюет в таз. На полу обертки от шоколада.

В полдень, раздав коробки, американцы начинают наводить порядок. Объявляют, что всех интернированных собирают и отправляют на венский эвакопункт.

Нас с Ленкой повезут в Вену завтра утром.

Я ухожу на речку стирать свое белье.

Речка спускается с самых макушек гор, вода в ней холодная и почти прозрачная, так что видны камни на дне. Я стираю американским мылом. Мыло ароматное, для тела, но мне не жаль, пусть так пахнет и белье.

Дома мы стирали на большом плоту, долго били белье вальками, полоскали, складывали в корзины — белья всегда, при такой-то семье, было много,— а потом тут же, с плота, ныряли в реку. Мать стояла на высоком берегу и, улыбаясь, смотрела на нас.

Достирав, я раздеваюсь по пояс и намыливаю мочалку. Вокруг моих рук, опущенных в воду, от быстрого течения закручиваются буруны, с мочалки слетают пышные пенные шапки, их тут же прибивает к берегу, где они мгновенно тают. Уже нестерпимо холодно, вода ледяная, а воздух здесь, в лесу, еще плохо прогревается. Ладони стали белыми, а кончики пальцев поголубели.

За моей спиной шуршит галька.

Я оборачиваюсь и вижу, что на берегу стоит негр, тоже по пояс голый, и держит за плечики мою ночную рубашку.

— Ой, черт! — вскрикиваю я, прикрывая руками грудь.— Пошел отсюда!

Негр смеется и никуда уходить не собирается, а все зачем-то держит мою только что выстиранную рубашку. Тогда я нагибаюсь и, набрав пригоршню мелких камней, швыряю их в негра со всего маху. Он пригибается, но смеется пуще прежнего и потихоньку подбирается ко мне. Тогда я, пугаясь уже не на шутку, беру большой, увесистый камень и бросаю. Камень попадает ему в коленку. Негр говорит что-то по-своему, как мне кажется, очень злое, но еще смеется, а потом, зашвырнув мою рубашку в кусты, уходит вниз по течению, оглядываясь.

Я вылезаю из воды совсем синяя и побыстрее одеваюсь, зуб на зуб не попадает.

Рубашка вся в грязи.

— Союзник драный! — с обидой кричу я.— Черти тебя сюда занесли, не сам ты зашел!

И начинаю стирать рубашку заново.

Когда я возвращаюсь, то еще издали вижу, что над одним из домов висит на высоком шесте американский флаг.

У Эльзы в ресторанчике уже сидят солдаты и пьют из бутылок пиво. Они говорят на своем языке громко, словно стараются перекричать друг друга, и почти после каждой фразы дружно хохочут. Господи, о чем можно без конца смеяться?

Я развешиваю во дворе белье. Солнце уже садится, но к утру белье должно высохнуть.

Ленка допоздна сидит в зале, солдаты наперебой угощают ее пивом, и Ленка выглядит веселой и очень довольной жизнью.

Когда я засыпаю, ее постель еще пуста.

Утром я выхожу во двор снять белье и вижу Эльзу: она стоит на пороге дома с каким-то странным выражением лица, но, заметив меня, отворачивается и уходит за угол.

— Фрау Эльза! — окликаю я ее.

И тут появляется Ленка. Она тоже несколько странно улыбается.

— Что у вас тут случилось? — спрашиваю я.

— Белоручка чертова,— отвечает Ленка.— Я ей сколько дерьма выгребла за это время. А она мои ботинки один раз не может вычистить!

Я чувствую, как к лицу моему приливает кровь. Оттолкнув Ленку, прохожу в нашу комнату. Сижу на кровати и говорю про себя: корова, шлюха, значит, ты только и ждала этого момента, чтобы пнуть ее так, ни за что, разве она издевалась над тобой, разве она — враг? Разве она тоже не работала вместе с нами, когда ты сама больше работала по ночам, с Петером в сарае, и все это время ты, оказывается, мечтала о той минуте, когда заставишь чистить ее свои паршивые ботинки...

Потом я снимаю с веревки белье, и Эльза тихо проходит за моей спиной, но я не могу смотреть на нее, словно это я, а не Ленка заставляла ее почистить ботинки.

Ленка куда-то ушла и уже не появлялась до самого нашего отъезда, до того момента, когда загудел перед домом грузовик, на котором мы уезжали в Вену. Я сидела в комнате, когда Эльза вошла и встала у двери.

— Фрау Эльза,— сказала я, боясь поглядеть ей в глаза,— вы так хорошо относились к нам... Спасибо вам за все.

— Я тоже благодарна вам, Катя,— тихо ответила Эльза.

— Я напишу вам, фрау Эльза,— сказала я,— как только доберусь до дома и все встанет на свои места. Я напишу.

Эльза кивнула.

— Вы подниметесь наверх проститься с моим мужем? — спросила она.

Мой узел лежал у меня на коленях. В последний раз я посмотрела на голубые шторы, на трюмо, где еще была моя расческа, на гобелен, где то ли ангелы, то ли пастушки сидели на веселом зеленом лугу. Осмотрев все и спрятав расческу в карман, я пошла наверх.

Макс сидел у себя в комнате. Он был в халате.

Когда я вошла, постучавшись, он поднял на меня глаза и улыбнулся своей больной улыбкой.

— Герр Макс, мы уезжаем.

— Дайте мне вашу руку, Катя,— сказал он.

Я протянула руку. Он взял ее в свои и стал надевать на безымянный палец серебряное колечко с зеленым камнем. Колечко было немного велико, и тогда он надел его на средний палец.

— Вот так,— сказал он.— Это на память. Это по просьбе Эльзы. Но мне хотелось бы что-то и от себя.

— Подарите мне вашу коричневую шляпу, вашу шляпу,— вдруг попросила я, хотя за секунду до этого у меня и мысли не было о шляпе. Я даже не могла понять, почему сказала про шляпу.

— Эльза! — позвал Макс.

Послышались шаги — Эльза шла из своей комнаты.

— Эльза,— сказал ей Макс,— принеси фройлен Кате мою коричневую шляпу.— И он рассмеялся — я впервые видела, как он смеется по-настоящему, и лицо его совершенно преобразилось.

Эльза удивленно взглянула на меня, но шляпу принесла.

И когда я взяла ее в руки, то поняла, почему попросила подарить именно ее. Вспомнила от прикосновения: шляпа была велюровая, бархатистая, в этой шляпе я была в ночь на последнее Рождество.

В ту ночь Макса спустили вниз, где мы с Ленкой накрыли большой стол. В углу стояла высокая, до потолка, елка с забавными игрушками из тонкого-претонкого стекла — попугайчиками, шишками, фонариками. Таких игрушек я дома не видела — там вешали на елку картонных зверюшек и куски ваты. Мы с Ленкой нарядились и сделали прически, как могли. Пришли соседи, они пели песни за столом с зажженными свечами, Макс и Эльза сидели рядом, рука об руку, а Герард, по своей слабости, обжирался в углу за елкой конфетами. Было весело, и Эльза разрешила нам покопаться наверху в шкафу и выбрать что-нибудь для маскарадного наряда. Вот тогда-то я и надела эту шляпу, засунула за кант гусиное перо и накрасила губы и щеки яркой помадой. Все смеялись и танцевали под патефон, который стоял на столе у окна.

Я коротко поблагодарила Эльзу и Макса и поспешно попрощалась, потому что на улице уже гудел грузовик.

В кабине сидела Ленка, а шофером был тот самый негр, который швырнул в грязь мою рубашку. До этого я думала, что никогда не отличу одного негра от другого, но его узнала сразу. Негр опять смеялся, как дурак, и показывал мне на кузов. Я кое-как залезла, уселась на брошенную в углу тряпку, и машина тронулась.

Эльза стояла на пороге и махала мне рукой.

Дорога была извилистой, петляла, и скоро деревня почти исчезла из вида, только некоторое время еще вяло болтался на шесте пестрый американский флаг.

В Вене после того, как все документы были оформлены и бесконечные сверки и проверки завершены, мы оказались в вагоне состава,

уходящего на восток. И когда поезд тронулся и молодая женщина, сидящая рядом, спросила меня по-русски, нет ли у меня кружки,— только тут я до конца поняла, что возвращаюсь домой.

Неделями мы стояли на каких-то глухих полустанках. Ночуя в вагонах, днем бродили, выпрашивая, торгуя, меняя вещи на продукты. Сюда ушли и платья Эльзы, и американское мыло, и серебряное колечко,— все, что было в моем узелке, включая и сбереженную когда-то черную шерстяную юбку. А коричневую Максову шляпу я выменяла у одного румына на кусок сала. Румын был молодой, до крайности оборванный — он шел вдоль состава с куском сала, держа его в вытянутой руке, и всем очень хотелось заполучить это сало, но менять его было уже не на что. Я показала румыну мыло, последний кусок союзнического мыла. Но румын печально улыбнулся, отрицательно покачал головой и выразительно похлопал себя по заду. Сквозь ветхие штаны, которые были на нем, кое-где светилось голое тело. Тогда я показала ему шляпу. Румын заулыбался во весь рот, протянул мне сало и выхватил из моих рук шляпу. Так он и пошел прочь от состава — в велюровой шляпе и своих дырявых штанах.

Кусок мыла я отдала какой-то женщине, которая сидела на станции с младенцем. Она качала его, завернутого в черные лохмотья, и безнадежно смотрела вдаль.

Кончался июль. Мимо катили составы с солдатами, там было шумно и весело, играли гармошки. Мы махали солдатам.

Котел крупы мы варили на весь вагон, бросая туда тонкие стружки сала, выменянного у румына. Одна женщина в соседнем вагоне родила сына, это был сын француза, погибшего в лагере. Все последние тряпки мы собрали на пеленки.

А потом пропала Ленка. Пошла продавать помаду и не вернулась, хотя нам объявили, что вечером состав отправят. Я все ждала ее и до последней минуты выглядывала из вагона — не бежит ли, но мы так и уехали без нее. Никто Ленку не искал, никто не мог разобраться в этой каше.

Наш дом был все тот же, и река текла все так же спокойно и значительно, и цвет ее тягучей воды совсем не изменился за эти годы.

В самом доме тоже все было по-прежнему, почти по-прежнему— на тех же местах, и все сестры были живы, и мужья старших сестер вернулись с фронта живыми, хоть и израненными. И мать была жива, я, еще подходя к дому, увидела ее сидящей у окна.

Но все же все изменилось. За железнодорожным мостом, недалеко от нашего дома, прорезали землю длинные окопы, и никак не зарастали травой глубокие воронки. Не было соседней улицы, разнесенной снарядами, не было Ленкиного дома, в котором погибла и ее мать, а на другом берегу чернели развалины швейной фабрики, где когда-то работали сестры.

И мать моя стала какой-то странной — все сидела у окна и подолгу глядела на улицу, и когда ей что-то говорили, не сразу и не всегда понимала. С ней что-то случилось — скорее всего от голода, когда она в оккупацию отказывала себе, чтобы накормить внуков.

До самой, очень скорой, своей смерти она все сидела у окна, почти ничего не ела и смотрела на улицу. Совершенно седые волосы были закручены в маленький, бубликом, пучок. Она все мерзла, и на ней была наша старая душегрейка с темным мехом по низу.

С тех пор прошло много времени, и все эти годы, думая о прошлом, я никак не могу избавиться от чувства своей вины, я теряюсь и

не могу объяснить себе той странности путей, которыми жизнь ведет каждого из нас.

В то самое время, когда я пила по утрам кофе с булкой, ругалась по пустякам с Ленкой и танцевала у елки в велюровой шляпе, мать, закрыв внуков, уходила на базар менять последние вещи на продукты.

И может быть, в тот самый момент, когда Ленка занималась любовью с Петером или только красила губы, собираясь к нему, погиб где-то на Украине ее брат, тихий худой парень.

Теперь Ленка присылает мне поздравительные открытки с видами красивого польского города Кракова, где она живет с мужем, который работает автомехаником. И когда Ленка пишет эти открытки, она уже вряд ли думает о том, что когда-то с нами было,— она думает о своих пяти детях и о том, что будет с ними.

Было, будет.

Словно идешь по невидимой тебе дороге и, балансируя на каждом ее уступе, держишь в руках только миг, в котором ты есть.

Мы увиделись с Ленкой в последний ее приезд на родину, сорок лет спустя после разлуки. Она осталась такой же красивой, только располнела, была очень элегантно одета и часто, не умея подобрать русское слово, заменяла его польским. Она привезла много подарков родственникам и яркую цветастую кофту — мне.

Ленка уже не помнила ни как звали безногого мужа Эльзы, ни того, как собиралась бежать с Петером, все это было ей уже не нужно, и тогда мы стали говорить о том, что ее младшая дочь хочет выйти замуж за молодого человека, который совсем не нравится Ленке.

А Эльзе я так и не написала — ни сразу, ни потом.

Александр Никишин

ЗАПИСКИ РУССКОГО ОККУПАНТА

Нора научила меня пользоваться этими штуками резиновыми за четыре копейки, после чего я решил на ней жениться.

Никому об этом не говорил, потому что Нора была латышкой, а я привык к пропаганде русских мам, что латышки, прости господи, такие все стервозы, такие прошмондовки, что пробы на них негде ставить. Сегодня она с тобой, а завтра, стоит отвернуться, с другом твоим, а то хуже еще — с твоим братом родным.

Это как лейтмотив, сколько себя помню, чуть что: «Русская? Латышка?» Если русский заводил себе девушку постоянную, то есть не из числа тех, ясное дело, кого после танцев на «Пут, вейени!» можно было запросто, что называется, за здорово живешь, завалить на парковую скамейку под покровом темноты, и сообщал об этом родным, он тотчас подвергался допросу: «Русская? Латышка?»

«Пут, вейени!» — это так эстрада называлась в приморском парке (по-русски «Вей, ветерок!»); название русскоговорящие мои соотечественники воспринимали в большинстве своем не как поэтическое, райнисовское, а скорее трактирно-халдейское: «Не-пора-ли-вам-освежиться-гражданин-хороший-ну?!» — и было то заблуждение следствием не столько незнания аборигенной поэзии, сколько наличия рядом с эстрадой пивнушки, посреди которой фонтанировали чугунные фигуры — не помню только, лебедей ли, рыб?

«Ветерок» имел репутацию дурную, говорили, что латышки тут нарочно танцуют с русскими, чтобы спровоцировать драки, хотя, по моим наблюдениям, дрались там и русские с русскими и латыши с латышами, деля девчонок.

Там я встретил Нору, в которую влюбился, как казалось, навсегда, но вышло, что не навсегда, и причиной наших сперва раздоров, а потом и полного разрыва отношений стала моя поездка в Москву.

А произошло вот что. В Москве умер мой дядя, Николай Васильевич Никишин, брат отца. Я поехал на похороны, но, заплутав, на похороны опоздал. Я взял такси и ездил по московским кладбищам, вопрошая в кладбищенских конторах: не здесь ли дядьку хоронят?

И вот, по совету очередного — какого уже по счету? — кладбищенского служки, серого, сгорбленного, пьяного и злого, шагаю я по бескрайнему, перепаханному вдоль и поперек пустырю, уходящему далеко за горизонт: пустырь теряется в бесконечности, а на самом ее краю, там, где едва-едва прорисовываются останки вырубленного леса, не то в секторе «А», не то в «Б», как сообщено мне служкою, плохо соображающим, на каком он свете находится, хоронят человека с «похожею фамилией», во что я мало верю, поскольку считаю свою фамилию редкой.

В «А» (или «Б») встречают нелюбезно равнодушные ко всему в этом мире, розовощекие, косая сажень в плечах молодцы в фуфайках, с остро сточенными лопатами, воткнутыми в земляной бруствер; они недовольны уж тем, что оторвал я их от трапезы в законный перерыв; сидя на могильном краю, свесив вниз ноги, едят они бутерброды с толстенными, в два-три

пальца толщиной ломтями колбасы, источающей острый чесночный запах, перебивающий даже пряность свежевынутой земли, прихлебывая чай не чай из отвинченных термосных крышечек; и не скоро, не с первого захода дождался я от них ответа на вопрос о дядьке. Кто-то буркнул полным ртом, что это по ноль девять справки за так, а на кладбище по двойной зимней таксе, но, ничего из вышесказанного не поняв, обрадовавшись тому, что наконец-то замечен, что на меня обращено внимание, сбиваясь и торопясь, стал я рассказывать, кто я и что, и зачем я здесь, что о смерти дяди Коли сообщено нам было телеграммой, но мама была нездорова, брат еще маленький, а отец далеко в море, где ловил селедку, поэтому на похороны был послан я.

«Селедка — это хорошо»,— сказал один.

«Под водочку»,— мечтательно закатил глаза другой, заталкивая в рот колбасный ломоть.

«Да с лучком репчатым,— облизнувшись, сказал третий, помоложе. И добавил: — Я б от стаканчика не отказался».

И все разом глянули на меня с теплотой в глазах, повнимательнее как-то даже, оценивающе, а я, истолковав эти их взгляды на свой лад, затараторил про то, как, мотаясь в поисках цветов по Москве, к дядьке опоздал, и все уехали на кладбище, предупредив запиской, воткнутой в замочную скважину дядькиной квартиры, и там было еще про ключ, оставленный у соседей. Им, мужу и жене, старепьким, склеротичным, никак не вспоминалось название кладбища, и, гадая вслух, перечислили они мне пять или шесть; недолго думая, решил я объехать все, считая своим долгом возложить на дядькину могилу цветы от нашей семьи.

Жалкий, жалкий провинциал! Думая не без гордости, что если покойный мой дядька занимал пост ответственный в министерстве рыбной промышленности, то и лежать ему на кладбище москвичей сановных, видных, заслуженных, и начал с Новодевичьего, о котором частенько упоминали в газетах, когда умирал какой-нибудь значительный человек. Впрочем, другого кладбища я и не знал тогда.

«Куда едем, шеф?» — спросил таксист.

«На кладбище,— сказал я.— Новодевичье».

«Заметано,— сказал он, срезая нос у «Москвича», водитель которого, крутанув руль, едва не влетел в дерево.— Счас там будем».

Нет, а разве работник крупнейшего министерства СССР не видный человек?! Вон как крутились самые большие городские наши начальнички, когда всего-навсего из Риги прибывал какой-нибудь местного значения чиновник министерский! Но то Рига, а то Москва! — сравнений нет, посвящал я в свои размышления таксиста, который, слушая меня превнимательнейшим образом, согласно кивал головой: конечно, мол, министерство — это сила, это как в сказке про мощь Кащееву на кончике иглы, которая в яйце да в ларце,— так и сила нашей державы в ее министерствах и министрах.

И в начальниках отделов, добавлял я, конкретизируя тему, поскольку министром дядька не был, а был кем-то важным в большом министерском отделе, что не так мало, считал я, они ж там все наперечет, и у всех обязанности гигантские.

На подступах к Новодевичьему тормознуло нас ГАИ. «Не хоронят никаких дядек,— сказал нелюбезный постовой в тулупе, поигрывая жезлом, как дубинкой.— А-асвабаждай территорию!»

Таксист, который торговался из-за денег вначале, оказался не таким говнистым, как показалось, и после отлупа, что дал нам постовой, вдруг разом подобрел и повеселел, узнав, по какой такой надобности взял я такси. А услышав про перспективу объездить все кладбища Москвы, он даже заерзал на сидении, как бы готовясь к длительному путешествию. Ласково спросил про наличность, и я ответил: паспорт при мне, не стоит волноваться, я-то не понял, что он имел в виду. Потом он спросил про деньги, на что я заявил, что и деньги при мне.

Услышав это, таксист радостно поддал газу, и мы понеслись очертя голову куда-то, как оказалось, на Ваганьковское кладбище, где мне задали вопрос, от которого голова пошла кругом: есть ли у дядьки паспорт на могилу? Паспорт? Я показал свой, и меня прогнали.

Садясь в машину, я вдруг озарился: название одного из кладбищ, со-

общенных мне доброй соседкой покойного дядьки, было из двух слов — Николо-чего-то... «Николо-Архангельское!» — почему-то обрадовался таксист, включая мотор, чтобы мчать сейчас же туда, а если и там не выгорит, перебрать и другие кладбища «в два слова».

Сказано — сделано. Завелись, поехали. Долго крутили по городу, словно бы от кого-то спасались, заметая следы. Счетчик у моего колена трещал, как хворост в костре, я на него не смотрел, чтобы не выглядеть провинциалом, делая вид, что езда на такси мне не в новинку, хотя ехал я на такси в первый раз в жизни. Надо сказать, что в нашем крохотном городке ездить на такси, собственно, и некуда было, а во-вторых, был в нашем городе трамвай, как утверждают, самый первый в предреволюционной России. То, что первый и в предреволюционной, становилось ясно, едва трогался он с места: ты просто физически ощущал его старость — кряхтело, жалуясь на жизнь, его нутро, колеса скрипели ржаво, салон, раскачиваясь, постанывал нудновато, вспоминая, может, каким он был на заре своей трамвайной юности. Маршрутов было два, трамваев, наверное, столько же — так долго мы их ждали на остановках. «Единичка» шла в сторону судоремонтного завода (секретного, как почти все в некогда закрытом городе — базе Балтфлота), «двойка» — к металлургическому, где выдавали на-гора среди прочего и колючую проволоку, а однажды, согласно городской легенде, местная газета опубликовала призыв металлургов, обращенный к самим себе, звучавший примерно так: «Дать к годовщине Великого Октября тысячу метров внеплановой колючей проволоки!»

Разминуться трамваи могли лишь у мясокомбината, не менее секретного горобъекта. Любой шпион стратегические его тайны мог рассекретить, стоя под комбинатовским забором, поскольку все вокруг было окутано запахом чего-то сгнившего; рядом стоял памятник матросу с гранатой, рабочему с ружьем и девушке-санитарке — у них были суровые лица, обращенные на водную гладь канала с пестрыми разводами нефтепродуктов, в изобилии изливавшихся из корабельных внутренностей; казалось, причиной суровости защитников города, изваянных в камне, были и этот гнилой запах мясокомбината, и загаженная гладь; позже из-за памятника начнется тут свара, когда снимут фигуры для реставрации, но кто-то пустит слух, что хотят уничтожить всех троих; наибурнейшую деятельность с привлечением союзного Ти-ви развернут военные моряки; их снявшие памятник обвинят в надругательстве над памятником подводникам, с которого местные военные, выполняя соцзаказ Москвы, сковырнут фамилию героического Маринеско; моряки, в свою очередь, обнаружат свежеисполненную свастику на старом, буржуазного времени, обелиске латышам, погибшим в годы войны за независимость, и забьют тревогу: возрождается фашизм! — из-за памятников, впрочем, много чего случится в Прибалтике! Но в описываемый мною исторический отрезок если и кипели страсти, хотя какой там — кипели, слегка обозначались, то исключительно из-за мясокомбината, чьи испарения не желали вдыхать ни коренные жители города, ни остальные; много лет спустя приеду сюда по заданию Латвийского отделения АПН — требовалось доказать зарубежной публике, что ничего смертельного в том и нету, что комбинат смердит, что все смердят, в том числе и западные, которых я в глаза не видел; к заказу я отнесся вполне серьезно, поскольку Западу мясокомбинатовская вонь давала лишний козырь долбать советскую власть, валя все на русское рас......ство; работники АПН, видимо, незримыми нитями повязаны были со здешним руководством, коль скоро пытались отстоять то, что отстоять ни по какой логике, кроме логики вот этой нутряной связки, было невозможно... Чтобы проехать, «единичка» дожидалась, когда к судоремонтному проковыляет «двойка». Трамваи грохотали, и жившие вдоль путей, похоже, питали к ним неприязнь, иначе откуда бы взялись разные злые истории? Например, такая, в которой утверждалось, что старые трамваи падают на поворотах. И будто пассажиры, не дожидаясь «аварийки», сами ставят на рельсы иссохшиеся от времени, трухлявые вагоны. Слухи слухами, но что было, то было — у развилки трамваи стояли подолгу, дожидаясь один другого, а езда в них и впрямь требовала мужества, особенно когда те осуществляли поворот. На манер козы, застрявшей в штакетнике, трамвай двигался как-то боком, кренясь сперва на один — пассажиры, валясь вправо, пребывали в смятении — ахнется или нет? — а потом падал на другой бок, и все летели влево.

Окрест сыпалось искрами из-под трамвайных рогов, вид этих искр отдавался под ложечкой страхом: загорится крыша или нет?

Тетку угораздило жить на углу Комьяунатнес (Комсомольская) и Ленина, ныне переименованных, где вагоновожатые, словно слаломисты, закладывали виражи. До глубокой ночи все тут ухало, жужжало, скрипело, грохотало, окрестности озарялись яркими всполохами из-под дуг, отсвет полыхал на башне каланчи, вызывая оторопь у дежурившего в поднебесье — кто с огнем шалит!..

Мы тем временем вылетели на широчайшее полотно. Москва осталась на холмах, далеко-далеко по правую руку — в дымке и дыму. Таксист давил педаль, скорость смазывала пейзаж за окном, ветер завывал в щелях, нас кидало друг на друга, когда машину заносило на наледи, и я, изрядно труся, не переставал восхищаться водителем, усматривая в этой гонке желание побыстрее мне помочь.

Наконец прибыли мы на кладбище, которое было в два слова. Машин тут было много и не меньше автобусов, из которых выгружали на санки гроб за гробом (не иначе, авария крупная произошла, подумал я), а над всем нависала каменная труба, похожая на ту, что была у нас над заводом «Сарканайс металлург» («Красный металлург» по-русски), — и так же дымила во всю ивановскую, служа, по всей видимости, для обогрева низенького бетонного строения, показавшегося мне сперва гаражом с отдельными боксами, но было оно современной молельней, местом для отпевания покойников, где прощались с ними перед кремированием. Труба, конечно же, была крематорская, и я подумал, что не больно-то охота жить в городе, где не в земле хоронят, а по ветру развеивают... Своих родичей, убитых горем, я не встретил, слава Богу, но переживания мои продлили, посоветовав, не путаясь под ногами, не мешая таинственному обряду, искать концы в крематорской конторе.

Я вошел под ее низкие своды, от страха ноги заплетались, я оступился и едва не влетел головой в кожаного верзилу, кожаным у него оказался фартук, в который он резко сунул руки, что меня напугало еще больше — сейчас как вытащит нож или болванку железную!

«Тебе чего?» — вдруг неожиданно заверещал верзила, отступая спиной к каталкам с неживыми людьми, накрытыми простынями, словно бы ища у покойников защиты; но я развел руки ладонями вверх, показывая, что безоружен, и быстро, стараясь успокоить, рассказал, кто я и зачем тут, и что приехал издалека, не преминув при этом выложить краткую информацию про наш город, чтобы человек понял, что я не из преисподней возник. По мере повествования он оттаивал, с лица сбежала озабоченность, он даже рот раскрыл, слушая, зубы у него все до единого были золотые, будто переболел он цингой в самой страшной ее форме. Зашуровав смелее под фартуком, он вдруг, поморщившись, хакнул (лицо его при этом перекосилось, как от боли) — Ха! руки у него выпростались словно бы по инерции, а в одной — перстень.

«Не лезет, зараза, пальцы распухли», — сообщил он мне доверительно, пытаясь при этом натянуть перстень на мизинец.

«Свалился, — пояснил он мне, — когда руки мыл. Теперь мучаюсь...» Я посочувствовал, я историю рассказал про женщину, которой в войну нагадала цыганка про мужнюю гибель, если потеряет обручальное кольцо. Та, бедная, поверив цыганке, даже палец стала бинтовать, чтоб не упало, не соскочило ненароком. А муж все равно погиб. Верзила на это пробормотал, что «от такой работы, как у него, сам загнешься» и что он сам едва не погиб, когда «китаезы на Бабанском поперли».

«На Даманском», — поправил я, на что он сказал, что нечего его поправлять, он и сам знает, что на Бабанском. «Нет такого, Бабанского», — стоял я на своем, но тут откуда-то выткался другой, тоже золотозубый, но уже без фартука, страшно стал кричать, тыча в меня пальцем: «Ходят, потом все пропадает!», что его до тюрьмы доведут, что тут ценностей полно! Я посмотрел по сторонам — кроме каталок, тут ничего не было, я даже хотел это сказать тому, который без фартука, но он, поостыв, подозвал меня: «Эй, ты!» — а потом буркнул неприязненно: «Что там у тебя, как его зовут?» Я сказал: «Никишин», — он потребовал имя-отчество, на что

я возразил несмело, что это совсем не обязательно, поскольку наша фамилия редкая, в нашем городе, к примеру, ее носят только я, мама, мой отец и младший брат, который еще в школу ходит; золотозубый без фартука ругнулся: «Ну, бля, княжна Тараканова!» — заявив, что нечего тут выпендриваться насчет редкой фамилии, потому что сегодня враз хоронят тройку таких «редких».

Не может быть, сказал я, что-то в вашей книге не так (тот, который был без фартука, мусолил в этот момент страницы гроссбуха), кроме дяди Коли никто из наших не умирал, все, слава Богу, живы!.. Кажется, оба решили, что я не в себе от горя, а я и действительно был не в себе, когда палец в перстне ткнулся в несколько знакомых до боли слогов, поубавив фамильной спеси, задев пребольно за живое...

«Не нашел? — спросил участливый таксист. Успев выспаться, был он бодр, свеж, готов ехать куда угодно. — Не бэ, парень, пять кладбищ еще, надыбаем!»

И — надыбали... На следующем меня обхамили, потребовав свидетельство о дядькином рождении, без которого не дают справок о смерти. Через одно участливый батюшка с брюшком, выдающимся из рясы, почему-то шепотом спросил про дядькину партийность — был или не был он членом КПСС, на что я пожал плечами, недоумевая: какая, мол, разница? Пред смертью не все разве равны? Батюшка, согласившись с этим утверждением, сказал с грустью, что равны-то равны, но на его кладбище хоронят в основном по церковному обряду и опять же не коммунистов, если, конечно, у тех не было последней воли хоронить их по-человечески: с батюшкой, отпеванием, кадилом и прочим, а не с автоматчиками и салютами и не в мавзолеях...

Я не посмел с ним спорить, уж очень впечатлила меня и ряса его, и крест тяжелый на цепи, и шапочка на голове, хотя за Мавзолей я страшно обиделся — к Мавзолею Ленина питал я какое-то мистическое почтение, которое шло из детства. Я, между прочим, потому-то и трусил, боясь заблудиться, что всего-то второй раз в Москве был, а впервые посетил ее с отцом давным-давно, когда он был еще выше меня намного, мог носить меня на руках и когда был жив дядя Коля.

Тогда и попал я в Мавзолей, и было это в отпуск отца. Отец отбивался как только мог, он не хотел покидать насиженную дядь-Колину кухню, я устроил душераздирающую сцену, и в одно прекрасное утро оказались мы возле Александровского сада, уверенные, что будем к Ленину первыми — я с опухшими от бессонной предвкусительной ночи глазами и такой же опухший отец, которого будил я едва ли не каждый час: «Па, не пора? Не пора, па?»

Оказалось, за витиеватыми решетками сада уже толклось полстраны — узбеки в тюбетейках и расписных халатах, бородатые кавказцы с горящими глазами, строгие, застегнутые на все пуговицы прибалты, якуты, чукчи, ненцы с лицами, похожими на полную луну, с глазами-щелочками — да кого тут только не было, вся страна жаждала встречи с Лениным. Тех, кому не суждено было попасть в Мавзолей, отгоняли непреклонные милиционеры, объясняя, что счастливчики в очереди со вчерашней ночи; по всему выходило, что ни мне, ни отцу в Мавзолей ходу нет; я разревелся от обиды и досады и ревел так, что собралась вокруг толпа, решившая, что мальчик потерялся, а милиционер посоветовал отцу увести меня подальше от святого места. Отец обратился к милиционеру с просьбой об исключении из правил для малолетнего сына, милиционер отвернулся, не сказав ни слова (позже, когда шли мы по двое булыжником к Мавзолею, он делал исключения для иностранцев, пуская их за металлический штакетник), но вдруг садовые ворота разверзлись, и оттуда, громко трубя, раздвигая бампером толпу, выехала поливалка. Милиция подалась в сторону, толпа за нею, выплеснув нас с отцом прямо под колеса; отец вдруг резко поддел меня под мышки, подхватил, поволок куда-то, оказалось, за запретную черту, за спиной залились милицейские трели, отец шагнул в расступившуюся толпу, смешался с тюбетейками, халатами и бородами.

Так и запало в памяти: словно бы что-то противоправное делали мы,

шагая к Мавзолею. Когда миновали каменных часовых у входа, меня охватил новый страх — близкой встречи со смертью, хотя и внушал я себе, что Мавзолей не склеп, не могила, а всего-навсего музей. Если б не офицеры через каждые два-три метра, буквально вонзавшие в тебя острия своих взглядов, будто выспрашивая, зачем ты здесь — праздное ли любопытство тебя ведет или осознанное желание причаститься святыне, — я б не выдержал и задал бы деру.

Взгляд одного пробил до нутра так, что я шарахнулся под защиту отца, обхватил его руками. Офицер метнулся к нам, отец отпрянул, испуганный, отпихнул меня слегка, но он нами не заинтересовался, он шагнул к идущему впереди, зашипев в лицо: «Руки! Руки!» У того рука была в кармане, он кивал офицеру и улыбался, руки при этом не вынимая, он был иностранцем, и тогда офицер сам выдернул его руку из брюк, но как-то неловко, едва не вывихнув ее. Человек, застигнутый врасплох, никак не мог погасить улыбки, которая словно бы прилипла к его губам; волнуясь, он заложил руки за спину, но у другого каменного поворота, прошипев все то же: «Руки!» — на него накинулся другой офицер.

«Па, чего они хватают?» — спросил я негромко, но камень усилил мой голос, и отец в панике прихлопнул мне рот ладонью. Это его движение вызвало цепную реакцию людей в мундирах, глянувших на отца не то с подозрительностью, не то с ненавистью, как на посягнувшего на сложившийся миропорядок, в котором властвовала какая-то неземная тишина и только шорох подошв о гранит нарушал ее, да изредка чье-то приглушенное покашливание или шепот приказов — то руки опустить, то подтянуться, не отставать.

«Молчи! Тут молчат!» — прошептал отец краем губ, скосив глаза в мою сторону, и я замолчал, детской интуицией почувствовав в его голосе нешуточную тревогу.

Так мы и шли, соблюдая дистанцию, дрожа не столько от пронизывающего холода, сколько от нагнетаемого военными страха, что делаешь что-то не так, как им надо. Люди буквально в стены готовы были вжаться, но чем дальше спускались мы вниз, тем подозрительнее, настороженнее становились взгляды военных. Коридор вдруг резко ушел в сторону, ступени повели вниз, стало еще холоднее, мурашки забегали по рукам и спине, тут тоже стояли офицеры — в сравнении с теми, что выше, они были и злее, и безапелляционнее. Мы пребывали где-то очень глубоко под Красной площадью, я ощущал это собственной кожей, зубы стучали от холода или страха, я даже проникся вдруг жалостью к офицерам — не потому ли они злятся, что мерзнут в одних мундирах? — но эти мои мысли смешались, когда резко, неожиданно, сразу разверзлись стены коридора и из полумрака гранитного просторного зала вдруг воздвигся толстого стекла куб, похожий на хрустальное жилище Спящей царевны, и был он обрамлен бронзовыми литыми знаменами и еще чем-то, а по его краям, под самыми нашими ногами — мы оказались на возвышении — застыли часовые. Я сперва их увидел, а только потом — Ленина. Ленин был маленький, его было видно чуть — голова и восковые руки, выпростанные на ткань, покрывающую грудь. Я хотел разглядеть его получше, я даже слегка поотстал от отца, но тотчас услышал сдавленный шепот не замеченного мною военного, который словно бы из гранита стены возник: «Проходи!» И от этого «Проходи!» рядом с Лениным я, помню, разозлился — как они сюда все попадают, не иначе какой-то вход тут есть секретный, не могло же столько военных зайти с главного входа. Мысль эта вызвала странную реакцию — одни заранее занимают очередь, всю ночь дежурят, чтобы пройти к Ленину с главного входа, а кто-то — к Ленину! — входит с черного! И для тех, кто идет с черного входа, все это будоражащее душу убранство ничего уже не значит — ходят сюда, как на работу, а когда нет людей, болтаются тут, стуча сапогами, не стесняясь.

Сумбур чувств вдруг обрел остроту. Я-то всегда считал, что Ленин тут в одиночестве, а выходит — нет. Разве в этой мельтешне у гроба есть что-то святое?

Мы шли по каменному периметру гранитного колодца, огибая стеклянный куб, по углам которого виднелись фуражки военных и блистали штыки — да, были штыки, потому что возникла паническая мысль: сейчас на их острия свалюсь! Я жался к отцу, боясь оступиться или вызвать неудо-

вольствие строгих военных, будто рентгеном просвечивающих тебя взглядом, и не мог понять, зачем они людей торопят, не дают вглядеться в Ленина. Тетка впереди, гляжу, заплакала даже — не иначе о том же подумала! Это потом отец сказал, огорошив меня, что потому-то так много военных, что есть люди, которым не по нраву и Ленин, и Мавзолей, что один даже бомбу нес, чтобы взорвать тут, вместе с собою, но она взорвалась у входа, кого-то покалечив, и потому-то военные такие строгие и непреклонные, и не надо их осуждать.

Если б все люди были нормальные, говорил он, то и охранять не надо было бы.

«А какие нормальные, па?» — теребил я отца за рукав.

«Которые любят Ленина», — отвечал он, и это меня удивило: а как можно было его не любить? «А кто взорвать хотел?» — спросил я, горя праведным гневом, на что отец ответил, что точно не знает, но кажется, что литовцы. От этой информации голова моя пошла кругом: им-то, литовцам, чем Ленин помешал? Надо сказать, что к литовцам я относился хорошо, а с теми, которые наезжали в наш город на матчи своего «Жальгириса» с нашим «Звейниексом», отношения у нас были самые сердечные, мы всегда исхитрялись переорать их на стадионе, хотя их много наезжало, и все было хорошо, по-дружески; мама частенько и вполне безбоязненно ездила в литовскую Кретингу на «блошиный» рынок продавать за недорого ненужное семейное барахло — никогда ничего плохого про литовцев она не говорила, люди как люди.

«Разные есть литовцы», — возразил отец уклончиво, и с этим я согласился.

...Мы гуськом огибали хрустальный куб, натыкаясь на спины идущих впереди и замедляя ход, чтобы подольше побыть с Лениным, а когда вышли из полумрака наверх, я даже удивился, что солнце такое яркое и веселое — в этом было что-то противоестественное, погоде в тот день пошла бы хмурость. Наверху было тепло, нестрашно, а мимо кремлевских стен, с вделанными в них табличками, шла выложенная камнем тропинка, по которой я было вознамерился пропрыгать на одной ноге, но был одернут отцом: «Здесь нельзя!»

«А кто это?» — шепнул я отцу, увидев вдруг большую голову на постаменте (шептал я по привычке). «Это — Сталин!» — сказал отец громко-торжественно. «А какой Сталин?» — спросил я отца, я и слышать тогда не слышал ни про какого Сталина. «Соратник Ленина». — «А кто такой соратник?» — спросил я. «Когда Ленин умер, Сталина назначили на его место», — ответил отец. «А почему в Мавзолее только Ленин?» — «И Сталин тоже лежал», — вдруг переходя на шепот, ответил отец, оглядываясь по сторонам, чем-то обеспокоенный. «А почему не лежит?» — напирал я. «Вынесли», — сказал отец. «Кто?» — «Хрущев».

Ну, Хрущева я знал, центр нашего города пестрел его изображениями, он призывал идти вперед к коммунизму, но теперь меня занимало другое. «Сам Хрущев выносил или кто?» — спросил я, и отец не на шутку рассердился: «Не болтай чепухи!» Я замолчал, хотя теперь мне хотелось спрашивать и спрашивать — как вынес? днем или ночью? кто видел? куда стнесли Сталина?

«Па, — дернул я отца за рукав, — а Сталин...» — «Тут люди кругом!» — взмолился отец, кивая в сторону елок, которые отгораживали нас от Красной площади. Люди под елками глядели на нас, я стал глядеть на них, пытаясь понять, что они там делают — траву косят или просто гуляют? «Они траву косят или просто гуляют?» — спросил я, показывая на тех, кто был под елками, но отец, больно схватив меня за руку, новолок прочь, раздраженный, злой, очень недовольный.

Я выглянул в окно и увидел страшно знакомое зелено-голубое здание с крендельками оконных наличников и башенками. Ба, да это ж Рижский вокзал, я тут утром был!

«Ну, Рижский, и чего? — сказал таксист невозмутимо. — А за мостом — кладбище».

Над кладбищем нависала церковка с колокольней, на крыльцо вышел какой-то в тулупе и сообщил: «Тут не хоронят».

«Ничего, — сказал таксист, — тут не хоронят, в другом месте хоронят». И привез меня в другое место, где меня огорошили вопросом: «Дядя — еврей?» «Почему это — еврей?» — я как-то даже струхнул слегка от таких слов, я не понял, спрашивают меня или утверждают, я растерялся, словно меня за руку поймали, когда в чужой карман лез. Я сперва даже и не разобрался, отчего это, собственно, я растерялся, а потом как прозрение случилось — не ты разве бежал за Танечкой Нейперт с пацанами из класса, которые кричали: «Жидовка! Жидовка!» И не ты разве кричал то же самое, не понимая, зачем и почему так называют тихую, безобидную девочку, которая тебе всегда подсказывала на геометрии? А увидев нацарапанное в трамвае: «Висус жидус ваяг ношаут!» («Всех жидов надо расстрелять!»), — не ты разве безразлично отвернулся, мало ли, мол, что пишут...

Стыд обжег щеки, и я, пробормотав что-то невразумительное, хотел быстро уйти, но спросил все-таки: а что из того, если не еврей?

Следовало единственное — кладбище было еврейским.

У таксиста — азарт, у него блеск в глазах охотничий — найдем или не найдем? До чего хороший, отзывчивый человек, думаю я, откидываясь на сидение, жалея, что Нора не со мной сейчас. Вот бы порадовалась за мою самостоятельность и предприимчивость — не заблудился ведь, не пропал в гигантском человековороте московском!

Надо сказать, что меня она дразнила «маменьким сынком» за то, что я чуть ли не всем с мамой делюсь, ничего от нее не скрываю. Возможно, то была элементарная ревность, но частенько слышал от нее: хватит за мамин подол держаться! Однажды мы из-за этого чуть не поссорились. А случилось вот что.

У Норы русые, коротко стриженные волосы, серые, цвета осенней Балтики глаза, смешной акцент, очень, надо сказать, трогательный, но зато характер взбалмошный; будь она русской, скорее всего характер поставили б ей в заслугу, но поскольку была латышкой, спрос с нее в глазах моих родных и знакомых был вдвойне. Раз, стоя на вершине высоченной горы в Бернатском лесу — безбрежная погранзона! — заявила она, что вниз я не съеду ни за что, сдрейфлю. Я же, доказывая, что русские не лыком шиты, обиженный и раздосадованный ее подначками, кинулся под гору очертя голову. Дух захватило, я летел, ломая собственным хребтом деревца, лыжи, палки, набивая синяки и шишки, раздирая новенькую норвежскую куртку с капюшоном, которые тогда входили в моду и стоили немало... Нет, никогда не совершить мне того головокружительно-опрометчивого полета, не будь рядом Норы, Норини, Норочки, в которую был я влюблен как последний дурак. Всякий раз, когда слышал я певучее, нерусское, но такое родное, щемящее: «Сашенька-а...», где «а» звучало, как «я», а «ш», — как «щ» — за спиной словно бы крылья вырастали.

При виде меня, выпрастывающегося с оханьем и аханьем из сугроба, растерзанного, избитого, всклокоченного, легкомысленную мою, жестокосердую подругу разобрал такой смех, что я чуть не заплакал от обиды. Даже мысль мелькнула — ну уж русская так бы не поступила!

Спорхнув вниз, она затормозила подле, помогла встать, целовала, стряхивая с меня снег, обзывала ласково недотепой, я великодушно простил ее, отогнав злые мысли; но не простили, узнав подробности, мои родственники, углядев в поступке Норы чуть ли не желание избавить латвийскую землю хотя бы от одного «оккупанта»: да разве русская девушка (сердобольная изначально, остро переживающая за любимого — а как иначе!) позволила б своему парню так рисковать собой!

А все потому, что: во-первых, латышки не способны на высокие чувства; во-вторых, тайно ненавидят всех русских.

О, сколько всякого, леденящего кровь, излито было после того случая на мою бедную голову! Что латышки с младых ногтей заглядываются на мальчиков, что обжимаются с ними по ночным подъездам и даже вступают там в половые отношения. Что взрослые латышки, подпоив в ресторанах доверчивых русских офицеров, тащат их к себе, а когда сброшены на пол мундиры и платья, возникают на пороге латыши-сообщники с ножами, бьют офицеров, грабят, пугают комендатурой и женами и иногда в чем мать родила выкидывают на улицу...

Я пытался возражать — не все же на латышек валить! но взрослые непреклонны насчет непорядочности латышек, и хоть кол им на голове теши!

По прошествии времени понял я, что любой девушке — русская она, латышка или еврейка, приятно, когда из-за нее теряют голову, но, кажется, это тема для другого повествования, а тогда, сидя в такси, туркающемся в кладбищенские ограды Москвы, думал я о том, что не все в наших отношениях с Норой гладко будет из-за ее (или моей?) национальности, даже не столько из-за самой национальности, сколько из-за всяких обстоятельств, корни которых в воспитании, в том, что с детства окружает.

Мы с Норой родились в одно время, в одном городе, но сколько же было разного в наших взглядах на жизнь! Для меня мой город уже потому был глухой дырой, заштатной, дремучей провинцией, что географически пребывал на краю безбрежного Союза ССР, мощнейшего, способного сокрушить любого внутреннего и внешнего врага, сверхдержавы, диктующей изрядно трусившему миру свои законы. Быть гражданином ее за честь почитал с младых ногтей. Границы внутри Союза были для меня условны, как были условны все здешние атрибуты государственности — да, перед торжествами играли гимн Латвийской ССР, как бы давая понять, что и тут какая-никакая, а страна, но всегда казалось, что играют его лишь для того, чтобы настроить инструменты перед исполнением гимна главного — Союза ССР, и если первый не брал за душу, то н а ш гимн заставлял вытягиваться в струнку. Для Норы же — наоборот, для нее все это, и гимн великой страны в том числе, — звук пустой. Для нее лучше меньше, да лучше, пусть мала Латвия, с две ладони, как писал латыш Скуиниекс, но — своя, но не вообще «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз», а такая, где все свое, кровное — язык, обычаи, нравы, праздники, одеяния, анекдоты и предания... И Рига для нее не просто Рига, а непременно «маленький Париж», Сигулда (где-то там, на деревенском погосте, упокоилась в войну моя бабушка, которую немцы со всей семьей вывезли из деревни под Новгородом, сожженной дотла) не Сигулда, а «латвийская Швейцария». И крошечный городишко, прильнувший к балтийскому побережью щеками своих парков, был для моей возлюбленной если и не всеевропейским центром, то обязательно — Европой, и не только в географическом смысле, а в более широком: когда дорогу переходят на зеленый свет, даже если нет машин; когда на тротуар не кинешь бумажку от мороженого, а кинешь — со стыда сгоришь от косых взглядов; где никто не срежет угол по траве парка, чтобы побыстрее добраться туда, куда тебе надо — не принято; спеши не спеши, а давай кругаля. (Когда 23 августа 87-го на площади Свободы разгоняли народ, пожелавший выразить свой протест пакту Молотова — Риббентропа, от поливалок бежали тротуарами, стараясь не мять траву.)

Ясное дело, не все латыши такими были, как Нора, и у некоторых отношение к Москве было вполне нормальное: «Столица Родины, тебя мы воспеваем, принимаясь за труд, глядя в далекое будущее. Ты излучаешь идеи коммунизма, преобразующие мир. Древняя, седая, ты стала самым юным городом, на своей извилистой рабочей ладони ты держишь будущее человечества», — писал Янис Судрабкалн, для которого Родина — не только крохотная Латвия, но — вся страна, великий и могучий Союз.

Если латыш такое писал, то русским сам Бог велел быть патриотами Союза ССР, и надо сказать, что для русских, тут живущих, ничто так не свято, как Москва. Она была, есть и будет для них центром мироздания, по ней — не по Риге! — сверяют они не просто время, но все свои помыслы, связывая с белокаменной надежды на устойчивость сегодняшнего и завтрашнего дня. Нигде (я знаю это по себе!) расхожее: «Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось!..» — не звучит столь возвышенно-многозначительно, как на «национальной окраине» нашей необъятной Родины. И если латыш называет себя просто латышом, то тамошний русский никогда русским, а обязательно — советским, полагая за издержки национальной политики, за определенного рода блажь тягу местных к своим, здешним приоритетам. Слово Москвы для него закон во всех сферах местного миробытия.

Кем был тот же Раймонд Паулс для нас, русских, пока не раскрыла ему объятия первопрестольная, закрутив по ЦТ?..

А тем и был — простым, пусть не из рядовых, но перво-наперво — латышом. Для коренных жителей еще до Центрального телевидения Паулс уже был Паулсом, вселюбимейшим, наипопулярнейшим, едва ли не национальной святыней. Для нас, русскоговорящих, «оккупантов», как нас называли за глаза, до признания Москвой — так, композиторишкой, которому тянуться и тянуться до н а ш и х: Кабалевского (уж он-то с экрана не сходил), Пахмутовой («Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги»), Лядовой, Шаинского, Лученка, не русского, правда, но славянина и потому н а ш е г о, не говоря уже о таком монолите, как Дунаевский (несмотря на то, что еврей) — его песни мы знали все до единой, без них никакой праздник не обходился, ни одно застолье.

Когда *местный* Паулс возник на экране ЦТ, не собираясь с него сходить, помню, спохватились русские: э-э, а не тот ли это Раймонд Вольдемарович (отчество, надо сказать, типично русская придумка, у прибалтов нет отчеств: сын или дочь такого-то и все...) Паулс (не путать с немцем Паулюсом или американцем Пауэрсом, хотя поначалу, было дело — мы путали), чьи концерты на эстраде «Вей, ветерок!» (опять она, вот заколдованное место!) собирали принаряженных латышей из окрестных Паплаки, Вайнед, Гробини, Бернат, даже Вентспилса и уж совсем неблизкой по масштабам здешней территории — как-никак 200 километров! — Риги?

Кто скажет, что все это — чушь собачья, домысел, советую обратиться к факту недавнего, уже перестроечного прошлого Латвии, связанного опять же с музыкальной ее жизнью — что поделаешь, если русский поет только тогда, когда пьян, а латыш, наоборот, когда трезв, и без песен жизни себе не представляет... Вышел из подполья Розенштраух, чьи песни, как вредные социалистической идее, петь было запрещено лет сорок и которые пелись вполголоса на кухнях латышских по праздникам. Нынче их поют открыто, взявшись за руки, хороводя, обливаясь слезами. Латыши поют, а русские ни про какого Розенштрауха знать не знают, хотя популярностью своею он даже Раймонда Паулса затмит. Спроси сотню русских, живущих в Латвии, кто написал «Зиляйс лакатиньш» («Синий платочек» по-русски), все сто скажут: Шульженко*! А это не тот «Синий платочек», который падал с опущенных плеч, а розенштрауховский, который пели латыши-легионеры, воевавшие на стороне Гитлера против нас.

Да что нам, русским, до этого, у нас своя история, кто его, черта, знает, что за Розенштраух такой, откуда он выискался, дурят латыши, нарочно вредят, превознося нам в пику героев прошлых лет, которые для нас — предатели.

«Господин Кох?» — «Он самый, Кох!» — «Ты-то, Кох собачий сын, и нужен!» И трах-тара-рах, в брюхо жирное фашисту, палачу, мучителю людей — пуля за пулей, пуля за пулей — за смерть наших, за невинных, убитых по его приказу!

Примерно такой текст изрекал герой отечественного кинобоевика семидесятых разведчик Николай Иванович Кузнецов, он же обер-лейтенант Пауль Зиберт, дырявя в упор из своего «парабеллума» приговоренного к смерти фашистского наместника. Суть в другом — ну кому из нас, «оккупантских» опять же детей, известен был актер-латыш — один из многих! — Гунар Цилинский, пока не возник он вдруг на мосфильмовском экране в образе русского разведчика!

Для нас это было совершеннейшим потрясением — латыш сумел сыграть русского, легендарного, героического русского. Даже дико было, до той поры прибалтам доверяли воплощение образов вражеских — сколько их перебывало в нацистских мундирах, — что было понятнее, объяснимее, ну, ясное дело, был тут когда-то фашизм ульманисовский, всосалось в кровь латышей нацистско-германское: немцы ведь сюда запросто мотались, давали указание здешнему диктатору (так нас учили!), как давить коммунистов, попрятавшихся в подполье.

Цилинский в мундире обер-лейтенанта шел по рублю за снимок в коридорах нашей школы. Один такой, купленный на деньги, утянутые из-под призора матери, прикнопил я на стену, потеснив Пеле, Гарринчу, Гевару, Фиделя, Фюнеса, Жана Маре-Фантомаса и прекрасную Брижит Бардо.

* На самом деле — Питерский, но так уж связывали песню с певицей.

Исчез же он со стены в одночасье, когда вышел на экраны «Щит и меч» — Цилинского в мундире вермахта сменили в эсэсовском русские Янковский и Любшин, до которых, по нашим понятиям, Цилинский не дотягивал...

А как понятна, как близка «оккупантским» сердцам стала прекрасная Вия Артмане после «Родной крови»; как ревниво, недоверчиво настороженно, с плохо скрываемой иронией, следили наши матери за перипетиями киноромана Артмане — Матвеев, паромщицы и фронтовика, как враждебно встречен был этот мезальянс и этот сюжет — где русского солдата-простофилю охмуряла многодетная нерусская щучка-заманщица, но когда все-таки влюбила его, влюбила в себя и наших матерей, досель ни сном ни духом не знавших про Артмане, на чьи спектакли в театре имени Яна Райниса в Риге валили латыши задолго до «Родной крови», так же как валил на Банюниса и Мильтиниса весь Паневежис. А литовец Банионис стал **н а ш и м** после «Мертвого сезона», где сыграл русского разведчика; прекрасный же актер Мильтинис, который русских на экране не изображал, так и пропал для нас, канул в Лету. Мы же валили на вечера-встречи в здешнем Доме офицеров Балтфлота — с Мордюковой, Макаровой, Шалевичем, Соломиными, — порой халтурными, мимоходом из европ, для приработка между съемками...

А взлет Мариса Лиепы под стать его неподражаемым прыжкам! Московский триумф, признание Москвою — и русская публика в Латвии в едином порыве проникается к нему добрыми чувствами, раз в Москве, да раз в Большом театре, тогда да, тогда артист! Талант балетный не купишь, не займешь, судачили наши матери, никогда не видавшие ни Большого театра, ни балета вживе.

Кто из известных латышей начинал союзную карьеру иначе? Певичкой из ночного бара (куда «честной девушке хода нет»!) была Лайма Вайкуле для русского сердца, распахнутого перед родными, **с в о и м и** Зыкиной, Толкуновой, Сенчиной, пока не возник в одночасье, все по тому же старому-престарому слепку времен «Родной крови», русско-латышский дуэт с прелюбимейшим тут Валерием Леонтьевым и их «На вернисаже как-то раз...» не облетел страну; Вайкуле «простили» и ночной кабак, и сплетни-легенды о похождениях с иностранцами — самые резвые, выдавая желаемое за действительное, уже успели поженить певцов, и теперь русская Латвия гадала, где будут жить? В Риге? В Москве?.. Кто из здешних русских лет пятьшесть назад знал Родриго Фоминса, рок-певца? Я знал, да мой младший братец, с которым дрались они пацанами на пустыре возле нашего дома на Републикас иела (улица Республиканская) — были мы соседями, дома стояли рядом, и новое поколение горожан выясняло, кто «оккупант», старыми, проверенными способами (кулаками!) ...А прошел союзный телепоказ песенного конкурса, признанием Москвы закончился он для Родриго, и, как следствие, признали его и здешние русские.

Да только ли в культурной сфере обладала Москва отэкашным штампом на истинную ценность — гоже, не гоже, — определяя положенную нишу для национально-местного! Если б только песни литовала! Все-все шло через Москву, будто та и впрямь была центром мироздания и все самое лучшее, ценнейшее, авторитетнейшее собрано было в ней. «Москва признала» — то была наивысшая похвала, самая высокая проба. Магазины города затоварены ВЭФами по сто рублей штука. Мы качаем головой — дорого дерет этот ВЭФ, но тут Москва сообщает: кто-то, переплывая океан, этот самый ВЭФ в воду уронил, достал, а он, зараза, песни поет, и ничего ему не делается! И что нам «Филиппс» после этого, за который втрое-четверо надо переплатить, если столь высок вэфовский рейтинг — Москва «за»! Обзаводимся сторублевыми приемниками, а с ними заодно и проигрывателями с тремя «Р» на тяжелом, словно чугунном корпусе — «Ригас радио рупница» («Рижский радиозавод» по-нашему). Огрский трикотаж, рижские телефоны, спортивные лодки Юрмалы, бо́бы для санного состязания, автобусы РАФ елгавские, парфюмерия «Дзинтарса» — все это, получив московскую апробацию, возвращалось к нам уже в новом, как бы облагороженном навсегда качестве.

И не только это.

«Ельцин? Какой подонок! — заполошничает русская женщина. На дворе 89 год. — Мы тут смотрели по Москве, где он в Америке, и плевались, Родину предал, Россию! Как мог такое сказать: мы у вас, американцев, учимся! Чему? Негров вешать? Стоит пьяный, качается, рот кривит, микрофон рвет из рук — тьфу! Опозорил нас перед латышами навсегда».

Одно утешает — не москвич, откуда-то из провинции российской.

Говорю той, что заполошничает: а если фальшивка? В Москве так и считают: фальшивка.

«Брось ты, фальшивка! Как может на телевидении фальшивка быть! На ЦТ? Других дел там нет как будто!..»

(В 91-м приезд Ельцина в Прибалтику многие русские воспримут сквозь призму того американского телерепортажа и, не больно-то разбираясь, зачем он сюда пожаловал, заклеймят позором, аргументы приводя из перепечатанной «Правдой» статьи из итальянской «Репубблики».)

А как по-другому, размышляет русский человек, живущий далеко от России, не может Москва идти на подлог, зная, что это отрикошетит по тем же русским на нацокраинах. И холодное презрение к Сахарову (истаявшее у многих после его появления на телеэкране) из той же оперы. Раз Москва писала, что предатель, что жена цэрэушница, так оно и есть!..

О, влияние Москвы, оно и до сего дня безгранично! «Красная звезда» заледенила кровь: в моем родном городе бомбу взорвали экстремисты! Я теперь в Москве, мама — там, где бомба. Звоню маме и слышу удивленное: ничего не знаю, какая бомба? Звоню в горком, там говорят: да, бомбу взорвали, но не латыши, а мичман военно-морского флота, который разряжал пьяный что-то взрывное в гостиничном номере. Когда зашипело, кинул во двор и уснул мертвым сном, не помышляя, какого шухеру наделал... Ждал я опровержения «Звезды», не дождался, позвонил домой снова — что там теперь говорят?

«Ты представляешь! — кричит мама. — Бомбу латыши взорвали, Москва писала, „Звезда"!»

Безоговорочно приняв выбор Москвы, мы тотчас начинали выискивать в соседях-латышах, признанных ею, наше, **р у с с к о е**. Да он по-русски говорит без акцента! Вот молодец! В устах «оккупантов» старшего и среднего возраста вот это «без акцента говорит» равнозначно было самой-разсамой престижной премии, высшей похвалы; вершиной же признания становилось внешнее сходство с нами.

«Слушай, а как она на русскую похожа!» — это про Артмане.

«А Лиепа!.. У него дети совершенно русские, прям не верится даже!..»

В этом отыскивании похожести, идентичности не было зла, дурного какого-то умысла, уж очень хотелось, жаждалось, чтобы земляк, хоть и латыш, был таким же, как и ты, коль скоро выделила его Москва. Пусть не на все сто, но хотя бы процентов на пятьдесят — шестьдесят.

Когда крутили по телевизору съезды или заседания всесоюзного значения, мы с гордостью выискивали на экране своих, особо приближенных к Москве высоких земляков — ага, во-он, он, Пельше Арвид Янович, рядом с Громыко, совсем рядом! На Мавзолее! И Подгорный рядом, и Суслов! А Суслов, какой скромный человек, скромнейший, в одном и том же пиджаке двадцать лет! **Н а ш** Пельше тоже скромный человек, тоже в одном и том же годами. Хотя уже тогда про Пельше черт те что говорили — латыши, конечно же, не русские! Например, что не чьими-то, а его стараниями свернут по всей Латвии праздник Лиго: дескать, что за праздник, пьянка да и все, хватают всех подряд Янисов под закорки, целуют-обнимают, хомутают дубовыми вениками, хороводят вокруг них: «Лиго Яня, Лиго Яня!» А что у этого Яна за душой... никто ведь биографии не проверяет, и нет гарантии, что не служил он в войну в СС или что дедушка его не эксплуатировал во времена «фашистской диктатуры» Ульманиса батраков!

Помню, как на заре шестидесятых выкатывали на стадион городской огромные, в два моих роста, деревянные пивные бочки, окольцованные черного отлива обручами, как лилось весело прозрачно-хмельное, янтарное в подставленную отцом кружку, как веселился город без деления по нацпризнаку, как скакали отец с дядькой через костры вместе с латышами; костры палили тут же на стадионе, и в огне тех костров увидел какой-то влиятельный человек из Москвы разгорающееся зловеще пламя латышского национализма и постановил: загасить! Пожарник Пельше тут как

тут — залил все вокруг идеологической пеной, раскидал угли, затоптал каблуками в землю, пригрозив за баловство с огнем карами. Прихлопнули праздник в одночасье, загнав в подполье, застращав всех подряд. Латыши возмущались. А русские? Мы отнеслись к этому должным образом, с пониманием, считая, что из Москвы, которая, как известно, на холмах стоит, виднее, где что тлеет — национализма угли или социализма.

Еще говорили, что по воле Пельше не учат русских латышскому языку, чтоб не унижать «старшего брата», чтоб знали латыши, кто тут хозяин; что мастак Пельше Москве угождать, и его командою начальственной гонят и гонят на кремлевский высокий стол ценнейшую латвийскую рыбу, промысел которой разверстали партийным поручением на рыбколхозы Латвии.

Что ж, мы, русские, относились и к этому спокойно; любимое блюдо латыша его удачливый коллега — так латыши сами над собой подшучивали, поэтому обвинениям по адресу Пельше значения не придавали и зла на Пельше не держали никогда. Больше того! В широких его жестах по отношению к Москве виделось до боли родное, раздольно-русское: все отдам, не пожалею! гуляй, за все плачу из своего кармана!.. Но то-то и оно, что не из своего, и потому латышам широта его жестов не по нраву. А мы думали, ну что с них взять, если их нрав такой: все бы под себя грести, обсчитывать все до копейки, взвешивать — кому? сколько? куда? что мне за это причитается? Одно слово, хуторяне, подкулачники, как были при кулаке Ульманисе, так и остались!

В нашем рыбацком городе две организации промышляли рыбу в морях океанах — колхоз «Большевик», ныне переименованный, и база «Океанрыбфлот». Моряки базы ходили в загранку, «большевиков» же первое время в загранку не пускали, боялись, что сбегут, но это, конечно, чушь, как было чушью и объяснение этому — будто бы колхоз состоял исключительно из «бывших», служивших в годы войны у гитлеровцев. По слухам (не выявленным доселе!), гестаповские осведомители работали в том препоганом колхозе, прикрывая свою сущность звучным революционным названием; организации этой, злословили некоторые горожане, подошло бы название «Националист» или даже «Айзсарг» (военизированная организация айзсаргов — стражей — была правой рукой диктатуры Ульманиса).

Рыбаков «Большевика», промышлявших на Балтике камбалу и кильку, величали презрительно «Килькин флот». Флот не был всепогодным, и рыбаки выходили в плавание, когда Балтика не штормила. Если давали «добро», садились они на мотоциклы и велосипеды и направлялись на суда. Колхоз был в черте города, к нему вела аллея, она лежала в низине, в ней по утрам выстаивался туман, и было что-то сюрреалистическое в молчаливом движении сквозь него людей в черных резиновых плащах с капюшонами, надвинутыми на самые глаза. Казалось, стекаются на условленное место члены таинственного ордена: вид их пугал, и ни сном, ни духом не помышлял я о том, что вот так же, надвинув на глаза капюшон, в течение нескольких лет буду ходить той аллеей — именно сюда устроил меня отец после школы.

Уже через неделю не мог я разогнуть спины, а в руки, казалось, навсегда въелась копоть от лебедок, реверсов, подшипников, втулок, цилиндров, поршневых колец и прочей железной дряни, которую снимали с рыболовецких судов и везли в цех, где стояла огромная, сваренная из листового железа ванна с черным соляром, и над этой ванной висел я раскорякой с 8 утра до 18 вечера с перерывом на обед, думая о том, что попал я в злополучный «Большевик», туда, где русских не любят. Вдыхая испарения соляра, ощущал я всем своим позвоночником ненависть ко мне, «оккупанту», дискриминацию по нацпризнаку, ждал худшего и готовился дать отпор «бывшим»...

Особенно раздражал меня громадный дед с волосатыми длинными руками, подойдет, посмотрит, как скоблю я железки, и отойдет. Чего смотрел, зачем? Тоже надзиратель-контролер! Другой, по-русски знавший два-три слова, тот как и впрямь в СС служил: «Вкаливаешь? Дафай, дафай!» И — дальше шагает, штандартен-фюрер! Я, раз не выдержав, чувствуя, что лезу на скандал, встретил его тем же: «Дафай, дафай отсюда!» Мужик смутился, стушевался и больше меня не погонял. Я же чувствовал себя голым среди волков, ни с кем не общался, опасаясь, что вовлекусь в какую-нибудь историю.

Оттого-то и не разгибал спины, драил ожесточенно всю эту железную грязь, что будто копили специально для меня. Что ж, я ощущал себя героем фильма «Коммунист», что валит лес из последних сил, когда дрыхнут саботажники — я приходил на работу первым и уходил последним, и хотя ничего, кроме злобы, не испытывал я к чугунным болванкам, делал вид, держа форс перед латышами, что мне все нипочем. Я даже взялся рационализировать мартышкин свой труд — промасленную бумагу с новых поршней, втулок и колец заставляли меня счищать пальцами, я же приспособил для этого дела паяльную лампу: пройдешь огнем по упакованным складским железкам, все куда быстрее выходит, бумага горит, масло течет в таз. Ржавчину с корпуса корабельных втулок высотой в половину моего роста счищали до меня специальной железкой с остро отточенными краями. Сидишь как проклятый и скоблишь, скоблишь, скоблишь часами ржавые, в полкулака наросты, проклиная все и вся. Как-то утащил пневматическую стальную щетку, которой счищали с корабельных днищ ракушки, и всю поршневую группу за день вычистил, хотя полагалось — за неделю.

Здешние латыши глядели на меня поначалу с неприязнью (не знаю, так ли это было или казалось только), но как то разом подобрели, а волосатый дед, со скошенным на бок носом, крутым подбородком (это он досаждал мне своими подглядываниями) вдруг ни с того ни с сего, протянув мне бугристую, медвежью ладонь, в которой могли запросто утонуть обе моих, и, путая слова латышские с русскими, сказал: «Я, знаешь, как я звать? Индрикис!» Причем говорено было это таким тоном, словно бы в имени самом крылось нечто из ряда вон. Ну Индрикис, и что?

Он обиделся и отошел.

Тут вдруг бригадир объявился, русский, кстати. «Ты что Индрикиса обидел?» — «Никого я не обижал!» — ответил я. «Ты хоть знаешь, кто он такой? Он же чемпион Латвии по боксу! Еще в годы Ульманиса был!» Я скривился презрительно: «Подумаешь, в годы Ульманиса!», — имея в виду, что этим не хвалиться надо, а скрывать, ведь при этом самом Ульманисе хуже было, чем при Гитлере, и странно, что русский бригадир его выгораживает. Бригадир пальцем у виска покрутил: «Откуда ты такой взялся?» И отошел.

В те годы я внештатничал в городской газете, и первым моим серьезным материалом была статья про Яниса Кивлениекса, легендарного капитана, орденоносца. Врачи его списать хотели когда-то с флота из-за вестибулярного аппарата, который у него ни к черту был, так он по многу часов крутил шеей над ведром, куда блевал, доводя себя до изнеможения. Над ним смеялись все кому не лень, но как были они посрамлены, как изавидовались потом и его заработкам, и славе, когда две пятилетки вгонял он в одну, вылавливая норму двух-трех судов. Полный трюм рыбы или штормит, а он все равно идет на замет, ему все мало. И жмотом его называли, и выскочкой, и куркулем, но как ни назови, Кивлениекс всегда был первым, и это его изгойство, гордое противостояние одного всем, всему миру, влекло меня к нему. От него я никогда не слышал, что русские испортили латышей, что они научили их пить и отучили работать, он-то работал! И вот, когда до конца года оставалось чуть-чуть и столько же было до плана двух пятилеток в одну, отправляют его РБ-2014 на текущий ремонт, а это значит — не видать ему перевыполнения плана как собственных ушей, потому как проваландаются береговые службы по обыкновению!

Янис бродил по цехам несчастной, потерянной тенью. Мечтал он, чего тут скрывать, о награде; и, между прочим, не о какой-нибудь там завалященькой, а о высшей — Звезде Героя, той самой, которых у латышей наперечет.

Об этом только я один знал, со мной Янис откровенничал, больше ни с кем, и я загорелся идеей отремонтировать судно капитана-передовика раньше срока, организовав нечто подобное коммунистическому субботнику. Пришел в ремцех и говорю: «Коллеги-дизелисты, дело святое, две пятилетки в одну, поработаем сверхурочно, поможем Янке, он ведь гордость нашего колхоза, это дело престижа нашего!..»

В ответ мне было молчание. Но это — сперва. А потом — смех, шу-

точки: «Нам с твоим Янкой детей не крестить!» Лечу к бригадиру: «Миервалд, организуй своих, поработаем ударно!»

Ноль реакции, никто не хочет работать сверх того, что положено по нормам. В 18.00, минута в минуту, прячут инструмент, запирают шкафы и бардачки и тянутся в душевую. Хоть ты в лепешку расшибись, наобещай кому бутылку, кому статью в газету, ни один не отзовется! Я понять не мог — отчего такая черствость по отношению к хорошему, заслуженному человеку, безразличие к престижу колхоза? Потом понял: во всем она виновата, психология латышская, привычка работать о т и д о, не признавая никаких с в е р х.

Латыш, поучали меня старики, все делает не спеша, не авраля, зато надежно. Зачем же быстро, но плохо?

Хорошо, ерепенился я, а Кивлениекс не латыш разве? Не перевыполнил он план, сидеть нам всем без рыбы. А мы и так без рыбы сидим, резонно отвечали мне, вся рыба в Москву идет, мимо нашего рта. И что это за пятилетки такие у русских, которые не только выполняют досрочно, но и перевыполняют? При Ульманисе Госплана не было, зато рыбу некуда было девать, завались ее было!

Не-ет, думаю, одно дело разглагольствовать о старых временах, когда все якобы было и безработные питались исключительно бананами, поскольку были они дешевле мяса, а другое — не пытаться облагородить настоящее, махнув на все рукой: теперь, мол, все воруют, никто ни за что не отвечает, народ споили, чтобы залить ему глаза на нехватку жратвы, жилья, свободы.

Да если б все, как Кивлениекс, пахали от зари до зари, страна давным-давно преобразилась бы, горячился я, другое дело, что жаждущих отличиться, выделиться из серой массы, одержимых, азартно-неугомонных, по-хорошему тщеславных, истинных хозяев мало... Не помогли ни просьбы мои, ни уговоры, ни угрозы, ни апелляции к совести и трудовой солидарности: «Четырнадцатый» вышел в рейс не раньше и не позже намеченного планами ремслужб.

Детей с ним не крестить — и все тут...

Обозленный на весь белый свет, задал зато Кивлениекс такой бешеный темп на промысле, какой ни до него, ни после никто на Балтике и не способен был задать, всех посрамил, выполнив досрочно пятилетку. Вот только со Звездой вышла осечка — дали Трудового Красного Знамени, для Звезды Героя не тянул, оказывается, по той причине, что родич какой-то его за границей после войны оказался...

Теперь же, по прошествии времени, понимаю, что правы-то оказались те старики-латыши, что урезонивали мой комсомольский азарт, стремление к рекорду, остужали соревновательскую горячку — что хорошо было для первых пятилеток (да и хорошо ли, не скажешь теперь, когда открыта правда про безымянных и бесславных соучастников шахтерского рекорда того же Стаханова), то сегодня не только анахронизм на фоне бешеного рывка в земной рай всяких японий, южных корей, гонконгов и таиландов, прекрасно удавшегося без лозунгов «Догнать и перегнать!», хуже — политиканская внеэкономическая затычка бессчисленных прорех и дыр системы, использующей человека как старую газету, когда пытаются распалить костер. Работа не спорт, где важнее рекорда нет ничего (проходки, количества зон обслуживания или выловленной рыбы — все эти плановые перевыполнения, когда дело передовика и безделье отстающего дают усредненненькое, с тенденцией к снижению, благополучие нации, а рекордами создается видимость экономического продвижения; рекорды, как ни тужься, не сделаешь нормой, хоть обклей призывными плакатами все станки, машины и шахты страны), работа от и до, но — работа, рационально высчитанная, производительная, хорошо оплаченная; не времяпрепровождение в курилках под треп о конкуренции на Западе, о том, как японцы, собаки, работают, какие творят чудеса, — тут, я понимаю это с опозданием в целых пятнадцать лет, старики-латыши все-таки были правы.

Жаль, их больше нет, и некому теперь воздать за ту науку...

Я хочу рассказать об одной русской женщине, попавшей сюда, в Латвию, без малого пятьдесят лет назад.

«Ну что, затолкали нас прикладами в скотский вагон... Ой, не могу говорить, слезы душат...»

«А потом?»

«Захлопнули двери... Мы все кричать стали, кулаками в двери били... Мамочка моя, Царство ей небесное, она от страха даже плакать не могла, только молилась...»

Ей было четырнадцать лет, когда ее вывозили немцы из деревни Гора, что под Новгородом.

Когда сошлись с лязгом вагонные буфера и медленно-медленно покатил поезд, пересчитывая стыки, в злобном, натренированном клокоте зашлись караульные собаки, стали рваться с поводков, давясь собственной слюной. Потащили за поездом упирающихся, орущих на них солдат.

Хрипло рявкнул паровоз, кинув в небо клуб копоти, — поехали!

На перроне пальнули в небо — для острастки тем, кто в вагонах. Ехали и плакали, расставаясь с надеждой на близкое освобождение. Три дня верили и надеялись, как на чудо, — вот-вот распахнутся окованные двери, им скажут: «Выходите, вы свободны!» Трое суток не снимали немцы оцепления с вагонов — панически боялись они партизан, круживших вокруг. Те взорвали мост не то у Пскова, не то у Ржева. Когда это известие дошло до заточенных людей, радости их не было конца — теперь их черед! В вагонах молились старики и дети: Царица небесная, помоги партизанам еще что-нибудь взорвать! Матерь-заступница!..

После диверсии немцы будто с цепей посрывались. Обозлились, но и трусили изрядно, и за крошечную провинность запросто можно было промеж ключиц заполучить прикладом. Партизаны день ото дня сужали круги, пугали немцев ночной стрельбой, те выставляли на ночь усиленные посты и караулы и — для перестраховки ли, для острастки — пускали в небо осветительные ракеты. Везли в вагонах жителей деревни Гора Псковской области, деревни, пережившей два исхода. Первый — с отступающей Красной Армией, второй — с германской. Люди думали, что везут их в Германию, а оказалось — в Латвию.

На перроне Сигулды русских уже ждали латыши с повозками. Приехали разбирать батраков из России, обещанных немцами тем, кто кормил их армию. Батраками стали моя мама (это ее рассказ), ее сестра и родители. Их отдали на хутор дяде Андрею и тете Мине — мама и по сей день так называет бывших своих хозяев. Латыши окрестили их по-своему, дали привычные для слуха имена: мама стала Дзинтрой, тетя Катя — Ингой.

«А какой он был, дядя Андрей? Пузатый? Важный?»

«Почему пузатый? Очень хороший дядька. И не пузатый совсем, почему пузатый? Двенадцать языков знал, двенадцать! По-русски говорил чисто. Зато тетя Мина и двух русских слов не знала. Дядя Андрей начнет с твоим дедом спорить о чем-нибудь, она мужа за рукав дергает и шепчет ему, шепчет: ,,Андри, Андри, что этот русский говорит?'' А он сперва отмахивался, а раз как закричит на нее: ,,Да оставь меня в покое! Что я — переводчик! Выучи, будешь понимать!'' Такой он был, дядя Андрей...»

Я слушаю маму, поражаясь уже который раз ее умению в чем угодно плохом искать, а главное дело — находить — крупицы хорошего, будь то человек, эпоха, обстоятельства или еще что-нибудь. Вот ведь, двенадцать языков знал! А может, свойственно это русской нации, все эти — «зато», «но», «меж тем»?.. Пусть все плохо, зато хлеба вдоволь и нет войны...

А может, я чего-то недопонимаю? Почему, собственно, должен быть непременно плохим этот не виденный мною хуторянин? Только потому, что батраков ему дали немцы? Потому, что в нашем представлении, если хозяин, если частник, то — н е н а ш, не жаль и в распыл?

Дом, скот, хозяйство — все это не принадлежало дяде Андрею, арендовал он хутор у веселой, разухабистой, беззаботной красотки Велты, которая наезжала сюда изредка с кавалерами, разряженная, как настоящая барынька, в кринолины и шляпки. В войну жила с немецкими офицерами, после войны — с русскими. От распутства красота ее поблекла, а потом, говорят, погибла она в пьяной драке. Брат ее служил в немецкой армии, но дядю Андрея мало интересовало, сам пошел служить к немцам родственник хозяйки или насильно взяли — политика не его дело, его дело продукты поставлять, а кто уж их покупать будет, немцы или русские, ему все едино. Чья бы власть ни торжествовала в далеких городах — Ульма-

ниса ли, Сталина, или Гитлера, корова должна быть напоена и подоена, овцы ухожены, поле засеяно, свиньи с поросятами сыты (и, на мой нынешний взгляд, это намного нравственнее, чем собирать урожай «к очередному партсъезду»).

«Говорила, что радовался, когда могилы наших солдат показывал»,— прерываю я мамин рассказ и тут же получаю отповедь решительную, сердитую.

«Когда я говорила, ты что! Еще напишешь... Он могилы показал и говорит: ,,Это ваши лежат. Мы им в спины стреляли, когда война началась...'' То есть из латышей кто-то, не сам же он стрелял. И оружия у него не было никогда...»

Мама о политике не хочет, зато рассказывает, как возле могил советских солдат схоронили окрестные хуторяне мою бабушку. Когда везли ее из России, простудилась в вагоне, заболела, да так и не оправилась уже. Три ночи мама и сестра ее Катя сидели возле бабушкиной постели, держа ее за руки, а она их прогоняла спать, лукавила, говоря, что ей уже лучше. Потом выдохнула странные слова, похожие на заклинание, и умерла. А слова были такие: «Не вдруг по сукам голым ногам»,— и я ломаю голову, что же это означало? О чем думала моя бабушка, оставляя сиротами девочек своих, что сказать хотела на прощанье?

Хуторяне, сложившись на гроб и смертную одежду, хоронили русскую из далекой Горы.

А несколькими днями раньше вызвали в город дядю Андрея и приказали русских отдать тому, кто богаче, потому что четверых батраков на четыре коровы больно жирно иметь. Тем более что хутор не свой, арендованный, а по профессии дядя Андрей краснодеревщик, из города сюда переехал, чтобы деньжат скопить — все учитывалось! Хозяева дважды ездили к представителям оккупационных властей, откупить хотели русских деньгами и продуктами, но не помогло — прибыл богач Земель и увез русских к себе.

Ну, Земель — это хозяин, не чета дяде Андрею! У Земеля не четыре коровы, а сорок четыре, телята, свиней тьма-тьмущая, лошадей одних пять штук. И не одну подводу в день с маслом, творогом, сметаной и мясом, а по три-четыре гонит он в город. Хозяин он истинный и, как всякий истинный хозяин, озабочен своим престижем, тщеславен до мозга костей. Отпустит моего деда в город по хозяйственным нуждам, а потом весь день наступает ему на пятки, орет: «Хриша! Отвечай, Хриша! Говорят в городе, какой Земель богатый?» (Его на русско-японской контузило взрывом, плохо слышал, вот и орал, как на площади.) А дед мой Гриша из доброты характера возьми да и поддакни: «Говорят, хозяин, еще как говорят: какой, мол, Земель богатый, все говорят...»

Ну, Земеля хлебом не корми, ему только воздай за труды — он набирал полную грудь воздуха, щеки надувал, вставал на цыпочки, чтобы выше казаться, тем более что росточком был маловат, да как зайдется хохотом, как зайдется, надламываясь в пояснице, руками всплескивая и пряча их меж колен: «Ай, какой я богатый, ай, какой я богатый!»

Гектаров у него земельных — дай Боже, на пару с дедом моим поднимали они их, бороновали, засеивали вдвоем и урожай снимали вместе. Хоть и был Земель богаче Креза, но за все сам брался, все своими руками делал, не меньше жилы рвал, чем его батраки.

«Мама,— прерываю рассказ,— послушать тебя, так не было людей лучше, чем твои хозяева! Ты кем у них была? Батрачкой! Ты же не картошку перебирала на овощной базе. ...Как будто тебя и не обижали никогда!..»

«Какую картошку? Какая база? — хмурится она.— Что ты ерунду говоришь?»

Она поджимает губы, как всегда перед тем, как расплакаться.

Я лезу с объяснениями и извинениями, говорю, что про базу это я сморозил, а у нее уже слезы на глазах, она и сама не поймет — отчего, но, мама признается, у нее последнее время глаза на мокром месте, обидно ей, что русских стали открыто называть «оккупантами», и даже тех, кто не по своей воле сюда попал, в Латвию, а не уехал потому, что и ехать-то некуда было, на пепелище разве что.

«Слушай,— в мамином голосе появляется настороженность.— А что это ты про Земеля выспрашиваешь? Уж не собрался ли ты писать, что я батрачкой была, мать позорить? Виктор, иди сюда, Виктор!»

Виктор — это мой отец, «оккупант» с 1953 года. Мама обращается к его помощи; когда надо надавить, повлиять, остеречь от непродуманного поступка, отец тогда привлекается для численного большинства.

Он выходит из кухни, в руке нож.

«Виктор! Послушай, что он задумал! Про Земеля писать! Что потом скажут!»

«Была, скажут, Мария батрачкой, а теперь живет принцессой».

«Да случись что...»

«В Сибирь, что ли, сошлют?»

«Да мало ли! При Хрущеве сколько всякого писали, при Горбачеве пишут. Придут другие, сведут с вами счеты! Я дурочка была, пришла на работу наниматься, написала честно: была на оккупированной территории, а назавтра мне говорят: ,,Извините, Мария Григорьевна, в ваших услугах не нуждаемся!''»

«Когда это было! Ты еще от царя Гороха вспомни... Пусть пишет, его дело».

«Его дело — мать позорить!.. Куда он лезет в отношения с латышами? Ничего он там не разберется, только всех перессорит, увидишь...»

Отцу приказано на меня повлиять. Мама на весь вечер замыкается в себе, отказывается вообще что бы то ни было рассказывать. Обозвала простаком, услышав от меня, что еще неизвестно, на кого хуже батрачить — на латышского хозяина или в сталинских, беспаспортно-бесправных мини-гулагах коллективизации, где так с людей драли, налогами обкладывая, что русский крестьянин еще и до войны пух с голоду.

Услышав все это, мама пугается, она делает попытку вопрос замять, она переводит все на другую тему: просит, когда буду я в Москве, позвонить на Всесоюзное радио на передачу «Рабочий полдень», которая ей по сердцу, чтобы в день рождения ее сестры Кати передали песню «Эхо» в исполнении Анны Герман.

«Помнишь? Это моя любимая: ,,Мы эхо, мы эхо, мы долгое эхо друг друга...''»

Мама смешно и неуклюже заговаривает мне зубы, не хочет о Земеле, о войне, я это понимаю, но не могу понять другое — почему? У мамы опять краснеют глаза:

«Ты что, сын, нам же с ними вместе жить, а ты напишешь, что кулаки у них были. В Москве прочитают и скажут — правильно их критикуют...»

У мамы слепая, какая-то просто неистовая вера в силу печатного слова. Слово, по ее мнению, а особенно печатное, может ранить, примирить, спасти, поссорить, научить, обидеть и даже убить... «Ты читал в ,,Известиях'', как людей обманывают разные проходимцы? Я тебе вырезала, пошлю...» — «Мама, я выписываю ,,Известия'', не посылай!» — ору я в трубку. «А ты в нашем ,,Коммунисте'' (городская газета, ныне — ,,Курземес балсс'' — ,,Голос Курземе''. Курземе — часть Латвии) читал, какое название было улицы Узварас (,,Узвара'' по-русски ,,Победа'')? А действительно, где ты мог читать! Улица Улиха, был такой бургомистр. Это он тут железную дорогу построил, парк Приморский. Я тебе пошлю эту статью, там и про герб наш латвийский, из которого льва выкинули. И про улицы переименованные. Даже Карла Маркса менять будут, вот времена настали!.. Посылку буду собирать, положу... Сейчас ничего почти и не пошлешь, все по визиткам этим. И правильно, я тебе скажу, а то все увозили литовцы. Тут продавщица одна, вот зараза, в лицо меня знает, но нет, давай ей визитку. Я говорю: ,,Вы ж меня знаете!'', а она: ,,Ликумс палиек ликумс'' — закон есть закон. И что ты думаешь, пришлось идти за визиткой, такие порядки теперь. А ты национальную тему поднимаешь...»

Так вот, по маминому мнению, если напишу я, что латышский хозяин Земель обращался плохо с русскими батраками, на нее обидятся подруги-латышки. Напишу, что хорошо,— обидятся русские подруги: кого, скажут, под защиту берешь, кулаков, богатеев! Куда ни кинь, всюду клин!

Но сдается, добрая сговорчивая душа, рассказывает про свою обиду. Как износились у нее, пастушки хозяйской, последние ботинки, как бегала босиком по лужам и по стерне, и как прижимистый Земель нарочно этого не замечал, глаза отводил, чтобы на обувь не тратиться. И вот в один пре-

красный день завернула на хутор тетка-спекулянтка, предложив красные сапожки маминого размера всего-то за четыре кило масла. Земель с теми сапожками чего только не делал: он и мял их, и на растяжку пробовал, и по каблуку барабанил костяшками пальцев, прикладывал сапоги к уху — вдруг каблук полый, вдруг обманет торгашка, подсунет дрянь! И даже нюхал товар, боясь продешевить — вдруг не кожа. Мама стояла рядом, она ждала его решения, затаив дыхание — вот сейчас сторгуется хозяин, сейчас скажет: «Ладно, Дзинтра, так тому и быть, беру. Работница ты хорошая, дважды тебе повторять не приходится, все у тебя в руках горит, в четыре встаешь, за полночь ложишься, и все стадо на тебе, ребенке несмышленом, беру!» А тот подумал-подумал, да сунул сапоги той тетке: «Не-е, не беру, просишь дорого...»

Повернулся и вспять зашагал.

Она вообще удивительная, моя мама. Столько было несправедливостей разных в войну и до войны, а вот на тебе, только-то и запомнилось из всего, как рыдала на чердаке хозяйского дома из-за сапожек — горько было на душе, ощутила вдруг несвободу.

«Мало тебе этого?» — пожимает она плечами. Еще вспомнилось, что хозяйка Земеля грязнуха была и что вечно у той тараканы плыли в манной каше. Эх, мамочка, мамочка, чудная ты моя...

А может, потому все беды и обиды русской девочки-батрачки с богатого латышского хутора уместились в несколько коротеньких эпизодов, что потом, когда немцам понадобилась рабочая сила, стало еще хуже? Что русских батраков у латышей забрали, и тут уже ничего не помогло — ни просьбы, ни уговоры, ни взятки. С окрестных хуторов потянулись в город подводы, а в городе на путях стоял длиннющий эшелон из тех же теплушек, которыми привезли сюда маму и сотни других русских из России.

Теперь их везли в Германию, в трудовой лагерь под Берлином.

«Мам, расскажи про Германию».

«Нет».

...Долгой будет мамина дорога домой из немецкого лагеря в 1945 году. По гладким бетонным автострадам, через жирные, ухоженные поля, унавоженные богато, через деревни, похожие на небольшие города, откуда теперь уже немецкие крестьяне бежали в лес от русских танков, как бежала когда-то моя мама и ее семья от немецких. В аккуратных каменных коровниках, крепостью своей и основательностью напоминавших бункера концлагерей, заходилась обиженным ревом некормленая скотина, визжали голодные, злые свиньи. Русские милостивились, доили брошенных немецких коров, обзывая их «немками», «гитлершами», «заразами», кормили свиней и птицу, мечтая о своих деревнях, где пусть и хуже, и беднее во сто крат, но зато все свое, родное, все своими руками добытое, взлелеянное, вскормленное и вспаханное.

Маму на родине ждало пепелище. Старики и старухи, чудом выжившие, ютились в землянках. По сгоревшей деревне, меж торчащих труб, бродил призраком, подволакивая ногу, Левушка Костяная Нога, пугал палкой жирных, сонных ворон, отожравшихся за войну падалью; его ранило не на фронте, он щепу в костер кидал, а из костра ахнула шальная пуля, да прямо в ногу...

О том, что было потом, я долго не решался рассказывать. Хотелось как-то уйти от этого, извернуться, пропустить; мне все казалось, что в мамином поступке что-то нехорошее кроется, быть может, даже позорящее ее — так вот, чтобы с голоду не умереть, чтоб прокормиться, вернулась мама из России на латышский хутор, вернулась д о б р о в о л ь н о й батрачкой, памятуя, что было там сытно...

Но после войны была одна свобода — дохнуть с голоду. И кто осудит девчонку, чудом выжившую в немецком лагере, и потому только, что, рискуя пулю получить, ускользала за проволоку, побиралась и тем силы поддерживала? Кто осудит, если кусок хлеба в послевоенной сталинской деревне был по цене человеческой жизни?

Вернулась в Латвию, не думая, не гадая, что ждет ее. Хутора разграблены — немцами, русскими. И латышам теперь было не прокормиться. И тут — радостная весть, в Латвии же нашлась мамина старшая сестра Вера! Не пропала, не сгинула, оплаканная моей бабушкой. Известие о немецких грузовиках, что мчались в сторону деревни Гора людей вывозить в Германию, застало ее в десяти километрах от дома. Назад не вернулась, ушла к партизанам, умоляла освободить родных, налет сделать на станцию. Силенок у партизан тогда не хватило. Три года воевали в лесах. Когда в 44-м вернулась в свою деревню, деревни, собственно, и не было. Пепелище, да вповалку трупы наших солдат, облепленных вороньем — их гнали на штурм деревни Гора, надеясь взять ее в лоб, с ходу. Немцы, используя рельеф, били и били по ним из пулеметов...

Маму к сестре не прописывали, город, в который попала тетка, был закрытым, и тогда та сказала, что мама — ее дочь.

Преемником А. Я. Пельше, вознесшегося на московский трон, стал Август Эдуардович Восс. Всем латышам латыш, но даже Пельше заткнул он за пояс по части хлебосольства. Восс — истинный интернационалист, он против нацзамкнутости, он и сам открыт, и врата республиканские распахнул шире некуда — заходи кому не лень, всех обогрею! И повалила на латвийские просторы рабсила со всех уголков страны, потекла на нововоссовские предприятия бесконечной рекой! На Рижском электроламповом латышей и не встретишь, одни русские. Откуда, девицы-красавицы? Белоруссия родная, Украина золотая, Россия... Паспортов нет, закрепощена заводом рабсила навсегда, и хотя прибыла сюда временно, ютится по рижским койко-местам годами, лелея надежду не на квартиру даже — на женихов со здешней пропиской, чтоб жить, не прячась от милиции, чтоб детей рожать не под угрозой увольнения, изгнания из общаги и бомжеского будущего; так и живут в чужом краю русские девчонки троекуровскими крестьянками, и по пять, и по десять лет, ненавидя все здешнее, исконное, местный, обеспеченный люд. Но — творог, молоко есть, да к тому же изо дня в день все тут яснее становится и понятнее, ведь родную русскую речь теперь все чаще и чаще услышишь на улицах латвийских городов — оккупация так оккупация!..

А латыши и против Восса, и против чужой рабсилы, а потому и против новых промышленных предприятий — не их это стихия промышленный труд.

Мост, вознесенный над Даугавой в период первосвященства Августа Восса, народ окрестил не как-нибудь, а вполне интернационально, подвергнув диффузии два разнополюсных потока: «Балалайка Восса»,— знай, как говорится, наших. И не ропщи, латыш, на русификацию, раз планида такова, русифицируйся, следуй за прогрессом.

И следовали, хотя и роптали до поры, костеря Восса с его нелатышским хлебосольством. А тот с начальством местным крайне суров: извольте по-русски изъясняться, тут много русских товарищей, они нас не поймут, поскольку (это в подтексте) по-латышски они ни в зуб ногой. Ни в зуб ногой, рассказывают, сам был, на родном языке говорил с акцентом, ибо по воле рока закинут был на правление сюда из России, куда предки его ушли после 17-го воевать за советскую власть.

Слыхали, друзья, о латышских стрелках?
Их Ленин послал на штурм Перекопа,
Мечом они были в его руках.
А ныне наследники их возрождают
Старинного братства закон боевой...

Насчет «наследников» и «братства» — сильно, конечно, сказано. Стрелки красные не в моде ныне. Враз припомнили: царскую семью расстреляли, крестьян русских, восставших против нового красного миропорядка, от которого до голодной смерти был один шаг, убивали. И Кронштадт припомнили, и даже Перекоп уже не в заслугу им, ведь после него был трагический исход далеко не самой худшей части русского народа из России. И палачи они теперь, и убийцы безродные, космополиты (наряду с евреями!), и гонители свободы, душители ее, враги русского народа. Это как контрдовод тем латышам, кто валит на русских все беды Латвии,— сами хороши, в а ш и же и сотворили то, от чего теперь открещиваетесь, в а ш и же насаждали в России социалистическую идею, которая вам теперь не по сердцу! И так далее.

Но что руководило крестьянами-латышами в серых солдатских шине-

лях, когда шли они против братьев по классу без тех же шинелей? Что заставляло их до последнего держать фронты гражданской войны, гибнуть в России сотнями и тысячами? Классовая ненависть? Но откуда бы ей взяться у латышей-офицеров, добровольно вливавшихся в ряды рабоче-крестьянской армии, умиравших под красными большевистскими знаменами?.. Скрывали до поры двухтомник 22-го года «Историческое значение латышских стрелков». Не потому ли, что был там текст Юкума Вациетиса, легендарного красного командира? — текст этот мало общего имел с традиционно существующим объяснением феномена красных латышских стрелков.

Вациетис писал: «В Красной России латышские стрелки выполняли те задачи, которые перед ними, как пролетариями, поставила история. Я видел две такие задачи. Во-первых, после разгрома Германии в мировой войне занять Латвию, и во-вторых, помочь укрепить советскую власть в Красной России, потому что она признала полную самостоятельность маленького народа...» Что понимали латыши под этой самой «полной самостоятельностью», когда в августе 17-го обороняли Петроград от немцев? Очевидно, не совсем то, что получили. Вряд ли под «полной самостоятельностью» Вациетис имел в виду то закрепощение республик центром, которое дает о себе знать и сегодня. Выходит, что наводили они порядок в России с оглядкой на свой дом, что своя рубашка была ближе к телу? А если и ближе, то что?

В 1917 году Ленин писал: «Чем свободнее будет Россия, чем решительнее признает наша республика свободу отделения невеликорусских наций, тем сильнее потянутся к союзу с нами другие нации, тем меньше будет трений, тем реже будут случаи действительного отделения, тем короче то время, на которое некоторые из наций отделятся, тем теснее и прочнее — в конечном счете — братский союз пролетарско-крестьянской республики российской с республиками какой угодно иной нации».

Стрелки-латыши верили Ленину, но ведь и не обманул он их веры (хотя большевистское вероломство сегодня общеизвестно) — «Россия признает безоговорочно независимость, самостоятельность и суверенитет Латвийского государства и отказывается добровольно и на вечные времена от великих суверенных прав, кои принадлежали России...»

Что стояло за этим признанием: благодарность латышам за помощь в гражданской, надежда на лучшие времена, когда удастся, собрав силы, повернуть вспять ход истории, как повернули в 17-м, расчет на «пятую колонну»? Говорят, были б силы у большевиков, не отдали б ни Прибалтику, ни Финляндию. Но вот еще цитата: «Я очень хорошо помню сцену, когда мне пришлось в Смольном давать грамоту Свинхувуду,— что значит в переводе на русский язык „свиноголовый",— представителю финляндской буржуазии, который сыграл роль палача. Он мне любезно жал руку, мы говорили комплименты. Как это было нехорошо! Но это нужно было сделать, потому что тогда эта буржуазия обманывала народ, обманывала трудящиеся массы тем, что москали, шовинисты, великороссы хотят задушить финнов. Надо было это сделать...»

Тоже — Ленин. 1919 год.

Потянулись на родину стрелки-латыши возрождать опоганенную, поруганную войнами землю — ее местоположение веками влекло захватчиков всех мастей, верований и рас. Чьих только армий сапоги не топтали тихих холмов латвийских — ливонского ордена и шведского короля, русских царей и польских гетманов! Хозяйничали на ней бароны, паны, помещики, герцоги, наместники, и бывали времена, когда часть латышей была лишена возможности продолжить свой род — нечем было кормить, некому было защитить.

Да, застрелил брат брата. Да, Мик
сидит в опасном месте. Железный
черный крест и красная звезда у
нашего стола, бывало, сиживали,—

Это из «Поэмы о молоке» Иманта Зиедониса, о латышах, вскормленных молоком матери-Латвии. «Опасное место» — перекресток дорог с Запада на Восток, возле которого раскинула свои земли Латвия. Никогда прежде латыш не был тут хозяином, но стал им по ленинскому декрету 1920 года.

«Чрезвычайно недоумение живущих рядом с латышами представителей других народов, отчего это латыши так „прикипели душой" к тем двадцати годам (1920—1940). Следует ясно и недвусмысленно ответить — эти годы суть единственная пора собственной государственности, то есть высшего проявления воли нации в истории латышского народа. Эти годы дороги и тем, кто их не видел, потому что родился на свет много позже, дороги сознанием горечи невозвратимой утраты...» — напишут в середине восьмидесятых. ..Что же, чрезвычайно недоумевают плохо знающие здешнюю историю, а не знают ее «представители других народов» по вине тех историков, кто латышских стрелков делил на «белых» и «красных» в угоду идеологии. словно кровь, пролитая за старую Россию, одного цвета, за новую — другого.

В вину вернувшимся на свои хутора вменяли то, что стрелки, оставшиеся в России, нашли там свою смерть во времена ежовщины, пали от рук системы, ими же порожденной, которая, как бы сомневаясь в искренности собственных ваятелей, выискивала их по всей стране, чтобы расправиться. Так, в расстрельном списке камчадалов, попавшемся мне на глаза, были десятки латышских имен — все стрелки ленинские, гвардейцы: Балкус, Вильдер, Каукула, Юнзис, Юрис, Мейя, Ангис... (Расстрелянный Мейя был начальником погранзаставы и, как и остальные из списка, проходил по делу об «Антисоветской латышской националистической организации» вместе с Ангисом, председателем колхоза; сын Ангиса, выжив, беспризорничал, прося подаяние, но от него, «вражьей поросли», шарахались, как от прокаженного, и милостыни не подавали. При Брежневе хлопотал сын за отца, за что засажен был в «психушку». Писал об отце воспоминания, никем не напечатанные, и, устав бороться с системой, отбыл в Америку — навсегда...)

Помню и указ середины семидесятых за подписью Л. И. Брежнева: видному латышскому историку Н. вручался орден «за заслуги в развитии советской исторической науки». В заслугу награжденному, очевидно, вменялось то, о чем умалчивал. О «литенской мясорубке», например — о ней стало известно в октябре 88-го, когда в местечке под названием Литене обнаружили останки многих людей, и бывший офицер латвийской национальной армии Волдемар Чаксте заявил: «По-моему, это офицеры, которых не успели арестовать в период с 14 июня до начала войны...» Ему и еще 564 офицерам-латышам «повезло» — их не расстреляли за восемь дней до войны, их умертвляли медленно в Норильском концлагере, но он и еще 49 человек выжили, чтобы донести до нас страшную правду.

Историки прибалтийских республик замалчивали многое. И то, что созданию советских баз в довоенной Эстонии предшествовала провокация НКВД с потоплением советского судна «Металлист», гибель которого приписали полякам — их подлодке, лишь случаем спасшейся от субмарин Гитлера, Эстония в 39-м дала приют. Сталин обвинил эстонцев в пособничестве «польским агрессорам». Торгуясь о численности советских войск на базах в Литве, Сталин, как явствует из мемуаров бывшего министра иностранных дел Литвы Ю. Урбшиса, заявил с макиавеллиевской изощренностью и цинизмом: «Наши гарнизоны помогут вам подавить коммунистическое восстание, если оно произойдет в Литве...» (он вообще любил так шутить, называл себя, например, антикоминтерновцем...). Как сочленить подобное с версией историков, десятилетиями втолковывающих, что сами прибалты, напуганные активностью Гитлера, выпросили у Союза военные базы.

А чего стоят тома исторических сочинений о сговоре прибалтов с Гитлером! Да, Гитлер предлагал союз латышскому президенту Ульманису, но из всего «фашистского» ульманисовского руководства за союз голосовал лишь один человек — финансист А. Валдманис, за что и был он отлучен от должности в кабинете министров.

А куда девать, кстати, революционное прошлое Карлиса Ульманиса, участника событий 1905 года, эмигрировавшего за границу после того, как отсидел срок в царской тюрьме?

Или вот этот факт: в 1936 году, согласно данным Лиги наций, хуторянин-латыш производил на едока 680 килограммов масла и 63 килограмма мяса; советский же колхозник соответственно — 120 и 16. Или свидетельства простых людей, такие, например, как это, простого хуторянина А. Мел-

ленса: «Я не знаю никого в истории свободной Латвии, кто был бы так тесно связан с этим, ныне уже ставшим мифом, государством... Хозяйственная и идеологическая политика Ульманиса раскрепостила мои силы, сделала мое человеческое «Я» гармоничным и всесторонне развитым...» Высылка кулаков 25 марта 1949 года (9250 семей!) знаменовала переход Латвии на новые сельхозрельсы. Удавка коллективизации, ликвидировав хуторянина как класс, уравняла латышей со всей страной в продовольственной нищете, и лишь старый задел, запас прочности прошлого продержал на плаву латвийский сельхозкорабль аж до середины восьмидесятых. «Диктатор» Ульманис прокламировал: «Крестьянский хутор — это источник жизненной силы народа, залог и оплот бытия и самостояния народа. Крестьянский хутор... остается и сегодня единственным хранителем древних нравственных принципов и культуры народа. Если латышский народ жив, если у него есть национальное самосознание и национализм, то самая большая заслуга в этом крестьянских дворов, крестьянской усадьбы».

Многого стоит и одна крошечная, «помоечная» находка — обрывок бумаги из макулатурной кучи, оказавшийся картой Генштаба Красной Армии 1938 года выпуска (!), на которой территории независимых Латвии и Эстонии уже обозначены были как территории Латвийской ССР и Эстонской ССР.

Конечно же, конечно, это не вся правда. Но какую мы ищем? Ту, что на манер кастета, кистеня или дубинки удобно ложится в ладонь для замаха, для удара, для устрашения инакомыслящих, или ту, что Шиллер назвал правдой, которая всего «правдивее на свете»... А правда в том, что это не вся правда о тех двадцати годах, к которым латыши «прикипели душой», и о Карлисе Ульманисе. Не кто иной, как он предлагал помощь Сталину в удушении свободной Финляндии, и не кто иной, как он, ратовавший за счастье и самоопределение латышского народа, предотвратил гигантское кровопролитие на этой земле, отдав в 40-м приказ по радио не оказывать сопротивления Красной Армии, вошедшей в Латвию: «Оставайтесь на своих местах, я остаюсь на своем!» (Радикалы вменят это ему в вину, считая, что если бы призвал он к сопротивлению, жертвы зачлись бы республике после войны, и ей был бы возвращен статус свободной, но это весьма сомнительно, поскольку для Сталина ничто не имело обратного хода...) И он же загнал после переворота 1939 года в подполье все партии (как считают нынче, сохранись к 40 году латвийская дума-парламент, не прошел бы в ней сталинский проект «помощи» крохотному государству, поглощенному в результате той «помощи»), ибо не кто иной, как он подавлял всяческое инакомыслие.

Правой рукой Ульманиса, бывшего революционера, спасавшегося в 1905-м от царской жандармерии, была жандармерия латышская, политуправа, о которой ходила страшная слава, и слава та вполне под стать славе сталинского НКВД. Подпольная коммунистическая пресса писала: «Почти каждый житель Латвии слышал о тех ужасах, которым подвергают заключенных... В застенках политохранки зверски замучены заключенные Лейбович и Беркович. Их били дубинками, рукоятками револьверов, кулаками и ногами... Лейбовича пытали электрическим током... На одном политическом процессе обвиняемый заявил: „В политохранке меня страшно истязали и заставили не спать несколько суток... При этом мне пригрозили, что если я откажусь давать показания, меня выбросят с пятого этажа...“»

О пытках рассказывала мне в 87-м старая большевичка Марта Крустыньсон (с которой обсуждали мы события на площади Свобод ı, закончившиеся дракой манифестантов с милицией). У нее были изломанные, криво сросшиеся кисти — ломали не в Риге, а на Лубянке, тисками.

Еще рассказывала большевичка, что в подвал Лубянки полз эскалатор, забрызганный кровью — на него ставили людей, а внизу убивали.

«А вы говорили, Ульманис пытал», — вставил я.

«Товарищ! — ее голос зазвенел. — То была борьба! Сталин осужден XX съездом, справедливость торжествует! Да, много было несправедливостей, были репрессии, но мы-то выжили, и мы должны бороться! С националистами! С антисоветчиками! Я пришла в революцию в начале века. Ехал барич и кинул мне булку в пыль. Я не подняла, хотя была голодна, — я была горда. Подошла сестра и сказала: „Есть такой человек — Ленин, он хочет, чтобы не было бедных!“ И я пошла за Лениным! Вы знаете, товарищ, что такое борьба!»

Она буравила меня зрачками глаз, от взгляда ее становилось зябко, он словно бы пронзал тебя насквозь, до нутра. Ей было много лет, она была одинока, и она была готова к борьбе, немощная, почти не ходящая, она вспоминала ползавших у ее ног белогвардейских жен, моливших за жизнь своих мужей, и губы ее, и без того тонкие, сжимались до тугой полоски: «Им не было пощады! Это была борьба! Никому пощады!» Я вглядывался в глаза старой женщины, вслушивался в интонацию, и становилось страшно — она все еще была готова рубить головы, она готова была строить баррикады и махать револьвером!

Голос ее звучал потом в ушах, старческий, дребезжащий, он преследовал меня вскриком: «Товарищ! Ты знаешь, что такое борьба!»

Но жить-то когда?

Сколько себя помню, жили завтрашним днем — будет лучше, чем сегодня! Окна родительской новой квартиры, полученной в восьмидесятых: две комнатки за выездом на втором этаже хрущевского дома, крохотные, с низкими потолками — поднимаю руку, достаю, а потом на пальцы плюю, стирая побелку, с ванной, в которой только сидя и уместишься, а включишь горячую воду, она перестанет литься в кухне, но мама счастлива — сорок лет с лишком ждала отдельную квартиру, а до вселения сюда сменили мы аж три коммуналки. Но что это было за жилье! Сперва был подвал на Лайвениеку иела (улица Лодочная); название то было насмешкой, потому как подвал весной и осенью щедро заливала вода — дом стоял в низине. Из подвала выбрались мы стараниями мамы на первый этаж деревянного дома, который стоял на улице, ведущей к городскому кладбищу. Тут я перестал бояться крыс, шушеры этой было так много, что с ней просто свыклись помаленьку, как свыкаются с чем-то неизбежным. Крысы, надо сказать, были беззлобные, мирные; их не брал никакой яд и ни одна крысоловка, но когда по весне ночами развязывали они войны за продолжение рода, у отца, если он бывал не в рейсе, лопалось терпение, и он начинал смертельную охоту. Он ловил крыс старой шляпой, опрокидывая на кухне керогазы и кастрюли. Имел отец великолепную трехгодичную практику — корабли дважды Краснознаменного Балтфлота, где служил он после войны, разминировавшие акваторию балтийских городов, крысами просто кишели, и за каждый десяток начальство давало сутки отпуска. Моряки ловили их в двойных брезентовых рукавицах, и изобретательности ловцов не было конца — дружок отца, гидроакустик из Полтавы Похилько, всех переплюнув, завел «переходящую», для отчетов, крысу, он представлял ее так часто, что с нее, бедной, сошла шкура, облезла...

Жилищная проблема в нашем городе была из самых неразрешимых. Это уже в середине восьмидесятых произойдет в Риге самозахват латышами квартир в доме, отданном русским (положив начало целой серии самозахватов по стране). А в ту пору, какую описываю я, только «экстремисты» осмеливались говорить, что жилье в Латвии в первую голову получают «оккупанты», что латыши по тридцать-сорок лет живут в развалюхах, не имея надежды поправить положение. Отчасти это была правда, и сам я писал про то, как по весне затапливало квартиру моего товарища по работе в ремцехе колхоза «Большевик» Эрика Шнипке, нашего комсорга: дети его болели без конца из-за сырости, а деревянное строение, в котором жила семья, невозможно было обогреть теплом печей — нутро дома прогнило насквозь, и тепло уходило в многочисленные щели и дыры.

Но вся ли это правда?

Правозащитник Мартин Барисс, от которого — год был 1987-й — рыдал городской КГБ (поскольку тот постоянно апеллировал к Западу, тревожась о гибели латышской нации), повел меня в старый город, чтобы продемонстрировать условия жизни коренных жителей. У ветхой развалюхи пошел он крыть советскую власть, продажность чиновников-партийцев, глухих к бедам собственного народа, «оккупантов», которые не в пример местным живут намного лучше, потому что идут на воссовские — с предоставлением жилья! — интернациональные предприятия: сам он жил в новом ведомственном доме, где был едва не единственным «нацменом»...

На втором этаже распахнулось оконце, выглянула старая женщина с изможденным лицом. Слушая гневные правозащитные речи, кивала головой, вытирала слезы обиды. Когда же Барисс, обнаружив живую свидетельницу имперской политики, обратился к ней по-латышски: «Госпожа, сколько лет вы в этом доме живете?» — «госпожа», вытерев слезы передником, ответила по-русски: «А хто знаить? С сорок первого году и живем»,— добавив, что у нее вон потолки рушатся, по стеночке ходит, боится, что на голову ей упадут.

Конфуз был очевиден, но политик (он и есть политик!), не изменившись в лице, подбил бабкину речь так: «Во всем коммунисты виноваты и военные! Они закрыли город, превратив его в секретную базу, они кидают в море напалм, который прибивает к берегу — люди думают, что это янтарь, а он горит, обжигает руки! Они заперлись в военном городке, оградились заборами и постами, они не желают тратить деньги на жилищное строительство, они как камень на наших шеях! Они творят тут все, что пожелают, нет на них никакой управы, страдают и латыши, и русские!»

Я слушал его и вспоминал, как в 77-м хотел написать для «Советской молодежи» очерк о тех, кто воевал за мой город, о тех, кого символизировали фигуры городского памятника — моряк с гранатой, женщина-санитарка и рабочий. В Совете ветеранов дали мне телефон человека, который защищал город летом 41-го. Я договорился о встрече; когда подошел к щелястой двери, из-за нее послышалась ругань: жена крыла ветерана за то, что к ним идет «корреспондент поганый» — корреспондента она связывала с властью, которая допускает, чтобы защитники Родины жили «хуже последнего нищего».

«Пусть только войдет, я его носом-то ткну, ткну носом, ты меня знаешь!» — кричала женщина.

«...медали надел, ой! — причитала она.— Да кому нужны твои цацки! Я до Восса дойду, дойду до Восса... Ни рыба ни мясо, ничего не можешь! Я устала с крысами жить, не могу уже, в старуху превратилась, на мои руки посмотри! ..нет, ты не отворачивайся!»

Раздался звон разбитой посуды.

Редакция ждала материал праздничный, а тут — какой праздник... Я накатал тогда дежурный опус про мой город на семи ветрах, который Указом Президиума Верховного Совета СССР за подписями Брежнева и Георгадзе награждался орденом за успехи в чем-то хозяйственном и культурном... за заслуги в революционном.. за стойкость в годы войны... Еще про то, что название города впервые было упомянуто в 1253 году, что на поросших соснами дюнах и островах испокон веку жили племена куршей и ливов; про то, что Петр Стучка (в 1988 году его заклеймят как палача латышей) назвал мой город колыбелью революционного движения в Латвии. Среди руководителей движения был и Карлис Ульманис; о нем в Советском энциклопедическом словаре 82-го года я нашел только это: «Ульманис Карл (1877—1942), один из руководителей латв. бурж. контрреволюции. Лидер бурж.-кулацкой партии «Крестьянский союз». В 1918—1934 неоднократно возглавлял пр-во. В 34 произвел фаш. переворот, установил личную диктатуру. В 1936—1940 премьер и президент Латвии». (В год награждения моего города орденом можно было за Ульманиса запросто загреметь в КГБ...) Про стачку грузчиков 1880-го, про восстание военных моряков в 905-м, подавленное жестоко «царскими сатрапами», про красных стрелков 18-го... И про 21 июля 40-го — в тот день цвели липы, и люди, вышедшие встречать советские танки, пели песни от радости и счастья — пришла свобода! Про то, наконец, что у города и его горожан есть все для счастья — море, песок, свобода. Опус свой я завершил парадным: «И орден на твоем знамени, город мой на семи ветрах, достойная оценка твоих заслуг!»

Было начало семидесятых, ночью Москва показала фильм. До утра стоял в ушах рев морских пехотинцев в пятнистых касках — их лица были вымазаны черной краской, а плоские штыки винтовок глубоко вонзались в чучела советских солдат; вопли кетчистов, хватающих друг друга за волосы, молотящих по лицам ногами и руками,— зал бесновался, кричал: «Добей! Добей!» Еще показывали американские «Фантомы», бомбящие Вьетнам, горящие хижины. Наутро я уже твердо решил бежать во Вьетнам, чтобы воевать с проклятыми янки за свободу маленького народа. В фильме показывали расстрел вьетнамского коммуниста: потрясла простота, обыденность действа — выстрел, и человек, который только что был жив, лежит на дороге мертвый... Сонгми показали, сожженную американцами деревеньку, лейтенанта Келли, палача той деревеньки, ухмыляющегося убийцу, которому все с рук сходило. О побеге во Вьетнам я помышлял давно и уже успел скопить на школьных завтраках и порожних молочных бутылках рублей тридцать. На эти деньги думал доехать до Москвы, а уж оттуда — во Владивосток махануть, откуда шли в Хайфон наши пароходы с грузами; говорили, правда, что взрывались они на каких-то фантастических минах, которыми американцы чуть ли не из космоса со спутников управляли (ясное дело, это мы осваивали космос в мирных целях, янки же — в военных...).

Из-за американцев и космоса повздорили мы как-то с отцом. Это был как раз мой первый приезд в Москву, мы с ним поехали к деду моему в деревню Платицыно в Тульскую область. Отец тут родился в 29-м, записали его 30-м. В год его рождения шла облава на «поповщину», священников на колы сажали, глаза им выкалывали, считая разносчиками религиозного дурмана; дед мой был священником и, спасаясь сам, спасая семерых детей и беременную жену, бежал в потаенный угол Тульской области, где его не знали.

Дед был маленький, злой какой-то, сухонький. Правда, злость его убывала с каждой выпитой рюмкой, под старость он пристрастился к самогонке, как, впрочем, добрая часть деревни, в которой жил. В сенях стоял бак с выведенной из него змеящейся железной трубкой, конец которой был сплющен, оттуда капало в кружку. Дед макал бумажку в желтую жидкость, поджигал, бумажка горела голубым пламенем, дед, хихикая, потирал руки, говорил сам с собой, не замечая, что я стою тут же. Выпив, он вдруг словно бы прозревал. Глядит, глядит на меня до-олго, пристально, а потом ка-ак заорет: «Санька! Внучок-сучок! Шпионишь! Сча как запулю костылем!» Если я не убегал, он добрел, сажал меня с собою рядом и начинал рассказывать байки из жизни своих детей и внуков, но, путаясь в именах внуков и новых, мужниных фамилиях своих дочерей, злился еще пуще. Сидел, загибал пальцы и бубнил: «Иван родил Сашку, Славку и Сережку... Клавка родила Ленку и Маринку... Виктор родил — кого?.. тоже — Саньку, тебя то есть и брата твоего, Андрюшку... Нинка, как бишь ее фамилие?.. Светку родила... Николай — Ольгу... Славка, младшой мой... Никого не родил? Ах, пустоцвет, балабол!.. Надюшка — Таньку... Это ж сколько ж народу, а, внучок-сучок! Раз, два, семь... Десять!..»

«Я тебе не сучок»,— говорил я, набравшись храбрости и заранее определяя пути отступления.

«А кто ж ты?» — дед моргал подслеповато, нарошничал.

«Человек!»

«Се хомо! — говорил дед, поднимая вверх палец.— Благорастворение в человецах! Хоть понял, что я брякнул? Нет? То-то, дурак!»

«Сам дурак!» — решался я, и когда дед начинал шарить по полу, ища суковатую палку, убегал на сеновал, откуда хорошо было смотреть на звездное небо, на луну и Млечный Путь, думая о бесконечности космоса и конечности нашей жизни. Но враз небо, и звезды, и космос постыли, когда как-то приглушенно-придушенно стали вдруг говорить в деревне про американцев, высадившихся на Луну. Я тогда подумал: ну все, хана нам всем, понаставят на Луне свои шпионские аппараты и вызнают все наши секреты. Ночью мы шли с отцом по деревне, брехал где-то пес, попискивали мыши в огородах, гармошка у реки вела грустный разговор, мерцали в кустах светлячки, и я, раздираемый патриотическими, не вполне удовлетворенными чувствами, страхом за свое будущее, пытал отца — ну отчего мы не полетели на Луну первыми? Отчего пропустили американцев... Отец, думая о своем, говорил, что тут мы, конечно же, дали маху, но что планет еще много и в Солнечной системе, и за ее пределами, ничего, мол, наверстаем, хватило б дров... Примиренческая позиция отца обидела меня до глубины души. Я глядел на Луну, она как-то смазывалась, очертания становились нечеткими, неясными, пропадали в каком-то сиянии; но когда я вытер слезы, Луна вновь обрела привычную яркость...

В мой план — бежать во Вьетнам! — был посвящен один-разъединственный человек, который тоже был готов бороться за свободу вьетнамского народа и для этой цели специально набивал о железную палку ребро ладони — Андрюшка Шлыков, самый крупный пацан в нашей школе; хотя и одногодок мой, он казался лет на пять-шесть старше, а ладонь у него была такая, что ею он ломал запросто нетонкую палку и даже нетолстые деревца. Решили так: до Москвы поездом, до Владивостока — на крышах поездов или в тамбурах, там затыриться на манер героя Джека Лондона среди канатов в трюме, и — прости-прощай, СССР, мы — в Хайфоне! Главное, чтоб уже во Вьетнаме нас обнаружили, назад не прогонят, если мы им объясним, ради чего мы прибыли. Андрюшка был смел, решителен, идеалом его был Кассиус Клей, который в те дни кого-то бил, Формена или даже Фрезера; я умел стрелять метко — в муху попадал из мелкашки шагов с пяти-семи.

После бомбежки Ханоя американской авиацией газеты сообщили, что янки разбомбили детский сад. Те говорили, что по нечаянности. Я тогда нарисовал карикатуру: двое в «Фантоме» летят над вьетнамским городом, кидают бомбы и один другому говорит, ехидно улыбаясь: «Джон, я тебя умоляю, не попади в детсад!»...

Ночной телеоскал американского империализма совпал с появлением первого городского хиппи по имени Мотя; у него была шевелюра, ниспадающая по плечам до самого копчика, расклешенные брюки и майка с американским орлом. Пожилые люди — русские, латыши, тут все были едины в своем мироощущении — шипели ему разноязыко вслед: «Снять бы твои патлы вместе с головой!»

Мотя держался крайне независимо, гордо сносил насмешки и огрызался на угрозы. Он не дрейфил перед всемогущими дружинниками, которые могли любого затащить к себе в опорный пункт, обрить наголо, а из расклешенных брюк вырезать бритвой клинья. Поговаривали, что оттого такой смелый этот Мотя, что «рука» у него была, что чуть ли не первым человеком в городе был его родитель, но это чушь абсолютная, поскольку был Мотя русским, а «первыми» до середины восьмидесятых были в нашем городе латыши — Озолс, Вагрис, Клауценс, которых потом провожали «наверх», в Ригу, где рассаживали на ответственнейшие посты; добрейший Вагрис, к примеру, стал первым партийцем республики...

В то время случилось и нашествие на наш город колорадских жуков. Говорили, что заброшены были жуки из враждебной Швеции в спецконтейнерах, саморазверзающихся по программе на нашем пляже. Армады полосатых тварей заполонили вдруг пляж, и весь наш класс в едином патриотическом порыве вызвался на смертный бой с ними. Запылали у моря черные инквизиторские костры, их складывали из досок, и они походили на кресты; мы собирали в стеклянные банки проклятых агентов империализма. Но прежде чем вспыхнуть злой искрой в праведном пламени костра, каждый жук приходовался бдительной общественницей.

Запад, стращали нас, это не только такие вот безобразные Моти и колорадские жуки, которых там несметно, Запад — это страшный мир наживы, бесчеловечного и жестокого бизнеса, там нет ничего святого. Могильщик там ждет не дождется чужой смерти, чтобы загрести на беде доллары, а особенно радуется он катастрофам и повальному мору, сулящих ему еще большие барыши, подлый выжига стекольщик нанимает бандитов, чтобы те били стекла, врач там нарочно плохо лечит, чтобы слупить с недолеченного, а если он в сговоре с могильщиком, то и вообще не лечит.

Но, странное дело, чем больше стращали нас Западом, тем сильнее мы к нему тянулись — и даже я, пионер из пионеров, вечный командир «Зарниц», «Орленков», непременный победитель военно-строевых смотров, всегда шагавший впереди, лучше всех чеканящий шаг и громче всех орущий «Куба — любовь моя!..»

Да, притом я боготворил Фиделя! Я боготворил двенадцать его молодцов, что спустились с легендарной «Гранмы» на Сьерра-Маэстра, чтобы строить новую жизнь, боготворил Че Гевару: на стене над кроватью, рядом с героическим старшиной, который, рискуя жизнью, выбрасывал за борт горящего крейсера мины и бомбы и погиб (портрет я вырезал из газеты «Страж Балтики», ее выписывал отец и там был раздел «Возьми в пример героя»), была его фотография — беретка со звездой, развевающиеся смоляные волосы, бородка, все какое-то мальчишеское, неприбранное, непричесанное, вечная борьба, покой нам только снится... Помню неизбывное желание быть с ним рядом, под его началом, под его знаменем:

Сосед мой ученый бывалый
Скривил свой холеный рот:
— Безумец ваш Че Гевара,
Безумец и донкихот.
А парень, стоявший рядом,
Ударил рукой об столб.
— Не нравится — и не надо.
А я б за ним пошел!

И за Лумумбой пошел бы (если б дали!), чтоб спасти его от палачей Чомбе, и за Альенде против Пиночета!..

Я прокручиваю прошлое, как ручку настройки радиоприемника, и пытаюсь понять — где я, а где не я, где мое, где — чужое, позаимствованное, чье-то.

...Портрет Н. С. Хрущева на фронтоне дома; догнать и перегнать на устах у взрослых; кукуруза — царица полей, сил и средств на нее не жалей — бьется в эбонитовых переплетениях старенькой «Ригонды»; с добрым утром, дорогие товарищи, начинаем с ходьбы на месте; а сейчас, мой маленький дружок, я расскажу тебе сказку; план семилетки будет выполнен в пять лет, ур-ра, товарищи; ура Юрию Гагарину; ура — первой женщине-космонавту; убили Кеннеди; кто-то стрелял в Брежнева; Хрущев в Риге, у него сдувает ветром листки доклада, читает без бумажки; шепотом — про Берию, который насиловал женщин и убивал их; «вьется дорога длинная, здравствуй, земля целинная!»; сбитый ракетой Пауэрс, и опять шепотом, что с первой ракеты сбили наш истребитель; опять шепотом — про погибшего космонавта; смерть Добровольского, Волкова, Пацаева, страх и боль; новый Дворец съездов и сдавленное, взрослое — в городе Новочеркасске расстреляли людей; аванти, пополос, аларин коса, бандьера роса; «а я бросаю камешки с крутого бережка далекого залива Лаперуза»; прыжок Валерия Брумеля; Хрущев в Манеже: «А это что за жопа?» — «А это вы в зеркале»; «ту бала нежа, ля посибл манежа»; плащи болонья, грустные слоники слетают с буфета, пластмассовые фужеры, пластмассовые вазы; «Холодильник — не пол-литра, на троих не делится, ах, снег, снежок, белая метелица...»; подглядывание за девушкой в пляжной кабинке и страшное разочарование при виде голой старухи в прорезь досок; «Как на Тихом океане тонет баржа с чуваками, чуваки не унывают, рок по палубе ломают, Зиганшин-буги, Зиганшин-рок, Зиганшин съел второй сапог»; тимуровская помощь старикам, а за неимением наградных звезд вешанье на грудь орденов со свастикой — в подвале нашли ящики с германской амуницией и «шмайсеры»; «Руки прочь от Советской Карелии!» (митинг антиамериканский, идет война в Корее); «О, Мэри, Мэри, Мэри, как трудно жить в Эс-эс-эс-эре, пока смотрел «Багдадский вор», советский вор кальсоны спер...»; старшина военно-морской базы повязывает мне галстук пионерский, слезы радости, соленые-соленые; игра в «пендали» — всем двором бьют проигравшему поджопник, и Славка ходит раскорякой неделю — врезали по копчику сапогом; слезы Пеле, сваленного на газон «Уэмбли»; голы Эйсебио корейцам — один, второй, третий; Численко лезет в драку с немцем, его гонят с поля; Маццола бьет Яшину пенальти, тот пластается, ловит, вопли радости на всю улицу; Харламов; Бимон; «Битлз», перерыв хоккейного матча СССР — Канада(?) и крик комментатора: «Вот они, вот они! Би-и-тлзы! Поглядите на их шевелюры!»; «Радио Люксембург» гонит с утра до глубокой ночи «попсы»; «Я не выйду на работу, пока не пустят Луиса на карнавал!»; Чеслав Немен; «Роллинг стоунз»; Джонни Холидей; Чехословакия, 1968 год...

Я вспомнил о 68-м, приехав недавно в родительский дом, который не снесли, хотя обещали долгие годы. Выкрасили в веселенький зеленый цвет, дыры в подвал замуровали, забили вход на чердак, а там, там были у нас

в детстве «штабы», где кучковались мы, пацаны, прятались от взрослых. Снесли высокий забор перед домом — вот только не помню, при мне это было, без меня; одно время город обуяла страсть к разрушительству — ездили чуть ли не с оркестрами люди и валили заборы возле домов; те стоят теперь, словно бы штаны с них поснимали... Махонькие клумбочки с цветами разбили... В азарте умудрились снести забор у туберкулезной больницы, через который лазали мы в поисках окурков. Курили понарошку, без дыма, и, что удивительно, никому ведь не передалась зараза, которой стращали нас взрослые, запрещавшие обращаться с больными даже через забор.

Витька Барышников чехов не терпел, всегда говорил о них с ненавистью, а когда наши сражались против Недоманского, Поспишила, братьев Холиков, болел только за наших; хотя и был сам чехом по матери, но требовал, чтобы считали его русским — по отцу... Уехав с матерью и сестрой в 1979-м в Прагу, писал нам письма: за чехов, писал, не болею по-прежнему! Но время все меняет, и теперь Витька чех стопроцентный, писем не пишет...

Как сжимал он кулаки, когда слушали мы рассказы старших ребят, которых угораздило подавлять чешскую «контрреволюцию»!.. Говорили, что вошли мы туда, чтобы спасти социализм, на который точили свои волчьи зубы империалисты. Говорили, что танки НАТО стояли по границам страны, и лишь молниеносная высадка наших спасла чехов от порабощения. Пацаны — нам было тогда всего ничего! — искренне восхищались страхом канцлера ФРГ, который будто бы отдал бундесверу приказ не провоцировать приграничных конфликтов, иначе русские — мы! — дойдут и до Ла-Манша. А чем черт не шутит, шумели мы, пусть бы эти «бундесы» учудили чего-нибудь, чтоб наши в два счета в Париже оказались, и в Англии той же, а там и Америки черед бы пришел! И зажили б мы пречудесно, резинки жевательной, «жвачки», чувинг-гама было бы завались!..

После 68-го хоккейные матчи с чехами обрели доселе невиданную враждебность. Напрасно нес Николай Озеров ахинею о «братьях по социагерю» — наши играли против врагов социализма, главным из которых был фашист Дубчек, и крики «До-то-го!» чешских болельщиков для нас были вроде как «Хайль!», потому что теперь, если речь заходила о Чехословакии, вспоминались истории, слышанные нами от очевидцев событий: «Несемся к Праге! Высоченные горы! Справа — пропасть, слева — скалы! Дорога узкая!.. А эти сволочи, экстремисты, прям на дорогу детей и женщин выгоняют, чтоб нас остановить... Как танк остановишь? И летят наши в пропасть...» — такой был рассказ.

Праведным гневом вскипала наша детская кровь, злоба была к тем, кто шел на все ради своих политиканских целей!.. Зато наши ребята восхищали — как учили они чехов уму-разуму! Сволочь какая-то намалевала на шоссе краской: «Рус Иван, иди домой!» Смекалистый наш танкист, наехав на тот призыв, нижний люк открыл и облегчился ответно!

Почему-то все байки про «демократических немцев», гэдээровцев, начинались так: ну, немцы, сам понимаешь, они на чехов просто озлоблены были, сам знаешь, почему... Кивали согласно, мол, знаем, почему, а почему, спроси, не ответил бы никто... Прагу, рассказывали, разбили на оккупационные зоны — там немцы, тут венгры, болгары, еще кто-то и наши. У всех — тишь да гладь, да Божья благодать, а у наших — стрельба день и ночь, пикеты, митинги протеста, — пользуются чехи долготерпением нашим русским, все мы сносим безропотно, даже плевки в лицо... Немцы, те, ясное дело, из другого теста. Пулеметчик по ним с чердака запалил, ранил кого-то ихнего, так они — не наши рохли, они тут же пушку подгоняют, да как шандарахнут по тому дому, где пулеметчик, и все — тишина, и до фени немцам — были там мирные жители, не было их, — порядок, главное дело, дисциплина, нарушил если — получи!.. Да что там пушки, они, говорили нам знающие люди, одним своим видом страху на чехов нагоняли: каски, рукава закатаны, автоматы, речь гортанная — ну, как в ту войну, одним словом, и тактика та же. Поставят к стенке сотню-другую укрывателей бандитских: требуем выдать! Эйн, цвей, дрей — молчат. Те — р-раз — очередями над головами чехов... Вой, вопли, крики, тут же указывают, где экстремисты.

До чего ж легко верилось тем байкам, а верилось еще и оттого, что

верить-то хотелось, что не могли не верить, считая, что мы самые-разсамые в мире.

Но то — чехи, мы их и в глаза-то никогда не видели. Но каково было услышать, что не то в Риге, не то в Каунасе кто-то, облив себя бензином, пытался кончить жизнь свою самосожжением, выступая против нашей «оккупации» Чехословакии, против нашей армии!

А я мечтал попасть в офицерское училище, об армии мечтал. Это как протест мой был против тех латышей, кто, уходя на действительную, заявлял во всеуслышание: «Иду в русские», для кого армия была вроде чумного барака. Сколько знал сверстников-латышей, никто об офицерской службе и не помышлял, наоборот, каждый хотел сачкануть, отлынивали по-всякому, отсрочек каких-то добивались.

Потом, в восьмидесятых, латыши начнут малевать на заборах: «Рус Иван, иди домой!», ор будет стоять насчет того, что армия наша — о к к у п а н т с к а я...

«Ты сам-то откуда, шеф? — спросил таксист. — Из Латвии! Ну бля, да я там служил! Народ чудно-ой, чухонцы эти, — везде цветы растут и никто не топчет! Не рвет! Удивляюсь я! Я нарочно топтал».

«Как будто в Москве нет цветов!..»

«Так менты у каждой клумбы, поэтому и есть! А убери их — оборвут, затопчут! Ты что, наших не знаешь, паразитов! Только отвернись, все искурочим, с корнем вырвем, варвары ж! Страна дураков! Иго, бля, монгольское! Было бы куда, я б в двадцать четыре часа отсюда!»

«Из Москвы?» — не поверил я.

Он глаза вытаращил: «А че, из Москвы? Из Москвы, фулиж! Тоже — пуп Земли! Я тут сорок лет и все — Москва, Москва, а как жил, так и живу, как лимита, один сортир на десять семей!»

Что за «лимита» такая, я знать не знал, поэтому промолчал, а таксисту, видно, невмоготу было, излиться ему хотелось все равно кому, вот и завелся мужик, и пошел, пошел, пошел: и машина у него прехеровейшая, старая, плохая, не заводится, зараза, а новые у них дают жополизам, пролазам, да ударникам комтруда, хотя он не меньше, а больше их вкалывает, и в таксопарке у него все себе на лапу гребут, а вот в Америке зато...

В Америке все было хорошо.

...После пятого или шестого кладбища я не выдержал и уснул мертвым сном. Во сне увидел Нору. Она стояла голая на берегу моря и протягивала ко мне руки. Я бросился к ней, она обвила мою шею с такой силой, что я стал задыхаться. Вырываясь из ее объятий, я дернулся и проснулся.

Шею мою обмотало ремнем безопасности. Я покосился на таксиста — не его ли это рук дело?

«Что, шеф, проснулся? — сказал тот весело. — Ну и орешь ты! Нора̀ какая-то, нора̀! В какую это ты нору́ лез?»

Сам ты нора̀, подумал я со злостью. Русские мои дружки нарочно не там ставили ударение в Норином имени, зля меня. «Иди к своей Норѐ!» Я доказывал, что это нормальное латышское имя — Нора, наши подмигивали скабрезно, требовали «нормальных подробностей», приставали с вопросами: небось это дело у латышек устроено иначе, не как у русских, а то с чего бы я к латыхе прикипел? Со многими из-за этого я разругался, не мог я объяснить каждому, что все это чушь про латышек — что «давалки» и ничего для них святого нет... Никто не воспринимал всерьез моих обещаний жениться на Норе — русских, что ли, девчонок нехватка, с которыми все просто, ясно и не надо преодолевать языковой барьер?

Какой, к черту, барьер? — думал я про себя, никакого барьера у нас не существовало! Да и есть ли он между людьми, которые тянутся друг к другу? Когда моя знакомая, русская, выходила замуж за толстого, добродушного моряка Лаймона, влюбленного в нее по уши, ей тоже чего только не плели про языковой барьер, который по молодости преодолели они в ночь после свадьбы. Сын их Эдька, вернувшись со службы в армии, на заводе работает. Лаймон совершеннейшим образом обрусел, по-русски заговорил без акцента, а Эдька-сын, латыш по паспорту, с трудом теперь осваивает язык предка. Жена, та как не знала латышского, приехав сюда когда-то

из российской глубинки, так и по сей день не знает, и ничего, живут, дом полная чаша, машина есть, лад в семье. Тут, в общем-то, никаких законов нет.

А вот еще ситуация. Я встречаю в Риге университетского своего профессора-латыша, и тот сообщает, что с женой-латышкой развелся, потому что она, будучи врачом, презрительно отзывалась о русских больных — не хочу, говорит, оккупантов лечить, чтоб они сгорели! Вот барьер так барьер!

«Сколько, сколько кладбищ?» — сощурился могильщик, забыв на секунду про сигарету, которая прилипла к нижней губе; я стоял перед ним, он сидел, выковыривая из зубов остатки колбасы.

«Чего „сколько"? Объехал, что ли?» — спросил я, чувствуя подвох.

«Ну».

«Пять. Или шесть. А что?»

«Да ни че,— бросил он равнодушно.— Катайся, раз нравится... Эй, Кузьмич, старый хрыч, оформи клиентуру!»

Хмурый, сонный старик выпростался из могилы, стряхивая по-собачьи землю с фуфайки. (Уж не спал он в могиле, подумал я.) Под мышкой старика был гроссбух, похожий на тот, крематорский.

«Давай бутылку».

«Какую бутылку?»

«Обыкновенную. Ноль пять или ноль семьдесят пять».

«Где ж я возьму?» — удивился я.

«Фу ты! Че ж тогда вертишься тут!»

Я стал объяснять.

«Ну тебя к херам»,— сказал дед, намереваясь пропасть в могиле. Я чуть не заплакал от обиды: «Дяденька, я ж издалека!»

«Издалека, издалека,— пробурчал тот с ненавистью.— Все тут издалека и все жидятся. Фамилие!» — спросил, поеживаясь и передергивая плечами. Я назвал. Он плюнул на крючковатые пальцы, распушил, не глядя, страницы заляпанные и, с трудом размыкая веки, сообщил: «Не рыли такому».

«Так не смотрели даже!»

«А че смотреть, не рыли, и все тут,— сказал этот сучий Кузьмич, прячась под землю, и уже оттуда донеслось: — Ходют, клянчут, а на стопарь жмутся...»

Я еще постоял, глядя, как мужики, ежась от холода, разбирают лопаты, примеривая их по руке, как прилаживаются, чтобы с хаком вонзить их в хрустящую землю. Никто на меня не обращал внимания, и я поплелся назад, к выходу с кладбища, который едва угадывался на горизонте негустой щеточкой лысых деревьев, да дымом из крематорской трубы. Огромное снежное поле, поделенное на секторы от «А» до «Я», заранее было отдано под перспективные захоронения, и я, узнав про это, никак в себя не мог прийти — ведь на территории, отданной мертвым, разместиться б мог целиком мой город, со всеми его кирками, костелами, церквами, базарами, трамвайными линиями, вокзалом, рыбным портом и гигантом республиканской металлургии, денно и нощно извергавшим в серое небо золу, оседавшую на окрестные дома, деревья, на берег умирающего озерка, зарастающего сорной травой. Я шагал по пустырю, уходящему в небытие, меня обгоняли автобусы с печальными людьми, обдавали грязью и гарью, впереди палили из автоматов, салютуя высоким покойникам, ветер толкал меня, сбивал с протаявшей в сугробе тропинки, он нес тягучий бурый дым из крематорской трубы, который почему-то не рассеивался и был похож на след от горящего самолета.

Никому на целом белом свете не было до меня дела. Впрочем, жаждал деятельности мой таксист: «Еще есть три,— подбодрил меня.— Я нарыл адресочки».

Я глянул на счетчик — четырехзначная цифирь зарябила в глазах, и на секунду я потерял самообладание. И хотя две последние цифирки означали копейки, вся эта многочасовая, утомительная езда по необозримой, запруженной машинами, провонявшей выхлопами Москве обрела вдруг издевательский, мародерский смысл, и, думая об этом, подсчитывая, хватит ли наличности до Измайлова, я проклинал все на свете и рвался мысленно домой, в родной свой город, где все было и ясно, и просто и где все было рядом, в том числе и кладбища, на которых не было этих идиотских секторов для перспективных захоронений, где нас, русских, пусть не любили местные, коренные жители, но к смерти даже «оккупантов» относились трепетно, смерть каждого человека была событием наизначительнейшим, которое обсуждалось долго-долго, поскольку все тут знали всех.

Я вырос на улице, которая вела к кладбищу, но, несмотря на то, что по нескольку раз на дню взвизгивали под нашими окнами на высокой ноте трубы ритуального оркестра, возвещая о том, что город осиротел еще на одну людскую душу, и жизнь превратилась в некое подобие похорон без конца и начала, с неумолкавшим похоронным маршем — словно он был городским гимном,— смерть все равно пугала, впечатывалась в память, как впечатывается в мягкий, податливый от жары асфальт след ступни.

В детстве я многого боялся, но самый жутчайший страх нагоняли: а) кулаки местного хулигана Генки-Гендоса из соседнего дома, которыми мордовал он меня в кровь, презирая мои короткие штанишки и гольфики, а меня самого — за то, что я не был безотцовщиной в отличие от него; б) картинка в книге сказок, кажется, чешских, а может, и не чешских, которая холодила кровь, одновременно страша и притягивая, пригваждывая, как пригваждывает кролика удав,— безобразная старуха в гробу, наполненном кровью, умывала лошадиную свою харю, а в дверях застыла соляным столбом девочка, которой по сюжету под страхом смерти запретили эту дверь открывать; в) магазин похоронных принадлежностей на Сиена лаука (Сенной площади), на которой давным-давно, как сказали бы старики латыши — «еще при Ульманисе» (русские старики отсчет временной ведут по-иному — «еще при Сталине»), торговали сеном для извозчичьих лошадок; пугал он не столько тем, что в окошке, единственном, подслеповатом, виднелся край выставочного гроба, обитого материей, а тем, что в окошко это, затянутое паутиной, никак нельзя было заглянуть — за гробом царил полумрак, неживой, потусторонний, разорвать пелену которого было не по силам ни фонарю, болтавшемуся рядом на деревянном столбе, ни лучам солнца, и от всего этого в душе зарождался страх...

Страх обрел пронзительную, судорожную ясность после гибели рыбацкого судна, приписанного к нашему городу.

Как скоро сообщили нам — через день? через два? через неделю? — что погиб именно «Тукумс», средний рыболовный траулер с бортовым номером 4589, названный в честь крошечного городка на северо-западе Латвии,— не помню. Но не забуду уже никогда надрывный вой машин на улицах города, гудки судов в порту, не забуду, как на вокзале раненым зверем вскричал паровоз, провожая в последний путь погибших. Не забуду и серые толпы, придавленные отчаяньем, состраданием и болью. Процессия тянулась мимо нашего дома, мы стояли с мамой и братом у кромки тротуара, а по улице, возвышаясь над нами грозно, проплывали на вымытых до блеска грузовиках, в черно-полотняном убранстве мрачные, буро-кровавые гробы, и оттого, что было их много, очень много, оттого, что никогда не было такого в городе, и оттого, что никуда нельзя было деться от воя машин и воплей оркестровых труб, было страшно. Словно бы через силу шли за машинами женщины в черных шалях и платках, многие несли на руках детей, идущие были похожи на беженцев 41-го года, как показывали их в кино,— опустошенные лица, слепо-пустые глаза, бессилие, безнадежность и неверие во все читалось в них.

Хоронили рыбаков в 66-м, и, как ни кощунственно это звучит, помню про год из-за того, что именно тогда у нас, пацанов, начались горячие, до мордобоя, разборы — бразильцы ли с Пеле и Гарринчей, португальцы с Эйсебио или англичане с Бэнксом и Чарльтоном возьмут на «Уэмбли» вожделенную «Золотую богиню»? А может, итальянцы с таранным Маццолой, западные немцы с неугомонным, неутомимым Уве Зеелером? Наши, с Яшиным, Численко, Нетто, признаться, в расчет не брались, хотя, подозреваю, был в том тайный, скрытый умысел — боялись сглазить.

Латышские наши сверстники за русских не болели, и это был лишний повод махать кулаками. До этого мы дрались с ними из-за школы, куда в порядке смелого, невиданного по тем временам эксперимента перевели наш русский класс «Б». Считая, что русским только дай палец, отхватят

всю руку, начав с одного-одинешенького класса, оккупируют школу целиком, латыши каждое утро засылали к нам своих представителей, чистеньких, опрятных, приторно-вежливых, в шерстяных вязаных галстучках-селедках; они звали нас на школьный пустырь вырубать, и шли мы там стенка на стенку (я всегда оказывался в арьергарде), бросив портфели и выставив атасные караулы, бились там до первой крови, костеря друг друга «оккупантами», «русскими свиньями» или «гансами», «фашистами», «лабусами»; случались нередко стычки внеплановые, нештатные, в школьных коридорных закоулках — одной такой я был участником.

Я побил латыша из класса «Ц» (в латышских школах классы именовались по здешнему алфавиту — «А», «Б», «Ц»...) и забыть об этом не могу — отчасти оттого, что во всех предыдущих драках битым бывал я, отчасти от занозы, саднящей с того дня сердце, — мальчик не хотел драться, он стоял, опустив руки, в глазах были слезы и страх, он был даже слабее меня и чувствовал это; нас зажали в тесном кружке разноязыкие заводилы, от них не вырваться было, они пихали нас больно в спины, хохоча издевательски.

Под крики: «Бей латыша!», «Двинь русскому!» — я толкнул того, кого толкали на меня, толкнул несильно (хотя сильно толкнули в спину меня), он ответил, словно бы из вежливости, надеясь, что этого хватит, что на этом можно ставить точку, — не больно, слегка смазал меня по уху, но больно, до искр из глаз, меня саданули сзади по шее, и этот удар сзади, воспринятый мною как удар латыша, обозлил.

Я ударил его кулаком в лицо и бил, бил, бил, пока не брызнула на его белую рубашку кровь. Я остановился и сказал: «Уже кровь!» — имея в виду нашу всегдашнюю договоренность драться до первой крови, но вид ее только распалил пацанов, они кинули нас друг на друга, мы ударились головами и, воя от боли, принялись волтузить один другого, уже не стесняясь, не жалея, не соблюдая правил. Кровяня кулаки об его лицо, я бил мальчика, желая сделать ему еще больнее, свалить его на пол, затоптать ногами, я дурел от азартных криков подстрекателей, от собственной силы и смелости, пока неожиданно круг не распался и не сиганули в закоулки школы заводилы-крикуны, оставив меня один на один с рослым нашим физруком, больно вывернувшим мне руку.

«Это ж русские! — сказал завуч. — Они только и умеют, что драться, им лишь бы повод был...»

Знания языка хватило, чтобы понять слова про меня. Было обидно, что взрослый человек даже не пытается вникнуть в мотивы случившегося. Слезам моим никто не поверил, был вызван в школу отец, от которого мне досталось потом не меньше, чем от гада-физрука...

В дни, предшествующие похоронам моряков, драк не было: погибли на том судне и русские отцы, и латыши, и нас это объединило, впрочем, было то неосознанно, просто страх смерти витал над городом. Страх был еще и оттого, что никто не знал: есть ли в гробах тела или похороны — это так, близира ради, проформы, в утешение вдовам и сиротам. Как вплавленное в застывший янтарь насекомое, вкрапилось в память услышанное в толпе про то, что никто из моряков не найден, ни один! Всех поглотила пучина, и случилось это потому, что не то панамский, не то либерийский — сухогруз ли? нефтеналивник? — протаранил «Тукумс» среди ночи, когда все, кроме вахтенных, уже спали; многих задавило прямо в кубриках, откуда уже нельзя было выбраться, потому что траулер, разрезанный надвое, уходил на дно камнем.

Никто не спешил ни опровергать, ни проверять или подтверждать слухи, тогда просто-напросто не принято было говорить людям правду, а что самое главное, никому и в голову не приходило хоть раз возмутиться подобным положением дел. О гибели «Тукумса» сообщили погодя, оттягивая подольше, будто мертвых можно было воскресить, и ходили самые разные истории о каком-то рыболовецком судне, утонувшем в Атлантике, будоража рыбацкие семьи, мотая нервы, вселяя в нас, рыбацких детей, чувство сродни обреченности.

Женщины-рыбачки, любительницы чесать языками, узнав о трагедии, боялись обсуждать ее — не дай то Бог, моего судно, так всякая думала...

Смерть пахла гвоздиками и гиацинтами — ими устлали без счета кузова грузовиков едва ли не до самого верха гробов, и если раньше, когда

отец в очередной раз уходил в море, пугала неизвестность, то теперь я каждый раз вспоминал тот запах, те кричаще-яркие морские якорьки на крышках гробов в 66-м...

Я возненавидел картины Айвазовского — за бессчетные его тонущие корабли, людей крошечных, беззащитных, привязанных к мачтам, несущимся по бурлящим, не оставляющим надежд на спасение колоссально-огромным волнам, за его «Девятый вал», в котором было столько бесчеловечно-циничного и который я всякий раз примерял к отцу и его пароходику. Несчастные, обреченные, ничтожно-жалкие фигурки моряков с перекошенными ужасом лицами, а рядом наваливающаяся на них гигантская масса воды, ужас изначально во всем — в красках неба и воды, в беспомощности людской плоти и угрюмости, злобности, всепобедительности стихии — вода мстит людям, бросившим ей вызов, и в одночасье может отнять у тебя близкого человека...

Будь я цензором, не моргнув глазом, запретил бы тиражировать Айвазовского в портовых городах.

Я мог бы перечислить все до единого рейсы отца в океан, настолько ясна и чиста память, подпитанная долгим, тяжелым страхом за его жизнь, отчетливы переживания, когда сживаешься повседневно с опасностью. И хотя время старается слить воедино события прошлых лет, как сливается воедино, смазывается за окном мчащейся машины окрестный пейзаж, стоит перед глазами деревянный причал с его скрипучими досками, где отдает швартовы судно отца; пока стоит оно у берега, кажется гигантским, надежным и прочным, мачты его толсты и величественны, свежепокрашенная труба с серпом и молотом, крепкие борта и тяжелые иллюминаторы вселяют надежду на то, что все обойдется, что океанской волне не совладать с крепостью железа, которое защитит и отца, и его товарищей, — но какой же беспомощной, жалкой, ненадежной крохотулей становится судно, когда матросы отдают на борт швартовы, качаясь не столько от волны, сколько от освященных десятилетиями застолий-возлияний, с их «За тех, кто в море!», «За тех, кто на берегу!» — и судно медленно-медленно и осторожно, будто бы пробуя воду, будто раздумывая — а надо ли? а стоит ли? — будто сомневаясь, чувствуя гибельное, нехорошее, неотвратимо опасное и противясь чему-то внутреннему, сковывающе-тревожному, необъяснимым образом переданному людьми чугунной плоти, начинает отдаляться от пирса, скрипя, и скрип этот похож на прощальный вздох.

О, как много поэзии в ладной конструкции морского судна, когда как бы вдруг, решившись, стряхнув железное оцепенение, вспомнив о долге и предназначении, устремляется оно по волнам вперед, вперед, к выходу из гавани, на морской простор, разрезая носом волны, разбивая их в блестящие, искрящиеся брызги!

И как много прозы, печальной, горькой, в проводах тех, для кого на многие месяцы становится он домом, землей, средой обитания!

И как грустно зрелище толпы, остающейся на причале! Мы стоим скученно и тесно, словно бы защищаясь инстинктивно от какой-то внешней опасности, словно надеясь тем самым умножить многократно собственные силы — стоят заплаканные женщины с детьми, готовыми вот-вот разреветься, а среди них — моя молодая еще мама с младшим братишкой на руках; он, ничего не понимая, играет прядью ее волос и не думает об отце — ему еще рано об этом думать. Я держусь за край материнского платья, изо всех сил стараясь не заплакать, хотя слезы душат, в глазах набухает соленое, норовя растечься по щекам ручьями. Вокруг галдят, не слыша, кажется, ни себя, ни других, и крики эти — береги себя, привези джинсы! «Врангель»! «Врангель»! 32-й, 32-й размер, понял, 32-й! Пиши! Пиши! Мохеру, мохеру побольше! Бабушка... Бабушку поздравь! — как в податливую глину западают в мою память, чтобы застыть в ней навсегда.

Отца на палубе нет, он выйдет наверх лишь тогда, когда винт его суденышка вспенит за кормой воду. Когда пыхнет оно в небо черным дымом из неестественно алой трубы, толпа, вскрикнув, выдохнув что-то в едином порыве, пойдет, голося и плача, по пирсу вслед за пароходом, натыкаясь, словно бы ослепнув, на бочки с ворванью и вонючей рыбой, над которыми кружат и вьюжат желто-бронзовые мухи, злые, нахальные, на драные, про-

вонявшие тралы с запутавшимися в них иссохшимися водорослями, с гулкими, мертвяще-пустыми бобенцами, сваленными тут же в гигантскую кучу-малу.

И когда пароходик возьмет разгон, когда силой винта поведет его к горловине акватории с ажурными маячками, указывающими проран в каменной гряде пирса, далеко уходящего в море, отец поднимется из машинного отделения, вытирая ветошкой перепачканные руки, и тогда и мы с мамой станем звать его, кричать про письма и телеграммы и про английский шоколад в больших коробках. Я буду кричать про фотки «Фантомов» и «Летающих крепостей», и авианосцев американских, без встреч с которыми в те годы не обходился ни один рейс, но отец не услышит нас, потому что суденышко, послушное его рукам и командам капитана, уже вовсю станет набирать обороты, двигатель застучит громче и слаженнее, а жирные, глупые, вечно голодные чайки, орущие, дерущиеся, поднимут неумолчный гвалт, зависнут над палубой, требуя от людей выкупа за право выхода в открытое море. Все, что мы можем теперь,— это брести гуськом за удаляющимся судном по причалу, потом по булыжному молу-волнорезу, уходящему глубоко в море своим острием и такому узкому, что, кажется, идешь по парапету моста, а когда достигнем его оконечности и в последний раз увидим близко-близко лицо отца с красными — от слез, от жара машин? — глазами,— здесь судно втянется в каменный створ, за которым уже не умиротворенная акватория порта, закованная в камень, а открытое, порой бурлящее злобно море, опасное и страшное своей неукротимостью и бездонностью,— то, помахав ему бессчетно раз, побежим назад, на пляж, вход на который вечерами закрывали пограничники, бороня широкую полосу по морскому песку; за нее нельзя было заходить под страхом наказания, о чем предупреждали бесчисленные плакаты, выставленные у входа на морской берег: «Стой! Запретная зона!»

Говорили, что для того боронуют, чтобы в наш город, то есть на военно-морскую базу, не пробрался диверсант, о которых столько тут ходило всякого, и, пугая ими, можно было творить все что угодно. Люди, впрочем, считали, что про диверсантов — вранье, что боронят оттого, что из Швеции прибивает волной контейнеры не только с порнографией, но и с антисоветской литературой; начитавшись, простой гражданин запротестовал бы и против боронования пляжа, и против запрета на купание в ночное время (что больно ударяло, надо сказать, по бесквартирным парочкам, которым песок здешних дюн заменял постель...)

Если двигаться по пляжу, то судно отца, идущее параллельным курсом, будет видно еще минут пятнадцать — двадцать, а то и больше, и оттого-то шли мы с мамой и шли, с трудом выдирая ноги из сыпучего песка, пока не упирались в очередное «Стой! Запретная зона! Прохода нет!», написанное по-русски и по-латышски. Будучи законопослушными, останавливались, ожидая, когда подъедут на машине пограничники, чтобы прогнать нас. Их мало волновало, что на горизонте, вид которого «действует как нож» и который в ясную, тихую погоду прорисовывается столь осязаемо зримо, что впору поверить в наличие края света, плывет отцовское суденышко: мачты торчат зубьями старой, выщербленной расчески... Они прогоняли нас, не слушая никаких возражений,— зона любила порядок и не любила разводить сантименты...

Когда шли по пляжу, казалось, что отец видит нас в бинокль и даже — я в это верил! — слышит нас. Конечно, все было не так, и когда много лет спустя выйду я сам в открытое море, то увижу лишь старый наш маяк, полосатый, как жезл регулировщика, трубы металлургического завода, да и то не сами трубы, а полосы дыма, что изливались из них, макушки двух костелов у Старого рынка, да еще ретрансляционную вышку, которая из-за ажурности своей конструкции растворялась в жирном солнечном мареве.

Ни полоски пляжа, ни тем более людей на пляже даже в бинокль невозможно было разглядеть, и это, признаться, меня обрадовало несказанно — выходит, думал я, отец никогда не видел, как плакала мама, кусая губы и закрывая руками лицо, или вдруг, не сдержавшись, судорожно прижав нас с братом, начинала причитать, как над свежей могилой: «Деточки мои, Андрюшечка-а, Санечка-а! Как же мы теперь без папки-то нашего!..»

Я-то считал всегда, что отец видит это, слышит, и поскольку оставлял он меня дома за старшего, вступал басом: «Ма, ну, ма! Ты что, как девчонка, в самом деле!..» — хотя у самого ком стоял в горле и глаза были на мокром месте: отец уходил в море на шесть месяцев, а может, навсегда...

Открылась дверь класса, и завуч, вперясь почему-то взглядом в меня, вызвал в коридор моего соседа по парте Бучу — Славку Бучникова, сообщив — вот зараза! — во всеуслышание, что тот от занятий освобождается, поскольку его отец умер в рейсе от разрыва сердца... И Славка, и громогласый дурак-завуч, и Гоголь понурый, и Горький, усмехающийся в усы, и победительного вида Лермонтов с эполетами на плечах, что висели по стенам на портретах, поплыли вдруг куда-то вбок, покачиваясь, а в голове билась и билась одна подло-торжествующая мысль: «Господи, не меня! Господи, не меня!..»

И сам не понимал, что же я говорю себе...

От Генки-Гендоса можно было спастись бегством, не рискуя себе во вред выйти с ним на открытый поединок (который я заведомо проигрывал, будучи слабее его многократно). Затыриться в подвал или на чердак, пересидеть там, запутавшись в липкой, горячей паутине, одно прикосновение к которой вызывало жгучую тошноту.

Страшную сказку о ведьме можно было, захлопнув, шурануть в чулан.

Сложнее было с похоронным магазином, он-то исчезать не собирался. Конечно, проходя мимо, я мог бы опустить долу очи, командуя себе: «Не гляди! Не гляди!» — хотя так и подмывало глядеть (не было для меня в отечественной словесности персонажа и трагичнее, и понятнее, чем гоголевский беспутный Хома Брут, судьба его трогала до слез), сколько ходил мимо затянутого паутиной страшного окна, за которым торчал край гроба, убранный маркизетом, столько и глядел, не в силах оторваться, а потом орал ночами от страха; ходить приходилось каждую субботу, бывшую у нас банным днем,— магазин стоял прямо на пути в городскую баню со знаменитой парилкой, из которой с руганью вылетали завсегдатаи, едва туда, поеживаясь, как от холода, входил отец, чтобы, с согласия вальяжно развалившихся на полках мужиков, поддать пару; привыкший к пеклу машинного отделения, он искал компаньона, который смог бы, оставшись после, пройтись по его спине веничком, и не мог найти: вальяжные испарялись отсюда в секунду, матеря отца на чем свет стоит...

В баню я ходил не из-за парилки (которую терпеть не мог), а исключительно из-за газировки, цедимой в огромные пивные кружки из трех длинющих стеклянных цилиндриков; впрочем, было там и пиво, до которого был охоч мой отец и дядька, Витя Монахов, муж маминой сестры, бывший морской десантник, двух метров росту, с пудовыми кулаками, которого очень уважали латыши, не столько за силу, помогавшую ему в драках, сколько за аккуратность и точность в работе — он торговал керосином возле железнодорожного моста, приезжал туда на своей цистерне минута в минуту, по нему можно было сверять время, а кстати, было у дядьки хобби — чинить ручные часы, и заказы ему сыпались со всего города. Качество ремонта дядька гарантировал высочайшее, что в глазах латышской публики, ценившей во всяком деле профессионализм, поднимало его выше даже его высоченного роста...

И для отца, и для дядьки, и для многих мужиков нашего города банька была не столько местом для помывки, сколько вече, парламентом, тайным орденом голых людей, масонской ложей, горсоветом, думой местного розлива, короче говоря, чем-то столь неуловимо необыкновенным, солидным и незаурядным, что посещение бани было сродни таинству, серьезной работе, несуетному, важному делу. Тут не столько мылись, парились, сколько просиживали неспешно в длинных, содержательных разговорах за пивом, отдыхая от докучливости буден и надоевших жен. Если же говорить об «очагах интернационализма», которые в те годы еще теплились и которые без надежды на успех ищут повсюду сегодня, то баня была как раз номером первым. Тут разрешалось крыть почем зря Москву и Ригу, тут жаловались на зарплату и нехватку жилья, порицали в открытую чиновников-мздоимцев за привилегии, по-всякому поминали Сталина, Ульманиса, Хрущева и Брежнева, партию и вождей, рассуждали о преимуществах капи-

талисма безбоязненно («Была б конкуренция, бля, нет, ты послушай, Янка, что я тебе говорю, послушай! Была б конкуренция, бля, была б безработица, хрен бы люди баклуши били! Не было б такого бардака!» А Янка взвивался: «У моего отца хутор был, он один за целый колхоз пахал и сеял», — имея в виду, что пришли русские и все отняли. «Это мы зря так сделали, — соглашался голый оппонент. — Нельзя было вас в колхозы, вы ж хуторяне!..»), критиковали военных, обложивших город кольцом запретов на въезд и выезд, и никого из вещавших никуда тогда не забрали, не наказали за языкастость и откровенность, словно бы с голых людей спрос был иной... Среди прочих голых, говорят, был и здешний главный гэбэшник, который, разоблачившись, подсаживался на скамейку с кружкой пива, встревал в разговоры, но и при нем — странное дело! — разговоры не стихали, говорилось все безбоязненно...

Именно в бане услышал я впервые о Солженицыне — рассказывали про арест капитана рыболовецкого судна, который — контрабандой! — провез э т о г о Солженицына и был выдан кем-то бдительным.

...Будущий историк Латвии, обдумывающий житье! Прежде чем сесть за новейшую историю своей республики, не поленись, сыщи на городской окраине баньку, подслеповатую, с заложенными кирпичами окнами-впадинами, с потолками, низкими, как в подвале, а стенами такими толстыми, что походила та банька на какой-нибудь времен минувшей войны дзот или бункер (каких много у стадиона «Динамо» рядом с морем). Кто знает, может, тут и вызревала идея латвийского суверенитета. Сущий городской Гайд-парк! Ни от скопления людей, ни от тесноты не возникало никогда неуюта, не вспыхивало в очередях за пивом или за билетами ставшего позже расхожим: «Понаехали тут!» Царила здесь летом обильная прохлада, а зимой было тепло, но не душно; за десять — пятнадцать копеек приобретался душистый березовый веник — запасались ими пространщики впрок, чтобы никому в этих самых вениках никогда не было отказа. О переплате не канючили, дал «сверху» пятак — спасибо, не дал, тоже ничего.

Банька стояла на Берзу иела — улице Березовой, березы тут не росли, а может, росли когда-то давно, да их срубили, мне-то всегда казалось, что название улице дали из-за веников. Старожилы-завсегдатаи помнят историю, когда над банькой в прямом смысле слова нависла опасность разрушения: где-то в конце пятидесятых — в начале шестидесятых на нее с душераздирающим ревом падал потерявший управление военный самолет. И будто бы летчик, разглядев, куда падает машина (летчик, ясное дело, был банным завсегдатаем; военных сюда, кстати, водили строем, те стирали тут портянки, а потом развешивали их на горячих трубах), страшным напряжением сил и воли направил самолет прямехонько в двухэтажную развалюху по соседству, специально предначертанную под снос. Не знал, правда, пилот, что дом обитаем, что первый его этаж занимала ветхая латышка ста лет, которую никак не удавалось выселить и которая ехать никуда не желала, поскольку банька была рядом — это раз, а во-вторых, не желала оставлять без призора своих многочисленных постояльцев — бесприютных котяр, которых было тут десятка три, собранных бабкою с городских помоек, — самолет, рухнув точнехонько на бабкин дом, ее контузил, кошачье семейство перепугал.

...А где же летчик? Погиб? Не погиб! Был банный день, и, говорят, приземлившись на парашюте, сложив его и спрятав в развалины, отправился он в баню париться.

Еще говорили, что пострадавшая, хоть и плохо относилась к русским, да еще военным, узнав, что банька на Берзу не пострадала и все окончилось добром, просила не судить летчика строго.

С закрытием бани на Берзу иела отпала нужда ходить мимо магазина похоронных причиндалов. Оставался страх главный, связанный с той неизбежностью, с которой можно было только мириться сыну рыбака, — страх за отца. Сейчас даже Президент СССР нет-нет да и выдаст публично «Слава Богу!», неизвестно, правда, что вкладывая в эту фразу; в те же годы, когда слово «президент» было едва ли не ругательным, поскольку президенты жили в основном в Соединенных Штатах Америки, а за Бога и веру наказывали, требуя от священников «стучать» на крестивших в церкви детей,

чтобы родителям было неповадно. Мама держала в укромном уголке икону Богоматери, прятала ее за занавеску, чтобы не увидели соседи; была страшно суеверной — от сглаза переливала воду из кружки в кружку через дверную ручку, верила, что если через лежащего человека переступить, то он перестанет расти, а когда я кидал легкомысленно: «Завтра сделаю!», урезонивала меня тревожно: «Доживи до завтра!» Когда отец уходил в рейс, полы она мыла к порогу — если мыть от порога, то человек, которого ты проводил, в дом не вернется...

По мере взросления жизнь моя становилась все менее и менее безгрешной, и всякий раз, когда я просил у Бога за отца, я обмирал от мысли, что уже не буду услышан. Когда же по завершении очередного похода в моря, узнавал я, что жизнь отца была на волоске (Бискай положил отцовский пароходик на бок, и только чудо спасло команду; переходя экватор, вахтенный на радостях пальнул ракетой столь филигранно, что лишь висок опалил отцу огнем, а мог снести голову), но — обошлось, я ликовал, рассуждая не без оснований, что, как бы ни старались атеисты, утверждая, что Бога нет, Бог все-таки есть, он существует, он помогает тем, кто в него верит и что если он хранит моего отца — такого же атеиста, да к тому же и члена КПСС, то он (Бог) и впрямь всемогущ (и ему не страшна никакая критика Библии, которой я занимался в школе).

Сложнее стократ было с посещением церкви, куда тянуло не из праздного любопытства, а потому что верилось, что из церкви слышнее будут мои просьбы к Богу. Сложнее было не из-за того, что могли «настучать», и с отца, как с коммуниста, спрос за сына был бы короток, — это все само собой (об этом и вспоминать уже неловко, когда наконец-то оставили в покое церковь воинствующие безбожники), — я никак не мог определить, какая же, собственно говоря, церковь м о я?

Нора, как истинная латышка, посещала лютеранскую церковь Святой Троицы: не уверен, правда, что была моя девушка глубоко верующей, темы этой мы никогда не касались, но то, что латыши, в отличие от нас, русских, в самые страшные времена социнквизиции посещали церковь безбоязненно и даже с детьми, что особенно поражало, — это факт, объяснений которому я пока не знаю. Возможно, причина в том, что не было у них таких гонений на «поповщину», как у нас в тридцатые годы, когда от веры отлучали силой и оружием.

Я хорошо помню переполненные народом костелы в дни здешних религиозных праздников, открыто молящихся людей. И хотя латышский чиновник по части любви к собственному народу и его традициям вряд ли далеко ушел от русского собрата, но факт остается фактом — в Латвии куда как меньше бездействующих, превращенных в склады, отхожие места кирк и костелов, чем порушенных и поруганных церквей в России. Позором для латышской нации долгое время был Домский собор, который никто не разрушал, опасаясь реакции Запада, его просто отняли у прихожан, превратив в конце пятидесятых в концертный зал. Едва ослабла воинствующая удавка атеистов, храм вернули верующим, возобновив в нем службу.

В нашем городе было несколько православных храмов. В один из них, который был крохотным, незаметным в липовых кущах, его окружавших, как бы соразмерным малочисленности и опасливости православного прихода, я и ходил молиться за отца. Людей тут было мало, в основном храм посещали ветхие старушки, которых уже не страшили земные кары, и редко-редко — молодежь, да и то для того только, чтобы, заскочив, потолкаться, поглазеть, давясь от смеха, на рясы священников, а потом, выйдя на улицу, заржать, громко, издевательски, над бабками, молящимися истово, крикнуть: «Бога нет!» — и испариться в узких улочках, примыкавших к собору. На фронтоне церквушки был Божий лик, были у нее купола-луковки, позолоченные кресты изящной вязи, она вся была какой-то игрушечной, незащищенной... — но отчего же тогда, зайдя вовнутрь, начинал я ощущать нечто, схожее со страхом. Мне было тут неуютно, неприкаянно и одиноко даже в редкое многолюдье. Я не знал, например, куда мне надо встать, чтоб не мешать другим и службе, а спроси меня, что и как называется, где амвон, где алтарь, что такое епитрахиль или просвирки, — не ответил бы, потому что не знал. (Много лет спустя во время воскресной телепроповеди, вошедшей в моду, священник скажет трагическое: мы,

русские, едва ли не единственный в мире народ на всем белом свете, который не знает, как вести себя в своей церкви...)

В православном соборе меня всегда что-то тяготило, было зябко и страшновато, зато в посещаемой исключительно латышами, чужой, чуждой русской свободной натуре кирке, где все было строго, чопорно и один только вид лютеранских священнослужителей в остроконечных головных уборах повергал в смятение, словно ты столкнулся вдруг с людьми с другой планеты, ни одиночество не тяготило, ни скованности, ни стесненности не было никогда.

Дрожа, я переступал порог православной церкви, и буквально продирали до нутра иконные взоры, притягивавшие, бередящие душу, цепенящие до слез и отчаянья, которое было похоже на что-то из детства, когда кажешься сам себе кем-то очень маленьким, несчастным и слабым и ищешь себе заступника, защитника, за чьей спиной можно укрыться. Но почему-то легче было уйти, чем уединиться. В костеле же, где потолки уносились под самое поднебесье и где под высоченными этими холодными сводами ты должен был ощущать себя жалкой песчинкой мироздания, бессловесно послушной, покорной и растерянной особью человеческой перед распятием Всечеловека, душа переполнялась странным, необъяснимым покоем, ощущала уют и комфорт (хотя, наверное, не самые это подходящие слова для передачи тогдашних моих ощущений).

В православной церквушке весело и празднично потрескивали свечки, но даже в этом их потрескивании угадывалась какая-то скрытая опасность; тут приятно пахло ладаном, но и этот запах пугал; слова молитвы, повторяемой многократно, были непонятны, непереводимы, и я, не в силах разобрать ни одного-единого словечка, вопрошал со страхом: Господи, да русский ли я вообще?

А слабо тебе перекреститься? — сбогохульничал я, нехристь некрещеный, в церквушке и как-то вороватo даже, украдкой, словно бы что-то гадкое и непозволительное совершал, осенив себя крестом, двинул спиной назад, от греха подальше, но был ненавязчиво, неназойливо остановлен старенькой женщиной в белом платке, тихохонько отозван ею в сторону и ею же просвещен: крестился я, оказывается, по-католически...

Слушая бабкин шепот, я думал со смятением и испугом, что есть во мне что-то еретическое — вот ведь, все мне едино, где говорить с Богом — в православном ли храме, или в кирке, я вроде как пытаюсь на двух стульях усидеть разом. И в кирке даже легче.

В православной церкви хотелось сжаться в комок, сделаться незаметным, спрятаться за спины. В кирке, наоборот, плечи как-то сами даже распрямлялись, я чувствовал себя хозяином положения, хотя и тут я не понимал ни слова проповеди, но непонимание это было естественным, нормальным даже, не вызывало ни страха, ни спазм в горле, от него не першило, не жгло глаз. Еще тут было легко и просто уединиться на широкой, с высокой резной спинкой, дубовой скамье, закрыв за собой тихую, но тяжелую полудверцу, сидеть можно было подолгу, разглядывая высокие стрельчатые окна, пилястры, оконные, витиеватые наличники, чинные порталы с изваяниями или величественные крестовые своды, которые, словно бы изнутри корпус ракеты, уходили высоко под полукружья потолков; своды опирались на стройные, круглые колонны, хоры в стиле барокко покрывала изящная позолота, а кафедра, на которую, воздев кверху широкие рукава расписанной сутаны, всходил священник (похожий на героев фильма «Праздник святого Иоргена»), была декорирована невиданной красоты, нецерковными какими-то завитушками, вид которых напоминал об растреллиевских особняках и дворцах. Еще внутреннее убранство собора напоминало о судьбе горемычного Андрие Бульбы, влюбившегося в гордую католичку, я даже себя представлял в его незавидной роли, когда через потайную дверь вошел он в молельню своей возлюбленной, и его едва не перекосило от вида внутреннего, чуждого православному сердцу убранства...

Но жалобное песнопение православного хора, но величественные и одновременно жалобные звуки органа (едва ли не самого-самого после Домского — гостям из России мои родичи хвалились об этом с затаенной гордостью, а от гордости распирало тем пуще, что хвалящиеся никогда и не переступали порога кирки, принимая все на веру, как это принято в нашем

народе...) трогали за душу одинаково. И я вижу, быть может, единственный, но все-таки плюс от той раздвоенности, которую являла перед миром моя душа — никогда не брошу камень в человека иной веры, иных взглядов; тот, наверное, смехотворный, несерьезный мой опыт общения с Богом, сделал меня веротерпимым...

На площади Старого рынка макушкой каменного креста, похожего снизу на жирного, распятого орла, дырявила низкое небо вторая городская кирка, Святой Анны, вход в которую обрамляли чугунные цепи и нашейники для непокорных. Убранство входа страшило так, что за много лет я не набрался мужества переступить ее порог, войти в тяжелые, массивные двери, за которыми в далекой, таинственной глубине марева угадывалось золотое распятие Христа.

На католическое Рождество тут ярко пылали свечи, их было видно сквозь приотворенные наружные двери, люди стояли даже во дворе, потому что внутри не хватало места всем, русских тут я никогда не видел. Проходя мимо, я всегда тихо ужасался: а ну как придет в головку моей взбалмошной латышской подруге тут венчаться!? И от этой мысли душа моя уходила в пятки, и в голове начинали стучать молоточками слова-предостережения моих сородичей: «Русских девушек, что ли, мало? Чего тебя к латыхе потянуло?»

«Как твоя Москва?» — спросила Нора, когда вернулся я домой с дядькиных похорон. Спросила не из любопытства даже, а так, из вежливости. Я рассказывал со всеми подробностями, ничего не упуская, про таксиста и могильщиков, про бесконечные кладбища, я ожидал сочувствия, соучастия, сопереживаний, доброго слова.

Нора мой рассказ подбила категорично кратко:

«Россия», — словно бы не был я русским, черт возьми!

«Что ты хочешь этим сказать?» — оскорбился я.

«Не кас», — ответила моя подруга по-латышски, ничего то есть. Она обнимала меня жарко и целовала с такой страстью, словно бы я не из Москвы вернулся, а из тюрьмы.

«Нет, давай объяснимся!» — моя девушка расстегивала ворот моей рубашки, я запахивал его назад, отстраняясь от ее ласк.

«Я по тебе соскучилась, — прошептала она. — Иди ко мне, Бог с ней, с Москвой твоей».

«Но я же русский!»

«Ты не русский, ты — мой!» — сказала она, гладя мои волосы, ластясь, но что-то во мне словно бы оборвалось. Искра обиды, невостребованность понимания, вспыхнув в сердце, зажгла костер размолвки — не размолвки, я не знаю, что это было, но началось что-то нехорошее, неприятное.

«Пришли ваши, русские и свергли наше правительство...»

«Щ» звучало у нее как «щ», но то, что умиляло прежде, лаская слух, притягивало, сейчас звучало чужеродно, раздражало. Политика превалировала над чувствами, поцелуи вдруг стали горьки и неприятны, мы будто сошли с ума, каждый стоял на своем и защищал своих. И хотя тянулись мы друг к другу, и тела наши, наша плоть, словно бы абстрагировавшись от слов, речей и обид — как и когда-то нашли созвучное, всегдашне-радостное, мы расстались чужими людьми. Изредка встречаясь потом, пытаясь все вернуть к исходному рубежу, мы искали компромисс, старались уступать друг дружке во всем. Мы были готовы на любые жертвы ради того, чтобы вернуть сладость и приятную боль прошлых встреч. Но уже не было той искренности, которую пестовали мы, гордясь собой, долгие-долгие годы, натянутость какая-то возникала, нарочитость, была боязнь обидеть неосторожным словом, вызвав на извечный, ненавистный нам обоим спор об оккупации.

Потом я уехал в Москву, а Нора вышла замуж.

Говорят, за русского.

Urbi et orbi

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА МЕНЯ

К ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ КОНЧИНЫ

Андрей Еремин

«ПОБЕЖДАЙ ЗЛО ДОБРОМ»

В тридцати километрах от Москвы недалеко от железнодорожной станции Пушкино, вдоль Старого Ярославского шоссе, расположилось село Новая деревня. Если с шоссе свернуть к местному кладбищу, за деревьями увидишь невысокий деревянный храм с голубым куполом — место, куда мечтал вернуться из изгнания Галич. В этой церкви, Сретения Господня, двадцать лет прослужил священником человек, чье значение для судеб нашей страны и всего мира мы только теперь понемногу начинаем осознавать, отец Александр Мень.

Уже сейчас тянутся сюда наши соотечественники и паломники из-за рубежа. На могиле, слева от алтаря, зимой и летом свежие цветы... Дар тех, кто знал его при жизни, и тех, кто узнает его только теперь, после ужаснувшего весь цивилизованный мир убийства.

Да, именно посмертно приходит всемирная слава к последнему апостолу земли Российской... Об отце Александре уже написаны десятки статей. Уже достаточно известна его биография, начали, наконец, выходить на Родине его литературные труды, и много, надеюсь, еще будет опубликовано... Происходит обычное в нашей (а в какой не так?) стране явление: признают того, которого убили. Признают даже слишком быстро, на волне моды, не успев понять, принять, полюбить. Но сегодняшние, посмертные как бы признание и слава не освобождают нас от обязанности разобраться, что же он нам завещал своей жизнью, своим личным примером.

Трагедия не только в том, что он ушел в расцвете сил и творческих замыслов, но и в продолжающемся глубоком непонимании его личности. Прискорбно, но то же самое происходило со всеми великими людьми России, которая охотно преклонилась перед живыми Лениным и Сталиным, но не приняла при жизни ни Пушкина, ни Чаадаева, ни Владимира Соловьева, ни Николая Бердяева, ни Андрея Сахарова.

А сделал отец Александр как раз очень много: оставил после себя более десятка напечатанных толстых книг (изданных под псевдонимами за границей), десятки статей, несколько томов неопубликованных произведений, прочел за два последних года в институтах и клубах почти 200 лекций.

Писатель, историк, богослов, библеист,... и, наконец, священник, к которому в его подмосковный приход приезжала вся верующая интеллигенция Москвы и многие из других городов,— вот таков был отец Александр.

* * *

Александр Вульфович Мень, будущий отец Александр, родился в Москве, в доме 38 на Серпуховке, 22 января 1935 года в московской еврейской интеллигентной семье. Отец его был человеком к вере равнодушным, все силы отдавал работе. Мать же, Елена Семеновна, к моменту рождения своего первого сына,

Алика, пережила глубокое внутреннее обращение ко Христу, но еще не крестилась. Она приняла крещение вместе со своим сыном, когда ему исполнилось шесть месяцев. В то страшное время «врагов народа», жестоких преследований верующих религиозное воспитание можно было получить только в подполье... Его наставники мужественно сделали все, чтобы он такое воспитание получил. Самые первые духовные руководители Елены Семеновны обращали особое внимание на ее сына и пророчили ему необыкновенное будущее.

В послании к Галатам апостола Павла есть такие слова: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Что это? Таинственная аллегория, метафора, символ? Нет, это не метафора и не аллегория. Это вера. Та, про которую отец Александр говорил, что она есть то же самое, что и знание. И в этом знании Христа заключена была тайна отца Александра. Он мог бы сказать про себя вслед за апостолом Павлом: «Живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня».

Отец Александр всегда жил верой в своего Господа. Подражая апостолу Петру, старался бесстрашно «идти по воде» в «море» житейских невзгод. Но Богоприсутствие он воспринимал как реальность еще и потому, что и в его жизни были особые Встречи, моменты необыкновенных религиозных Откровений, которые потом определяли все его действия на долгие годы.

Впервые, по его собственным словам, он ясно осознал себя призванным к священству в 12 лет. Именно тогда зажегся в нем огонь настоящей веры. И эта вера не внушила ему спрятаться от мира, стать только церковнослужителем.

Напротив, он с интересом всматривался в окружающий мир, в природу, в людей. Старался с еще большей ответственностью развивать и применять данные ему от Бога таланты. А они были необыкновенные: прекрасная память помогала ему выучивать и помнить наизусть массу стихов и цитат из книг любимых писателей, глубокий философский ум — разбираться в самых сложных концепциях нашей и минувших эпох, блестящая логика — проникать в суть современных научных достижений, литературные, поэтические дарования — создавать запоминающиеся образы в своих произведениях.

А еще были: замечательные музыкальные способности, поразительное художественное чутье, уникальное чувство юмора — трудно назвать какой-либо из человеческих талантов, которым бы он не обладал в совершенстве, с ним можно было беседовать на любую тему на любом уровне профессионализма. Это не сказка, это — правда! Этот человек-чудо совсем недавно жил среди нас, он мог к вам прикоснуться, приветствуя поцеловать, прощаясь обнять, его абсолютная внутренняя свобода создавала вокруг атмосферу глубокого мира и покоя.

Невозможно также забыть его необыкновенную скромность и деликатность, жертвенную самоотдачу в любом деле, радостное, светлое восприятие жизни и любовь, которая им излучалась так же естественно, как свет солнцем; его первой фразой, выведенной детской рукой, как только он научился писать, была цитата из ап. Павла: «Побеждай зло добром» (Посл. ап. Павла к римлянам 12. 21)

* * *

И с детства он изумляется тайне жизни. Первой его книжкой, оформленной и переплетенной собственными руками, становится книжка о природе. И хотя таинственный Голос уже сообщил ему, что он будет священником, науку он не оставляет: занимается в биологическом кружке, читает научные труды.

Интерес к животному миру проявляется даже в характере его увлечения живописью. Некоторое время он берет уроки рисунка у художника-анималиста Ватагина, славящегося психологическими портретами животных.

А в 15 лет дополнительно ко всему этому он начинает помогать во время богослужения в церкви Иоанна Крестителя на Красной Пресне, к окончанию школы самостоятельно изучает весь курс Духовной Семинарии и Духовной Академии. Но родители хотели, чтобы сын получил сначала светское образование. Он

поступает в Пушно-меховой институт на охотоведческий факультет. Через два года его отделение переводят в Сибирь, в Иркутск. И здесь, сразу после переезда, он находит себе дело при церкви — работает истопником в епархиальном управлении.

В Сибири он очень много читает, в основном исторические и философские книги. В Иркутске происходит его первое знакомство с баптистской общиной, поразившей интенсивной церковной жизнью и знанием Евангелия, и с католиками — в лице сосланного в Сибирь католического священника.

Тогда же у него складывается убеждение, что он должен осуществить невыполненный замысел Владимира Соловьева — написать историю Церкви. Он, конечно, не знает, что только к концу жизни ему удастся исполнить задуманное, а в ту пору с юношеским азартом приступает к этой работе и довольно быстро создает первый том. Оформляет машинопись в книгу, и она начинает ходить по рукам, вызывая ожесточенные споры. И он понимает то же, что понял в свое время Владимир Соловьев: до истории Церкви необходимо сначала написать историю религий, в которой место христианства будет показано с точки зрения современных достижений исторической и богословской наук. Соловьеву этот замысел реализовать не удалось. Он оставил только наметки, по которым его ученики, последователи, среди которых особое уважение отца Александра вызывал священник Александр Ельчанинов, создали краткий курс истории религии.

* * *

В те годы, в Сибири, Бог второй раз властно вторгся в его жизнь: ему было дано прямое Благословение и на этот труд, и на его будущее священство... События в его жизни начали стремительно разворачиваться.

Учеба была закончена, приближались выпускные госэкзамены. Но партийная ячейка вуза, узнав о его мировоззрении, решила не выдавать ему диплом и изгнать за религиозные убеждения и пропаганду.

Его выгнали с «волчьим билетом», страна не получила еще одного хорошего биолога, и в том же году он был рукоположен в дьяконы, а через два года в священники. К этому времени он уже был женат на студентке того же института, Наталье Федоровне Григоренко, и у него только что родилась дочь.

Священническое служение было для отца Александра и источником радости, и постоянным испытанием. Огромное страдание отцу Александру доставляло повсеместное фарисейское обрядоверие, профанирующее таинства и лишающее их действенной Божией благодати. И он пишет книгу «Таинство, Слово и Образ», в которой объясняет соотношение Небесного и земного в православном богослужении тем, кто только переступил порог Церкви.

В христианстве он выделял главное, а об обрядах говорил, что они связаны с культурой народа. И «хотя христианин признает культуру, он не должен забывать, что христианская Церковь — это не Церковь культуры, а именно Христова Церковь». Потому что «Христос принес Небо на Землю. Не новую форму сложного культа, не новые тайные учения, не методы медитации, а Благую Весть! Радостное Откровение о том, что Бог пришел в мир и может людей спасти». И далее напоминал: «Церковь триумфальная, с соборами, огромными витражами, колоннами, иконами терпела бесчисленные поражения в истории, а глобальную победу одержала Церковь, у которой ничего этого не было». Это значит, что «недопустимо путать главное, богооткровенное, истинно духовное, с второстепенным, содержимое сосуда с сосудом. Сосудами могут становиться разные культуры, обряды, но Господь сказал о Себе: «Я есть Альфа и Омега» и нельзя ни в чем отступать от этих слов». Такая христоцентричность определяла все его дела, она и в проповедях, и в лекциях, и в книгах...

Сейчас много людей в нашей стране желают креститься. Но чаще всего они приходят не ко Христу, а хотят совершить традиционный обряд. Отец Александр всякий раз как мог пытался исправлять положение. Перед крещением взрослых обязательно проводил хотя бы краткую катехизацию (научение основам христианской веры). А в последнее время отец Александр занимался катехизацией широко, в клубах, стараясь, чтобы перед крещением каждый прослушал хотя бы несколько лекций. Так родились его знаменитые курсы катехизации по Символу Веры. Он прочел два полных цикла: один — в актовом зале библиотеки Иностранной Литературы, другой — в одном из московских клубов. В конце каждого курса (в канун Рождества и на Пасху) в его храме крестилось несколько десятков взрослых.

* * *

Недостаток в нашей стране образованного священства, невозможность в течение многих лет открыто проповедовать Евангелие, пассивность мирян, неумение молиться, отсутствие религиозной литературы и возможности обучать детей — все это вело к угасанию истинной христианской духовности. И отец Александр ищет такие формы церковной жизни, которые бы компенсировали это церковное настроение. В поисках решения ему, несомненно, помог опыт катакомбной Православной Церкви, в условиях которой он жил в детстве. В 60-е годы он стал создавать в своем приходе небольшие ячейки, молитвенные общины. Сначала это нерегулярные собрания, только эксперимент. Но уже в 70-х годах таких групп в приходе становится несколько, они регулярно собираются на квартирах у прихожан. Сейчас эта форма церковной жизни (получившая на Западе название «Малые группы») развивается стремительно не только в приходах последователей отца Александра, но даже среди его оппонентов.

Отец Александр старался объединять людей, руководствуясь общностью профессиональных интересов, близостью жизненных позиций, занятостью в каком-либо одном христианском делании. В зависимости от психологической ориентации участников общения и степени их воцерковленности в группах складывались разные молитвенные обычаи. Но в любом случае все собирались на воскресные и праздничные богослужения в храме и вместе причащались Святых Тайн. Евхаристическая, литургическая общность между собой и с батюшкой объединяла в один приход совершенно разных людей. Это была настоящая соборность!

* * *

Все это беглый очерк деятельности отца Александра как священника и пастыря, но ведь он был также замечательный ученый, библеист, историк религии, энциклопедист и знаток мировой культуры. И, говоря об этих сторонах его жизни, мне кажется, нельзя забывать, что все его таланты, все его служения были в нем органично соединены и подчинены одной цели — апостольскому благовестию в нашей стране. То, что он был христианин и священник, сказывалось на его работе ученого, освящало ее, а научный и литературный труд углублял веру и сообщал новые измерения его пастырской деятельности.

Отца Александра всегда удручал слабый интерес прихожан к Евангелию, к Личности Иисуса, а ему очень хотелось поделиться со всеми своим религиозным опытом, так обогатившим его жизнь. Он пишет книгу «Сын Человеческий», книгу об Основателе христианства, построенную на Евангельском повествовании, но пронизанную его личной любовью к Господу. Эта книга многих привела ко Христу. Ее легко читать, она написана свободным художественным языком, но главное ее достоинство: в ней не принижен Евангельский Свет. Он достигает всякого, кто этого захочет.

А к концу семидесятых годов отец Александр заканчивает свой труд по истории религий. Он состоит из шести томов и получает общее название «В поисках Пути, Истины и Жизни».

В первой книге шеститомника говорится о природе религиозного сознания, обсуждается злободневнейшая для нашего общества тема отношений между верой и научным мышлением, рассматривается проблема происхождения зла, с религиозно-философской позиции освещаются темы эволюции и прогресса.

Во второй книге отец Александр проникает в глубинные истоки обрядоверия, магического восприятия мира. Он показывает, что такое языческое отношение к природе и Богу коренится в самом акте грехопадения. О том, как стал человек возвращаться к Богу, также рассказывается именно в этом томе.

Третья и четвертая книги проводят читателя по путям духовных поисков в двух древних центрах цивилизации: на востоке — в Индии и Китае, и на западе — в Греции.

Пятая книга шеститомника по праву считается самой сильной. И это не случайно, потому что она посвящена предтечам Иисуса Христа — пророкам, людям, духовно близким самому автору. Замечательный подвижник современной западной Церкви, Жан Ванье, всего то на пять минут встретившийся с отцом Александром, но успевший его почувствовать, понять уровень личности, на вопрос, что он о нем думает, сразу ответил: «Он был пророком, великим пророком нашего времени!». Это действительно так. Отец Александр был призванным на служение Самим Богом. Поэтому так рельефны созданные им образы ветхозаветных пророков и так прекрасно передана культурная атмосфера той эпохи, в чем-то очень похожая на нашу.

Шестая книга, несмотря на свой объем (более 800 страниц), читается на одном дыхании, благодаря динамизму повествования. Она завершает обзор мировых религий и философий, всех исканий человечества, предшествовавших воплощению Господа. Ответ был дан, но читатель остановлен автором на пороге «Нового Завета».

Таким образом, отцу Александру удалось исполнить задачу, поставленную Владимиром Соловьевым. И он мог бы приступить к осуществлению своего замысла: написанию истории Церкви. Но начало 80-х годов складывалось для него очень трудно. Это было время ареста многих друзей, бесконечных допросов, обысков и прямых угроз. Но, несмотря на это, батюшка продолжал упорно работать. Для предполагаемого массового читателя Священного Писания было написано «Руководство к чтению книг Ветхого Завета» (1981, «Жизнь с Богом»). Много лет он трудился над библейскими комментариями и над вспомогательным научным и литературным аппаратом, которые вошли в «Ключ к пониманию Священного Писания» (1982, «Жизнь с Богом»).

Поражает богатство используемого материала (что характерно для всех трудов отца Александра): тут книги по истории, географии, археологии, труды Отцов Церкви и изыскания современных экзегетов. И никакой эклектики! Все подчинено единой цели, выражает преемственность богословской и библейской мысли, существенное, внутреннее единство Вселенской Церкви.

Закончив создание своей религиозной эпопеи, он берется за учебник для наших православных академий. И рукопись двухтомных «Основ ветхозаветной исагогики» вскоре была передана этим академиям в дар...

Тогда же он приступает к работе над «Словарем по библиологии» — сборником статей о людях, которые посвятили свою жизнь изучению и объяснению Библии. Этот уникальный многотомный труд написан таким образом, чтобы читатель увидел действие Духа Божия, объединяющего богословов разных стран и конфессией в единую Церковь. В порядке изложения материала ясно видна задача не столько скрупулезно рассказать о всех библеистах, сколько изобразить общие тенденции в работе различных библейских школ (связанных со своими Церквами и общинами). В наше смутное время непрекращающейся конфессиональной разобщенности он постарался показать, что добрая воля, любовь к Слову Божию, живое боговдохновенное развитие богословской мысли могут способствовать преодолению разногласий и объединению христиан.

Отец Александр всегда считал, что История делается не массами, а личностями. И история Церкви есть прежде всего история Ее святых, тех, кто клал кирпичики в созидаемое совместно с Христом Здание. Но «Словарь по библиологии» рассказывает не о всех святых, а лишь о тех подвижниках, кто внес свой вклад в перевод и распространение Священного Писания.

Сам замечательный специалист по библейской критике, отец Александр как бы всей своей жизнью был подготовлен к этой работе. И ему удается ее за-

кончить. А потом он еще успевает написать Евангелие для детей — ставит точку за неделю до смерти. История же Церкви будет пока называться «Словарем по библиологии»...

Никому не понятно, как и когда он все это делал. В последние годы у него не было ни секунды отдыха. Но он считал, что не имеет права ни от чего отказаться, потому что общество потянулось к Церкви после стольких лет идеологического промывания мозгов. Наступило время свидетельствовать о своей вере.

Он становится первым священником, чьи статьи и интервью публикуются в советской прессе, кто появляется на лекциях сначала в вузах, потом а клубах, кого приглашают в школы, на радио и телевидение. И всегда везде овации, сотни вопросов, блестящие ответы.

Вот он на сцене: коренастый и крепкий, почти совсем седой, большая голова мыслителя с открытым лбом, густая, аккуратно подстриженная борода, удивительные, темные, большие, пронзительные и одновременно радостные глаза. Его мощный баритон профессионального проповедника мог обходиться без микрофона. На сцене он движется стремительно, но исполнен аристократического достоинства. Он, как правило, в широкой шерстяной черной рясе. Обращает на себя внимание его врожденный артистизм — в каждом движении, в каждой фразе: ни одного лишнего шага, ни одного фальшивого слова. Блестящее, исчерпывающее знание материала без малейшей подготовки. Иногда брал с собой книги, чтобы прочесть любимое место. Но чаще стихи, афоризмы, которыми украшал свои лекции, цитировал с ходу, наизусть.

И никогда ни одного осуждающего слова. Если критиковал, то очень мягко, деликатно, тут же оправдывая, тут же рассказывая о чем-то хорошем. О давно умерших философах он говорил с таким почтением и благоговением, как будто бы они сидели и слушали его в зале.

А когда он начинал говорить о Христе, зал задерживал дыхание. Все, кто хочет прийти пить Воду Живую, приходи и пей! Вот источник!

Некоторые недоумевали: почему этот ранее мало известный священник с началом перестройки и изменением отношений государства к Церкви вдруг стал так много везде выступать и печататься? А ответ тут один: он хотел собой заслонить брешь бездуховности в официальной Церкви. Ведь у него к этой перестройке, к этой нежданно полученной свободе было все готово... Вернее, он сам был готов к свободе. И ему было больно за Церковь, за Христа, Которого некому проповедовать... И он давал время другим, чтобы они могли прийти в себя, собраться, подготовиться.

* * *

Остается в этом кратком очерке сказать о том, что всегда было камнем преткновения в отношениях отца Александра с остальным православным клиром: о его экуменических взглядах.

Отец Александр один из немногих в нашей Церкви, кто до конца понял, что в условиях взрывного развития коммуникаций и перед лицом надвигающихся апокалиптических социальных и экологических катастроф все христиане, вся Церковь обязаны преодолеть второстепенные догматические и культурологические разногласия друг с другом, открыться миру. Только тогда «Невеста Агнца» сохранит данную Ей Христом возможность спасти человечество.

За три месяца до своей мученической смерти, выступая на симпозиуме в Вайнгартене (Германия), отец Александр высказался по этому поводу достаточно определенно. Поддержав присутствующего там немецкого католического ученого и богослова профессора Кюнга в его размышлениях о необходимости наступления экуменической эры, отец Александр подчеркнул, что этому «просто нет альтернативы!». Что, «если человек не выработает каких-то высших принципов, которые помогут ему сегодня преодолеть конфронтацию, он обречен». Конфронтацию подталкивает, развивает в обществах «массовое» сознание. А ведь «чело-

век в толпе — самое беспомощное существо. Толпу легко направить в любую сторону. И все наше столетие красноречиво показывает это»...

«Какой же выход? — размышляет он.— Думается, в зарождении христианского персонализма, который открывает нам, что в каждой личности отражается вечное. Христос говорит, что Богу дорога каждая душа, а не масса или народ. Это не позитивный или естественно научный факт. Это Откровение... Утверждая абсолютную ценность человеческой личности. Бог во Христе открывает нам и другое: подлинная жизнь личности — в открытости другим личностям. В этой отдаче самих себя, в этом персонализме утверждается тайна любви и тайна служения. Только на таком основании возможна будущая экуменическая модель мира. Конкретная задача здесь — научить людей этой открытости. Возможна ли она?..

Чудесное многообразие людей, прекрасное многообразие языков, темпераментов, культур, истории, многообразие, которое создает красоту жизни, превращается сейчас в повод для конфронтации. Это массовое сознание деградирующего человека...

Считает ли человек себя верующим или нет, без духовности у человека нет будущего. Человек создан как явление Духа во Вселенной, как отображение Тайны, Которая создает весь мир. Если мы изменим своему призванию, Бог создаст новое человечество. Надо, чтобы этого не случилось».

Эти слова отца Александра, я думаю, мы должны рассматривать как его духовное завещание и своей пастве, и своей стране, и всем людям на земле. Потому что теперь уже ясно, что он был настоящим гражданином Мира и принадлежит не только своей Родине и своей Церкви, но всему человечеству.

Протоиерей Александр Мень

ПРОЛОГ КНИГИ БЫТИЯ*

Библейская тема неисчерпаема, необъятна, о ней можно говорить много, долго, но сегодня мы остановимся только на одной теме: Пролог Книги Бытия. Тем, кто не знает, я напомню, что первая книга Библии, первая книга Ветхого Завета называется в русской традиции Книгой Бытия. На одном из вечеров мы с вами уже говорили о первой главе этой книги, о важных для всего дальнейшего содержания строках, которые называются Шестодневом, — о шести днях Творения. Вслед за этим идет Пролог, занимающий примерно десять с лишним глав, посвященный ответу человека на великую тайну гармоничности мира, благости жизни — этого священного дара. Как человек ответил на этот дар?

Иногда мы, люди XX века, да и в XIX веке было такое заблуждение, думаем, что цивилизация сильно испортила людей, сильно извратила их совесть и сознание. Это, конечно, справедливо. Но не нужно думать, что вся вина в ней. Не нужно думать, что дикий, нецивилизованный образ жизни сразу делает человека чистым, нравственным и благородным. Это неоправданный романтизм. Это своего рода новая мифология, мифология, которая ведет свое происхождение от Жана-Жака Руссо. Надеюсь, вы все знакомы с его произведениями, с его представлением о том, что Бог создал все прекрасно, а человек портит все. Звучит ярко, парадоксально и в то же время убедительно, но все-таки это не совсем так.

Руссо считал, что первоначальный, первобытный человек — это такое существо, которое лишено всех уз и обуз цивилизации, это безгрешное, райское существо. Эту райскую жизнь искали художники и поэты. Вспомните о Гогене, который уехал на Гаити, чтобы найти там первоначальный эдем. Вспомните Оленина, героя Льва Толстого, который хотел слиться с природой, вернуться из цивилизации, — «Казаки». Вспомните, наконец, пушкинского Алеко, который хотел «презреть оковы просвещенья» и вернуться к первобытному образу жизни. Все они убеждаются, что это невозможно, что страсти продолжают играть также и там, где «оковы просвещенья» довольно слабы.

В чем же дело? Библия отвечает нам на этот вопрос: не просто цивилизация (хотя она много несет в себе зловещего и разрушительного), не просто рост техники и всевозможных условий для лучшего быта людей мешает нам, а нечто темное, что находится в самом человеке. Это вовсе не клевета на нашу природу, это честная констатация того, что есть на самом деле.

Пролог Книги Бытия говорит о восстании человека против благого Творца, восстании человека, которое привело его к различным катастрофам. Люди поверхностно и наивно понимают эти библейские строки, вечные строки — о грехопадении Адама, о первом братоубийстве, о Каине, который убил Авеля, об Исполинах, которые развратили цивилизацию, так что зло стало вопить к небесам, и потоп обрушился на землю. И о той башне знаменитой Вавилонской, которая стала символом вызова, брошенного в небо. Это четыре акта единой драмы, которую мы можем назвать драмой мятежа, драмой человеческой свободы, направленной на зло. В нашу повседневную культуру, в наш язык, как бессмертные фрески, вошли эти вечные сказания.

Вы все хорошо знаете, что «запретный плод», «Вавилонская башня», «Ноев ковчег» — это уже ходячие выражения у нас в языке, в литературе, в публицистике. А вы знаете, откуда взят знаменитый «голубь мира»? Голубь с оливковой ветвью в клюве? Это из сказания о потопе и Ное, этот голубь принес весть о том, что потоп окончен.

Прежде критики Библии, историки, философы пытались оспаривать содержание этих рассказов, утверждая, что это не исторические рассказы. Но Священное Писание — это вечная мудрость, а вовсе не просто рассказ о жизни первобытных людей и о старинных наводнениях. Геологические катастрофы и быт древних людей любопытны, конечно, недаром у нас многие интересуются литературой про Атлантиду, но ведь не в этом суть, Библия совсем не об этом хочет нам рассказать. Она пользуется красками великих древних восточных легенд и создает вот эту, как я сказал, фреску, для того, чтобы все поколения, все народы могли увидеть единую истину, каждый на своем уровне, — и философ, и младенец, и дикарь, и человек цивилизованный. Примитивное мышление идет по пути Смердякова, лакея. Вы помните, как он говорил про Библию: «Про неправду все написано». Так вот, мы должны оставить эту точку зрения и подойти к этим священным строкам совершенно иначе.

Смотрите на первый момент. Адам и Ева, то есть те, кто олицетворяет всех нас, воплощают в себе весь человеческий род, ставят под сомнение благость Творца. Змей, некое таинственное существо, очень осторожно подходит к ним и говорит: «Правда ли, что вам запрещено вкушать отовсюду, от любого плода этого чудесного сада?» — «Нет, — отвечает Ева, — мы всюду вольны, вот только есть одно древо — Познания добра и зла — вот от него мы не должны вкушать, ибо Бог сказал нам, что если мы вкусим, то смертью умрем». — «О нет, не умрете», — говорит Змей. Значит, Бог лжет? «А вы станете, как Боги, знающие добро и зло», — говорит Змей.

Что это означает? В древнееврейском языке слово «знать» обозначает также «владеть», «уметь», «властвовать», «обладать» и даже «любить». Это особое слово, которое трудно переводится на европейские языки. Значит, это Древо власти, владычества, обладания, а не просто какого-то теоретического знания, вроде научных истин.

Обладания чем? «Добро и зло» — это идиоматическое выражение, которое означает «все на свете». Иначе говоря, это древо символизирует все, весь мир, созданный Творцом, и власть над ним можно, оказывается, получить не через Творца, а как-то независимо от Него, противопоставляя свою волю Его воле.

Этот образ поднимается над временем, пространством, над всеми культурами. Нам, людям XX века, этот образ очень хорошо знаком. Мы

* Лекция, прочитанная 11/II 1989 г. в Доме культуры «Красная Пресня».

знаем, что такое стремление к власти, неодухотворенной власти над природой. Неодухотворенная власть над природой привела к попиранию природы, уничтожению ее, к тому, что она, наше материальное лоно, уже не в состоянии больше нас кормить и выдерживать. И мы сегодня уже не знаем, в каком положении будут наши дети и внуки. Ученые с каждым днем выдвигают перед нами все более грозные прогнозы. Владычество существ, которые забыли о духовном центре, о духовном ориентире, а ищут только власть. Я помню, во дни моей юности был такой лозунг: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача». Эти слова приписывали Мичурину, может, и действительно он это сказал, не задумываясь особенно над последствиями. Эти слова тождественны по сути дела, по своей нравственной, духовной сути, тождественны тому, что произошло в библейском сказании.

Власть над миром... И тогда уже человеку не нужен Творец, и уже тогда не нужна ориентация на вечное. Тогда он сам себе Бог. Змей говорит: «Вы будете, как Бог (или как боги — там стоит такое слово, оно может быть так и так переводимо). Вы будете владеть добром и злом». И Ева смотрит на этот плод и вкушает, за ней — Адам. И что же они увидели? Глаза их открылись, и они увидели, что они наги, т. е. они вдруг почувствовали свое сиротливое бессилие, стыд перед миром, перед Богом, они стали жалки. Вместо власти (Змей обманул их, конечно), вместо власти они не получили ничего.

И вот дальше разворачивается сказание. Оно ставит вопрос о покаянии. Бог не обличает Адама, а говорит: «Где ты? Где ты, Адам?» А он спрятался. И мы видим картину, подобную сцене в детской комнате. Бог прогуливается по саду. Помните, что священный автор библейский прекрасно знал, что Бог нигде не гуляет. Это образ. Он ходит по саду и говорит: «Где ты, Адам?» А Адам спрятался. Тогда Бог все же спрашивает: «Может, ты вкусил с этого дерева?» И вместо того, чтобы сказать «да», Адам говорит: «Ты Сам виноват, это жена, которую Ты мне дал, это она меня научила». Жена тоже не берет на себя ответственность, она говорит: «Это Змей, вот кто виноват, это он меня надоумил». Покаяния нет. И ломаются отношения между Творцом и человеком, и человек должен прийти к Нему, вернуться к этим близким отношениям, пройдя свой, свободный, но горестный путь.

В Евангелии есть притча, великая, бессмертная притча о блудном сыне. Вы, вероятно, ее знаете, многие, вероятно, видели знаменитую картину Рембрандта в Эрмитаже, в Ленинграде. Сын ушел от отца, все промотал, и, когда совсем ему нечего было уже есть, он вернулся к отцу, думая, может, примет меня как слугу. Но отец встретил его еще издалека, выбежав навстречу. Такова судьба человечества, цивилизации, мира. Потому что история блудного сына — это мировая история. Как отец в притче не сказал ни слова сыну, не укорил его (а по понятиям того времени уйти из дома, взять часть имущества значило нанести ущерб семье), ни слова не сказал, все дал и молча проводил, так же и Творец — отдаляет от себя человека, и человек уходит в свой путь, путь познания мира, но уже другой, горький путь познания. И земля уже отныне не друг его, он вступает с ней в борьбу.

И вот рождаются два сына у Адама. Следующий этап драмы. Эти два сына — не просто какие-то отдельные люди, это олицетворение двух типов первоначальной культуры. Простой пастух Авель, который не имеет дома, который странствует по степям и по лугам со своими овцами. Авель — это имя означает пыль, дым, мираж, призрак, но, по-видимому это человек, который возлюбил вечность, который, принося Богу жертву, приносит свое сердце вместе с ней. Что означала жертва? Приглашение Бога на трапезу. Человек, который готовил себе ужин, призывал Бога, чтобы Он пришел и разделил его трапезу. Человек пытался восстановить разрушенное единство, разрушенный союз, или, как в Библии это называется, Завет. Вот что такое жертва.

И Бог воззрел на жертву пастуха, скитальца. А на жертву земледельца, более цивилизованного, с нашей точки зрения, Каина, не воззрел. Почему? Библия не говорит, но дальнейшее нам все проясняет. Ибо Каин хотел разделить с Богом трапезу и приносил плоды земли для того, чтобы получить какие-то особые дары. В нем действовал корыстный мотив, ко-

рыстный мотив вроде того мотива, который живет в магии: вот, я буду волховать, я буду колдовать, я буду действовать и насильственно вызову какие-то эффекты, результаты. Боже мой, разве это древность? Разве это первобытный мир? — Это вечный мир. Таковы люди и сегодня. Все это в нас живет, и не только в нашем церковном обиходе, когда некоторые люди приходят и говорят, мне надо заказать молебен, но только для того, чтобы сделать то-то и то-то, как бы пускают в ход некий механизм, но без внутренней направленности сердца. Это живет в людях всегда и, к сожалению, будет еще жить долго.

Так вот, две жертвы, одна принята, другая — нет. Что же делает Каин, когда видит, что жертва не принята? Он пытается устранить со своей дороги того, кто ему мешает, — брата. Он убивает, он тайно убивает его, думая, что Бог не видит. Он один теперь остался, уж теперь Богу ничего не останется, как прийти к нему. И тогда раздается голос Творца: «Каин, где твой брат Авель?» Опять призыв к покаянию. «Каин, где твой брат Авель?» — И ответ Каина, ставший тоже вечным, высеченный на черных стенах: «Разве я сторож брату моему?»

Вот первая драма свершилась. Человек, как бы следуя некоему новому религиозному сознанию (ведь жертва — это начало религии, «религия» — это от «religare», это связь, связь неба с землей) — человек хочет соединиться с тем, кого он потерял. И вот уже на этой почве возникает сначала ложь, зависть, и, наконец смерть, братоубийство.

А почему же Каин немедленно не получает воздаяние, возмездие? Потому что раз и навсегда в Библии дается указание, что божественный Промысел — это не автоматическая инстанция карательная, а это Воля, создающая в нашем мире единый закон, единый нравственный миропорядок, и в нем все связано сложнейшим, тончайшим образом. Поэтому Каин уходит ненаказанный, наказанием становится само зло, сам его грех, преступление, его одиночество, его изгнание. И очень интересно, что именно потомки Каина, согласно Библии, и создают первые начала цивилизации. Они строят первые города, они изобретают первые инструменты, как повествует Библия. Почему она так повествует, для чего это рассказано? Для того, чтобы показать, что в цивилизации любого времени всегда была некая червоточина. Не сама по себе она была зло, но что-то в ней было теневое и опасное.

И вот надвигается новый виток человеческого зла. Этот виток связан с магией и язычеством. Библия рассказывает об этом крайне символично. Там сказано, что небесные существа полюбили земных женщин, сошли к ним, вступили с ними в брак, и от этого брака родились Исполины. Что это означает? В Библии часто брак является символом религиозного завета, связи. Когда говорится о Христе и Церкви, употребляются термины «брак», Церковь — «невеста Христова». Когда говорится о Боге и ветхозаветной общине, тоже употребляются термины, символика брака. А вот здесь люди вступают в брак с некими демоническими существами, которые, нарушив существующий порядок, вторгаются в человеческий мир. Здесь начинаются волшебство и волхование. Согласно старинным легендам, возникшим еще до нашей эры, этот процесс — начало использования демонических сил, оккультных сил в целях человека, когда вошло черное нечто в человеческое сознание. И это достигает какой-то предельной точки, разрушаются те преграды, которые отделяют гармоничный мир от мира хаоса, — и воды потопа обрушиваются на землю. Потому что мир потерял смысл. Вы знаете, что в начале мир имел, согласно Библии, форму водной бездны. И вот снова как будто бы мир возвращается к истокам — все гибнут. Совершенно не важно для нас сейчас, в какой степени исторично это происходило так. Тем, кто хочет узнать о подробностях этой катастрофы, я рекомендую прочесть прекрасную книгу Кондратова, вышедшую несколько лет назад, которая называется «Великий потоп. миф или реальность?». А также книгу Александра Горбовского «Загадки и открытия». Там это рассматривается с точки зрения любознательности: были ли глобальные водяные катастрофы, которые потопили некогда высокие цивилизации. Вероятно, были. Но не в этом суть. А суть в том, что человек достиг такого состояния, что природа больше не выдерживала и аннулировала его. Но кто-то остается. Как бы посеянное

один раз человечество не уничтожается полностью, а линия продолжается.

И вот по волнам затопленного мира движется ковчег Ноя. Он именуется в разных легендах по-разному, в Библии — Ной. Ковчег останавливается на Араратских горах, там, где впоследствии появилась страна Урарту или современная Армения. И оттуда начинается расселение человека, от потомков Ноя — от Сима, Хама и Яфета. И дальше идут в Библии перечисления на несколько страниц, перечисления имен потомков каждого из этих трех сыновей. Спрашивается, зачем это? Зачем эти причудливые и странные имена, которые тянутся друг за другом? Какое в этом назидание? Какой смысл в этом? А смысл огромный. Это конкретное, зримое, понятное для любого поколения изображение человечества как единой семьи, единокровной семьи, родословие, генеалогию которой можно почти графически изобразить. И все народы, которые только были известны тогда священному писателю, все народы были включены в эту схему, в эту таблицу. И это подтверждают впоследствии слова Нового Завета, где сказано, что от единой крови произвел Бог род человеческий. Мы все не только духовно одно, но и кровно одно, мы кровные родственники, от одного корня, говорящие на разных языках, живущие в разных концах земного шара, имеющие разную историю, но от одного корня мы братья и сестры. Вы думаете, это легко было тогда утверждать? Тогда, когда были написаны эти строки, тысячи лет тому назад? Конечно, нелегко. Ведь и сегодня люди еще не доросли до этой древней истины. И пусть наука, этнография, антропология, подтвердила библейское учение о единстве рода человеческого, именно в наше столетие, когда эта наука достигла больших результатов, расовые и национальные конфликты продолжают бушевать, и люди не научились видеть в непохожем брата или сестру. Оказывается, уроки Священного Писания отнюдь не устарели. Несмотря на всю архаичность, казалось бы, вот этих сказаний, они являются вечным откровением, в котором каждый век может найти непреходящую мудрость для жизни.

И, наконец, завершается все это сказанием о башне. Как объединить людей, когда они уже имеют разные языки, имеют разные традиции и обычаи, разный темперамент, разный облик? Есть два пути. — Взаимопонимание и братство. Но есть и насильственное соединение. Таким насильственным соединением в древности, как и потом, были империи. Империи, построенные на власти меча. И в этих империях существовал такой оборот, такое выражение: сделать людей постороннего города или страны говорящими на одном языке. Это вовсе не означало что они действительно говорили на одном языке, но это означало, что они, потеряв свою родину, становились просто анонимными подданными царя. Причем ассирийские, вавилонские и другие завоеватели очень часто устраивали массовые депортации. С какой целью? Чтобы перемешать население, чтобы погасить национальные очаги сопротивления, чтобы вообще национальную культуру убить, чтобы люди были все одинаковые — чтоб они были «люди одного языка». И вот эту модель, жесткую, но, увы, нам всем знакомую, мы находим в сказании о Вавилонской башне Там сказано: «и был у них один язык и одно наречие». Собранные люди. Чем собранные? Любовью? — Нет. Братством? — Нет. Сотрудничеством? — Тоже нет. Они собраны силой. И для того, чтобы не рассеяться по земле (в нашем переводе сказано не совсем точно), они говорят: «Построим башню до неба, чтобы не рассеяться», чтобы всегда этот огромный монумент, этот гигантский дворец, поднимающийся к облакам, всегда указывал на гордость завоевателей, величие человека. Величие очень спорное и сомнительное, но надо представить себе, когда это писалось. Имелась в виду плоская равнина Месопотамии. Вот на этой плоской равнине, где легко потеряться и заблудиться, поднимается многоступенчатый столп, башня. Столпотворение... Вот таким образом люди не потеряются. О, наш век знает много таких Вавилонских башен!

Так вот, дальше неожиданный поворот. Когда уже они пошли делать витки к небу, сказано, что Бог сошел посмотреть, что они там делают. Опять-таки, священный автор совсем не думал, что Богу нужны были какие-то ступеньки, что Он должен был смотреть чуть ли не в подзорную трубу на них. Нет, это образ. Но крайне выразительный. Ведь только что мы думали о гигантской башне, которая поднимается до неба. И, надо сказать, основания у писателя были, — он перед глазами видел Вавилонскую башню, которая имела 90 метров высоты. В те времена это очень много. Для цивилизации примитивной, которая была, скажем, 3—4 тысячи лет тому назад, 90-метровая башня — это очень серьезно. Так вот, она и навязал этот образ. Поднимается башня к небу, и вдруг Бог смотрит — и где-то она там. Она становится маленькой. Ему надо наклониться, ему надо сойти вниз, чтобы разглядеть это «грандиозное» сооружение. И сразу притязания людей, гордыня человеческая и вечные замыслы Божественные оказываются совершенно несопоставимыми. И Бог смешал их языки, они перестали понимать друг друга. И кончилось это строительство.

Человек на протяжении всех этих сказаний показан как повернувшийся к Божественной Свободе спиной, и у нас возникает искушение спросить: Ну, почему же Провидение не остановило человека? Почему оно не сказало ему, вернись немедленно или ты погиб! — Потому, что мы Его образ и подобие. Только в свободе, только испытав сами, что такое удаление от истины, мы можем ее по-настоящему полюбить и столь же свободно к ней возвратиться.

В этом заключается смысл драматического, я бы сказал, несколько мрачного Пролога Книги Бытия. Ибо ответ человека горек. Но нам остается надежда. Пусть многие говорят Богу «нет», Он находит людей, которые скажут Ему «да». Он находит людей, с которыми Он заключит Завет, и с этого начнется новый этап истории, который мы называем Ветхозаветным. А затем — Новозаветный. Но это уже другая часть Библии.

КНИГА НАДЕЖДЫ (пророки)*

Дорогие друзья! Сегодня наша тема условно называется «Книга Надежды». Книгой Надежды можно было бы назвать все Священное Писание, потому что оно насыщено надеждой, несмотря на то, что взгляд Библии на человечество, на состояние мира отнюдь не романтический, свободный от идеализации. Это взгляд пристальный, реалистический, суровый. Картина мира, которая предстает перед нами в Священном Писании, отнюдь не лакированная, отнюдь не далекая от реальности. Более того, часто эта картина бывает даже мрачной. И некоторые неподготовленные люди, открывая Библию и встречая там борьбу, убийства, войны, думают, что же это за книга такая, чему же тут можно поучиться? — Но это и есть наша грешная, трагическая, человеческая жизнь. И именно поэтому, по контрасту с этим суровым и нелицеприятным изображением действительности Библия говорит нам о надежде с большей силой, и эта надежда светится еще более ярко на фоне того мрака истории и жизни, которую Библия изображает. Сегодня я хочу коснуться той части Библии, той части Ветхого Завета, которая по традиции называется Пророческими писаниями. Они являются средоточием одной из важнейших частей Ветхого Завета и действительно по праву могут быть названы в целом, в единстве своем Книгой Надежды.

Кто же были авторы этих писаний? И когда они жили? О чем они писали? Почему их называли пророками? Что они предсказывали? Были ли они похожи на оракулов, предсказателей языческого мира, или на современных футурологов? О чем они говорили?

Во-первых, если рассматривать эти части Библии с литературной точки зрения, это великая поэзия. Пророки были крупнейшими поэтами и своего времени и в мировом масштабе. К сожалению, наш перевод, которым мы пользуемся, старый перевод, недостаточно учитывает поэтическую структуру этих писаний. Эта структура вырабатывалась многими поколениями, это была особая поэзия, не совсем похожая на поэзию на-

* Лекция, прочитанная 25/II 1989 г. в Доме культуры «Красная Пресня».

ших дней, на европейскую поэзию, на поэзию древних греков и римлян. Там не было строгого ритма, размера, отсутствовала рифма — это довольно позднее явление, — но там была музыка слова, игра аллитерациями, звуки этих древних поэм звучали с необычайной силой. Конечно, в переводе, как в любом переводе, это пропадает. Не надо вам это объяснять, давайте себе представим любое замечательное произведение поэзии русской в переводе на английский язык, — мы никогда не сможем добиться точной передачи силы поэтической. Трудно себе представить, ну, скажем, стихи Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» или «И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть...» — как это можно передать на другом языке? Это будет совершенно другое звучание. Поэтому, когда пророк обращается к небесам и земле: «Слушай, земля, и внимайте, небеса, ибо Господь говорит», — это в переводе, конечно, литературно и музыкально снижено. Но тем не менее сила любой поэзии, будь то Данте или Шекспир, или любой другой великий поэт, она переходит через барьеры языковые и барьеры эпохи и становится живой. Именно поэтому книги пророков потрясали столетия. Вы все знаете великое произведение Пушкина «Пророк»: «Восстань, пророк, и виждь и внемли...» — это отражение библейского сказания, автобиографических строк из книги пророка Исайи, из 40-й главы. Вспомните великие образы Микеланджело на плафоне Сикстинской капеллы, по репродукциям вы их все, конечно, знаете: пророк Моисей, высеченный резцом великого ваятеля. Вспомните мистические таинственные образы пророка у Врубеля, — это человек, который внимает нездешним голосам, это человек, который действительно встречает в своей жизни непостижимое и вынужден бедным человеческим словом передать слово вечности.

Пророки появляются в момент, когда мир проснулся, мир пробудился от многовекового сна, когда человек, ждавший всего от природы, вдруг понял, что он сам, человек, возвышается над природой, что есть духовный мир, высший мир, который имеет к нему прямое отношение. Человек начинает постигать истину не только в красоте и тайне окружающего мироздания, но и в бесконечных безднах в глубине собственного духа. В это время проповедуют Будда, авторы Упанишад, мудрецы Индии, Китая, Майтрейя, Лао-цзы, Конфуций, в это время появляется греческая философия, античная трагедия, — какой великий век, вернее, несколько веков! До сих пор мир живет, как бы питаясь из этого источника. Все, что было сказано тогда, в основе своей актуально и сегодня. Все концепции, традиции, все течения в искусстве, в мыслях, духовных религиозных откровениях и поисках, — все это так или иначе было начато, началось в ту грандиозную эпоху, которую один из немецких мыслителей нашего времени справедливо назвал «осевым временем». Эти великие учения, эти великие концепции, эти великие творения искусства и литературы создавались в больших цивилизациях, но библейские пророки находились на крошечном пятачке, между молотом и наковальней, — между огромной Ассирийской империей и Египтом. Это крошечный Ханаан, древнеизраильское царство, вдобавок расколовшееся пополам, карликовое государство Ближнего Востока, с ослабленной царской властью, которая не могла сопротивляться голосам оппозиций, свободному выступлению вестников Божественной воли.

Да, велики были достижения философии, политики, науки, религиозных деятелей в то время, но ни один из них не видел будущего для человечества. Ибо все они надеялись только на одно: что мир в конце концов кончится, и все уйдет обратно в ту бездну, из которой вышло. Каждый представлял это по-своему, и не удивительно, потому что человек всегда находился под огромным впечатлением неизменности циклов природы: как неизменно всходило солнце, неизменно сменялись фазы Луны, так неизменно шла человеческая жизнь, от юности к старости; как неизменно сменялись времена года, так все течет и возвращается на круги своя, — вот общее мирочувствие человечества во все столетия.

Но для пророков открылось нечто совсем иное: они увидели мир, летящий к цели, как некая стрела, пущенная неведомой таинственной рукой. Мало того, в мире было много различных древних обрядов, традиций, ценностей, и только пророки первыми поняли, что если за этим стоит Дух, тогда это имеет свое значение. Замечательно, что первый пророк-

писатель совсем не был профессионалом. Были такие прорицатели во всех странах, у всех народов, были они и в древнем Иерусалиме, и в Самарии, но первым, кто записал свои слова, был пророк Амос, пастух из южной пустыни близ Вифлеема. Он пришел на праздник, когда народ приносил Богу жертвы, веселился, пел, когда он чувствовал радость, обыкновенную житейскую радость, которую испытывают люди, собравшиеся вместе. И вдруг Амос появляется и говорит, что Богу не нужно это, напрасно вы думаете ублаготворить Его своими приношениями. Это звучит странно, это звучит почти непереносимо оскорбительно. Священник, который служил при этом алтаре, подходит к нему и говорит: «Пророк, иди и пророчествуй у себя дома, а здесь — царское святилище». А он говорит: «Я не пророк, я не Сын Пророческий (то есть я не принадлежу к этой касте, категории), я пас овец, и вот Бог меня призвал, и я пришел сюда».

Слово «пророк», по-древнееврейски «наби», по-гречески «профетос» означает: тот, кто призван говорить от чьего-то лица, — это герольд, это вестник. Это не предсказатель, предсказание будущего — одна из граней пророческого служения. Пророк — это удивительный человек, в котором сочетается яркое человеческое самосознание с открывающимся ему голосом Божиим.

Мистик созерцает божественное единство как бы отрешаясь от своего «я», он растворяется в вечном океане духа, уходит туда, освобожденный не только от бремени материи и тяжести жизни, но и освобожденный и от личностного самосознания, от своего «я». Между тем, пророк, встречаясь с Божественным ликом, никогда своего «я» не теряет. Вот то место у Исайи, которое Пушкин интерпретировал в своем стихотворении «Пророк», оно как раз очень характерно. Пророк стоит и молится в храме, во дворе храма, и вдруг как бы падает завеса с его глаз и он видит, что все покрыто огнем, все объято каким-то необыкновенным духовным пламенем, и Бог является ему как Царь, восседающий на престоле. И он говорит, я должен погибнуть, потому что мои очи видели Господа. И Бог не говорит ему, что нет, ничего, ты не погибнешь, нет. Потому что эта встреча действительно роковая и огнесжигающая. И только одно делает Бог: он посылает некое крылатое существо, серафима, — это значит «пламенный», — который заменяет у него уста и очи, это вам знакомо из пушкинских строк, и тогда он может подойти, и он слышит голос, который спрашивает его: «Кто пойдет? Кто пойдет возвестить Мое слово?» И пророк отвечает: «Вот я. Пошли меня». Он этого хочет! Понимаете, происходит встреча «я» и «ты», двух воль, человек соучаствует в великом созидании.

Приходит Амос, и его прогоняют. Но он записывает свои слова, и этот маленький пергамент или папирус кладет начало пророческой литературе. Потом ученики собирают эти листки и сшивают. О чем он говорит? Он говорит о том, что человек призван служить Творцу прежде всего, отдаваясь его воле своим нравственным усилием. «Мне не нужны ваши жертвы, праздники, всесожжения, — говорит Господь, — пусть потечет вместо крови правда и справедливость». Научитесь делать добро — вот тогда действительно ваша жертва будет угодна Богу.

Кто хочет понять смысл и дух этой проповеди, загляните в собрание стихов Алексея Хомякова, поэта и философа XIX века. Там есть прекрасное стихотворение «По прочтении псалма». Стихи сейчас легче достать, чем Библию. И вот вы прочтете там эти строки, навеянные пророками и псалмопевцами, и поймете, в чем заключались дух и сила этой проповеди.

Грозный суд возвещает пророк Амос. Не надо думать, что это суд юридический, что это судилище, что это какой-то божественный нюрнбергский процесс над человечеством. Ничего подобного. Суд — это бессмертная, бесконечная Божья любовь, которая идет к человеку, встречает его и, когда соприкасается с ним, происходит как бы разряд молнии, потому что свет соприкасается с тьмой, чистое с нечистым, зло с абсолютным добром, — это называется Суд. Суд по-гречески звучит как «кризис». Это важно для нас всех, потому что Христос сказал: «Я суд миру сему». Когда мы проходим перед правдой, судится наша злоба, наша неправда. Страшные слова...

Приходит второй пророк, почти в то же время. Это происходит в VIII веке до Рождества Христова, до нашей эры. Второй пророк был, по-

видимому, священнослужителем. Это человек нежной души, человек трагической судьбы. Он любил женщину, которая была неверна ему, которая ушла от него, которая его бросила, которая его опозорила, но он продолжал ее любить и готов был принять ее обратно в свой дом, что, по обычаям того времени, было совершенно неправдоподобно, невозможно. И вот Бог открылся ему как вечная Любовь. Народ отворачивается от него, народ Божий, то есть ветхозаветная церковь, народ, который служит себе.

А ведь это вечная модель: от Бога требовались только дары — «Подай, Господи». А то, что человек Ему должен отдать: «Сыне, дай мне сердце твое», — об этом люди не думали, не стремились к этому. И вот наступает момент Божественного страдания. Оказывается, что тот, Кто стоит над миром, страдает за нас, оказывается, что мы Ему нужны, оказывается, что наше предательство, наша измена, наш уход от Него для Него являются болью. Оказывается, узы, которые нас связывают с высшим, они крепкие, настолько крепкие, что Бог может страдать — за нас и от нас.

И вот этот пророк, его зовут Ошия, в русской и греческой транскрипции Осия, он описывает символически свою личную драму и потом показывает, что Бог так же ждет кающихся, как он ждал свою беспутную жену, ждал и любил ее. И еще он сказал бессмертные слова: «Милосердия хочу, а не жертвы».

Бессмертные слова, которые потом повторил Христос, чтобы объяснить суть своего отношения к религиозной традиции, к обрядам, к жертвам: «Милосердия хочу, милости хочу, а не жертвы».

Надо подчеркнуть, что пророки говорили всегда от лица Божия, в первом лице, «Я» — это Бог говорит. Это очень редкий случай в мировой религиозной практике, пророки переживали соприкосновение с вечностью таким образом, что становились как бы медиумами, как бы носителями этой воли, и они говорили: «Так да глаголет Господь» — так говорит Бог, и начинали говорить от первого лица. «Милосердия хочу, а не жертвы». Все знали, что это говорит Бог, а не человек. Более того, очень часто у пророков был конфликт между их собственной волей, между их собственными желаниями, и понятиями, и стремлениями, и тем, что Господь им внушал. Это одна из удивительных черт, потом особенно ярко проявившихся у пророка следующего поколения, у Иеремии.

В том же VIII веке появляется пророк Исайя. Если Амос учит о Божием суде, если Осия учит о Божественной любви — «милосердия хочу, а не жертвы», т. е. никакие обряды не могут заменить доброты, доброжелательности, человечности, милосердия, что это первое и главное, — Исайя говорит о спасении, которое Бог несет миру.

Спасение... От чего спасение? Пророки ясно сознавали, что мир находится в состоянии катастрофы — тогда, как и теперь. Тогдашний мир, может, он был более ограничен географически, но он был охвачен мировыми войнами. Они были мировыми для того времени: Кавказ, Ирак, Иран, и тут же рядом Африка, Египет, рядом острова европейской части, нынешняя Турция — все было захвачено войнами. Шли завоеватели в одну сторону, в другую, гнали тысячные колонны военнопленных, пытки, огромные армии чиновников, беззакония и т. д. Люди прекрасно понимали, что есть закон, есть правда, но никто ее не соблюдал.

В этот катастрофический момент, когда мир содрогался от ударов зла, пророк Исайя заговорил о грядущем Царстве Божием, о том, что не вечно будет царствовать безумие и тьма в человеческом мире, что история идет целенаправленно к преображению человека в мире, спасению его от зла, приобщению его к высшей Божественной жизни. Во главе этого Царства стоит Царь, совсем не такой, как обычно видели люди. Это не насильник, не властитель коронованный, а это Некто таинственный, Кто приходит примирить всех людей, Кто приходит без насилия, а сила Его заключается в силе духа. «И почил на Нем дух премудрости, дух разума», — вот Кто идет, Кто этот Царь.

На древнееврейском языке «царь» звучит «машиах», по-гречески это «мессия», что значит помазанник, царь или же Христос. Христос — это греческое слово, обозначающее царя, помазанника. Вот Исайя в VIII веке до Рождества Христова первым заговорил именно об этом грядущем помазаннике. Он называл его разными символическими именами. Первое имя Эммануэль, что значит «С нами Бог». И эти слова Исайи мы повторяем в церквах в день Рождества Христова, и есть даже специальный церковный гимн: «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог», — это взято из пророка Исайи. Потом он говорит о Младенце, который рождается в мир и который несет ему дух мудрости, дух Божий.

Но надо сказать, что пророки были не созерцателями, не отшельниками, не людьми, которые прятались от действительности, не были они мечтателями, — это были активные политические борцы, это были люди, которые во всей мощи своих человеческих дарований выступали как трибуны, как поэты, как писатели, как советники царей. Они выступали, согласно традиции, в храме и во время богослужения произносили, по-видимому, нараспев свои стихи в присутствии царя, вельмож, говоря им прямо в глаза обличительные слова от лица Бога.

Это был очень важный момент: Исайя пытается повернуть общество, повернуть ветхозаветную церковь на путь добра и служения. Он укоряет людей, что они получили столько даров Божиих в виде истинного единобожия, истинных нравственных заповедей Моисея, и они все это забыли. И он восклицает, что вол знает своего господина, и осел знает его, а вы не знаете, получается, вы хуже скотины, которая была приручена человеком. Вас Бог повел, а вы не захотели Его слушать. И он так же, как Амос, говорит: «Не нужны Мне эти ваши праздники, ваши воскурения, ваши жертвы, омойтесь, очиститесь, когда вы молитесь, ваши руки полны крови».

Это очень смелые слова, и для того времени — и для нашего времени. Древнерусские летописцы и древнерусские писатели очень часто подражали пророкам, следовали по их пути, обличая народ. От Нестора-летописца и других, включая Максима Грека, протопопа Аввакума, они говорили народу, церкви, что было столько дано, и все это оказалось тщетным из-за косности и жестоковыйности людей.

Пророки были живой совестью народа, но, как всегда бывает в этих случаях, роль таких глашатаев бывает подобна судьбе Кассандры. Вы знаете, что Кассандра в древнегреческих легендах предсказывала, но никто ей не верил. Люди не хотели ей поверить. Пророки говорили о том, что если люди не обратятся к Богу, то будет катастрофа.

Они говорили это тогда, их слово звучало потом, их слово звучит сегодня, и миллион раз катастрофы приходили. Когда человек попирал духовные ценности, в конце концов он расплачивался за это. Не потому, что Бог наказывает подобно уголовному какому-то судье, а потому что таков нравственный миропорядок: то, что мы сеем, то мы и пожинаем. Это очень важно.

И в конце пророк Исайя, уже будучи старым человеком, казалось бы, уже не веря, что можно что-то сделать с людьми, говорит горькие слова, и все-таки он не теряет надежды: он видит, что приходит время, что придет оно, когда люди перекуют мечи на орала — вы все знаете эти слова, они стали крылатыми, — что кончится злоба на земле, и что весь мир преобразится, и волк ляжет рядом с ягненком. Человек обретет единство с природой и с Богом. Природа стала его врагом, но она снова станет ему другом, и будет новый Эдем.

Та экологическая драма, которая терзает историю человечества, разрешится духовным внутренним переворотом человека. Пророк говорит об этом образно, что ребенок будет играть около норы гадюки и ничто ему не повредит. Исайя умер в очень трудное время.

Надо сказать, что по художественной традиции на древнерусских фресках, особенно знаменитых новгородских фресках пророков Феофана Грека, у Микеланджело и у других скульпторов и художников пророки — это старцы, похожие на вещих колдунов. Это неверно. Пророки, как правило, были молодыми людьми. Мы знаем, что пророку Иеремии было двадцать с чем-то лет, когда он выступил. В начале проповеди каждому из них было, по-видимому, не более тридцати лет. Это были молодые люди, полные сил и энергии, и многие годы они продолжали свою борьбу. Слова — не помогали. И тогда пророки создают нечто для будущего — для завтрашнего, для послезавтрашнего, для сегодняшнего дня. Они

создают «малое стадо», то есть группу учеников «Сыны Пророческие», которые сохраняют их традиции, которые сохраняют их писания.

Приходит время расплаты. Ассирийская империя нажимает, пытается захватить Иерусалим, вся страна уже оккупирована, разрушена, города сожжены, Исайя, уже старик, в осажденном городе. Царь идет к нему и говорит: «Что делать? Сдаваться?» Исайя просит у Бога ответа и чувствует, что ответ приходит: «Нет». Это последний раз милость Божия. И вот какие-то загадочные обстоятельства заставляют ассирийского царя отвести войска от города. Найденные в раскопках многочисленные скелеты показывают, что там была, вероятно, эпидемия. На время гибель отвращена.

Но потом идут другие события. И в конце концов в Иерусалиме к власти приходят военные, они держат в руках своих слабых царей, которые не могут им сопротивляться, и толкают этих царей на безумные затеи — восстания против мировых держав. А для пророков было важней не это, не политическая и международная война, а война со злом внутри церкви ветхозаветной, внутри общины, — вот за что они ратовали и боролись. И вот в этой борьбе в конце концов гибнет и Иерусалим, и царь, и все.

В это время проповедует пророк Иеремия. Многие из вас слышали, наверное, слово «иеремиада», это значит — очень горькая фраза. Иеремия был пророк, о котором мы знаем очень много, больше, чем о других. Он был священником, жил в деревне под Иерусалимом, и Бог призвал его однажды, и он услышал от Него: «Я призвал тебя еще до твоего рождения». И он сказал: «Господи, я не хочу, я юн, я мал, я не смогу». Бог сказал: «Иди. Я поставил тебя пророком для народа и царей».

И вот он идет и говорит: «Если вы не повернете с ложного пути, и город погибнет, и храм погибнет, и святыня, Ковчег Завета — это была главная святыня храма — тоже погибнет». Ну, как должны реагировать на это люди, духовенство, власти, толпа? Они расценили это как кощунство... А он говорит: «Не нужен будет Богу ваш храм, если вы туда приходите без очищенного сердца, и не нужен будет Ковчег Завета, — о нем забудут».

Что такое Ковчег Завета? Это ларец, ящик, который обозначал сосуд для святыни. Не нужно этого ничего будет: раз нет главного, раз нет содержания, форма рассыпается. Естественно, его арестовывают как богохульника и в колодках выставляют у ворот, и все плюют на него, потому что он предатель, изменник. Тогда он пытается все вновь и вновь убедить народ и царя. Он собирает, когда его освободили, на площади толпу и зачитывает пророчество, что гибель неизбежно грядет, если люди не будут внимать слову Божию. Один из царедворцев, встревоженный этими словами, забирает у него свиток и идет к царю.

Царь в это время сидит у себя. Зима, он разложил огонь на драгоценной жаровне и греется. Ему стали зачитывать по частям пророчества Иеремии. А он каждый раз брал прочитанное, отрывал и бросал листок в огонь. И это все, что он сделал, это была его реакция. «Пустое, — сказал он, — не стоит даже слушать, а того — арестовать». Но Иеремия скрылся. А царь бездумно, оказавшись, как я уже говорил, в руках военной партии, опять втянулся в один из военных союзов, оказался в конфликте с Навуходоносором, царем Вавилонской империи, которая в то время владела почти всем древним миром, во всяком случае, восточной его частью, и армия Навуходоносора двинулась на Иерусалим.

И Иеремия вынужден был, с одной стороны, поддерживать людей — приближалась блокада — он был человеком, который любил свое отечество, как каждый нормальный человек, но, с другой стороны, он вынужден был говорить им горькие слова. И царь испугался своего поступка. Иеремия арестован, и царь приходит к нему, сидящему под арестом, и тайно говорит: «Что будет дальше?» Он отвечает: «Гибель. Если вы не прекратите военных действий, — гибель». И царь уходит, но он уже не способен остановить события.

В 1938 году экспедиция археологов обнаружила переписку военных этого времени. Это трагическая переписка, в которой они сообщают друг другу, что город за городом перестают подавать сигналы. Как вы понимаете, тогда не было ни радио, ни телеграфа, ни другой связи, а сигналы подавались огнем: на башне города зажигали огонь, в соседнем городе тоже, и так огненная эстафета бежала. И вот город за городом погружается во мрак, это означает, что противник занимает один город за другим. И там же упомянут пророк, по-видимому, речь идет о Иеремии. Иеремия брошен в яму, где он сидит как предатель, как изменник родины. И формально он таков, хотя среди всех людей не было большего ревнителя своего отечества, и в этом была его глубочайшая трагедия.

А потом еще хуже. Враг берет штурмом город, царь схвачен, ослеплен, отправлен в плен, значительная часть народа депортирована, а Иеремию оккупанты выводят из тюрьмы как героя, потому что он, с их точки зрения, был на их стороне, потому что он советовал царю прекратить военное сопротивление. Вот в этом ужасном, трагическом положении Иеремия пытается что-то возродить. Войска отступают, оставляя в городе гарнизон. Иеремия пытается наладить в городе жизнь, он входит в дружбу с наместником Навуходоносора, принадлежавшим к знати иерусалимской, но тут крайние силы, экстремисты снова поднимают восстание. И когда Навуходоносор снова двинул войска, им приходится всем бежать в Египет. Они берут Иеремию и насильно тащут его в Египет.

Там по-видимому, он и скончался. Но перед смертью он написал пророчество, которое мы можем назвать пророчеством о Надежде. Он говорит: люди разрушили закон, люди разрушили Завет Творца между ними и Богом, но придет новое время, когда Бог заключит с людьми Новый Завет, который будет начертан не на скрижалях каменных, а в сердце человеческом. Этот Новый Завет — вечный Завет. Это было сказано за 500 с лишним лет до нашей эры, до Рождества Христова, до эпохи Нового Завета.

А потом люди оказываются в плену, в изгнании. В те времена, кто попадал на чужбину, теряли и свою веру, и свои обычаи, и свой язык, потому что все перемешивалось. Это так понятно и так естественно. Но пророки, которые ушли с народом в плен, сохранили ветхозаветную церковь как религиозную общину. Храма нет — он превращен в пепелище, жертв больше нет, и они все понимают, что пророки были правы: служение Богу должно быть в увеличении нравственного подвига человека. И вот люди собираются вместе и молятся и читают пророческие книги и каются.

Этому покаянию содействовали два великих человека. Один звался Иезекииль, имени второго мы не знаем, ибо его писания включены в книгу пророка Исайи. Он писал анонимно, а, может быть, его тоже звали Исайя, как и первого пророка в VIII веке. Иезекииль говорит о том, что покаяние приводит к возвращению духа Божия. Иезекииль пишет фантастические, сказочные картины, но что он изображает? Он изображает трагедию, он видит видение: Дом Божий, Храм, в котором царит Дух Божий, слава Господня, сияющее облако. И вот это облако покидает храм — святыня оказывается пустой. В мгновение, как бы не имея траектории, эта святыня останавливается на Вавилонской горе, напротив Иерусалима, и исчезает, исчезает, чтобы уйти далеко, на Восток, в Ирак, в Месопотамию, туда, куда были угнаны те немногие, кто сохранил веру в единого Бога.

И на этих равнинах Месопотамии видит Иезекииль огромный огненный Ковчег, который несется с севера по небу. Его поддерживают четыре существа с лицами человека, льва, орла и быка, — это символы всех живых существ. Эта космическая колесница — образ природы, которая является Ковчегом незримого Творца. Оказывается, Бог не живет в одном месте, оказывается, для него всюду есть место, и там, где есть вера, Он является. На пустынных месопотамских равнинах Он приходит к пророку и говорит, что святыня ушла из разрушенного и отвергнутого Богом города, но она вместе с церковью, вместе с народом Божиим.

А второй пророк, которого мы называем великим анонимом или Исайей-вторым, это один из величайших поэтов, величайших мыслителей, величайших пророков Ветхого Завета. Ему открывается нечто совершенно новое. Он видит, что тот, Кто придет спасти мир, придет совсем не таким образом, как люди ждут, — могучим избавителем, а Он приходит как муж скорбей, приходит отвергнутый, окровавленный, осужденный, нет в Нем ни вида, ни величия. Его ведут на заклание, и Он молчалив, как ягненок, которого волокут, чтобы зарезать.

«Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст Сво-

их; как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его, безгласен». Это из 53-й главы книги Исайи. Все, у кого есть Библия, обязательно обратите внимание на эту главу, внимательно ее прочтите. Там речь произносится от лица царей земных, они являются, как хор в античной трагедии, они говорят: «Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились».

Это место главное для понимания всей сути пророческого движения, оно приводит к тайне страдающего Избавителя. Как Бог страдает от нашего несовершенства, так Его посланник, Царь, Мессия, Христос страдает за мир. И наконец, уже после возвращения из изгнания голос пророков последний раз указывает на пришествие в мир Избавителя.

А когда уже пророки не говорят от лица Божия, то появляются их продолжатели. Один из них — автор книги Ионы Пророка. Эта книга у нас есть в переводе, вы ее можете прочесть в Библиотеке Всемирной литературы. Мне бы хотелось ею завершить обзор пророческих писаний. Это совсем не такая величественная и грозная книга, написанная в нашем понимании, в духе Данте. Это скорее сатира, скорее обличительная книга и, к тому же, это повествование в духе старинной легенды. Жил некогда пророк по имени Иона, которого Бог послал в языческую столицу Ниневию, чтобы обличить там беззакония. Оказывается, для Бога важен грех любого и, в том числе, язычника. Язычник имеет некоторое понятие о добре и зле, значит, отвечает перед Богом. «Иди к ним». Но Иона, зная милосердие Божие, говорит, зачем я пойду к ним, зачем я пойду их предупреждать, пусть погибнут, окаянные, — и пытается убежать от Бога.

Это написано с улыбкой, с иронией — пророк, который пытается убежать от Бога. Он садится на корабль, который едет далеко-далеко — на край света. Тогда Испания считалась краем света. Вот он плывет туда, в конец Средиземного моря. Но Господь Бог не пускает, Он устраивает бурю на море, и в конце концов корабельщики выясняют, из-за кого такое несчастье. Он говорит, это из-за меня, потому что я бегу от лица своего Бога. Они очень добрые люди, они говорят, ну, подожди, попробуем как-нибудь выбраться из положения, и начинают кидать за борт всякую кладь. Но буря продолжается. Тогда Иона говорит, бросайте меня, и все будет в порядке. Они с нежеланием, вынужденно бросают его за борт, но он не погибает: огромная рыба всплывает и проглатывает его. И тогда он понимает, что от Бога никуда не денешься, раз он пророк, он должен идти. И рыба через некоторое время выплевывает его на берег, и он идет в Ниневию. Приходит и объявляет (а это была столица жестокой могущественной Ассирийской империи): «Через три дня, если вы не покаетесь, город ваш будет разрушен». Он, конечно, думал, что эти негодяи не покаются, и, закончив свое слово, удалился на некий пригорок и стал смотреть на город, что же с ним будет. Но, к величайшей его досаде, ниневийцы покаялись. Они вдруг поняли, что жили не так и что их злоба дошла уже до предела. А это действительно было так, понимаете, здесь неважно, был ли в истории Ниневии момент покаяния или нет, это вторично, мы берем сюжет. Короче, покаялись все, и, чтобы показать некоторую ироничность картины, пророк, описывая эту историю, говорит, что покаялись даже младенцы, и скот постился. И Господь отвел гнев.

Иона сидит день, сидит другой — ничего не происходит. Тогда он говорит Богу: «Лучше мне умереть, я же знал, что вот я приду, и будет так все неудачно, получается, что я лжец». И он сидит и мрачно глядит на этот окаянный город. И вдруг утром он видит, что над ним простерло листья чудесное растение, замечательное растение, которое прикрывает его от палящих лучей. Так приятно и комфортно под ним сидеть, он даже почувствовал себя вполне успокоенным. Но взошло солнце, и под лучами его в тот же день растение засохло. Иона был очень раздражительный человек, он сразу же сказал: «Я лучше умру, потому что мне невозможно без этого растения». Тогда Господь спросил его: «Неужели ты так огорчился за растение, которое выросло за одну ночь и на следующий день погибло?» «Да, — он сказал, — да, и до смерти», — такой он был непримиримый. И тогда Господь сказал: «Тебе жалко вот этой травы, которой ты не сажал и не выращивал, которая в одну ночь выросла и в один день пропала, как же Мне не пожалеть Ниневии, города великого, в котором столько тысяч людей, в том числе и детей, и множество скота». Все! И на этом точка. Так кончается повествование.

Оказывается, не какие-то особые касты избранных, а весь мир драгоценен для Бога. Мы находим во всей проповеди Пророков, начиная от Амоса, от VIII века, до второго Исайи вот это великое провозвестие: Закон Божий выйдет из Иерусалима, соберутся к нему все народы, и, когда явится страдающий Мессия, то на Него будут уповать острова — острова это символ Запада. — Он делается светом язычникам, «светом ко просвещению язычников», народам в с е м. Завет, который начался с племенного, родового, потом национального, государственного, наконец, становится всемирным, вселенским Заветом. Этой нотой и завершается пророческая проповедь. Тем самым она подготавливает приход Нового Завета, который уже обращен ко всему миру, который возвещается последним Пророком, Царем и Первосвященником, которого мы называем Господь наш Иисус Христос.

БЛАГАЯ ВЕСТЬ*

Дорогие друзья! В минувший год праздновалось тысячелетие Крещения Руси — одного из важнейших событий в истории культуры и духовности нашего Отечества. В этом году мы справляем 400-летие патриаршества в русской православной церкви, а через 11 лет наша страна и все мировое сообщество будут праздновать двухтысячелетие истории христианства. Поскольку в настоящее время каждый четвертый человек на земле является христианином, то вы сами понимаете, насколько важным будет это торжество, мировое, международное. В каждой стране оно будет протекать по-своему, и мы с вами сейчас живем между этими важными и такими памятными юбилеями.

Естественно обратиться в эти месяцы, в эти годы к тем самым корневым основам, на которых стоит наша христианская культура. Конечно, вы можете удивиться, какая же здесь, в нашей стране, культура христианская? Мы уже привыкли к тому, что наша страна является страной массового атеизма, и христианство далеко не является в ней ведущей религией, ведущим мировоззрением.

Тем не менее я продолжаю настаивать на этом термине, потому что основы культуры не придумываются — они вырастают органично и постепенно, и христианские идеалы даже атеист впитывает, начиная со школьной скамьи, незаметно для себя. Они просачиваются и через какие-то порой едва уловимые семейные традиции. Они просачиваются через всю отечественную классическую литературу, которая насквозь проникнута христианскими идеями. Даже те представители нигилизма и материализма XIX века, которые, казалось бы, отказались от христианских идей, — типа Добролюбова и Чернышевского, — тем не менее они жили этими идеями, нравственный пафос христианства был заложен в самоотверженной героической борьбе этих людей.

Если мы говорим о том, что Лев Толстой создал свою особенную модель веры, которую он считал истинным христианством, которую Церковь не приняла, то тем не менее нравственные ценности христианства являются пространством, средой и воздухом его основных произведений. Я уже не говорю о Ломоносове и Гоголе, я уже не говорю о Достоевском, Алексее Константиновиче Толстом, я не говорю о писателях более позднего времени, — всюду этот дух присутствует.

И не случайно, что Александр Блок, описывая метафорически, символически революционные события 17-го года, изображает носителей нового века, новых свершений, разрушающих старый мир, в единении 12 апостолов, впереди которых идет Иисус Христос.

Говоря в общем, эти ценности — справедливость, добро, правду, само-

* Лекция прочитана 11/IV 1989 г. в Доме культуры им. Горького.

пожертвование, служение ближнему — все это впитала отечественная культура через христианские каналы. Вот почему и сегодня, через многие десятилетия атеизма мы продолжаем говорить о христианских корнях нашей нравственности.

Естественно, корни эти сегодня повреждены и расшатаны. И мы отлично знаем сегодня, какие горькие плоды это подрывание корней принесло в сфере социальной, в сфере этической. Дестабилизация общества происходит всегда, когда духовные и культурные корни оказываются подорванными или хотя бы сильно поврежденными. Тем не менее взгляните на удивительный факт: грозные, тревожные, судьбоносные события, которые потрясали нашу страну на протяжении нескольких поколений, во многом изменили облик ее. И можно было ожидать, что эти премены полностью сметут с лица земли старинные духовные ценности как потерявшие всякий кредит. Однако этого не произошло. Все рухнуло, но христианство осталось.

Я помню военные годы, когда впервые стали разрешать открывать храмы, регистрировать общины церковные, православные. Какое мгновенно жизненное движение началось! Получилась такая картина, как будто бы живая земля была покрыта асфальтом, но вот он где-то треснул, и немедленно молодая зелень пошла из этих трещин. Конечно, она была ущербной, конечно, она росла не так, как могла бы расти на нормальном поле, ей приходилось пролезать через асфальт, однако она все-таки побеждала.

Вы знаете, что такое жизнь и смерть. Я однажды наблюдал в горах, как нежный тонкий корень разломил скалу. Постепенно своим чувствительным хоботком совершая какие-то таинственные действия, он в конце концов заставил ее треснуть, проник внутрь и достиг почвы. Таково свойство жизни. Я бы сказал, таково свойство жизни духовной — ее можно заморозить на время, ее можно законсервировать, ей можно нанести необычайно сильные удары и повреждения, ее можно извратить, наконец, но уничтожить ее нельзя.

Почему? Во-первых, потому что так устроен человек. Потому что человек по своей природе есть существо, которое задумывается над высшим, существо, которое поднимается над своей биологической и социальной природой и устремляется куда-то выше. И только это пространство надбиологическое, сверхъестественное, оно и позволяет крыльям духа раскрыться во всей полноте. Осознает ли это человек как некое религиозное познание или он дает ему другие названия, но тем не менее он верит в смысл жизни.

Не подумайте вовсе, что это какая-то слепая вера — нет. Слепая вера не могла создать таких мощных цветов и плодов культуры, какими были Андрей Рублев и Достоевский, какими были Данте, Паскаль, Блаженный Августин и многие другие великие творцы человеческой культуры. Сегодня мы знаем, что за бездуховность приходится расплачиваться. Почему? Да потому, что она есть измена самому себе. Она есть отбрасывание человека обратно по эволюционной лестнице вниз, к живому существу, для которого важно прежде всего напитаться и иметь место для жилья, размножиться и умереть. Безнаказанным такой возврат не проходит. И поэтому мы сегодня говорим, что нынешние дни являются для нас днями праздника. И не только потому, что есть юбилеи, а потому что люди, от которых зависит очень многое в нашей стране, осознали, поняли, что нельзя пренебрегать тем, что составляло основу культуры.

При встрече с Патриархом М. С. Горбачев говорил, что у нас общая родина и общая история. Это прекрасные слова. Наконец-то понято, что люди, принадлежащие к христианской Церкви или другим религиозным объединениям нашей страны, которых миллионы, несмотря на все события, что эти люди являются не просто частью общества, но что они остались носителями некоего исторического идеала, того, что связывает нас с прошлым, которое живет в настоящем и имеет цель в будущем. Это мудро, это своевременно, быть может, это последний исторический момент, когда можно было что-то изменить.

Вы все прекрасно знаете, что разрушать гораздо легче, чем строить. Не раз меня на встречах в научных и учебных учреждениях спрашивали, а будет ли восстановлен Храм Христа Спасителя? Что я мог ответить?

Теперь это намного труднее сделать, чем сохранить его в свое время. «Ломать — не строить», — гласит народная пословица. Это относится не только к камням, это относится не только к видимым памятникам — это относится и к человеческой душе. Когда ей наносятся раны, когда человек в конце концов достигает уже в юности определенного уровня цинизма, когда он перестает подходить к личности как к священному, когда он уже не знает никаких границ, путей, идеалов, когда он над всем издевается, он является душевной развалиной, душевными руинами, нравственным трупом, — это очень страшно.

И это страшно не только в каком-то личном плане. И в личном это, конечно, страшно, — это страшно в социальном, в общественном, в политическом плане, потому что люди, которые ни во что не ставят других людей, в конце концов становятся опасны друг для друга, ибо вырываются не просто страсти, а вырываются некие темные демонические стихии. Мы с вами уже не раз были свидетелями этого процесса. Он возникает не внезапно. Прежде чем нацистские фанатики, эсесовцы и другие перестали быть человечными, этому предшествовал длительный процесс дехристианизации Германии, дехристианизации общества. Я не буду сейчас отвлекать ваше внимание на то, как это все происходило, но это происходило, и происходило под знаменем науки, естествознания, которые совершенно в этом не виноваты. Но люди хотели подменить духовность наукой, то есть внешней цивилизацией.

А есть разница между культурой и цивилизацией. Цивилизация по-своему есть и у зверя. Когда животное устраивает свою жизнь, добывает себе пищу, делает себе гнездо, — это примитивные зачатки цивилизации. Когда человек благоустраивает свою жизнь, — это цивилизация. Но когда человек творит, когда человек строит свои отношения друг с другом, относится к природе с уважением и с любовью, когда он познает и когда он, наконец, чувствует величие вечности, когда в нем просыпается его глубинное, духовное, религиозное сознание, — вот тогда это и есть культура.

Когда человек живет только для цивилизации, он в конце концов оказывается как бы лишенным корневых человеческих основ. И вот сегодня, когда мы размышляем о том, как была создана тысячелетняя культура в России, и спрашиваем себя, а как была создана мировая христианская культура, обнимающая сегодня полтора миллиарда людей на земле, вы должны себя спросить: что двигало и что движет этими создателями великих соборов, прославленных икон, в которых, казалось бы, отражаются все краски земли и неба, этих священных гимнов, этой музыки, которая сейчас стала опять звучать и по радио, и по телевидению, и в концертных залах. Что двигало богословами, великими философами — а ведь в России самые крупные философы были религиозными мыслителями: Владимир Соловьев, Бердяев, Сергий Булгаков, Флоренский. Сейчас о них общественность уже постепенно узнает. Что двигало Достоевским и Гоголем, что двигало всей массой того, что было лучшего в культуре?

Ответ на это сосредоточен в одном слове: Евангелие. Вот корень, стержень, ядро и смысл всего христианства. Слово «Евангелие» — греческое, оно обозначает «радостную весть». Радостная новость, радостное сообщение — таково провозвестие Христа. Оно лежит в основе христианской веры. Она потому и называется христианской, что неотделима от Него.

Можно отделить философа от его философии. Можно отделить политического мыслителя от его идеи. Совершенно необязательно знать, кто такой был Ом, чтобы знать закон Ома. И совершенно необязательно знать биографию Эйнштейна, чтобы изучать его теорию относительности. Но совершенно иначе обстоит дело, когда речь идет о Евангелии. Здесь перед нами таинственное единство — провозвестие и личность. Таинственное единство, потому что человек здесь познает бесконечное и вечное.

Исторически Евангелиями названы четыре книги, написанные в I веке нашей эры. Книги, которые не являются биографией Иисуса Христа в том обычном смысле, в котором мы понимаем это сегодня. Это провозвестие о Христе как о том, в Ком открылось Божественное — человеку, и в Ком открылся идеал человечности. Не абстрактный, не отвлеченный, не пу-

стой, а совершенно конкретный. Настолько конкретный, что люди, не знавшие Христа во время его земной жизни, продолжают его ощущать так, как будто бы они его встречали на своем пути и постоянно.

Один из великих учителей христианства Апостол Павел, младший современник евангельских событий, то есть земной жизни Христа, был обращен в христианство не людьми, а он встретил Христа на своем внутреннем пути. Кроме того, он встретил его в тот момент, когда он шел из Иерусалима в Дамаск, чтобы преследовать и гнать там христиан. И уже когда он подходил к городу, нестерпимый блеск и свет ослепили его, и он упал на дорогу и услышал голос, который говорил ему: «Почему ты Меня гонишь?» — «Кто Ты, мой господин?» — спросил он. И услышал ответ: «Я Иисус, которого ты преследуешь». Это не легенда, не фантазия. Сам Апостол Павел об этом не раз повествует. Кроме того, это вообще перевернуло всю его жизнь. С этого момента он из врага становится последователем Христа и несет Евангелие — Радостную Весть — по всему тогдашнему Древнему миру, по всему Средиземноморью, преодолевая бесконечные препятствия.

Павел — лишь только первый из тех, кто пережил опыт живой встречи с Христом. Первый среди многих, среди бесчисленного числа многих. И на этом все стоит.

В Новом Завете Христос говорит: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец. И еще он говорит: «Я есть дверь». То есть врата в Вечность. Когда апостол ученик Филипп сказал ему: «Покажи нам небесного Отца», — по простоте своей сказал, думая, что Он явит тайну Божию, Христос ответил: «Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня. Тот, кто видел Меня, видел Отца».

Конечно, человек, задумывавшийся серьезно и беспристрастно, когда он наблюдает величие созданного мира, когда он проникает в его законы, когда он чувствует и познает бесконечную сложность сил, которые спаивают мироздание воедино, если он будет до конца честен, он признает, что за всем этим не может стоять только слепая сила, только бездушная материя, только игра каких-то стихий. Нет, разумное порождается только разумом. Книгу может написать только писатель, обладающий даром и сознанием. А ведь природа — это удивительная книга. Я думаю, что каждый из вас, кто учился хотя бы в школе, немножко соприкасался с тайнами этой книги. Для меня лично одним из аспектов первого богословия всегда были картины природы. Она как бы кричала о том, что за ней стоит величайшая тайна, величайшая, абсолютная тайна. Что за ней стоит величайший разум, абсолютный Разум. Что за ней стоит Творец, что она является совершенным шедевром, сложнейшим механизмом, организмом, единством.

Но для человека этого мало. Он ищет также эту тайну во внутреннем своем познании. Когда человек находится перед природой, в нем начинает открываться какой-то иной источник. Мы сейчас все его как бы не замечаем. А ведь он очень важен. Почему не замечаем? Да мы бежим просто. Мы бежим непрерывно, погруженные в суету. Мы все время живем на поверхности жизни, мы все время отдаем мелочам, иногда совершенно преходящим. Мы не замечаем ни друг друга, ни жизни, ни окружающего мира. Мы, как зачумленные, хотя ведь жизнь коротка. Некоторые говорят: вот придет пенсия, тогда я буду размышлять. Но не каждому дано дожить до пенсии и, как знают хорошо пенсионеры, суета не кончается. Суете нет конца. Если мы не положим ей сами конец, она будет нас пожирать. В силу этого обстоятельства мы просто-напросто забыли о главном: мы потеряли, для чего человек существует. И некоторые, в отчаянии разводя руками, говорят: ну вот, живем для детей. Но дети такие же люди.

Почему мы потеряли главное, что составляет суть человеческой природы? А ведь со времен каменного века человек знал, что он не простое существо, что он как-то таинственно соотнесен с высшим, божественным, что в нем есть некая искра вечности. Мы ее в себе глушим, топим, не даем ей расцвести, не даем ей раскрыться и потом удивляемся, почему жизнь такая нудная, скучная, серая, почему мы так от всего отвращаемся, почему рождается озлобление и прочее.

Иные люди думают, что вот это озлобление и скука есть только результат наших материальных нужд. Не стану отрицать, когда человек долго стоит в очереди, когда он утомлен, когда он издерган окружающими людьми, конечно, это мало способствует хорошему состоянию души. Но поверьте, совсем не в этом дело. Вот одно из простых доказательств.

В современных странах, где наиболее развит материальный уровень цивилизации, который, честно говоря, далеко обогнал нас, что мы могли ожидать? Да, например, шведам не приходится стоять в очереди, у них многое к услугам, то, что нам не снилось. И что же вы думаете? Они иные люди? Они стали прекрасными, счастливыми, добрыми, благородными? — Ничего подобного. Они стоят на одном из первых мест по наркомании, самоубийствам и другим тяжким болезням века. Оказывается, внешнее благосостояние не решает проблему. Оно, конечно, нужно, оно является естественным, нормальным условием для человеческого существования, и надо бороться за то, чтобы человек имел достойные условия. Но я говорю о другом. Я говорю о той роковой ошибке, что только материальные ценности могут человека преобразить, изменить и жизнь его сделать полностью счастливой. Нам трудно это понять, нам трудно, потому что мы страна, пережившая несколько войн, переворотов, революций, страна, которая испытала много трудностей, и нам кажется, как голодному человеку кажется, что вот ему принесут поесть — и он будет вовеки счастлив.

Но на самом деле этого недостаточно. Вот почему Христос и повторяет для всех нас на все века древние слова из Библии, из Ветхого Завета: «Не хлебом единым жив будет человек, а словом, исходящим из уст Божиих». Вот этим Словом и стал Он Сам, потому что для нас недостаточно только знать о первопричине мира, недостаточно только прикасаться к тайне в самоуглубленности духа, потому что мы с вами — люди. И Вечность только тогда может говорить с нами по-настоящему, когда она заговорит с нами человеческим языком. И эти слова вечности — есть Слово Христа, есть Слово Евангелия.

Разумеется, кто будет подходить к этой книге без соответствующего духовного, внутреннего настроя, не поймет этой силы. Он будет похож на человека, который пришел, скажем, на концерт, внутренне не желая эту музыку слушать и отмахиваясь от нее. Всегда нужны подготовка и настрой. Возьмите простой пример. Сейчас в связи с юбилеем Крещения Руси у нас было много выставок икон. А ведь было время, когда к иконам относились просто как к неумелым произведениям примитивного искусства. Людям, которые привыкли к краснощеким дояркам на полотнах, трудно было понять рублевскую «Троицу» и звенигородского «Спаса». Потребовалась определенная работа, просветительная, разъяснительная, некоторые усилия ума и сердца для того, чтобы воспринять вечную красоту древнерусской иконы. Это же относится и к Библии и, прежде всего, к Евангелию как главной книге Библии. Евангелие читают и лекторы антирелигиозные, и любой грамотный человек может его прочесть, но для них это, как с гуся вода, они абсолютно остаются глухи.

У Толстого есть описание балета, сделанное глазами человека, который полностью чужд этому. Замечательно написано. Только гений мог так написать. Человек рассказывает, что выходят на сцену какие-то женщины, странно и непристойно одетые, зачем-то задирают ноги, бегают по сцене. Странно, для чего это. Он так же поступил и с «Королем Лиром». Описал: ну, что это за пьеса? Что за трагедия? Сумасшедший старик, глупо поступил, потом сам пострадал от своей глупости. В своей книге об искусстве он так сумел изобразить сюжет «Короля Лира», что действительно все это выглядит как чепуха. Но Толстой есть на то и Толстой. Он сумел так перевернуть и изобразить это слепое видение.

Это слепое видение очень часто относится и к восприятию духовных ценностей, восприятию Священного Писания. Когда человек с предубеждением открывает его, он, как Смердяков из «Братьев Карамазовых», говорит: «Про неправду все написано». Вы помните, там был такой герой Смердяков, лакей, убийца. Он все время был недоволен, что в Библии не то сказано, «про неправду все написано». Вот такой подход часто бывал в нашей антирелигиозной литературе. Смердяковщина мешала и подрастающему поколению увидеть даже просто художественную ценность Библейских текстов и подойти к Евангелию объективно.

Сила этой книги скрыта в ней, и она живет века. И это удивительная вещь. Она пугала своих противников, вот тех смердяковых, поэтому они не дали этой книге прийти к людям, к народу. Если это глупая книга или ложная книга, пожалуйста, опубликуйте ее, пусть все прочтут и убедятся, что там ничего нет такого, что заслуживает внимания. Однако с 21-го по 56-й год у нас вообще не издавалось Евангелие, и только в 56-м году стало издаваться очень ограниченным тиражом. Оказывается, смердяковы боялись этой книги. И боятся до сих пор. Это свидетельство серьезное и важное. Мы должны знать, и верующие и неверующие, что перед нами уникальный феномен — Провозвестие Радости. В чем же эта радость?

Она заключается в том, что человек не один, что человек не случаен, что мир и история не случайны, что все, что совершается, входит в огромный, грандиозный, превышающий наши познания план и замысел. Что река истории, река мироздания течет в океан Вечности, что человек является образом и подобием Творца и что каждый из нас волен, свободен этот образ в себе раскрывать, очищать и поднимать или, наоборот, затемнять, грязнить и топтать. Что человек имеет свободу, что он перед Богом ответственен поэтому. Что человек является творцом. И только тогда, когда сыны Адамовы приникнут к этому духовному источнику, они вдруг почувствуют, что насыщаются по-настоящему, что их жажда будет насыщена.

Христос говорит: «Кто хочет пить, иди ко Мне и пей. Пей из источника живой воды». И не раз Он употреблял этот образ — живую воду дает Он. Однажды в жаркий полдень Он шел через земли самарян, враждебной иудеям секты. И, остановившись у колодца, отдыхал. Подошла женщина, самарянка, с кувшином. Он сказал ей: «Дай Мне напиться». Она ответила: «Ну, мы же, самаряне, с вами, иудеями, не сообщаемся, даже не пьем вместе, как же ты это предлагаешь?» Он говорит: «Да если бы ты знала, Кто с тобой говорит, ты бы сама у Меня попросила пить, Я тебе дам воду живую и ты никогда не захочешь пить». Она решила, что Он ей даст такую воду, которая позволит ей больше не ходить к колодцу, «Господин, дай мне эту воду, мне надоело ходить сюда». Она Его не поняла сначала, но потом, после разговора с Ним, даже очень поняла. Она поняла непонятное для многих. Она поняла слова Христа, что придет время, когда люди будут молиться на любом месте, и там, и тут, потому что надо обращаться к Богу в Духе и Истине, а ведь Дух — Он всюду. Женщина выслушала Его, побежала в свою деревню и сказала соседям: «Там какой-то человек, он мне сказал все, не Он ли Тот, что придет спасти мир?» Она Его поняла.

Итак, Евангелие это есть живая вода.

И, наконец, в заключение, главное, о чем мы с вами, я надеюсь, еще встретившись, продолжим разговор.

Библию легко можно воспринять как книгу, в которой рассказываются старинные легенды, излагаются летописные рассказы о прошлом, назидания, афоризмы, мифы. Все это есть. И в любом учебнике вы найдете именно такое определение: так, какой-то сборник, сборник старинных историй и легенд. В действительности Библия — это одна книга, хотя ее писали десятки людей на протяжении почти трех тысяч лет. И главным действующим лицом, скрытым или явным, в ней является Христос. Ветхий Завет — та часть Библии, которая написана в дохристианское время, дышит ожиданием. Он устремлен, как стрела, натянутая на тетиву, он устремлен в будущее.

В Новом Завете — свершение того, что предчувствовалось и предсказывалось в Ветхом Завете. Новый Завет говорит о явлении Христа, устремлен к будущему тоже. Потому что для Откровения Христа история — это не просто вереница событий, по которой ползут люди и погибают, как высохшие осенью листья, а история — это замысел Божий. И мы, бессмертные существа, отдадим земле свое тело, но дух каждого из нас войдет в это единое целое, войдет в это созидание. Дух неразрушим, это железный закон, и не только дух наш останется соучастником великого восхождения всей природы и человеческого рода, не только дух, и новая, преображенная плоть. Так учит нас Библия.

Все это — будущее. Оно живет уже теперь и сегодня. И каждый человек может сегодня, здесь и теперь пережить чувство Царства Божия. Когда властвуют не эгоизм, не злоба, не тьма, не ненависть, не мрак, не стихии, не только материальные интересы, а когда властвует Божественное, когда властвует духовное, когда властвует Господь.

Вот это и есть то, что Христос называл Царством Божиим, — царствует Бог. Мы в обычном разговоре говорим: «Ну, Царство ему небесное», когда умер человек. Этого совсем недостаточно. Царство не по ту сторону гроба, оно всюду, всюду, где только человек ощутил себя перед лицом Вечного. Царство уже наступает. Вот поэтому Евангелие есть прежде всего весть о Царстве, а Царем в нем является Он Сам, Иисус Назарянин, который пришел в мир, учил людей, через Него говорил Бог, Который умер, умер на кресте, как последний преступник, Который победил смерть и, явившись ученикам, сказал им: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я заповедал вам, и вот Я с вами во все дни до скончания века. Аминь».

Так Он сказал. И эти слова непреложны, потому что не учение, не книга, не скрижаль, а опыт Христа, сила Христа остается с нами. Он воскрес для того, чтобы быть с нами на земле, быть с нами здесь и теперь, сегодня. Аминь.

Публикация Н. Ф. Григоренко.

Текст подготовила А. Я. Андреева

Е. Гениева

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

О. Александра Меня убили ранним утром 9 сентября 1990 г. Виделась я с ним последний раз вечером 7 сентября. Встреча наша произошла не как обычно, в церкви Сретения в Новой деревне, но в Библиотеке иностранной литературы, где о. Александр был частым и желанным гостем. 7 сентября по заранее оговоренному расписанию он начал свой второй курс, историю Библии — первый («Символ веры») при огромном стечении народа он читал на протяжении всего 1989 г.

Встретились мы после долгого перерыва. Летом то он был в отъезде (в Италии), то я. Потому и радость моя от встречи с ним была особенной, и вопросов, тем для разговора накопилось немало.

Сейчас, когда после этой ужасной трагедии, с которой отказывается смириться и разум, и сердце, прошел год, детали нашей последней встречи и разговоров, детали последних часов, которые мне довелось провести с ним, проступают особенно остро, видятся и понимаются иначе, чем тогда, осенним вечером 7 сентября.

О. Александр приехал в Библиотеку в 17.45. Лекция начиналась в 18.00, а потому у него было несколько минут, чтобы перевести дух — до этого была лекция в Литературном институте, а еще раньше — литургия, требы, и на протяжении всего дня — встречи, разговоры.

«Выпьете чаю?» — спросила я.— «Да,— сразу ответил о. Александр,— я ужасно голоден. Три дня ничего не ел».— «Так уж три дня?» — «Да,— обезоруживающе улыбаясь, сказал он,— писал».

Мне бы спросить, что он так погруженно писал, ведь известно, что убийца вырвал портфель, в котором была эта рукопись. Но о. Александр все время что-то писал, к тому же я судорожно соображала, чем его накормить — была пятница, постный день.

«У меня есть только ветчина»,— с растерянностью сказала я.— «Мне теперь все можно»,— последовал удививший меня тогда ответ. Он и в самом деле был очень голоден. Но вот на часах 18.00, мы идем в зал, я представляю о. Александра аудитории, а сама с сожалением ухожу, потому что за несколько часов до начала лекции в Библиотеку приехал огромный грузовик из Парижа:

издательство ИМКА-ПРЕСС прислало 40 000 книг для выставки и продажи.

Вслед за грузовиком 13 сентября должен был приехать и глава издательства Никита Алексеевич Струве, о чем знал о. Александр, который состоял в многолетней переписке с Никитой Алексееичем. Они никогда не виделись, и вот теперь эта встреча должна была состояться не только на листе бумаги.

Книги — да еще такие (ведь совсем недавно за чтение многих из них давали срок) — требовали оформления всяческих таможенных формальностей, в которые я и углубилась. А потому сама не слышала, какие вопросы задали о. Александру в конце лекции. Одна из его слушательниц, с которой я встретилась на похоронах о. Александра, сообщила, что ему прислали три записки весьма странного содержания. В них были такие вопросы: «Боится ли он смерти?», «Можно ли убить муравья?», «Можно ли убить священника?». Мне о. Александр об этих записках ничего не говорил. Проверить, были ли такие вопросы, трудно. Записки о. Александр всегда забирал с собой. А про угрозы, которые при жизни получал многократно, никогда не говорил. Те, кто видел его накануне убийства, т. е. 8 сентября, отмечали какую-то особую, не свойственную ему суровость. Со мной он был обычный — веселый, готовый в любую секунду обсуждать планы, проблемы. Правда, кое-что сейчас, когда его уже нет, кажется иным.

После лекции наш путь лежал в одну сторону — к Загорску. О. Александр жил в Семхозе в полутора часах езды от Москвы на электричке (и этот путь он проделывал за последние годы, когда читал по десять лекций в неделю, почти ежедневно). Мой — на дачу, на 43 км. Так что еще час мы могли провести вместе. О. Александр отлично знал расписание вечерних поездов. И потому, когда я начала его торопить на поезд, сказал: «Давайте попьем еще чаю. Есть еще пять минут». Теперь я знаю точно: ему не хотелось уходить. Уже разоблачившись, он вдруг задал вопрос, которого я от него никогда не слышала: «Нет ли у Вас сегодня машины?»

Машины, как назло, не было, не было и кого-нибудь из прихожан, кто довез бы о. Александра хотя бы до Ярославского вокзала. Но вот когда мы выходили из Библиотеки, мое внимание привлекла машина, стоящая напротив входа. В ней сидело несколько крепких молодых людей. Все мои мысли были о ценных книгах в грузовике, пришедшем из Парижа, а потому я попросила одного из дежуривших милиционеров понаблюдать за машиной. Машина настолько мне не понравилась, что я даже записала ее номер и передала в следственные органы. Знают следственные органы и еще одну деталь. На следующее утро, опять-таки по делам ИМКА-ПРЕСС, мне пришлось приехать в Библиотеку. Увидев стоящий грузовик, я успокоилась: книги в сохранности, и только для порядка спросила у милиционеров, что было с той машиной. «Она сразу уехала, как только вы ушли». Однако никакой реакции на переданную в следственные органы информацию не последовало.

По дороге к метро Таганская о. Александр вдруг сказал: «А Вы бы заказали дополнительный наряд милиции. Книг на многие тысячи рублей». Трудно сказать, что он на самом деле имел в виду.

Ехали мы на Александровском поезде. То был вечер пятницы. Люди возвращались с работы. Поезд набит до отказа, душно, грязно. Ни одного свободного места. Наконец нашли скамейку, у которой с мясом было выворочено сиденье. О. Александр поместил на торчащие железки свой портфель, я пристроила сумку. Теперь можно было спокойно поговорить. У меня к нему было много просьб — своих и чужих: кого покрестить, кого повенчать, кого просто увидеть, подбодрить. Он полез за «кондуитом» — своим еженедельником. И тут портфель, которого через день не стало, вывернулся на грязный, заплеванный пол. Выпала ряса, крест, папка с рукописью, еженедельник, очки. Сколько раз я перечисляла содержимое портфеля под протоколы следователям. Мы бросились поднимать содержимое: в голове пульсировала мысль — ну что мы за народ, если один из его великих сынов, крупный теолог, богослов, философ, проповедник, встречи с которым ищут самые яркие умы нашего века, который стольких людей вынул из петли, стольким страждущим душам принес облегчение своими книгами и проповедями, вот так каждый день один едет в поезде, идет по темной дорожке через лес...

В моем еженедельнике остались числа будущих встреч отца Александра, которым не суждено было состояться. Участие в церемонии открытия выставки ИМКА-ПРЕСС 14 сентября. Встреча с Никитой Алексеевичем Струве в Новой Деревне и в Семхозе, планы будущих книг, новых статей, журнала «Мир Библии».

Никита Алексеевич приехал в Россию, когда о. Александра похоронили. Отвесив земной поклон у его могилы, сказал: «Я получил письмо от него о нашей будущей встрече, когда его уже не было в живых. Оно у меня в кармане».

Я не могу с уверенностью утверждать, что о. Александр знал, что часы его сочтены, когда мы ехали 7 сентября вечером к Загорску. Но чувствую душой, что он прощался — не со мной, но с моей пятнадцатилетней дочерью, которую знал с детства. Она была с нами в Библиотеке, и когда мы доехали до станции Пушкино, где нам надо было пересаживаться на другой поезд, моя Даша протянула руки под благословение. О. Александр крепко прижал ее к себе, благословил со словами: «Расти, Даша». Я не очень понимала, что происходит. Такие порывы были у него не часто. Теперь знаю — он прощался.

Знаю и какой наказ он дал своим духовным детям. Я в ту пору вернулась из Англии, где встретила знакомых, поменявших свое постоянное место жительства. Говорила с о. Александром о том, что вдруг столько людей уезжает, не выдерживая напряжения нашей жизни, ее тягот. «Все так, очень трудно,— сказал о. Александр.— Но наше место здесь».

Выйдя на платформу на станции Пушкино, я посмотрела в окно и увидела, что, наконец, о. Александр нашел местечко, раскрыл портфель, достал бумагу и принялся что-то писать.

Фазиль Искандер

СВЕТЯЩИЙСЯ ЧЕЛОВЕК

С отцом Александром Менем познакомила меня поэтесса Тамара Жирмунская. Сама она пришла к нему в тяжелейшие для себя дни, и он, по ее словам, собрал ее по кускам, вдохнул жизнь и поставил на ноги. Позже и от многих других людей я слышал подобные слова.

Впервые мы встретились за городом в доме наших общих знакомых. Я увидел человека редкой физической красоты и духовного обаяния. Знакомясь с человеком значительным, обычно некоторое время испытываешь отчуждение, трудность нащупать точки соприкосновения, пока не выйдешь на разговор, близкий и дорогой тебе и ему.

В данном случае ничего такого не происходило. Казалось, я встретился с человеком давно знакомым. С первой же секунды полился интересный разговор, казалось, давно начатый и случайно прерванный. Кстати, выяснилось, что я с ним действительно был знаком, только заочно. Я читал несколько его прекрасных богословских книг, изданных на Западе. Книги издавались под разными псевдонимами.

Я думал, авторы этих книг живут на Западе. Этим для меня объяснялась их огромная эрудиция: сиди себе в любой крупной библиотеке и изучай первоисточники на всех языках. Но авторы русские, думал я, и явно родились на Западе, вдали от корней православной религии, откуда же такая живость, неакадемичность, мощь этического напряжения? Откуда они знают, как писать для нас? И тут все выяснилось. Священник маленькой подмосковной церквушки отец Александр, конечно, знал, как писать для нас.

Да, общаться с ним было необычайно легко. Я думал, трудность общения с незнакомым человеком основана на боязни невольно оскорбить самолюбие человека чуждым ему образом твоих мыслей. Чем самолюбивее человек, независимо от степени его одаренности, тем плотнее его окружает оболочка самозащиты. И это

мы чувствуем и невольно сами осторожничаем. Здесь было совсем другое. Абсолютное, полное безразличие к тому, что о нем подумают другие люди. Я полагаю, его великая верность делу Бога оборачивалась в общении с людьми совершенно непроизвольной доброжелательностью.

Помнится, речь зашла о людях темных, агрессивных, попросту говоря, мракобесах. Как быть, как к ним относиться?

— Пока человек жив,— сказал он уверенно,— он не погиб для Бога. Как раз с такими людьми надо чаще всего общаться. Спорь, доказывай, подымай их до истины Спасителя. А что толку общаться с людьми, которые думают, как мы... Непроизводительно... Жизнь слишком коротка...

Как-то после этих слов не совсем было ясно, насколько производительно наше общение с ним. Но великое дело искренность, обаяние непосредственности. Все с улыбкой переглянулись и направили свою производительность на закуски.

Стол был небогат, но интеллигенция на выдумки хитра: хозяйка испекла чудный пирог. Выпив две-три рюмки водки, отец Александр неожиданно отставил свою рюмку и сказал:

— Меня водка все равно не берет. Так что не будем портить на меня этот дефицитный сегодня продукт.

Слова его прозвучали как-то по-мальчишески мило. Казалось, он гордится своей физической крепостью. В самом деле он производил впечатление очень сильного и необычайно бодрого человека. После этого застолья мне приходилось с ним несколько раз сидеть в компании, он не отставлял рюмки, однако и в самом деле не хмелел. По-видимому, алкоголь никогда не мог подняться до уровня его природного воодушевления.

Бывают очень бодрые люди, которые меня лично как-то раздражают. От этой бодрости, от этого динамического самодовольства как-то цепенеешь, впадаешь в какое-то странное уныние как бы для того, чтобы соблюсти такт и, притормозив собственную жизнь, выровнять общую скорость жизни. Однако бывает обидно.

Бодрость отца Александра была совсем другого рода. От его улыбчивой бодрости, от его света включался и твой собственный свет, хорошело. И так было каждый раз, когда я с ним виделся. Такое чудное свойство было в натуре этого человека.

Вот обрывки воспоминаний от той первой встречи. Речь зашла о юморе.

— Юмор — высший дар человеку,— сказал он,— из всех живых существ юмор чувствует только человек... Только человеку дано видеть себя смешным... Это отчасти божественный взгляд на себя...

— А как же собака,— сказал я,— по-моему, собака чувствует юмор. Иногда она почти улыбается.

— Ну, собака,— ответил он ничуть не смутившись,— собака почти человек.

Я вспомнил, как однажды у одного новообращенного нашего христианина спросил, какая разница между православием и католичеством. Разумеется, я имел в виду не ритуалы, а философскую разницу. Мой новообращенный знакомый почему-то сильно рассердился на мой вопрос. Подозреваю, что рассердился, потому что сам не знал, в чем разница.

— Какое невежество! — воскликнул он.— Как можно православие сравнивать с жалким католицизмом.

Вспомнив об этом случае, я решил воспользоваться эрудицией отца Александра и задал ему тот же вопрос. Однако ответ был неожиданный.

— Да никакой разницы,— с жаром ответил он,— мы нагромоздили баррикады с обеих сторон и только сейчас начинаем их разгребать...

В самом деле, если ты пьешь живую воду из могучего источника учения Христа, имеет ли большое значение форма сосуда, которым ты черпаешь эту воду? Имеет ли решающее значение, как ты пьешь эту воду? Стоя? Сидя? Маленькими глотками или залпом?

Разумеется, надо уважать традицию народа, который так, а не иначе привык утолять свою духовную жажду. Но и нельзя не понимать, что чем меньше человека утоляет само учение, чем автоматичнее он пьет из сосуда, тем придирчивее он относится к форме сосуда, чтобы скрыть свое равнодушие к его содержанию. Эти маленькие хитрости человеческой психологии не раз приводили к великим религиозным раздорам.

Я тогда не знал, что именно эта беспримерная широта отца Александра, кстати, отличительная особенность русской философской и религиозной мысли, его страстное желание примирить и включить всех в дело возрождения России, вызывала в некоторых людях яростную ненависть к нему. Я не знал, а сам он никогда об этом не говорил. Может, ближайшие друзья об этом знали, но я ничего не знал. После его страшной, трагической гибели выяснилось, что он получал угрожающие письма. Но он это даже от жены скрывал, чтобы не волновать домашних. Жена потом говорила, что в последнее время, вечерами приходя домой, он тут же зажигал свет во всех комнатах. При его ясном уме и спокойном мужестве что это означало? Идет охота? Отгонял зверей светом? Хотел показать, что в доме гости, и нападение нерентабельно?

Но до всего этого было далеко в тот первый вечер нашего знакомства, о котором я сейчас вспоминаю. Разговор зашел об одном священнике, которого арестовали, а потом так или иначе вынудили публично отречься от своих взглядов. После этого его отпустили на свободу, и он, кажется, тяжело переживал свое малодушие. Оказывается, отец Александр его хорошо знал.

— Это прекрасный человек! — воскликнул он,— но я ему всегда говорил — церковь не место для политической проповеди. Всегда! Но он меня не слушал. Значит, неубедительно говорил. Я виноват. Никак не выберусь в Москву. Надо утешить его. Он прекрасный человек...

Я заметил ему, что некоторые атеисты, не все, конечно, но некоторые при подобных обстоятельствах держались гораздо крепче.

— Да,— согласился он,— так бывает. У атеиста, если он при этом честный человек, вырабатывается за жизнь огромная практика опоры на самого себя.

Религиозный человек, и это доказывает история, не раз проявлял чудеса стойкости. Но человек есть человек со всеми его слабостями. Бывает, в трудные минуты религиозный человек вдруг утрачивает связь с Богом. Телефон не соединяет с небом. Бывают такие минуты и дни. И тут религиозный человек делается слабее атеиста, у него нет привычки опираться на самого себя. Он силен, пока связан с Богом.

Разговор зашел о литературе. Далеко не со всеми его мыслями я мог согласиться, но то, что он говорил, было интересно. Как всегда, речь зашла о Солженицыне. Я сказал, что Солженицын при всех своих огромных достоинствах, видимо, писатель без воображения. Когда он писал о личном опыте или о том, что было близко его личному опыту, он был велик. А когда он стал писать о том, чего он лично не знал, что требовало большого писательского воображения, талант его потускнел.

Отец Александр круто не согласился.

— Что вы! Что вы! — вскричал он.— Я знал Солженицына. Это был интереснейший собеседник. У него была редкая фантазия!

Я не стал спорить на тему о том, что бурная фантазия интересного собеседника и воображение писателя это не одно и то же.

Разговор зашел о «Мастере и Маргарите» Булгакова. Высоко оценив роман, он сказал:

— Иешуа, конечно, не Христос. Просто Булгакову нужен был оппонент Пилату.

Не помню сейчас, развивал ли он эту мысль, но помню, и у меня были подобные сомнения, когда я первый раз читал эту блистательную книжку. В булгаковском Иешуа нет поэтического таинства Богочеловека. Он просто умный и очень добрый человек. Когда он по жестам и гримасам Пилата угадывает его мысли, он несколько комичен, как библейский Шерлок Холмс. Судя по прекрасным воспоминаниям Виталия Виленкина, который имел счастье слышать чтение многих глав романа в исполнении самого Булгакова, автор надеялся, что роман будет

опубликовав. Возможно, по этой причине он отстраиился от мистической сущности своего героя.

Тут отца Александра попросили рассказать об Иуде. И это была великолепная лекция. Но, увы, многие подробности ее я забыл, ибо, в отличие от отца Александра, продолжал пить водку, в том числе и его долю, и при этом никак не могу сказать, что водка меня не берет.

Он начал с того, что сам интерес к Иуде невольно укрупняет фигуру этого достаточно банального человека. По словам отца Александра, предательству Иуды предшествовало разочарование в Учителе. Он примкнул к делу Христа, надеясь пожать из него вполне земные плоды. Был момент, когда учение Христа приобрело такую популярность, что он мог без особого труда взять в свои руки власть над Иудеей. Но Христос действительно не стремился к земной власти, и Иуда, видимо, решил, что это полоумный юродивый. И потом, когда схлынула популярность Христа и отречься от него стало выгодно, он его предал. И, возможно, отомстил за поруганную мечту быть одним из советников царя Иудеи. Это, впрочем, я добавляю от себя.

Не помню по какому поводу, кто-то стал рассказывать о березовой роще, расположенной недалеко от дома, где мы гостили.

— Обожаю молиться в березовой роще! — воскликнул отец Александр, и все рассмеялись.

Тут он стал собираться. Было часов девять вечера. Оказывается, один из его прихожан впал в уныние, и он обещал зайти к нему домой и подбодрить его.

Конечно, его уговаривали остаться, но это было бесполезно. Уходя в дождливую, ветреную ночь, он быстро и весело одевался, как мы с вами раздеваемся, приходя в дом, где нас ждет дружеское застолье. Когда он ушел, остался осадок тревоги, как бы какой-нибудь хулиган к нему не прицепился. Хозяйка дома знала, куда он идет, и сказала, что туда пилить еще с полчаса.

В другой раз мы шли к нему домой. От электрички до его дома минут пятнадцать хода. Но прошло много времени, пока мы добрались до его дома. Несколько раз на дороге его останавливали прихожанки. Издали окликнув его, почти подбегали к нему и начинали говорить о каких-то домашних делах. Я отходил, чтобы не смущать этих женщин. Успел услышать, как одна жаловалась на мужа: опять запил.

Я ждал в сторонке, дивясь его великому терпению. И это ведь каждый день: служба в церкви, помощь прихожанам в любое время и книги, написанные втайне от полиции (когда? ночью? в электричках?), хотя в них никогда никакой политики не было. Впрочем, было нечто большее, чем всякая политика. Там была слава великому Сеятелю, цветению жизни, бессмертию духа.

Он был светом нашей Родины и для нашей Родины. И его за это убили. Какой силы свет, покажет только будущее. А если вновь мрак накроет нашу страну, мы поймем: откуда пришел мрак, оттуда и пришел убийца.

Евгений Стариков

УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ

О понятии маргинальности мне уже доводилось писать в «Знамени» два года назад (№ 10 за 1989 год). К сожалению, с той поры состояние общества не улучшилось — продолжается разрушение социальных связей, понижение уровня социальности, деклассирование — все то, что именуется социальной энтропией и имеет множество причин. Так как о них достаточно подробно велась речь в упомянутой публикации, думаю, что теперь довольно напомнить о них лишь вкратце.

В первую очередь необходимо указать на причины экономические — на экстенсивное развитие экономики, засилье устаревших технологий и примитивных форм труда, несоответствие системы образования (в том числе и профессионально-технического) реальным потребностям производства, статусно-распределительный характер доходов и т. д. С этим вплотную связаны социальные причины маргинализации — гипертрофия фонда накопления в ущерб фонду потребления, порождающая предельно низкий уровень жизни и товарный дефицит. Низкое качество жизни, в свою очередь, вызывает такие явления, как алкоголизм и прочие токсикомании, а они, в совокупности с другими мутагенными факторами, ведут к появлению огромного числа неполноценных индивидов. Среди политико-правовых причин маргинализации общества главная заключается в том, что с 1929 по 1985 год в стране происходило целенаправленное разрушение любых социальных связей «по горизонтали», то есть уничтожение гражданского общества. Необходимо обратить внимание и на социально-психологические причины, прежде всего на крах морали, что, в свою очередь, порождает особую социально-психологическую болезнь — аномию, ведущую к духовному босячеству и психологическому деклассированию. Наконец, есть причина маргинализации, которую трудно однозначно отнести к экономическим, политическим или психологическим: речь о социальных последствиях природных и общественных катастроф и их жертвах.

Попробуем обратиться к динамике идущего на наших глазах процесса маргинализации, причем будем пользоваться данными, которые доступны в сущности каждому.

Мигранты. Экстенсивное развитие индустрии всегда и во всех странах порождает мощные миграционные потоки, стягивая в промышленные центры рабочую силу из сел и малых городов. Большие города бурно разбухают, их социальная инфраструктура трещит по швам, так как не в состоянии поглотить нахлынувшие людские массы. У нас эти неизбежные процессы приобрели столь уродливо-гипертрофированный характер, что с 1977 года было запрещено публиковать данные о миграциях населения. По оценкам экспертов, масштабы «переселения народов» в нашей стране намного превышают те, которые были характерны для США в период их наиболее интенсивной колонизации. С 1951 по 1979 год ежегодный «выброс» из деревни составлял примерно 1,7 миллиона человек (чистая потеря населения деревней, то есть разница между количеством

переселенцев из села в город и из города в село), и лишь недавно этот показатель начал снижаться: 1,4 миллиона в 1988-ом и 764 тысячи в 1989 году. За время между переписями 1979 и 1989 годов увеличилась семья городов-«миллионеров»: их теперь уже не восемнадцать, а двадцать три — добавились Алма-Ата, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону и Уфа. В целом же за тридцать лет — с 1959-го по 1989-й — количество горожан возросло со 100 миллионов до 189 миллионов, а количество сельских жителей уменьшилось со 109 миллионов до 98 миллионов.

И хотя большинство населения проживает в городах, по происхождению своему оно сельское. Горожан третьего поколения (только их можно считать горожанами в полной мере) в среднем не более 15 процентов населения городов (среди занятого населения — 13 процентов). Около 7 процентов горожан всего пять лет назад жили в сельской местности. В городах-«миллионерах» бывшие сельские жители составляют треть занятого населения, в больших городах — 46 процентов, в средних — 65.

Сейчас взрослые селяне все реже переезжают в город, высокий уровень миграции поддерживается в основном за счет их детей, когда те оканчивают школу. Одним из каналов такой миграции стала система образования: несоответствие расположения учебных заведений расселению людей вызывает переезд молодежи из села в город. Миграция «учебная» неразрывна с «девичьей»: окончив в деревне школу, юноши могут найти применение полученным знаниям, стать механизаторами, а девушкам приходится уезжать в город. Вот и получается, что молодым людям в деревне и жениться не на ком, остается только последовать за невестами.

Все меньше остается людей на селе в Полтавской, Тульской, Рязанской, Калининской, Курской, Ивановской, Тамбовской областях. Среди сельского населения смертность превышает рождаемость в Центральном и прилегающих к нему районах.

Массовая миграция из села бьет не только по самому селу, но и по городу, ведет к разложению и сельской, и городской культуры, к нарастанию энтропийных процессов — и экономических, и духовных, разрушению моральных норм, девальвации этических ценностей. Короче говоря, сломан морально-этический «скелет» человеческого поведения, нет точки отсчета добра и зла, все моральные категории размыты и относительны. Еще в 1956 году американский социолог Говард Беккер писал о нарастании бездуховности в сельских обществах, где «потеря культуры благодаря отставанию» приводит к постепенному разрушению норм и «каждое последующее поколение обладает меньшим количеством технических экспрессивных и контрольных возможностей культуры предков, чем их предшественники, и в результате образуется бесформенная расползающаяся масса созданий, чье поведение почти не поддается предсказанию даже для них самих». Беккер описал «естественную» моральную деградацию, происходящую в «изолированных сельских обществах» вследствие «медленного ослабления ограничений». У нас на селе моральная деградация носит не столько «естественный» (из-за «культурного отставания»), сколько искусственно-принудительный характер. Принципиальная аморальность власти не могла не затронуть нравственность села. Вспомнить хотя бы приказ запахивать кладбища, чтобы расширить посевные площади.

В числе причин морального одичания села миграция занимает далеко не последнее место. Уезжают наиболее работоспособные, энергичные, молодые, из деревни вымывается интеллектуальный потенциал (80 процентов специалистов сельского хозяйства перебрались в город). На их место город сбрасывает в село человеческий шлак — это криминогенные элементы, бывшие заключенные, которые иначе не могут обрести жилье, прописку и работу. Тюремно-лагерные представления и нравы уголовного дна все шире расползаются по сельским местностям, особенно примыкающим к столичным городам. Таким образом, миграционные потоки своеобразно распределяются: названная ранее цифра в 1,4 миллиона человек, на которую в 1988 году увеличилось городское население за счет села, это разница между 3,4 миллиона уехавших в город и 2 миллионами, приехавшими в село. Естественно, что далеко не все эти два миллиона — уголовники, но тем не менее процент их очень велик.

Свой вклад в моральную деградацию села внесли и войска, строящие там дороги и «обогащающие» таким образом сельский быт вдобавок к уголовным и казарменными нравами. «Сегодня «деревенские преступления» отличаются сколь нелепой, столь и дикой, извращенной жестокостью... Знаменитые сельские драки до первой крови сменились побоищами до первой (до второй, третьей, пятой...) смерти. Вместо поездок на лошадях в ночное — массовое конокрадство с циничным издевательством над животными. В милицейских сводках то и дело мелькают сообщения об убийствах на почве пьянства друг друга родственниками. Есть села, где групповые подростковые изнасилования приобрели просто-напросто обыденный характер»,— писали в «Комсомольской правде» Т. Белая и В. Савенков. Пьянство на селе достигло катастрофических размеров, причем пьют и женщины. Так что многие дети страдают врожденной умственной отсталостью, олигофренией.

Обосновавшись в городе, сельский мигрант утрачивает лучшие нормативные образцы сельской культуры, не приобщаясь при этом к культуре городской. Социальная инфраструктура городов не поспевает за бурным миграционным процессом, и мигрант надолго, иногда на всю жизнь, ощущает себя выбитым из колеи.

Особо неблагополучно в этом плане положение городов малых, служащих промежуточным этапом и как бы стартовой площадкой сельским мигрантам для их последующего прыжка в большой город. Ибо миграция в нашей стране так же, как и в странах «третьего мира», развивается по трехступенчатой схеме: село — малый город — большой город. Более половины жителей малых городов родилось в сельской местности, коренных горожан (в третьем поколении) в них всего 7 процентов. Основная специфика малых городов (а к ним относится треть городов страны) в том, что треть занятых там на производстве вообще не их жители, а сельчане, не занимающиеся сельским хозяйством. Да и основная масса горожан первого поколения надолго в малом городе не задерживается. Таким образом, малым городам уготована жалкая роль перевалочного пункта, временной остановки на пути из села к манящим огням большого города. Некогда уютные и своеобразные, малые города, превратившись в транзитные пункты миграционных потоков, утратили не только «лица необщее выраженье», но и всякую надежду приобрести его.

Кроме «сельской», «девичьей» и «учебной» миграции существуют мощные миграционные потоки на Север, в Сибирь и на Дальний Восток. Направляют эти потоки ведомства, заинтересованные в дешевой рабочей силе. Причем дешевизна определяется не уровнем зарплаты (на грандиозных стройках Севера неквалифицированный труд оплачивается гораздо выше квалифицированного), а ничтожными затратами ведомств на обустройство сорванных по их воле с насиженных мест людей. Если за 70—80-е годы население Сибири увеличилось на 20 процентов, то мощности инфраструктуры только на 1,5 процента. И сложившиеся в Сибири и на Дальнем Востоке диспропорции растут: темпы жилищного строительства все больше отстают от темпов строительства промышленного.

Установился своеобразный феномен северного временительства: плюшкинская экономия на «человеческом факторе» дает весьма относительный сиюминутный выигрыш в средствах, но вызовет их колоссальный перерасход в будущем. Завезенная «рабсила» методом самостроя возводит бесчисленные «копай-города», «муравейники», «нахаловки» и «шанхаи», имеющие стопроцентную аналогию во «временных» маргинальных кварталах латиноамериканских городов — всех этих «фавеллах», «бидонвиллях», «ранчос», «барриадас» и «колониас пролетарис». Как свидетельствует корреспондент «Известий» Ю. Переплеткин, в одном только Надыме в 1434 балках живет около пяти тысяч человек. То же в Нижневартовске, Новом Уренгое, Нефтеюганске. Даже там, где ведомства вынуждены раскошелиться на строительство жилья, магазины, больницы и ясли, они оставляют на усмотрение исполкомов. А местные Советы — абсолютно нищие и деньги на социальную инфраструктуру должны клянчить у тех же ведомств. Таким образом, главный деформирующий фактор в осваиваемых регионах — засилье «вертикальных» ведомственных структур, их преобладание над «горизонтальными», терри-

ториальными. Новые поселки и города развиваются не по генеральному плану, а в соответствии с интересами министерств и ведомств, с их сиюминутными требованиями. Каждое ведомство создает свою собственную социальную инфраструктуру и численность его работников неоправданно увеличивается на 10—15 процентов. С началом освоения новых районов там резко падает качество жизни: ухудшаются все показатели, касающиеся здоровья, образования, культуры, структуры питания, использования свободного времени и т. д. Поэтому стабильные общности не формируются: устойчивость численности населения достигается за счет баланса его притока и оттока. Так, за последние двадцать лет в Якутию приехало более одного миллиона человек и столько же оттуда выехало. И это при общей численности населения республики чуть более миллиона!

Вот так, в условиях северного временительства и колоссальной текучести «рабсилы», миллионы, если не десятки миллионов людей пропускаются через особую «барачную» субкультуру. Изменился сам тип личности северянина. Как свидетельствует главный социолог «Главтюменьгеологии» А. Н. Силин, «среди приезжего населения менее всего ценятся интеллигентность, совестливость, образованность, заметна тенденция снижения ценности личности, а нередко и самой жизни человека». Короче говоря, здесь те же тенденции, что и в селах центральной России. «В новых поселениях Севера не налажен и правовой контроль,— продолжает А. Н. Силин.— А доля ранее судимых тут выше, чем где бы то ни было. Поэтому здесь наиболее значительны деформации половой морали (гомосексуализм в поселках Заполярья, проституция в городах Северного Приобья). Лишены стабильности семейные отношения, что тоже вызвано особенностями структуры населения (например, в Ямало-Ненецком автономном округе женщины составляют лишь треть населения). Большая часть расходов молодых северян приходится на спиртные напитки и азартные игры».

Следствием всеобъемлющего дефицита и материального убожества становится стравливание людей между собой, дробление и иерархизация социальной структуры. Эта закономерность отмечена всеми социологами, а в свое время ее четко сформулировал Дж. Оруэлл: «Это — обдуманная политика... ибо общая скудость повышает значение мелких привилегий и тем увеличивает различия между одной группой и другой... Это — социальная атмосфера осажденного города, где разница между богатством и нищетой заключается в обладании куском конины... В конечном счете иерархическое общество зиждется только на нищете и невежестве». Ведомственная разобщенность участников «освоения», пользующихся отдельными инфраструктурами и ревниво оберегающими их от «чужаков», дополняется противоречиями между «аборигенами» и «пришельцами», рабочими и управленцами, старшим поколением и молодежью, пионерами первой и последующих волн освоения, между постоянными жителями и вахтовиками и, наконец, между землячествами. Естественные трудности, вызванные климатическими условиями, не сближают, не сплачивают территориальные общности, но, будучи сдобрены искусственными трудностями сугубо социального свойства, наоборот, дробят сообщество на множество враждующих фракций.

Неоправданно затянувшееся экстенсивное развитие экономики страны сорвало со своих родных мест огромные массы людей и переместило их не только из села в город и из европейской части страны в ее неосвоенные регионы, но и из регионов компактного проживания их национальности в другие республики. Этот во многом бессмысленный и разрушительный процесс привел к тому, что более 60 миллионов людей проживают вне границ своих национальных республик. В результате территориально-культурная маргинальность как бы умножается на этнокультурную, приводя к этнической эрозии многих наций, к негласному разделению труда между представителями разных национальностей, а следовательно, к появлению наций с неполной социальной структурой. Многие национальные конфликты были заложены, таким образом, не только сталинской национальной политикой, но и ведомственным произволом последующих лет. На сентябрьском Пленуме ЦК КПСС (1989 года) представитель КПЭ сказал: «На глазах одного поколения доля эстонцев в наш й республике упала с 92 процентов до 60 процентов и продолжает уменьшаться. Может ли, спрашивается, нация оставаться безучастной к таким процессам».

Чернорабочие и подневольная «рабсила». В то время как на Западе бурно развивался процесс реиндустриализации, то есть перевод экономики с индустриального на информационно-наукоемкий и автоматизированный уровень технологии, наша экономика шла по прежнему пути экстенсивного тиражирования индустриальных и еще более низких технологий. Поэтому на производстве скапливались старые машины и оборудование, снижающие технический уровень. Примерно половина машин и оборудования была введена в действие пятнадцать и более лет назад, а треть превысила средний возраст оборудования, выбывающего из-за ветхости и износа. По данным Н. И. Рыжкова, из 1,9 триллиона рублей основных производственных фондов 40 процентов изношены. Старые машины требуют ремонта и восстановления и потому численность вспомогательных работников, занятых ручным трудом, не уменьшается, а увеличивается. Их доля уже давно не только сравнялась с долей основных рабочих в промышленности, но и постоянно возрастает. Если в США соотношение вспомогательных рабочих к основным — менее одного к трем, то у нас — более одного к одному. В промышленности только на погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке грузов и контрольных операциях занято более 15 процентов всех рабочих — 4,5 миллиона человек; уровень механизации вспомогательных работ в 2,3 раза ниже, чем основных.

Высокие технологии («хайтек» — от английского «high technology») внедряются не только в ограниченном объеме, но, что самое главное, как отдельные точки, сопряженные со все теми же доиндустриальными производствами, которые уродливо дополняют их, разрастаясь в геометрической прогрессии. Например, установленные на КамАЗе автоматические линии работают некомплексно: если на такой линии предусмотрена автоматическая загрузка заготовок в индуктор, то на практике это оборудование не действует и его заменяют неквалифицированные рабочие (зачастую женщины), которые загружают тяжелые заготовки вручную. И положение это не меняется, ибо неквалифицированный труд очень дешев и нет нужды отлаживать всю автоматическую цепочку. Ситуация аналогична той, что была в колониальной Индии начала XX века: на металлургических заводах Тата, оснащенных новейшим по тем временам оборудованием, шихту в «модерновые» домны вручную загружали носильщики-кули.

Неполная механизация и автоматизация производственных процессов приводит к тому, что все меньше нужно высококвалифицированных рабочих для выполнения сложных операций. Сложилась парадоксальная ситуация: внедрение НТП не только не улучшает профессиональную структуру рабочего класса, но прямо деформирует ее, увеличивая удельный вес чернорабочих, обслуживающих эти самые «высокие технологии». В наших условиях компьютер оказался напрямую сопряжен с кувалдой: на передовых по технологии советских предприятиях работников в 3—10 раз больше, чем на аналогичных производствах в развитых странах.

В целом в сфере «хайтека» у нас менее шестой части рабочих (в том числе лишь 2,2 процента — так называемые рабочие-интеллигенты, аналогичные западным «золотым воротничкам»), в индустриальном труде—половина рабочего класса, а в доиндустриальных и раннеиндустриальных технологиях — треть. Кстати сказать, наибольшая концентрация таких технологий — в малых городах. В крупнейших и крупных городах доля таких работников в три раза ниже. (Примечательно, что партия, считающая себя авангардной, имеет сколь-нибудь значительную массовую поддержку именно в малых городах.) Столь большая масса доиндустриальных технологий, консервируемых и тиражируемых в условиях засилья дорыночных ведомственных монополий, не может не порождать социального иждивенчества миллионов трудоспособных людей, использующих эти неэффективные технологии. Фактически можно говорить о косвенном (а порой и прямом) паразитировании огромного социального слоя, находящегося на периферии производственного процесса и живущего за счет работников более производительного труда. По некоторым оценкам, бесполезным трудом у нас занято 40—50 мил-

лионов человек. Это особый социальный тип дотоварного, дорыночного производителя, во многом аналогичный западному «предпролетариату» или «городскому плебсу» Нового времени. Потребительские стандарты этих людей крайне низки, потребности стабильны, ограничены. Низким потребностям соответствуют низкая производительность труда и ориентация на использование примитивных технологий, неконкурентный тип поведения. Основная социальная установка— получать хотя и низкий, но стабильный доход, защищенный от любых рыночных колебаний и поветрий. Новая техника, равно как и рынок, вызывает у таких работников страх и ненависть. Их политические ориентации можно охарактеризовать как хомейнистский по своей сути синтез луддизма и антизападнической ксенофобии. Этот низовой и массовый консерватизм работников дотоварного типа, маргиналов смыкается с верхушечным консерватизмом номенклатуры. Низкий культурный уровень и высокая степень алкоголизации этих работников способствуют и низкому уровню их политической активности. К примеру, попытки-заигрывания со стороны «Памяти» не встретили в их среде сколь-нибудь заметного отклика. По-прежнему социальной основой наших национал-патриотов остаются незначительные фракции интеллигенции в первом поколении, точнее, полу- или люмпен-интеллигенции. Это не значит, что угроза правонационалистического популизма снята с повестки дня из-за отсутствия массовой базы. Но все же сегодня эти пассивно-апатичные, деморализованные слои если и просыпаются к активной политической жизни, то более склонны идти на поводу начальственного, аппаратного популизма РКП, ОФТ и официальных профсоюзов. Ведь эти слои всецело зависят от аппарата, который гарантирует им незаработанную ренту-зарплату. Хорошие отношения с начальством вместо хорошей работы — вот их девиз. Данные социологических исследований, полученные Ленинградским Центром изучения и прогнозирования социальных процессов, свидетельствуют о высокой степени совпадения политических позиций чернорабочих со взглядами работников аппарата управления. Их общим идеологическим знаменателем оказалась платформа ОФТ.

Доиндустриальные и раннеиндустриальные технологии — экологические ниши, в которых концентрируется низкая степень трудовой мотивации и высокая степень морального и физического разложения. Подобные «работники» не только не желают переучиваться—они органически неспособны перейти на более высокие технологии и склонны передвинуться на еще более дальнюю периферию производства (временные, сезонные и поденные работы) и за его пределы, превратившись в бичей. По данным В. Моисеева, до 40 процентов бичей добровольно отказались трудиться — уволились по собственному желанию, а еще около 30 процентов были уволены за прогулы и систематическое появление на работе в нетрезвом состоянии. Потребности бичей еще более низки и примитивны, нежели потребности чернорабочих, фактически ограничены сохранением физического существования. Примитивным потребностям соответствуют и примитивные формы производственной деятельности, зачастую опускающиеся до уровня того, что в археологии и этнографии именуется «присваивающим хозяйством»: сбор дикоросов, а также бутылок, вторсырья, рыбная ловля и т. п.

Общая численность «бичевой» криминогенной армии составляла в 1989 году 6 миллионов человек (сейчас значительно больше). За последние десять — пятнадцать лет не только резко возросло количество бичей, но и произошло их «омоложение». Раньше это были в основном люди среднего возраста, владевшие многими специальностями. Сейчас же воспроизводство бичей осуществляется в основном за счет молодежи, не прошедшей школы производства, но приобщившейся уже к тюремно-лагерным нравам (зачастую — еще в школе или ПТУ). Ныне каждому третьему тунеядцу и каждому четвертому бродяге не более тридцати лет. Две трети бродяг и пятая часть тунеядцев ранее привлекались к уголовной ответственности, причем криминогенность этого слоя все увеличивается. Скапливаясь в районах ускоренного хозяйственного освоения (на Дальнем Востоке, например), этот контингент проявляет тенденцию к простейшим формам социальной самоорганизации. Правда, говорить о каких-либо политических ориентациях тут не приходится — у люмпенов они попросту отсутствуют, но следует учитывать возможность их использования правоэкстремистскими организациями в качестве погромной силы, как это было с городскими маргиналами в Сумгаите. Однако наиболее часто (в Фергане, Оше и других районах Средней Азии) в этой роли выступала несколько иная люмпенская группа — сельские пауперы. Судебные эксперты и начальники ВВ МВД свидетельствовали: «Даже мы... были ошеломлены дикостью и садизмом убийц»; «я видел события в Сумгаите, но это не идет ни в какое сравнение с ферганским кошмаром. Отличия: невероятная, патологическая жестокость, на которую способен только преступный мир». Эти отличия типичны для сельского люмпена дотоварного типа. Именно сельские пауперы, преимущественно молодые, стали социальной базой Пол Пота в Кампучии. Многомиллионная «скрытая» и явная безработица среди населения наших южных республик плодит этот социальный тип. Корреспондент «Комсомольской правды» Сергей Кузьмин писал о нем: «Как правило, это молодой человек из сельского района, нигде не работающий и, следовательно, не имеющий средств к существованию... Есть тысячная армия вооруженных люмпенов, которых в любой момент можно направить в нужную кому-либо сторону. Зачем работать, если можно безнаказанно грабить? Зачем стоять в очереди на квартиру, если, припугнув кого-нибудь, можно занять его освободившийся дом? Зачем добиваться повышения по службе, если, подбросив листовку с угрозами в адрес начальника, завтра займешь его место?»

Десятки миллионов маргиналов дотоварного типа — чернорабочие, бичи, сельские пауперы, в принципе не способные ни при каких условиях включиться в новые экономические структуры, по рукам и ногам вяжут прогрессивные преобразования в стране. Структурная перестройка народного хозяйства и переход к рыночным отношениям поставят эту огромную социальную периферию перед трудноразрешимой проблемой самосохранения. Испытав на себе удары рынка рабочей силы и высоких технологий, она неизбежно резко усилит свою политическую активность, ответив самыми крайними формами люмпенского бунтарства, поставит массовые отряды «политической пехоты» для наиболее реакционных, обскурантистских политических организаций. В истории это случалось уже не раз — от движения ихэтуаней в Китае 1900 года до «красных кхмеров» и иранского «базара», поддержавшего в свое время Хомейни. В нашей стране именно подобные социальные слои поставляли кадры сначала для «черной сотни» в 1905—1907 годах, а затем составили массовую базу большевизма, уничтожив все прогрессивные завоевания столыпинской реформы и отбросив страну к докапиталистическим производственным отношениям — в объятия рабовладельческого (ГУЛАГ) и крепостнического (колхозы) экономических укладов. Сейчас ситуация несколько иная — эти слои уже не составляют абсолютного большинства населения. Тем не менее их удельный вес по-прежнему необыкновенно высок, и это обусловливает чрезвычайно отсталый характер социальной структуры советского общества, делая ее во многом аналогичной социальной структуре стран «третьего мира».

Наличие в нашем производстве больших массивов доиндустриальных технологий с примитивными ручными орудиями труда автоматически порождает соответствующие им докапиталистические экономические уклады, основанные на разной степени внеэкономического принуждения—от чисто рабского (зэки, стройбат, дисбат, желдорбат, обитатели ЛТП, ПНД, БНС и т. д.) до крепостнического (лимитчики, «химики», иностранные рабочие и т. д.). Наличие же подневольной рабсилы, в свою очередь, консервирует предельно низкий уровень фондовооруженности, «развращая» министерства и ведомства, не заинтересованные во внедрении новой технологии и компенсирующие ее отсутствие привлечением новых категорий невольников. Если до 1955 года основной такой категорией были зэки, то резкое сокращение лагерной системы вызвало к жизни стройбат и прочие кое-как закамуфлированные формы рабского состояния, несовместимые с конвенцией Международной организации труда от 10—28 июня 1930 года «О принудительном или обязательном труде» (к которой СССР присоединился в 1956 году).

Главное управление по исправительным делам (ГУИД) МВД СССР — прямой наследник Главного управления лагерей (ГУЛАГ). В его подчинении нахо-

дятся исправительно-трудовые колонии (ИТК), воспитательно-трудовые колонии несовершеннолетних (ВТК), воспитательно-трудовые профилактории для бродяг, попрошаек, тунеядцев (ВТП), лечебно-трудовые профилактории для алкоголиков и наркоманов (ЛТП). Коллега ГУИДа — Отдел воспитательно-трудовых учреждений (ОВТУ) ведает спецкомендатурами для «условников». Экономически все эти колонии и «профилактории» — не самостоятельные производства, а ф и л и а л ы ведомственных предприятий. Например, Колпинская ВТК — фактически один из цехов Ленинградского оптико-механического объединения (ЛОМО). Фондовооруженность тюремных производств в пять раз ниже, чем на подобных предприятиях народного хозяйства, а производительность труда ниже в полтора раза. При развертывании предприятий, основанных на рабском труде, экономия на социальной инфраструктуре — двадцатикратная по сравнению с затратами на привлечение обычных рабочих с семьями, а любовь наших ведомств к подобной экономии нам хорошо известна. В целом за 1988 год в колониях было выпущено продукции на 12 миллиардов рублей, из них на 2,5 миллиарда — товаров народного потребления. Более тысячи «исправительных» заведений производят 144 тысячи видов изделий, в том числе для военно-промышленного комплекса, а также на экспорт. Чистая прибыль за 1990 год — 1005 миллионов рублей, из которых 67 процентов забирает Министерство финансов. Как свидетельствует в «Известиях» знаток проблемы Леонид Шинкарев, «нет в мире другого общества, где тюремная система интересовала бы государство более всего как источник дохода... Отношение к тюремной системе как к источнику наживы — причина, по которой Совет Европы по исполнению уголовных наказаний (он объединяет двадцать три государства) отказывается принять в свои ряды Советский Союз». После недавней амнистии количество заключенных в ИТУ уменьшилось почти вдвое (на середину 1990 года в колониях содержалось 764 813 человек, в следственных изоляторах — около 205 тысяч), однако производственный план сократился всего на четверть. Так что заключенным многих колоний приходится работать по 10—16 часов ежедневно, без выходных.

Во многих случаях бок о бок с расконвоированными заключенными работают военные строители. Да и живут они зачастую в бывших тюрьмах и колониях. Прежних зэков во многих частях до 20 процентов. Так же как и зэки, стройбатовцы приписаны к различным министерствам и ведомствам и потому имеют к армии весьма условное отношение, хотя и содержатся за счет оборонного бюджета. Для ведомств же эта рабсила абсолютно дармовая: «по штатной численности не проходит, платить отчисления в бюджет за использование трудоресурсов не надо, строить и благоустраивать общежития не обязательно—сойдет и конюшня»,— писала «Комсомольская правда». На начало 1990 года двадцать гражданских министерств эксплуатировали 327 тысяч стройбатовцев, а вместе с железнодорожными войсками их численность составила 540 тысяч человек. Как горделиво сообщил на первом Съезде народных депутатов СССР бывший начальник ГЛАВПУРа генерал армии А. Д. Лизичев, объем капитального строительства, проводимого стройбатами,— 4 миллиарда рублей, более двадцати соединений ведут дорожное строительство в Российском Нечерноземье (о разлагающем воздействии стройбатовцев на сельское население уже упоминалось). К этим цифрам можно было бы добавить и такие: более 40 процентов всех преступлений по СА и ВМФ приходится на стройбаты...

Эксплуатирующие стройбатовцев ведомства оказали ожесточенное сопротивление попыткам Комитета по вопросам обороны и государственной безопасности Верховного Совета СССР расформировать все ВСО в 1991 году. Четырем министерствам удалось оттянуть сроки расформирования своей дармовой рабсилы.

От советских рабов перейдем к советским крепостным. Прежде всего это лимитчики — люди, отданные на произвол все тех же ведомств, лишенные в течение первых пяти-шести лет жизни в столичном городе права на постоянную прописку, а в течение десяти лет — возможности встать на очередь за жильем в райисполкоме. Им нельзя создавать семью — иначе немедленно лишатся места в общежитии и временной прописки. «Лимит» так же, как ИТУ и ВСО, развращающе действует на ведомства: консервируется уровень фондовооруженности,

замедляются темпы НТП, техника заменяется дешевой и покорной рабсилой, трещит по швам и без того дохлая городская социальная инфраструктура. В отличие от зэков и стройбатовцев лимитчики все-таки не рабы и могут уйти с предприятия, на которое поступили, если условия труда и быта для них невыносимы. Так и поступило около половины московских лимитчиков. Положение мигрантов, само по себе чреватое стрессами, значительно осложнено бесправностью «лимиты», а это, в свою очередь, ведет к расшатыванию трудовой дисциплины и общественного порядка. После введения ограничений на «лимит» тут же начал действовать другой канал перекачки дешевой рабсилы в города — ПТУ (скрытая форма все того же «лимита»).

В 1990 году в народном хозяйстве СССР работало около 200 тысяч человек из одиннадцати социалистических стран. Среди них больше всего было вьетнамцев — 82 тысячи. Они выполняли самые неквалифицированные, низкооплачиваемые операции на 363 предприятиях в 70 областях шести союзных республик. Условия были драконовские: вьетнамцы не могли перейти на другое предприятие, домой предстояло поехать в отпуск только через три года, женщинам под угрозой высылки запретили рожать. С экономической точки зрения вьетнамцы даже выгоднее отечественных лимитчиков — им некуда бежать, поэтому нет текучки. За полтора-два года вьетнамец полностью отрабатывает все расходы на проезд, обучение, вещевую ссуду и зарплату, а все остальное время (для женщин срок пребывания не более четырех лет, для мужчин — шесть) он приносит ведомству чистый доход. Поэтому, несмотря на все связанные с пребыванием иностранных рабочих моральные и чисто криминальные издержки, действие договора о вьетнамских рабочих продлено до конца 1994 года, а на 1991 год в СССР были приглашены еще 14 тысяч и н о с т р а н н ы х р а б о ч и х. Впечатление такое, что ведомства органически неспособны заменить подневольный дешевый труд современной техникой, намереваются и дальше латать экономические прорехи посредством внеэкономического принуждения. Короче говоря, министерства и ведомства первой страны победившего социализма остаются крупнейшими в мире рабовладельцами. Но в этом смысле они не одиноки. Газеты уже сообщали о появлении в южных республиках частновладельческих плантаций, где бичи и бомжи работают под надзором свирепых надсмотрщиков от зари до зари за чай с хлебом и нары в землянке. Одним словом, дожили...

Есть основания поразмыслить о принципиальной невозможности соблюдения в нашей стране прав человека, отмены паспортной системы, трудовых книжек, института прописки и прочих крепостнических штучек до тех пор, пока существуют ведомственные монополии, органически неспособные обойтись без внеэкономического принуждения, самой своей природой тяготеющие к воссозданию ГУЛАГа все в новых и новых формах.

Среди работников можно выделить тех, чей профессиональный или культурный уровень не соответствует занимаемым рабочим местам: их квалификация или выше, или же ниже требуемой. В данном случае нас интересуют первые, и вот почему. Английский профессор социологии Станислав Андрески вывел такую закономерность: «Образование, которое не помогает в работе, не открывает путь к продвижению по служебной лестнице, не приносит подлинного интеллектуального или художественного удовлетворения, может породить лишь неудовлетворенность работой, которую вынужден делать человек и которую он, следовательно, будет делать х у ж е, н е ж е л и п р и о т с у т с т в и и у н е г о п о д о б н о г о о б р а з о в а н и я (разрядка моя.— **Е. С.**). Это относится даже к элементарному образованию, рассматриваемому как средство социальной мобильности, но главным образом применимо к образованию высшему. Перепроизводство выпускников вузов является вернейшим из известных средств для порождения подрывных движений». Именно такое положение сложилось у нас с инженерами и некоторыми другими категориями специалистов. Если в 1960 году доля инженеров в общем выпуске вузов составляла 28 процентов, то в 1970-м — 41, а в 1980-м — 44. И только в 1987 году наметилось небольшое снижение. Сейчас в нашей промышленности инженеров в пять раз больше, чем в промышленности США. Как результат — девальвация инженерной профессии, падение ее престижности и за-

работной платы до уровня более низкого, чем у чернорабочих, и нарастающий исход с инженерных должностей в рабочие профессии. Более 20 процентов ИТР сменили профессию и занимаются трудом, не требующим высокой квалификации. А если к инженерам добавить всех дипломированных специалистов, включая учителей, врачей, агрономов, то окажется, что 4 миллиона человек (около 12 процентов общей численности специалистов) трудится не по специальности. Всего же, по данным социологических опросов, 39 процентов окончивших вузы считают выполняемую ими работу не достойной той квалификации, которую они получили. В их числе особую социальную группу составляют представители гуманитарных профессий, вытесненные бюрократическим давлением на творческий процесс в период застоя в сферу физического (как правило, неквалифицированного) труда. Философ-дворник, писатель-истопник так же, как и агроном-секретарша или инженер-грузчик,— показатель не только грубейших сбоев административной системы подготовки и распределения кадров, искусственно-уродливой политики заработной платы, но и свидетельство накопления социального горючего материала. Ибо человек творческого труда, вынужденный заниматься ради куска хлеба рутинной неинтересной работой,— это олицетворение социального динамита. Исторический опыт показывает, что подобная люмпен-интеллигенция — наиболее активный носитель социального недовольства, своеобразный бродильный фермент, поставляющий кадры как для право-, так и для левоэкстремистских и террористических группировок. И если говорить об «утечке мозгов» на Запад, то далеко не все это — бездари, погнавшиеся за «длинным долларом».

Схожая, хотя и не столь ярко выраженная, картина и по всем другим категориям трудящихся, не имеющим высшего образования. Причина здесь в том, что производству, основанному на индустриальной технологии, требуется менее 10 процентов работников со средним образованием, остальным же достаточно неполного среднего и даже начального. Лишь переход с индустриальных на «высокие» технологии позволит занять людей тем трудом, который соответствовал бы их образовательному уровню. Пока же нарастает «образовательный» дисбаланс. Еще в 1959 году положение было совсем иным: спрос на «образованных» превышал предложение. Но выпуск подготовленных кадров нарастал, и вот уже в шестидесятые годы предложение почти полностью удовлетворяет спрос. На протяжении же семидесятых годов удельный вес чернорабочих сокращается очень медленно — с 32 до 30 процентов, тогда как доля малообразованных падает до 19 процентов. «Эта разница в темпах породила ситуацию, никогда не бывавшую в прошлом,— пишут Л. А. Гордон и А. К. Назимова.— Впервые в обществе оказалось гораздо больше малоквалифицированных рабочих мест, нежели работников того культурного типа, которые в прошлом легко замещали вакантные места. Сегодня более половины этих рабочих мест занимают рабочие с образованием выше начального». В целом баланс образовательного уровня рабочих и квалификационного уровня их рабочих мест выглядит так: 80—90 процентов рабочего класса — хорошо образованные люди с развитой системой потребностей, но от 25 до 33 процентов их сосредоточено в малоквалифицированных видах трудовой деятельности, не способной удовлетворить эти потребности. Если сегодняшние темпы сокращения доли этой до- и раннеиндустриальной деятельности экстраполировать на будущее, то в начале следующего тысячелетия их удельный вес составит 25 процентов в промышленности и 40 — в строительстве. То есть противоречие между образовательно-культурным уровнем и степенью его реализации в трудовой деятельности не только не разрешится, но будет фактически консервироваться, а это неизбежно вызовет рост социальной напряженности, падение трудовой морали, дальнейшее отчуждение труда. Уже сейчас, чтобы заставить хорошо образованных людей выполнять труд чернорабочего, приходится оплачивать этот труд выше труда сложного. Причем эффективнее на этих местах все равно работают люди с образованием не выше 4—6 классов. Вполне понятно, что в социальной психологии этих групп нарастают негативные изменения, стресс, постепенное раскультуривание и деградация. В то же время наличие среди чернорабочих значительной прослойки лиц, получивших среднее образование, заставляет внести определенные коррективы в сделанный выше вывод о потенциальной

политической реакционности работников до- и раннеиндустриальной сферы производства. Сегодня этот слой претерпел далеко зашедшие изменения по сравнению с 30—50-ми годами, когда он пополнялся исключительно за счет сельских мигрантов с предельно низким культурным уровнем. Фактически этот слой теперь расколот на традиционный «предпролетариат» старших возрастов и недовольную своим положением «молодую генерацию» со сравнительно высоким уровнем типично городской культуры. Если прогнозировать ее возможное политическое поведение, то либо оно будет активно направлено в демократическое русло, либо возобладает засасывающая и деформирующая сознание среда, деградировавшее социальное окружение. Разные люди решать этот вопрос будут, естественно, по-разному.

Сейчас почти полностью прекратился приток молодежи на эти рабочие места. Но и места квалифицированных рабочих в основном уже заняты. Так что молодежь, вступающая в трудовую жизнь, оказалась в чрезвычайном положении, выход из которого многие ищут в паразитическом существовании. Путь решения этой проблемы очевиден: перевод до- и раннеиндустриальных производственых сфер на уровень индустриальных и постиндустриальных. Но для ведомств этот путь неприемлем. И вот ставшие вакантными места чернорабочих заполняются вьетнамцами, корейцами, китайцами, лимитчиками, обитателями ЛТП и прочими представителями подневольной рабочей силы. Консервация низкого технического уровня нашей экономики, таким образом, сохраняется.

«Теневая» экономика порождает и «теневую» социальную структуру: зачастую один и тот же человек включен в две структуры, находящиеся как бы в разных социальных измерениях. Так, младший научный сотрудник может быть фарцовщиком, а для моряка загранплавания или работника Минвнешторга основной смысл его деятельности зачастую — не в выполнении служебных обязанностей, а в транспортировке товаров «туда» и «оттуда». Не обязательно вторая социальная роль должна быть криминальной: примером могут служить «шабашники» и так называемые «огуречники» — городские рабочие, живущие в сельской местности и имеющие личное подсобное хозяйство, доходы от которого иногда превышают основную зарплату. «Огуречники» способствуют распространению «маятниковой миграции» — ежедневному перемещению огромных масс людей из села в город и обратно. Масштаб перемещения таков, что, по словам профессора Н. А. Аитова, возникли «дневная» и «ночная» социальные структуры города. И хотя далеко не все эти люди «огуречники», тем не менее таких полурабочих-полукрестьян у нас миллионы.

Безработные. До последнего времени действовали мощные механизмы, препятствующие образованию сколь-нибудь значительной армии безработных. Безрыночная экономика была готова принять труд в любом количестве и любого качества. При многократно более низкой, нежели в США, производительности труда, в СССР в сфере материального производства занято более 98 миллионов работников (в США — 58,3 миллиона). Даже при крайне низком уровне техники практически повсюду у нас есть лишние работники, общая численность которых более 10 миллионов. И при этом наше хозяйство совсем недавно было готово принять на работу еще 10 миллионов (2 миллиона рабочих мест вакантны, а еще 7,5 миллиона пустуют во вторую смену).

В чем причины содержания скрытой излишней рабочей силы при наличии вакантных мест? Во-первых, отсутствие налаженного механизма высвобождения и трудоустройства работников. Еще в конце 30-х годов был установлен порядок, согласно которому руководство предприятия обязано заниматься трудоустройством высвобождаемых. Во-вторых, территориальная мобильность рабочей силы сдерживается пропиской, отсутствием рынка жилья, различием уровня жизни по регионам. Короче говоря, в условиях тоталитарного общества рынок труда появиться не может.

По разным оценкам, от 40 до 50 процентов всех предприятий страны убыточны или нерентабельны. При переходе к рынку их ожидает крах, а стало быть, жертвами окажутся 30—37 миллионов, занятых на этих предприятиях.

Какова общая численность безработных и каковы прогнозы на будущее? Ответить весьма затруднительно, ибо до последнего времени не был определен статус безработного, не велся их статистический учет. Все оценки весьма приблизительны, тем более что ситуация с безработицей качественно и количественно резко различается в европейской части страны и в южных республиках. По данным кандидата экономических наук Р. Нарзикулова, азиатский регион дает 70 процентов прироста трудовых ресурсов (то есть молодежи с 16 лет), но здесь сосредоточена только треть промышленного потенциала страны. Поэтому половина трудоспособной молодежи уже сейчас без работы. На начало 1990 года, по некоторым оценкам, так называемых «национальных» безработных в союзных, в первую очередь среднеазиатских и закавказских республиках, насчитывалось 5—6 миллионов, то есть от работы «свободно» около 30 процентов трудоспособных мужчин. Только в Таджикистане безработные составляют до 28 процентов трудоспособного населения, из них 40 процентов — в сельской местности. По некоторым районам этот показатель превышает 50 процентов. Именно здесь причина появления в азиатских республиках массы сельских пауперов, весьма криминогенной и чрезвычайно взрывоопасной.

Трудно согласиться с постоянно мелькающей в нашей печати цифрой 5—6 миллионов, обозначающей численность безработных по всему Союзу. Это численность только «национальных» безработных. А если учесть, что, по официальным данным, у нас в целом по стране всего лишь 2 миллиона безработных, то для получения более объективных данных придется обратиться к зарубежным источникам. По оценке И. Адирима, приведенной в американском журнале «Soviet studies», в СССР в 1985 году было около 8,4 миллиона безработных. Среди безработных более чем в США высока доля лиц с высшим образованием — феномен все той же люмпен-интеллигенции. По всей видимости, в дальнейшем эта тенденция будет резко нарастать: уже сейчас высвобождение ИТР пошло втрое быстрее, нежели высвобождение рабочих. В основном, правда, это представители «конторы», то есть управленческого аппарата. Все чаще теряют работу женщины с высшим и средним специальным образованием. В этой связи интерес представляют процессы в странах Восточной Европы. Там, как пишет болгарский автор А. Абаджиев, «удар безработицы в первую очередь бьет по людям с высшим образованием, по специалистам и рабочим высокой квалификации».

Прогнозы на будущее еще более неопределенны, нежели оценки теперешней численности безработных: разница в предсказаниях на ближайшие полтора-два года очень велика — от 10 до 40 миллионов. Точную цифру вообще почти невозможно определить, ибо к таким относительно предсказуемым факторам роста безработицы, как ликвидация убыточных предприятий, ненужных управленческих звеньев и структурная перестройка, добавляются факторы, едва ли предсказуемые: нарушение традиционных хозяйственных связей, рост числа беженцев, общий экономический крах и политическая дестабилизация страны. Так же невозможно предсказать, насколько значительную стабилизирующую роль сыграет создаваемая с 1990 года служба переподготовки высвобождающихся кадров.

Профессиональные преступники. Поскольку с 60-х годов 10 миллионов человек были осуждены повторно (то есть избрали преступную жизненную установку), то с учетом их естественной убыли общую численность профессиональных преступников можно оценить в 6—8 миллионов. В «элитарной» группе преступного мира («воры в законе») — 30—50 тысяч человек. Ее представители участвуют в дележе прибылей крупнейших «теневых» дельцов, а также контролируют систему централизованных денежных фондов (несколько сотен миллионов рублей) преступного сообщества — так называемых «общаков».

Переходные периоды в развитии общества, как показывает история, всегда чреваты обострением криминогенной ситуации. Не исключение и период, переживаемый нашей страной. Будучи министром внутренних дел СССР, В. В. Бакатин признал: «Массив преступности сейчас превысил возможности, или, если можно так выразиться, «мощности» оперативного и следственного аппарата. Органы дознания и следствия, образно говоря, захлебнулись».

Воспроизводству профессиональной преступности служит давно уже сложившаяся и откристаллизовавшаяся тюремно-лагерная субкультура, вышедшая за пределы преступного мира и разлившаяся по стране. Агрессивно вторгаясь во все сферы жизни, эта криминальная субкультура наиболее активно вливается в молодежную субкультуру, грозя стать ее преобладающим элементом.

Пауперы. За время с 1913 по 1985 год наша страна по личному потреблению на душу населения переместилась с 7-го на 77-е место в мире. Только седьмая часть производственных фондов в промышленности выпускает товары народного потребления. По доле общественных фондов потребления в ВНП мы фактически отстаем от всех развитых стран мира. Но из этих незначительных фондов огромная доля идет на паразитарное «престижное потребление» номенклатурной элиты, так что они служат отнюдь не для выравнивания, а для перераспределения общественного богатства в пользу тех, кто стоит у власти.

Отсюда и нищета населения, и высокая численность тех, кто живет за чертой бедности. В 1988 году таких было 15,3 процента населения, а начале 1990 года — 27, в начале 1991 года — 40, после же 2 апреля 1991 года даже трудно назвать число наших бедняков, но оно явно перевалило за 50 процентов, и далеко перевалило. Судите сами: в октябре 1990 года прожиточный минимум составлял 130 рублей, в январе 1991 года — 170, в марте — 250, в апреле — 320, а к концу года, в условиях гиперинфляции достигнет, по некоторым предположениям, 1500 рублей на человека. В результате пауперы превращаются из пусть значительной, но все же части советского общества в его подавляющее большинство.

Алкоголики, наркоманы, токсикоманы. В 1987 году на учете состояло 4,7 миллиона больных наркоманией и алкоголизмом. По оценкам врачей-наркологов, на каждого зарегистрированного алкоголика приходится три-четыре незарегистрированных (причем многие из них не в лучшем состоянии), так что всего в середине 80-х годов их было примерно 20 миллионов.

После начала антиалкогольной кампании цифры эти подскочили: по данным А. Н. Яковлева, число алкоголиков и токсикоманов увеличилось более чем в три раза (то есть их свыше 60 миллионов); по другим, более умеренным оценкам,— «всего лишь» 40 миллионов. Распространяется женский алкоголизм. Если в 1905 году на десять пьющих мужчин приходилась одна пьющая женщина, то сейчас одна — на трех мужчин-алкоголиков. С 1986 года число отравлений алкоголем или алкогольными суррогатами возросло примерно втрое.

В 1990 году на учете состояло около 130 тысяч лиц, как принято говорить, «допускающих немедицинское потребление наркотических средств», в том числе свыше 60 тысяч больных наркоманией. Можно предполагать, что в действительности наркоманов около полутора миллионов, и их становится все больше.

Генетически неполноценные (мутанты). По подсчетам специалистов, каждый новый литр спиртного (в пересчете на стопроцентный спирт) на душу населения в год эквивалентен 0,236 процента прироста таких детей, обучать которых можно только в специальных школах для умственно отсталых или физически ущербных. В середине 80-х на душу населения приходилось 8,5 литра спиртного (в некоторых регионах свыше 10 литров), что было эквивалентно появлению на свет 100—120 тысяч дефективных детей в год — дебилов, психопатов, полуслепых или даже совсем слепых, тугоухих или даже совсем глухих, с плохой координацией движений, с другими физическими изъянами.

Удельный вес генетически неполноценных стал резко увеличиваться в последние несколько лет в связи с тем, что естественный прирост населения в РСФСР упал с 6,6 на одну тысячу населения в 1987 году до 2,3 в первом полугодии 1990-го. Это новая, третья по счету за наше столетие демографическая катастрофа. Никогда еще со времен второй мировой войны у России не было столь низкого уровня естественного прироста населения. И никогда не было столь высокой степени алкоголизации. А это означает, что повышение количества появляющихся на свет дефективных детей при общем резком падении рождаемости, особенно в последние три года, привело к скачкообразному увеличению удельного веса дебилов и олигофренов среди новорожденных. Еще до начала третьей демографической катастрофы рождаемость психически больных и умст-

венно отсталых превышала среднюю норму рождаемости почти втрое. Стало быть, сейчас это превышение в восемь-девять раз. Медики свидетельствуют, что за последние 25 лет частота появления врожденных наследственных дефектов детей выросла вдвое. Из-за плохого здоровья матерей более 10 процентов детей ежегодно появляются на свет семи-восьмимесячными, с недоразвитой центральной нервной системой, слабыми защитными реакциями. Короче говоря, нация стала на путь необратимого биологического вырождения.

Но главный мутагенный фактор не алкоголизация. Еще в 1987 году была обследована концентрация вредных веществ в атмосфере 102 городов СССР (с общей численностью населения 40 миллионов человек). Она превышала предельно допустимую в десять раз, причем цифра эта усредненная. К примеру, в Череповце экологическая обстановка такова, что больше половины детей рождаются больными. Вот что сообщил на первом Съезде народных депутатов СССР каракалпакский писатель Т. Каипбергенов: «В Приаралье люди умирают неестественной смертью, они обречены на вымирание — слоновые дозы ядохимикатов, проникающие в наши организмы с пылью и соленой водой, разрушают генетику человека. Резко возрос процент уродов среди новорожденных... В некоторых районах Каракалпакии врачи не рекомендуют кормить младенцев материнским молоком — оно токсично. Это не укладывается в сознании: материнское молоко превратилось в отраву».

Повальная алкоголизация населения и экологическое загрязнение среды обитания в системной целостности с другими мутагенными факторами взаимонакладываются, взаимоусиливают друг друга, образуя дьявольский механизм. Один из таких факторов — скрытый голод. По данным академика ВАСХНИЛ Владимира Тихонова, в 1988 году в нашей стране хронически недоедало 40 миллионов человек, в 1990-м — 60 миллионов. Постоянно не хватает полноценных аминокислот и витаминов, попросту говоря, мяса, молока, овощей и фруктов. Мы сидим фактически на хлебно-картофельной диете, отставая от США по потреблению мяса на душу населения в три раза. А то, что мы все-таки получаем, отравлено. Невероятно, но факт: более 40 процентов продуктов, которые для детей готовят на «молочных кухнях», содержат ядохимикаты в опасных для здоровья количествах! Вот данные выездной клиники Ленинградского педиатрического медицинского института, обследовавшей здоровье сельских детей на русском Северо-Западе в 1989 году: «...Дети со здоровым желудком — исключение из правила. Дети не получают полноценного сбалансированного питания и становятся хрониками чуть не с пеленок. Голод стал реальным фактором... Со стола крестьянина давно исчезли традиционные продукты, столь необходимые детям: сметана, масло, даже молоко. Почти круглый год нет «живых» овощей и фруктов. Одна картошка и консервы. Мясо по большим праздникам. Лечить патологию желудочно-кишечного тракта, если ребята отвратительно питаются, бессмысленно... Заболеваемость анемией (а проще говоря — малокровием) достигает по некоторым населенным пунктам Вологодской области 25—30 процентов... Из обследованных в 1989 году сельских детей у каждого пятого — педикулез, у каждого шестого — энтеробиоз, глистное заболевание. Это болезни беспризорности и разрухи. Болезни бездомных детей!.. Из почти двух тысяч осмотренных детей 32 процента — с нарушениями нервной системы, вплоть до астенического синдрома и эпилепсии...

Вячеслав Алферов, профессор, ректор ЛПМИ:

— Подорвана жизнь там, где начиналась Россия. Нас не первый год тревожит рост заболеваемости лейкозом на нашем Северо-Западе. Ясно, что идут изменения генетических функций, генофонда, но мы не имеем никакого точного понятия, до какого предела мы дошли, куда процесс пойдет дальше».

Все эти мутагенные факторы накладываются на наследство, полученное от сталинских времен, когда проводилась отрицательная селекция народа: в течение десятилетий государство избавлялось (да и сейчас избавляется) от талантливых и одаренных людей, носителей «золотых генов» нации. В ходе гражданской войны погиб тонкий культурный слой российского общества, а те, кто не погиб, были выброшены за пределы страны, колоссально обогатив интеллектуальный потенциал Запада и оставив гигантскую «черную дыру» в нашей культуре и националь-

ном генофонде. Затем наступил период сталинских систематических «прополок» и «выбраковки» лучших...

Общая численность генетически изувеченных людей тщательно скрывается (официально регистрируются лишь тяжело больные — идиоты, явно выраженные дебилы), но все-таки есть основания утверждать, что, к примеру, в 1987 году в целом по стране из пришедших в первый класс 4,8 миллиона ребятишек страдало олигофренией около миллиона — свыше 20 процентов!

Можно себе представить долговременные последствия такого положения для генетического здоровья нации. Уже сейчас вспомогательные школы для умственно отсталых в состоянии принять лишь треть нуждающихся в них детей, остальные попадают в общеобразовательную школу.

И н в а л и д ы. По критерию состояния здоровья медики выделяют пять групп: здоровые, пограничные, хронические больные в стадии компенсации, хронические больные в стадии частичной компенсации, хронические больные в стадии декомпенсации, а также лица с физическими дефектами и перенесшие острое нехроническое заболевание в течение года. Все, кроме здоровых,— ослабленные. Хроники же и дефективы относятся к маргиналам. Как видим, в данном случае социальное и медицинское понятия маргинальности совпадают.

По данным профессора Бориса Искакова, на начало 1989 года из 287 миллионов населения страны «ослабленные составили 150 плюс-минус 10 миллионов человек, маргиналы — 70—80 миллионов. Значительную долю маргиналов составляют мутанты и предмутанты (родители будущих мутантов)... Относительно здоровая часть народа — 137 миллионов человек... ...Детей, подростков и молодежи до 24 лет насчитывалось около 117 миллионов, из них: ослабленных — 55—80 процентов, то есть 60—80 миллионов. Каждый третий новорожденный — маргинал! 45 процентов учащихся к 17 годам становятся маргиналами. Глубина деградации может быть столь велика, что генофонд народа нельзя будет спасти...»

При столь подорванном здоровье народа удельный вес медицинской продукции в общем объеме нашего промышленного производства всего 0,5 процента (в развитых странах 2,5—2,8 процента). По данным Н. И. Рыжкова, фармацевтическая промышленность обеспечивает потребности страны в лекарствах лишь на 45 процентов. Горячего водоснабжения лишены 35 процентов больничных коек, каждая шестая койка вообще не обеспечена водой, а около 30 процентов больниц не имеет канализации. Оснащенность в среднем больничной койки медицинской техникой — лишь 10—15 процентов от уровня, достигнутого США. И при всех этих ужасных условиях нашей жизни, нашего здравоохранения и нашего производства ежегодно регистрируется всего 11 тысяч впервые выявленных больных с профпатологией — примерно в сорок раз меньше, чем в США, стране, где уровень технологии на порядок выше нашей! Дело в том, что там, как и в других развитых странах, служба медицины труда, объединяющая всю работу по профпатологии, независима от хозяев производства. Законы запрещают ведомственным медсанчастям лечить профзаболевания (ведь те защищают интересы хозяев). Наша же медицина, находящаяся на побегушках у ведомств, «регулирует» уровень профзаболеваемости в их интересах. При «снижении» уровня профзаболеваний врачи поощряются материально.

Но если, скрывая эти заболевания, можно их ежегодную цифру свести к 11 тысячам, то гибель людей на производстве скрыть гораздо труднее. В 1988 году погибли на своих рабочих местах 14 377 человек. Ежедневно 50 человек не возвращаются с работы домой. Ежегодно 690 тысяч рабочих получают производственные травмы. Из 2 тысяч обследованных новых станков, машин и оборудования, выпускаемых промышленностью, лишь 6 процентов соответствовали нормам охраны труда.

В результате перечисленных особенностей нашей жизни и работы в стране у нас 28—30 миллионов инвалидов (данные оглашены председателем общества инвалидов Дерюгиным), причем официально зарегистрированы 7 миллионов.

Об инвалидах было написано и пишется немало. Многие из них, если не большинство, оказались в социальной изоляции. Особенно в безвыходном положении те, кто официально не признан инвалидом,— они лишены даже той нич-

тожной помощи, которую получают их более «счастливые» собратья по несчастью. И разве не укор обществу «природные маргиналы», ставшие инвалидами в большинстве случаев из-за хищнического использования их рабочей силы, убожества быта и медицинского обслуживания, которых это безразличное общество выталкивает за свои пределы — в армию бездомных бичей.

Женщины, молодежь, старики также становятся зоной маргинализации, если они находятся на периферии производственного процесса и на них оказывает влияние процесс разрушения и деградации семьи. Разрушение семейных связей приводит к появлению социального феномена — «атомизированной периферии»[1]. Резкое понижение плотности и ухудшение качества социальных контактов в семье и на производстве создает дискомфортную, стрессовую социально-психологическую атмосферу.

После краха «косыгинской» реформы 60-х годов женская рабсила помогла состояться экстенсивным методам труда, подпитывая неэффективные производства и отчасти компенсируя их неэффективность низким уровнем зарплаты. Среди неквалифицированных рабочих женщин больше, а в старшей возрастной категории — вдвое больше, чем мужчин. 4 миллиона женщин (опять же больше, нежели мужчин) ходят в ночную смену, еще столько же работают в условиях, не соответствующих никаким нормам охраны труда. Треть дорожных рабочих в стране — женщины, каждый четвертый аборт в мире — советский. Сложилось так, что женщины идут работать туда, куда не идут мужчины, и заменяют их там, откуда те уходят. Из-за низкого уровня квалификации работниц сохраняется фактическое неравенство в оплате труда, причем количество и удельный вес женщин с низкой квалификацией растет с каждым годом. Степень «феминизации» той или иной профессии — довольно точный показатель ее непрестижности.

Среди служащих-неспециалистов 81,2 процента — женщины (в 20-е годы их называли «советские барышни»): счетоводы, почтальоны, учетчики, экспедиторы, стенографистки, технические секретари, продавцы, кассиры, машинистки, делопроизводители и прочие работницы «конторы». По всем основным показателям эта социальная группа одна из наиболее маргинализированных (если не считать просто люмпенов): высокая степень несоответствия между уровнем образования (78,1 процента имеют среднее, среднее специальное или высшее образование) и требуемым уровнем (зачастую достаточно начального образования); наиболее высокий уровень текучести кадров; наибольшая степень семейной нестабильности (доля разводов — в полтора раза больше, чем у рабочих и интеллигенции). Уступая рабочим в чтении литературы и посещении театров, «советские барышни» семикратно обгоняют их по частоте посещения ресторанов.

Должность «советской барышни» — своеобразный канал социальной благотворительности: через него административный аппарат подкармливает огромное количество работниц, труд которых не является общественно необходимым и которые служат своеобразным социальным фундаментом и массовой базой этого аппарата, смертельно боясь его сокращения.

Молодая семья, по словам ведущего советского демографа Виктора Переведенцева, «стала конфликтной, непрочной и малодетной, причем все эти качества тесно между собой связаны. Там, где больше разводов,— меньше детей, где меньше детей — больше разводов». В 1989 году разводы составили 34,2 процента от числа браков. Как следствие — рост безотцовщины. Ежегодно более 700 тысяч детей до 18 лет остаются без одного из родителей. В том же 1989 году было почти 4,4 миллиона матерей-одиночек, воспитывающих 6,2 миллиона детей. «Дети эти многого недополучают. Из таких семей много чаще, чем из полных, выходят правонарушители и вообще лица с «отклоняющимся поведением». Плохое воспитание «полусирот» — громадная социальная проблема, в значительной мере самовоспроизводящаяся, а потому долговременная»,— пишет В. Переведенцев. Ежегодно 150 тысяч подростков убегают из дома. 320 тысяч детей

---

[1] Термин, введенный А. М. Салминым для обозначения женщин, стариков и молодежи, существующих в условиях разрушения прежних тесных семейных связей, то есть подвергшихся своеобразной «атомизации».

воспитываются в детских домах, интернатах, Домах ребенка. Почти у 95 процентов этих детей родители живы. А всего в разного рода сиротских учреждениях и приютах 1,1 миллиона детей — больше, чем было в них после войны.

В 88 воспитательно-трудовых колониях содержится около 30 тысяч несовершеннолетних правонарушителей, 40 процентов из них — олигофрены. В спецшколах, в спецПТУ царят такие же жестокие способы подавления личности, как и в колониях. Вот что писала о школах-интернатах «Комсомольская правда»: «Избиения и растление, изнасилования и исчезновение детей, их гибель... использование болезнетворных уколов и направление строптивых воспитанников в психушку, превращение одним росчерком пера нормальных детей в умственно отсталых, здоровых в больных и наоборот».

Преступность подростков растет: если в 1986 году они совершили 163,8 тысячи преступлений, то в 1990-м — 234,7 тысячи. «Особенно тревожит милицию факт, что, как на дрожжах, стали подниматься из городских глубин девичьи группировки, которые и крепкие мужчины стараются обходить стороной. Далеко не всякий уголовник может с ними конкурировать в жестокости, в изощренности издевательств над своими жертвами. От разборов, устраиваемых над провинившимися, прошибает холодный пот у видавших виды работников правоохранительных органов. Объяснения этот феномен пока не получил, и как с ним бороться, с какой стороны подойти,— пока никто не знает»,— писал в «Советской культуре» М. Маслов.

Маргинализации молодежи способствует и тенденция к ее вытеснению на периферию всех сфер общественной жизни: низкооплачиваемая работа, искусственное торможение должностного продвижения, необеспеченность жильем и прочими элементами социальной инфраструктуры. У половины всех молодых семей (тех, где жене меньше 30 лет) нет сколь-нибудь удовлетворительных условий. В очереди за жильем стоит около 4 миллионов молодых семей; 1,5 миллиона — в очереди на получение места в детский сад или ясли. Две трети рабочих в возрасте до 27 лет живут в общежитиях или снимают жилье.

Пенсионеров у нас около 60 миллионов. Отношение к ним — как к износившейся машине, подлежащей списанию. Это наиболее обделенный отряд «атомизированной периферии»: к откровенной нищете на грани биологического выживания добавляются одиночество, социальная изоляция. Все это создает для стариков постоянно действующую стрессовую ситуацию, делая их особенно уязвимыми для процесса маргинализации. 10 миллионов пенсионеров, стариков и инвалидов — совершенно одиноки. 1 миллион таких людей нуждается в проживании в домах-интернатах, но те могут удовлетворить лишь менее половины потребности.

Правовые маргиналы — советские «отверженные», те, кто не обладает «чистотой» анкетных данных: бывшие зэки и их родственники, бывшие алкоголики, люди, имевшие несчастье побывать в психиатрических лечебницах, представители «наказанных» наций и многие другие. Общим для всех них было фактическое поражение в конституционных правах, причем правовые ограничения вводились в действие подзаконными инструкциями (зачастую тайными) различных ведомств, находившимися в вопиющем противоречии с Конституцией. Вот образчик применения на практике одной из таких никому не известных инструкций Минздрава. Свидетельствует экс-чемпион Украины по борьбе Михаил Бондарь, жизнь которого была изломана контактом с психиатрией: «После «обследования» и выдали «желтый билет». Статья 1-Б по какому-то их кодексу. Учиться нельзя. К технике на пушечный выстрел не подпускать. Ничего нельзя. И самое страшное, как приговор, запись: «Переосвидетельствованию не подлежит». Подобного рода подзаконные акты до сих пор перекрывают советским «париям» все каналы «восходящей» мобильности, зато делают предельно доступными все пути на социальное дно, буквально выпихивая туда человека. Наиболее типична в этом смысле судьба бывших заключенных. Лица, осужденные к лишению свободы на срок свыше шести месяцев, лишаются жилплощади и прописки. Потеря прописки означает страшную жизненную катастрофу — человек выпадает из плановой системы государства и как бы перестает существовать. Никакие обращения в любые, даже самые высокие инстанции, никакие хождения по кабинетам не

дают, как правило, результата — человек обречен быть безработным и бездомным. Не совершив никакого нового преступления, но невольно став бомжем, он подпадает под действие УК и живет под страхом повторного заключения. Неудивительно, что из 35 миллионов, осужденных за последние тридцать лет, 10 миллионов осуждены повторно. Бывшие зэки никогда не приспособятся к обществу, если общество им не поможет.

Среди «наказанных» народов немцев около 2 миллионов, крымских татар примерно полмиллиона, корейцев более 400 тысяч, греков — 350 тысяч, турок-месхетинцев — 300—400 тысяч, ингушей около 200 тысяч. В маргинальном состоянии также цыгане — свыше 200 тысяч, малые народности Севера — 180 тысяч, ногайцы — 60 тысяч. Процессы маргинализации носят для этих народов всеобъемлющий характер. Большинство из них «распылено» по стране, лишено национальных школ, отсечено от своих исторических корней, фактически поставлено в неполноправное положение по сравнению с другими народами, стоит перед угрозой окончательной утраты национальной культуры. Эмиграцию из СССР многие, особенно немцы и греки, считают единственной гарантией сохранения своей этнической принадлежности.

Беженцы. Сейчас в СССР, по официальным данным, их 650 тысяч. Более 250 тысяч из них — в Армении, 191 тысяча — в Азербайджане, около 117 тысяч — в РСФСР, 17 тысяч — на Украине, 2,7 тысячи — в Казахстане, 2 тысячи — в Белоруссии.

«Чернобыльцы». Получивших те или иные «дозы» участников ликвидации последствий аварии («ликвидаторов») — 600 тысяч; проживающих на загрязненных радиацией территориях на Украине, в Белоруссии, Брянской, Тульской, Смоленской, Калужской, Курской, Орловской областях РСФСР — 3 миллиона, в том числе почти 800 тысяч детей.

Государство всячески стремится свести к минимуму объем компенсаций за ущерб, понесенный как «ликвидаторами», так и населением, затруднить диагностику пострадавших, дабы не брать их на свое содержание, не обеспечивать льготами, на которые, естественно, нет средств.

«Беспорядочный выезд приведет к разрушению человеческих общностей, а отселение людей без учета связей их друг с другом (что и является неотделимой частью культуры), с ландшафтом и с традициями исключает их сохранение и восстановление. Без опоры на традиционную культуру у населения формируется психологическая дестабилизация, разрыв с традициями»,— отмечал журнал «Знание — сила».

Над всеми этими людьми черной тучей нависла неопределенная угроза — предсказать генетические последствия облучения не может ни один ученый, но уже в 1989 году родилось младенцев с врожденными пороками развития в три с лишним раза больше, чем в 1988-м.

Из 600 тысяч «ликвидаторов» лишь 100 тысяч (ученые-атомщики и кадровые военные) имеют дозовые характеристики. Остальные же полмиллиона, особенно те, кого привлекали по линии военкоматов и других ведомств, и по сей день не ведают, какую степень облучения они получили и чего им завтра ожидать. А получили они, по данным Минздрава УССР, свыше 25 рентген, и у 30 процентов из них через 15—20 лет возможно развитие различных форм злокачественных образований. Сотни тысяч облученных людей растворились в населении огромной страны, не получив официального признания того, что несут в себе генетическую мину замедленного действия. (К «чернобыльцам» следует добавить и облученных после ядерных аварий в Челябинской области, а их, по данным АН СССР,— 437 тысяч.)

Есть в нашей стране маргинализированные социальные группы, потенциальный политический вес которых намного превышает их численность. К ним следует отнести около миллиона «афганцев», среди которых десятки тысяч инвалидов, а в целом, по словам генерал-майора К. Цаголова, все воины без исключения получили психическую травму. Трудности адаптации ветеранов афганской войны к мирной жизни многократно усиливаются бюрократическими рогатками. Социально-психологический стресс «афганцев», помноженный на их высокую социальную активность, вызывает повышенный интерес тех, кто намеревается их использовать как ударный кулак, своеобразную «политическую пехоту» в своей политической игре.

После сокращения Вооруженных Сил к «афганцам» примыкают близкие им по социальному положению 150 тысяч бывших офицеров, прапорщиков и мичманов (вместе с семьями — около полумиллиона человек), более 20 процентов которых не имеют жилья. Но и у тех, кто остался служить, проблем немало — 280 тысяч семей остро нуждаются в улучшении жилищных условий; более 180 тысяч семей офицеров и прапорщиков вообще не имеют жилья, а скоро к ним прибавятся еще 100 тысяч семей военнослужащих, возвращающихся со своими частями из Восточной Европы на территорию СССР. Не могут трудоустроиться многие жены офицеров, прапорщиков и мичманов, остро не хватает дошкольных учреждений для их детей. Возникшие трудности военно-политическое руководство использует в спекулятивных целях, чтобы подогревать недовольство перестроечными процессами.

Ветераны недавней войны, бывшие офицеры, а ныне бомжи, бездомные прапорщики и мичманы... Такой социальный конгломерат не раз возникал в прежние времена, и так же ощущалось непонимание его реальной политической роли. Как писал о предфашистской Италии Пальмиро Тольятти, «мы не понимали, что вчерашние фронтовики, деклассированные слои городского населения были не какими-то отдельными индивидуумами, а именно массой и, по существу, представляли собой феномен, имевший классовые черты».

Весьма специфична и социальная группа бывших спортсменов. Завершив короткую спортивную карьеру, эти люди оказываются практически не подготовлены к жизни вне спорта. У нас нет системы социальной «реабилитации» бывших спортсменов. И зачастую оказывается, как в песне: «Мы вчерашние спортсмены, а теперь мы рэкетсмены». По данным МВД, значительную часть разбоев совершают бывшие боксеры и борцы. Они входят в мафиозные группировки, где выполняют роль телохранителей, расправляются с дельцами-конкурентами и неугодными лицами, проверяют надежность участников своих группировок. Многие из них отнюдь не «бывшие»: они успешно совмещают активные занятия спортом и рэкет. «Если несколько лет назад участие спортсменов в преступлениях носило эпизодический характер, то в последние годы эти эпизоды перерастают в систему»,— писала газета «Советский спорт».

Еще одна маргинальная группа сейчас в зародышевом состоянии, но через несколько лет грозит превратиться в серьезнейшую проблему для страны — больные и инфицированные СПИДом. По данным Ученого секретаря Межведомственного Совета по научным проблемам СПИДа А. Сорокина, к 1992 году в СССР ожидается 24 тысячи ВИЧ-инфицированных, а к 2000 году около 1,5 миллиона.

Подведем итоги. Казарменное общество как носитель тотальной энтропии способствует понижению качества нации. Оно вызывает разрушение социальной структуры и низведение ее организации до уровня социальных атомов, повсеместно выбивает лучшие элементы общества и заменяет их худшими, увечит природу. Таков фундаментальный «принцип» системы — повсеместно и во всем, и она не поступится им никогда. «Перестроить» ее нельзя — она сама перестроит и изуродует кого угодно и что угодно. Можно только сломать. Иначе — согласно второму началу термодинамики — окончательное упрощение системы вплоть до равновесного состояния с максимальным беспорядком — «тепловая смерть» социума, небытие. Мы давно уже дошли до критического предела, за которым — необратимые последствия. Если сегодня не остановить победного шествия энтропийной системы по стране, завтра спасать будет некого — нация выродится.

М. Липовецкий

СОВОК-БЛЮЗ

ШЕСТИДЕСЯТНИКИ СЕГОДНЯ

...Ну, вот, едем, сижу у окна, вдруг поезд останавливается на одной станции, смотрю — елки-палки! — написано «Чаттануга»! Я выскочил на перрон, негр стоит, орешки какие-то продает, я его спрашиваю: «Это Чаттануга?» «Ез, сэр»,— говорит. Я говорю: «А это не шутка?» — «Ноу, сэр»,— и орешки мне свои сует. А я стою смотрю на эту надпись и вдруг все вспоминаю... Кстати, невинная песенка оказалась. Там негритянка спрашивает у двух парней: «Это поезд на Чаттанугу?» И все! Обычная железнодорожная тематика.

В. СЛАВКИН

«Взрослая дочь молодого человека»

Нет сегодня занятия более прогрессивного, а главное, душеполезного, нежели разоблачение литераторов-шестидесятников (они же дети XX съезда, последние романтики, либералы и т. д. и т. п.). Процесс срывания всех и всяческих масок с истинного лица былых кумиров идет под девизом «Раззудись, плечо!», и, похоже, уже набирает силу некое негласное соревнование, в котором, по сути дела, учитывается лишь один показатель: кто вдарит побольнее?

Не нужно особой наблюдательности, чтобы зафиксировать зависимость отношения к этой генерации от хода перестроечных реформ. любовь к шестидесятникам — и вера в легкую смерть тоталитаризма, эйфория от непривычного количества кислорода, то бишь гласности, почти дружный «осуждам» — и разочарование, очевидная для всех неудача либеральных проектов, «конец перестройки». Барометр — да и только!

Впрочем, давайте присмотримся к портрету духовной культуры шестидесятников, который не без блеска был создан Ю. Карабчиевским, Вик. Ерофеевым, А. Тереховым, А. Тимофеевским, Л. Тимофеевым, Н. Агишевой, В. Курицыным, О. Седаковой и другими. Так как в суждениях этих авторов немало схожего, попытаюсь свести высказанные имн мысли в некий коллективный синодик.

Итак...

Мотив первый (идеологический). «Кредо детей XX съезда: антисталинизм, вера в социализм, в революционные идеалы» (А. Латынина). Шестидесятники обновили социалистическую утопию: одновременно романтизируя 20-е годы и восстанавливая авторитет норм элементарной человеческой нравственности (растоптанных и попранных в предыдущие десятилетия), они выполняли «социальный заказ времени». В итоге родилась новая утопия — «социалистическая по содержанию, нравственная по форме» (А. Тимофеевский). Более того: очищая коммунистическую идею от наслоений, шестидесятники «кто больше, кто меньше способствовали ее укоренению в общественном сознании... Вера в коммунизм, которую нес тот же Рождественский, внедрялась глубже, потому что насаждалась не страхом, а искренне. И Окуджава со своими комиссарами и комсомольскими богинями... И Евтушенко с Вознесенским активно работали на официоз...» (В. Курицын).

«Работа на официоз», замечу, в частности, проявляется и в том, что критика режима у них непоследовательна: разоблачая Сталина и сталинщину, они не затрагивают ни марксизм-ленинизм, ни саму коммунистическую идеологию, сохраняя веру в святость фундаментальных мифов тоталитаризма, мечтают о «социализме с человеческим лицом».

Вывод: шестидесятники — образцовые «совки».

Мотив второй (психологический). «Романтическая мечта об общности — основа всякой утопии...» (А. Тимофеевский). «Единодушие — важное слово их времени...» «Давайте общо! — как говорила одна из героинь Трифонова... Всегда главенствовала некая идея, причем каждый раз, как говорили, более прогрессивная, чем предыдущая (в случае с шестидесятниками так и было), но никогда не ценилась свобода выбора человека между разными, пусть и диаметрально противоположными точками зрения» (Н. Агишева). Отсюда «черно-белая, романтическая трактовка мироздания» (В. Курицын): свои — чужие, прогрессивное — реакционное, высокое — низкое. Вот почему они «не могут жить без борьбы... без очень советской веры в «правое дело», ради которого можно многим поступиться, и столь же советского максимализма, неспособности к компромиссам» (опять Н. Агишева). Словом, «они просто взяли имперское мышление, против которого когда-то боролись, и поменяли в нем плюсы на минусы. А одинаковый подход ко всему — от официальной идеологии до продажи презервативов — остался» (А. Терехов).

Вывод: шестидесятники внутренне порабощены несвободой.

Мотив третий (эстетический). Утопически-коллективистское сознание сформировало соответствующую эстетику. Ее отличительной чертой стал унаследованный от русской классики XIX века гиперморализм, идея с л у ж е н и я литературы конкретным задачам общественного прогресса, что породило в литературе шестидесятников явный перевес правды социальной, гражданской над правдой художественной. Их комплекс — «тошнота социальной озабоченности» (М. Эпштейн). Главное детище поколения — «социально прямолинейная литература сопротивления, в либеральной и диссидентской ипостасях» (Вик. Ерофеев), значимая своей «идеологической альтернативой», оказалась незначительной и даже просто примитивной в эстетическом плане... Это во-первых.

Во-вторых, желание сказать правду вопреки давлению цензуры привило литературе шестидесятников «тягу к навязчивой аллюзивности» (Вик. Ерофеев), «эзопову языку» — благодатной почве для мнимой многозначительности, эстетики комфортабельных подмен (точка зрения Ю. Карабчиевского), развратившей и читателя, и писателя. Ибо читатель «приходил в восторг всякий раз, когда подозревал у писателя «фигу в кармане». Писатель стал специализироваться на «фигах» и отучался думать...» (Вик. Ерофеев).

Вывод: литература шестидесятников не имеет будущего, она вся замкнута на 60—70-х.

Общий итог: «Шестидесятники обнаружили какое-то нравственное уродство... они проиграли все, что можно было проиграть. И после этого пытаются «вести за собой»,— ставит диагноз Александр Терехов.— ...Когда им был дан второй шанс, нравственной веры в то, что возможно коренное обновление, уже не хватило... И теперь они изо всех сил стараются отринуть самих себя, какими они были в прошлом, после XX партсъезда. **Прежде всего из-за этого** (подчеркнуто мной.— **М. Л.**) страна не может обрести устойчивое нравственное состояние, чтобы что-то, наконец, построить — если мы что-то собираемся строить...»

Итак, виновники всех неудач наконец-то найдены. Узнаёте, читатель, знакомую ситуацию? Как скоро наши борцы с заскорузлой совковостью шестидесятников сами подхватывают старую тему! Вот он, наш с о в о к-б л ю з — найти крайнего, найти виноватого! И самый кайф, если этот «крайний» не одиозен, как КГБ или КПСС, а как бы даже авторитетен. Нашли? А теперь — ату его!..

Смущают меня, признаюсь, эти попевки... А ведь, в сущности, в построениях строгих оппонентов немало точных наблюдений, бесспорных выводов. Кстати, многие шестидесятники сами нередко способствуют укреплению нелестного взгляда на свое поколение. Впрочем, об этом чуть позже. Пока лишь скажу, что примеров узости и непоследовательности взглядов, коллективистского пафоса и эстетического утилитаризма шестидесятников можно сыскать немало. Но ведь, увы, еще больше обнаруживаешь фактов, разрушающих стройную концепцию и у критиков шестидесятничества. Характерно, между прочим, что и Н. Агишева, и Вик. Ерофеев, и А. Тимофеевский, и В. Курицын, и А. Терехов либо вовсе избегают в своих текстах упоминания конкретных имен, либо оперируют двумя-тремя наиболее звонкими, которые у всех на слуху. А ведь в подобного рода материалах персоналии — едва ли не самое главное. Укладывается ли, скажем, в предложенную модель шестидесятничества тот же Александр Солженицын? (Сразу выскажу свою точку зрения: писателя трудно отнести к какому-то определенному литературному поколению. Но в то же время нельзя не заметить в его глубоко индивидуальной эволюции отпечаток, иной раз косвенный, тех противоречий, что раздирали на протяжении десятилетий сознание шестидесятников, формировавшихся и изменяющихся в немалой степени под воздействием Солженицына.) Или защитник коммунизма Александр Зиновьев? Или Иосиф Бродский? А Юрий Трифонов? А Юрий Домбровский, открывшийся как писатель только в 60-е годы? А эмигранты Георгий Владимов, Василий Аксенов, Фридрих Горенштейн — они, наверное, не шестидесятники, ведь их, нынешних, в чем в чем, а в любви к коллективистско-коммунистической утопии вряд ли заподозришь? А пришедшие к христианству Феликс Светов, Владимир Максимов,

---

М. Н. ЛИПОВЕЦКИЙ (р. 1964) — критик, кандидат филологических наук, автор статей и рецензий по проблемам современной советской литературы, преподаватель театрального института. Печатался в журналах «Вопросы литературы», «Литературное обозрение», «Октябрь», «Урал». Живет в Свердловске. В «Знамени» публикуется впервые

Игорь Виноградов — как быть с ними? А Феликс Кузнецов — «палач четвертого поколения» (по выражению Г. Владимова) — он кто? А идеологи «русской партии» Валентин Распутин, Василий Белов, Станислав Куняев, Юрий Бондарев, Вадим Кожинов, Петр Палиевский — разве истоки их эволюции не в шестидесятых? А Леонид Мартынов, Борис Слуцкий, Александр Межиров, Владимир Тендряков, Давид Самойлов, Булат Окуджава — можно ли их считать представителями этой генерации, ведь по возрасту они из другого поколения?..

Значит, все сложнее, чем кажется поначалу. И проще не станет, даже если принять поправку Н. Зоркой, настаивающей на том что нет шестидесятников как поколения, просто есть слой интеллигенции, переживший «пору прозрения и пробуждения» именно в те годы. Картина еще более усложнится, если соотнести тезисы «антишестидесятнической доктрины» с конкретным опытом конкретных писателей-шестидесятников — во всяком случае, *себя таковыми считающих*.

Когда эта статья была уже написана, пришел четвертый номер «Литературного обозрения» за 91-й год, и я прочитал статью Льва Аннинского «Шестидесятники, семидесятники, восьмидесятники... К диалектике поколений в русской культуре». И, как ни странно, типология, выстроенная критиком на основании сугубо «анкетных», историко-биографических параметров, меня убедила в том, что в вопросах «диалектики поколений» решающим оказывается критерий *самосознания*. Лев Александрович этот критерий не учитывает вовсе. Вот он говорит о поколении людей, родившихся в 90-е годы прошлого века: «Первоначальный облик — веселые парни в косоворотках. Самоощущение: «родившиеся вовремя». А как быть с Мандельштамом, Пастернаком, Булгаковым, не говоря уж об Ахматовой? Они не имеют, естественно, ничего общего с этой характеристикой. Какой парадокс! Вроде бы все то же (по терминологии Аннинского): момент рождения, «конфирмации», расцвет — а поколение в сущности другое. Так оно и есть, потому что все они осознавали себя *другим*, не советским поколением.

Подобного рода накладки возникают и при разговоре о шестидесятниках. Реальные художники то и дело выскальзывают из историко-биографической парадигмы. Критику все время приходится оговариваться. Коржавин и Трифонов вроде из старшего поколения по рождению и «конфирмации» — а фактически шестидесятники. Маканин по всем статьям должен быть им — а стал лидером следующего поколения. Конфуз выходит и с фронтовым поколением, которое, по логике Л. Аннинского, отделено от шестидесятников непроходимым рвом — у них, мол, «конфирмации» различные. Но как реально оторвать от шестидесятников Окуджаву, Быкова, Кондратьева? Историко-биографический метод Аннинского оставляет этот вопрос без ответа.

В самом деле, шестидесятники отдали щедрую дань «очищению» коммунистической утопии от «наследия сталинизма». Верили в «социализм с человеческим лицом». Даже Солженицын, как известно, признается в «Архипелаге», что был период, когда он мечтал об «очищенном ленинизме» — за это и попал в лагерь. Даже А. Синявский в своей знаменитой статье «Что такое социалистический реализм?» (1957) допускал, что соцреализм сможет «подняться до уровня больших мировых культур» если пойдет по пути Маяковского, который, по Синявскому, единственный из соцреалистов смог «встать вровень с эпохой и выразить ее дух полно и чисто — без чужеродных примесей». А вот еще пример из книги Л. Копелева и Р. Орловой «Мы жили в Москве» — впечатления Генриха Бёлля после общения с нашими шестидесятниками: «Нет, идея христианства прекрасна, идея социализма тоже хороша, и они друг другу не противоречат. Главное — не идеи, а то, как их воплощают в жизнь».

Что, бросим в них камень за наивность?..

Даже сегодняшние оппоненты шестидесятников понимают, что, произнося слова о «чистом» социализме, «дети XX съезда», в сущности, *подменяли* классовую утопию марксизма-большевизма утопией *нравственной*. «Пусть это не звучит слишком громко: шестидесятники ратовали за то, чтобы общечеловеческие нравственные нормы считались чем-то само собой разумеющимся. И этим вызывали огонь на себя. Хотя сами не видели оснований для обстрела, не спешили в укрытия», — так считает В. Кардин, не настаивая, впрочем, на величии этого духовного шага шестидесятников, однако подчеркивая его неизбежность. И в самом деле: не была ли гуманизация утопии первой потребностью выздоравливающего духовного организма, искореженного вековой утопической традицией и ее страшным тоталитарным выродком?

Впрочем, важнее, пожалуй, то обстоятельство, что шестидесятники *сами* стали преодолевать комплекс веры в «социализм с человеческим лицом», надежду на обновление революционной идеи. Не все, конечно. И не сразу. Но мы уже убедились, что говорить обо всех сразу — занятие бессмысленное.

Игорь Виноградов рассказывает о том, что для него «довольно быстро стала очевидной связь между так называемым сталинизмом и ленинскими принципами», и о том, что в поисках истоков этой доктрины он пришел к пониманию ущербности всей материалистической культуры. Убедился, что «принципы нравственной ориентации в мире в этой традиции не имеют никакого абсолютного обоснования, и обратился к иной —

идеалистической, всерьез задумался над существом религии». Не зря ведь и Наум Коржавин не без сарказма говорит о критиках, которым «кажется нынче, что они в отношении к Сталину и его уходящим в революцию корням — первооткрыватели. А между тем не они, а мы — трудно и мучительно — прошли этот путь именно как *путь*. Не надо присваивать себе чужого опыта, так дорого оплаченного».

Когда читаешь эти и аналогичные признания шестидесятников, им веришь и, наверное, потому, что мы уже прочитали повести А. Синявского и Ю. Даниэля, «Зияющие высоты», «Факультет ненужных вещей», «Старика», «Пушкинский дом», «Сандро из Чегема», «Верного Руслана», позднюю прозу В. Тендрякова, в которых изживалась «ущербность шестидесятнического либерализма» (С. Аверинцев) и речь шла не столько о сталинизме или сталинщине, сколько о страшной антропологической катастрофе, потрясшей основы христианской цивилизации всечеловеческой культуры.

Как соотносится все это с утверждением, будто шестидесятники искренне «работали на официоз» — судите сами. Мне же кажется, это выглядит примерно так же, как если бы мы стали рассуждать об общей и равной вине, скажем, Пушкина и Булгарина на том основании, что оба они из одного поколения.

Конечно, шестидесятники времен оттепели воспринимали себя частицей «мы», но это было уже не замятинское «мы», а «мы» поколения. Вряд ли нужно доказывать, что на фоне господствующего соцреалистического канона и в прозе, и в поэзии, и в критике, и в кино, и в театре «мир (шестидесятниками. — М. Л.) увиден... глазами отдельного человека» (Л. Аннинский). Этот отдельный человек — все еще один из множества, но множества, связанного прежде всего *человеческими* связями — симпатией, взаимопониманием, дружбой.

Впрочем, и это состояние не было стабильным и долговременным. Чем удушливей становились времена, тем, очевидно, труднее выживали и бескорыстные человеческие привязанности, в том числе и те, что сплачивали поколение в целом и его духовных лидеров в частности. Для сравнения приведу два эпизода. Первый: 1966 год. Подписывается письмо в защиту Синявского и Даниэля. «Аксенов сказал: «Пусть первым начнет Женя». Он как-то по-особому к Евтушенко относился, говорил: «Вот пока молод Женя, молоды мы все. Как он постареет, мы тоже все постареем». Я подошел к Евтушенко — он мгновенно подписал, ну а за ним мы все — Аксенов, Гладилин, я, Рождественский, Быков, Коржавин, Окуджава, Белла Ахмадулина текст вином залила и подписала: Ахмадулина. Андрею Вознесенскому решили не говорить. Он был выдвинут на Ленинскую премию, и Гладилин предложил: «Давайте не будем трогать Андрея, зачем ему портить». Но он узнал о письме и сам приехал в ЦДЛ, разыскал нас: «Как же так, почему вы меня не позвали?» — и подписал. Было это письмо «20-ти» (Георгий Владимов).

Эпизод второй: 1970 год. Г. Бёлль в Москве в гостях у Е. Евтушенко. «Странно — за столом сидели люди с всемирной славой: Бёлль, Евгения Семеновна (Гинзбург. — М. Л.), Аксенов, Евтушенко, Вознесенский, Окуджава... Поэты начали читать свои стихи, Лев (Копелев. — М. Л.) переводил для Генриха. Когда дошла очередь до хозяина дома, гости заторопились уходить... Еще недавно они были друзьями, а сейчас их отношения далеки от строки из песни Окуджавы, посвященной Ф. Светову:

Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке...

Они не держатся за руки. Они становятся друг другу все более чужими...» (Раиса Орлова).

Единодушие шестидесятников, о котором говорят А. Тимофеевский и Н. Агишева, исчезало без теплых человеческих зависимостей. Хватило всего четырех лет, чтобы вместо привязанности возникла отчужденность. Но это чрезвычайно важное время. Это годы судебных процессов против инакомыслящих. Это танки в Праге. Это время, когда произошло первое необратимое размежевание поколения: кто в диссиденты, кто в референты, кто за «кровь и почву», а кто за вашу и нашу свободу.

Теплое человеческое «обща» рухнуло. Уже тогда «обща» было убито необходимостью четкого выбора между участием и неучастием в подлостях, на которых по-прежнему держался *государственный*, всеобщий порядок вещей. И чувство локтя, чувство причастности к поколению сменяется в литературе шестидесятников состоянием одиночества прежде победительного романтика. «Звездные» мальчики ранней аксеновской прозы становятся последними хранителями никому не нужного волшебного искусства (в «Поисках жанра»). От одиночества, непонимания умирает Сергей Троицкий; бежит свой безысходный осенний марафон шестидесятник Андрей Бузыкин из пьесы А. Володина. Вообще в годы безвременья фигура одинокого искателя бесполезной для сограждан истины превращается чуть ли не в символ культуры шестидесятников. Об этом «Стоянка человека» Ф. Искандера, его предельно горькие философские сказки, пьесы-притчи Э. Радзинского, «Мюнхгаузен» и «Свифт» Г. Горина, последние рассказы Ю. Казакова. Об изнурительном одиночестве диссидентской жизни «не по лжи» и роман В. Кормера «Наследство». Маска Гамлета в те годы все плотнее прирастает к лицу и судьбе Владимира Высоцкого... Так что и тут

не права Нина Агишева — уж кто-кто, а шестидесятники расслышали «одинокий голос человека» — ведь это был их собственный голос. Очень важный поворотный момент в судьбе поколения.

Один из первых диссидентов, Борис Вайль, констатирует: «Рождалась новая интеллигенция: в середине 50-х годов под знаком раскола коммунизма, в середине 60-х годов — с появления «персонального самосознания» (мысль М. Меерсона-Аксенова)... Подписантство, диссидентство 60-х годов позднее вышло на новую ступень общественного сознания — к борьбе за права человека, за ценность каждой человеческой личности... к явному индивидуальному поступку: подпись, адрес — не прячусь! И в пределе — выход на площадь. От «социализма с человеческим лицом» к личной совести».

Одиночество и «персональное самосознание» — две стороны одного явления, противящегося безоговорочному подчинению некоей, даже самой прогрессивной идее. Но оно и не существует без свободного выбора. За право этого свободного выбора шестидесятники пошли в лагеря... Неужели мы об этом так скоро забыли?..

Распад «обща», появление «персонального самосознания» постепенно разрушали и «черно-белую, романтическую трактовку мироздания» (В. Курицын). Кто такой, скажем, вампиловский Зилов, если взглянуть на него глазами шестидесятников времен оттепели? Ну, конечно же, ненавистный «мещанин»! «Чужой!» Но Вампилов-то смотрит на своего ровесника Зилова совсем иначе: «Пьесу осудили люди устаревшие... А мы — такие вот! Это я, понимаете?! Зарубежные писатели пишут о «потерянном поколении». А разве в нас не произошло потерь?..»

Когда Вампилов мытарствовал с «Утиной охотой», Ю. Трифонов начинал свой «московский» цикл повестей, который тоже по инерции был воспринят в духе «антимещанской» традиции. И не потому ли его так злили подобные навязчивые интерпретации, ведь в «мещанской» повседневности писателя интересовал в первую очередь «феномен жизни» — то, в чем сказалась наша о б щ а я экзистенциальная и историческая судьба, а вовсе не суть отличия «мещанина» от «прогрессиста». В этом контексте понятие «мещанин» вообще не выживало (вот почему, кстати, Трифонов яростно оспаривал версию о том, что, например, в «Обмене» хорошим Дмитриевым противопоставлены плохие Лукьяновы.

Что ни говорите, а картина шестидесятничества, даже при самом сжатом изложении, не укладывается в суровую формулу, которую, помнится, провозгласил тот же Терехов: имперское, мол, сознание, только с противоположными знаками..

Похоже, и в этом «правиле» чересчур много исключений.

Грех не признать, Виктор Ерофеев «законно приложил» эстетику шестидесятничества, особенно ту ее ветвь, что была взлелеяна на страницах «Нового мира». (Впрочем, и до Ерофеева об ограниченности этой эстетики уже писали немало.) Там же, где сердитый критик употребил чересчур заносчивые формулировки вроде «социально прямолинейной литературы сопротивления», старшие товарищи его поправили. Вспоминаю в этой связи слова Я. Гордина: «Сопротивление литературы последнего тридцатилетия означало не столько политический протест, сколько постоянное духовное переламывание господствующей «новой религии» и ее воздействия на человека во всех сферах существования. Литературное сопротивление выполняло, таким образом, функцию отбрасывания зла, реализовавшегося в идеологии и практике власти. Это гораздо серьезней, чем просто оппозиция режиму».

Наверное, именно поэтому и не удается доказать, что во всей словесности шестидесятников корни любых вопросов и противоречий ищутся исключительно в социуме и нигде больше. Допустим, эта характеристика приложима к прозе А. Рыбакова или поэзии Е. Евтушенко, но почему под Рыбакова непременно нужно подгонять Трифонова и Битова, Искандера и Домбровского, почему необходимо поверять свое представление о стихах Лиснянской или Самойлова, Чичибабина или Высоцкого по Евтушенко? Более того, эволюция Битова от «Пенелопы» к «Пушкинскому дому» и далее к прозе 80-х, Трифонова — от «Утоления жажды» и «Отблеска костра» к «Времени и месту» и «Опрокинутому дому», Искандера — от «Созвездия Козлотура» к эпосу о Сандро из Чегема, Горенштейна — от «Зимы 53 года» до «Псалома», Владимова — от «Большой руды» до «Верного Руслана» — все это линии реального движения от образа мира, насыщенного по преимуществу социальными и конкретными нравственными смыслами, к разомкнутому во времени и пространстве о н т о л о г и ч е с к о м у видению действительности, при котором трагедии социальной жизни предстают как частный случай беспредельного трагизма бытия вообще.

Что касается «навязчивой аллюзивности» и «эзопова языка», усвоенных шестидесятниками, я бы и тут поостерегся от размашистых обобщений. Во-первых, была и бесцензурная словесность, которая, как говорится, с порога отказалась от лукавых игр с системой табу. А во-вторых (выскажу рискованное соображение): «эзопов язык» — далеко не всегда порок. Абстрактно рассуждая, это определенный способ контакта с читателем (или зрителем), причем способ, отнюдь не противоречащий природе искусства. Вот почему первоначальный импульс замаскировать смысл художественного вы-

сказывания аллюзиями и намеками нередко в итоге приводил не к ложной многозначительности, но к подлинной, метафорической многозначности текста. Воля ваша, читатель, но теперь нелепо себе представить, что «Верный Руслан» мог быть написан не о собаке, а, скажем, просто о некоем отставном вертухае — тем более что сам Владимов не раз вспоминал о том, как и почему он отказался от первоначального, сугубо «эзопова» варианта повести.

Здесь кстати вспомнить и спор о «Покаянии» Т. Абуладзе, затеянный Юрием Карабчиевским, который тосковал «по простому, прямому, без намеков и экивоков слову» и адресовал свою укоризну в связи с этой тоской не только Т. Абуладзе, но и тому же Ю. Трифонову: «Хороший ли писатель Юрий Трифонов? Я отвечу вполне определенно: «Хороший!» Правдивы ли книги Юрия Трифонова? Я отвечу уклончиво. Представьте себе интеллигентский дом Москвы семидесятых, где бы никогда ни при каких обстоятельствах, ни словом не обмолвился ни один человек, ни гость, ни хозяин: ни о диссидентах, ни о евреях, ни об арестах и ни об обысках, ни о демагогии партийных вождей, ни об уехавших за океан знакомых, ни о передачах Би-би-си — «Свободы», ни, наконец, о попавшем в руки журнале или ксерокопии **тамиздатской книги**. Умному достаточно».

Обратите внимание, как в этом высказывании писателя из младшего по отношению к шестидесятникам поколения «сыграла» эстетическая схема «Нового мира» времен Твардовского. Эстетика и правда. «Художественные достоинства» — отдельно, «что отразил» — отдельно. Или, как недавно объяснялся Юрий Буртин: «Критерий у меня элементарный: «литература» — все, что правдиво, то есть талантливо». (Что мне нравится в этом «критерии» — так это порядок слов!..) Но Ю. Карабчиевский, разоблачая шестидесятников, использует и х ж е «методологию». Так ведь и Пушкина недолго обвинить: где, мол, в «Евгении Онегине» разговоры о конституции да о свержении царя-батюшки, где декабрьское восстание (X глава не в счет), почему не отразил?! Да потому что литература не фотография, и правдиво в ней только то, что талантливо, а никак не наоборот.

Да, в прозе Трифонова не идет разговоров, об отсутствии которых печалится Карабчиевский, да и вряд ли они необходимы — ведь в ней живет атмосфера, где этих и еще более рискованных разговоров (мы-то знаем!) н е м о г л о н е б ы т ь (разрядка моя.— М. Л.). Именно недомолвки, общепонятные намеки, густая сеть смысловых «рифм» между разными пластами повествования и формируют эту плотную атмосферу трифоновского текста, в котором слово, знакомый образ, обрывок фразы сразу же порождают з а п р о г р а м м и р о в а н н ы е автором ряды ассоциаций, вплоть до самых крамольных[1]. Проиграл Трифонов или выиграл от «навязчивой аллюзивности»? — Мне кажется, выиграл, так как эффект умолчания позволил ему добиться такой степени насыщенности стиля многозвучием голосов, точек зрения, идей, времен, что вся наша проза ощутимо разделилась на до- и послетрифоновскую. И, кстати, думаю, вряд ли правомерно называть Трифонова семидесятником, он, конечно же, шестидесятник, но, быть может, с наибольшей художественной полнотой воплотивший тот этап миропонимания и самосознания своей генерации, который сложился в обстоятельствах безвременья. Точно так же, как авторы «исповедальной» поэзии и прозы играли роли лидеров литературного поколения в оттепель.

К чему я веду? Да к тому, что главным в шестидесятниках оказывается не то, что в них было стабильно (это в основном система либеральных идей и принципов), но то, что в них менялось. Не статика, но динамика, духовная и с т о р и я поколения, с мукой, с противоречиями избавлявшегося от наивности, заблуждений, иллюзий,—словом, от «совковости». Завершен ли процесс?.. Не уверен. Но то, что он значим,— несомненно.

Вот эту значимость истории шестидесятников и не хотят замечать нынче иные лихие оппоненты. Для них шестидесятничество — раз и навсегда сложившаяся парадигма, в которой, если и происходят какие-то изменения, то только поверхностные. Уже промелькнуло в периодике, и не раз, выражение «миф о шестидесятниках». Вероятно, это тот самый редкий случай, когда расхожий оборот удивительно точно соответствует сути дела. Ведь, по определению Ролана Барта, миф в современной культуре «уничтожает сложность человеческих поступков, придает им простоту сущностей и элиминирует всякую диалектику, пресекает всякие попытки проникнуть по ту сторону непосредственно наблюдаемого, он творит мир без противоречий, потому что в нем нет глубины, и располагает его перед нашим взором во всей его очевидности, безмятежной ясности, кажется, что вещи значат что-то сами по себе». В контексте этого размышления понятно, почему характеристики А. Тимофеевского, Вик. Ерофеева, Н. Агишевой, Ю. Карабчиевского, точные для определенного периода в судьбе шестидесятников, оказываются в принципе несовместимыми с реальной с л о ж н о с т ь ю трансформаций идеологии, психологии, этики и эстетики поколения 60-х. Да и тезис о вине поколения за провал перестройки обнаруживает свое сугубо мифологическое происхождение. Ведь это примерно то же самое, что утверждать, будто октябрьская револю-

[1] Подробнее об этой черте поэтики Ю. Трифонова статья Л. Бахнова «Семидесятник». Октябрь, 1988, № 9.

ция — дело рук злокозненных сионских мудрецов и евреев вообще. Оспаривать тут, строго говоря, нечего — ибо миф он и есть миф. А он, как известно, не аргументирует, а постулирует то, что принимает за истину.

Примечателен и механизм формирования мифов подобного типа. Он также исчерпывающе описан Р. Бартом: «**Лишение Истории.** Миф лишает предмет, о котором он повествует, всякой историчности... Понятно, от чего помогает избавиться эта удачная риторическая фигура: от детерминизма и от свободы. Ничто не производится, ничто не выбирается: остается лишь обладать этими новенькими вещами, в которых нет ни малейшего следа их происхождения или отбора. Это чудесное испарение истории есть одна из форм... концепта «безответственность человека».

Концепт «безответственность человека», избавление от детерминизма и от свободы... Запомним это.

Но если шестидесятники — поколение, самые существенные качества которого раскрываются только в противоречиях его исторического пути, что в общем-то не редкость в русской культуре («обычная железнодорожная тематика»), то совершенно неизбежно возникает вопрос и об «идее пути» шестидесятников. В нем немало параллельных и пересекающихся линий, и если выделить некоторые из них (на мой взгляд, важнейшие), то мы проследим и сам путь:

— от утопического сознания, веры в «социализм с человеческим лицом» и надежды на плодотворность «борьбы с недостатками» к последовательному и глубокому антитоталитаризму;

— от коллективизма к «персональному самосознанию» и в особенности от идеи служения государству и народу к идее частной жизни, соединяющей историю и онтологию, к ценности внутренней свободы каждой личности;

— от эстетики утилитарной социальности к искусству, сосредоточенному на вопросах экзистенциального плана, а уж во вторую очередь — на социальных корнях и последствиях бытийного неблагополучия.

Все ли прошли этот путь до конца? Конечно, нет. Более того, я выделил именно эти линии, потому что на них пришлись наиболее принципиальные развилки, расколовшие поколение. На первой разошлись «верные ленинцы» и те, кто разделил идеи и настроения диссидентского движения. На второй произошло размежевание с «почвенниками», которые сменили прежнее «мы» — на «мы» великой русской Нации и великой российской Империи. Третья же, эстетическая дилемма, похоже, остается предметом не завершенного и по сей день спора.

Путь шестидесятников — это путь из плена мифологического сознания, из чада тоталитарной утопии, из-под глыб внутренней несвободы. В этом смысле духовная их эволюция напоминает легенду о Моисее, сорок лет водившем евреев по пустыне для того, чтобы родилось поколение, не знающее рабства. Правда, отличие в том, что шестидесятники *сами себя* водили по пустыне безвременья. А это вдесятеро сложнее. Особенно если учесть не ослабевавшую коллизию отношений с режимом, где вариантов личного выбора было множество: от прямой оппозиции до отшельничества, от капитуляции и циничной сервильности до лукавых компромиссов между государством и совестью.

Еще раз подчеркну: главной ценностью в опыте шестидесятников оказывается сам *факт пути*, сама способность изменяться по мере внутреннего раскрепощения и ради него. В таком случае сам тип судьбы, выпавший на их долю, и породил те внутренние опасности, с которыми им неизбежно пришлось столкнуться.

Первая опасность — возможность законсервироваться на каком-то этапе движения, абсолютизировав его относительную по сути ценность. О том, что этот выбор гибелен для шестидесятников, первым, по-видимому, сказал Вл. Маканин в повести «Один и одна» (1987). Четыре года назад на Маканина многие обиделись, увидев в его повести оскорбление целому поколению. Между тем Маканин писал не о поколении в целом, а лишь об одном, увы, типичном, варианте судьбы его представителей. Трагедия Геннадия Голощекова и Нинели Николаевны была трагедией остановки не столько даже в 60-х, сколько просто — в юности (оба они «опрокинуты в юность»). А уж отсюда — и одиночество, и тотальное отчуждение, и обессмысливание существования. Все дело в противоречии между верностью коллективистским идеалам и экзистенциальной ответственностью, порождаемой ситуацией одиночества, «ножницах» между затянувшимся пережевыванием прошлого и необходимостью сегодня, сейчас быть достойным своего одиночества. Ни «один» и ни «одна» этого противоречия разрешить не умеют. Вот почему одиночество, которое могло бы обернуться внутренней свободой, приводит стареющих шестидесятников к полному духовному фиаско.

Другую опасность я бы назвал комплексом «флюгера наоборот». Логика пути поколения порождала иллюзию объективной значимости какой бы то ни было внутренней метаморфозы личности. Но шестидесятник (в особенности прогрессивный) ни за что не повернется по ветру: только против, только вопреки. Не здесь ли источник «парадоксализма» Льва Аннинского и тех многочисленных трансформаций, которые он претерпел в связи с Шукшиным, Трифоновым, «сорокалетними» и другими персонажами его критической прозы?.. Не тут ли объяснение феномена и Дмитрия Урнова, в недавнем прошлом критика вполне либеральной ориентации, который сегодня, несмотря на тонкий эстетический вкус, бросается защищать роман В. Белова «Все впереди», но зато яростно обрушивается на Пастернака и Набокова и при этом то и дело запевает вдохновенный гимн во славу опередивших мыслью время — кого бы вы думали, читатель? — представителей «конвойного литературоведения» В. Р. Щербину, А. И. Овчаренко, Вас. Новикова, А. Н. Иезуитова... То, что именно люди этого круга писали для Суслова рецензии на роман Гроссмана, гробили «Новый мир», травили Солженицына, со знаменами соцреализма в руках и партийной цитатой на устах выдавливали из страны лучших писателей, запрещали, отправляли на «полку» или в самиздат те произведения, которыми мы сегодня гордимся, — обо всем этом Д. М. Урнов, не может не помнить. Но... ветер изменился, и он истово доказывает недоказуемое.

Однако самая серьезная опасность, запрограммированная «идеей пути» шестидесятников, по-настоящему обнаружилась в самое последнее время, породив глубоко драматичную ситуацию: возникло ощущение *конца пути*. Либеральные идеи, которые объединяли поколение шестидесятников, казалось бы, сегодня наконец признаны государством и даже приняты к реализации. Но стало ли от этого лучше жить? — вопрос открытый... Те мысли, те выстраданные прозрения, за которые шестидесятники платили кровью и жизнью, неожиданно превращаются нынче в аксиоматические истины, эдакую «Чаттанугу», почти что трюизм. Все тяжкое, трудное, запретное вдруг становится легким, доступным и разрешенным. И это вызывает не только радость, но и боль, но и обиду. Именно об этой обиде говорит Георгий Владимов: «Вчера по телевизору демонстрацию в Москве у Парка культуры видел. 200 тысяч идут — «преступная война в Афганистане», «позор, наказать виновных» и т. д. И горько стало. Значит, вас было 200 тысяч таких смелых, когда мы в маленькой кухоньке у Сахарова ставили свои подписи, а я потом еще тайком иностранным корреспондентам передавал у себя на квартире».

Ощущение конца пути, как при резком торможении, породило инерцию. Ту, о которой когда-то предупреждал Н. Коржавин: «самое страшное — это инерция стиля... Это — ты весь изменился, а мыслишь как раньше. Это — ты к правде стремишься, а лжешь, как обманщик. Это душа твоя стонет, а ты не внимаешь. Это — ты верен себе и себе изменяешь». «Инерция стиля» обострила и те скрытые опасности, которые всегда сопровождали шестидесятников.

Повинуясь «инерции стиля», Михаил Шатров бросается защищать Ленина от «нападок», забывая, что эти «нападки» вызваны не только публикацией палаческих документов 20-х годов, книгами Солженицына и Гроссмана, но и очевидным крахом «дела Ленина» во всем мире. Наблюдать за этим новым витком борьбы с «клеветой и очернительством» и горько, и смешно. Когда в 70-е Шатров писал свой ленинский цикл, всем было ясно, что на основе документов, используя технику брехтовского «эпического» театра, драматург лепил образ не столько Ленина, сколько анти-Сталина, анти-Брежнева (так же, впрочем, поступали в своих ленинских сочинениях и другие шестидесятники). Но, похоже, Шатров, подменив реального исторического Ленина условным публицистическим персонажем, сам искренне поверил в эту подмену и даже как бы забыл о ней.

Или Е. Евтушенко с А. Вознесенским, повинуясь инерционному императиву «гражданского служения» поэзии обществу, публикуют в периодике свои стихи, где «прогрессивность» не просто подчинила, а напрочь вытеснила всякую поэтику *вообще*. Судите сами: здесь есть все, чему быть положено. Гражданский гнев (в стиле агитпропа): «Когда шахтеры «Воргашорской» встают с шахтерами Кузбасса, то дело не в судьбе шахтерской — в судьбе обманутого класса». Гражданская печаль (в загадочном грамматическом оформлении): «Читаю ль тягомотину обычную или статьи завистливую рвотину (?), я думаю не об обиде — «Что будет с родиной?» Неужто и она себя утратит — и лес, и Кремль, впечатанный на «сотенной?»... (рвотину-родину-сотенной: как насыщенна смыслом рифма!) Гражданский сарказм (в духе абсурда): «Здравствуйте, министр добрейший, аморальных удобрений» (очень хотелось бы знать, где встречаются моральные удобрения?..) и т. п.

Есть у этих поэтов «маяковские» неологизмы: «диктатура кухариата», партия — «кухартия», государство — «кухарство», и даже — «в погонах маршальских кухар» (?); «некрасовский» народный юмор: «Ах, министр, не пестицидьте...», тонкий лиризм (ах, опять эта грамматика!) «Москвич последний, среди белых пятен я выхожу без шапки и пальто...»; оригинальная рифмовка: «монетка-блестинка» — «извинительная звенинка»; чуть-чуть пикантности (гражданской, что вы!); «Сагдеев, обхвативши Сюзан, преодолел запретов юз»; каламбурчик на крови: «А ты идешь по столице с плакатом «Мерси, Баку», цыганочка социализма с детишками на боку (?!)»; и лозунги, призывы, рекомендации: «Родину нельзя полуспасти». «Неужель — не у датчан! — детской смертности статистика Вас не будит по ночам?» (и снова эта грамматика...), «беженцам хоть рубль пожертвуйте...», «Попытка подменить все веры Марксом закончилась кровавым страшным фарсом»; «Во вселенную или в пылинку че-

ловек для того и вроднен, чтоб добавить хотя бы звенинку...» и т. д. и т. п.

Да, здесь есть все, что требуется для так называемой гражданской поэзии. Кроме сущего пустяка — самой поэзии. «Инерция стиля» оказалась настолько мощной, что, ей-богу, трудно поверить, будто все эти строки написаны *профессиональными* поэтами.

А разве не «инерции стиля» поддается лидер либеральной критики 60-х годов Вл. Лакшин, публикуя статью «Утрата достоинства» («ЛГ», 1991.), в которой высказывает осторожные опасения: а не слишком ли далеко зашли мы в разрушении иерархии авторитетов, не слишком ли много почета писателям-эмигрантам (а в подтексте: не слишком ли мало оставшимся здесь); не слишком ли много некрасивой правды узнаем мы о классиках литературы и об ужасах жизни — ведь все это порождает, по мнению критика, цинизм, безверие, озлобленность, привыкание к злу, а главное, отвлекает людей от их непосредственных обязанностей. Не пора ли нам «заново полюбить свой труд и свое дело?..» Но, позвольте, разве не под аналогичные призывы — каждому заниматься своим маленьким делом и не лезть в большую политику — была задушена первая оттепель? Разве не похожие соображения и сомнения насчет развращающего влияния слишком большого количества страшной правды на незрелые умы сограждан (выраженные, конечно, куда более грубо и прямолинейно, чем у Лакшина) стояли на пути наиболее смелых публикаций да и всего журнального курса «Нового мира» времен Твардовского (кстати, растлевающая сила этой демагогии прекрасно показана самим же Лакшиным в его записках о «Новом мире», опубликованных в «Знамени»).

А чем, кроме «инерции стиля», можно объяснить тот факт, что и публицисты-шестидесятники, вообще склонные чрезмерно внимательно относиться к вопросам идеологии,— и сегодня продолжают насмерть сражаться с идеологическими привидениями большевизма, хотя, кажется, ныне даже слепому ясно, что идеология — всего лишь фасад коммунистической диктатуры, к тому же фасад уже обвалившийся, обнаруживший свою чисто декоративную роль в истинной структуре тоталитарной власти?

И дело, думаю, не в этих вполне типичных случаях. Речь должна идти о неизбежном риске банальности, который сегодня стал преследовать даже тех писателей, которые совсем недавно были истинными властителями дум. А ведь все это тоже прямые последствия «инерции стиля».

Впрочем, чувство конца пути порождает не только «инерцию стиля». Порождает молчание.

Суть этого состояния недавно объяснил Алексей Герман: «Ситуация свободного проникновения на экран породила перед думающими людьми новые проблемы — надо что-то сказать, и сказать современнее, интереснее, чем говорит пресса, а пресса говорит достаточно откровенно и жестко. Нужен не поступок, его от нас требовали раньше, поступок — разрешен. Значит, какой-то иной уровень искусства, иной уровень разговора? О, это очень трудно»... Не в похожей ли ситуации находятся сегодня Ф. Искандер, А. Битов, прозаик Б. Окуджава, публикующие ныне свои давние художественные тексты?

И причина тут не в том, что «шестидесятники не могут жить без борьбы» (Н. Агишева), без противостояния властям — тем более, что власти, как кто-то верно заметил, не позволяют бывшим оппозиционерам надолго расслабляться.— Нет, это не причина. Это всего лишь катализатор. Причина, по-видимому, и глубже, и серьезнее.

Уровень «персонального самосознания», к которому пришли многие шестидесятники, заставляет их переживать нынешнюю ситуацию не только в социальных, но и в экзистенциальных категориях. Один из талантливейших кинорежиссеров этого поколения, Кира Муратова, так объясняет, почему она не знает, что будет снимать дальше: «Вот обзывают «чернухой» хорошую ленту Говорухина «Так жить нельзя!». Так — нельзя. Надо полагать, известно, как — можно? Мне неизвестно, как можно. Именно «Астенический синдром», если на то пошло, и есть настоящая «чернуха»... Я говорю, что никак жить нельзя. Потому что жить вообще ужасно, по самой даже биологической природе жизни. И вот мы пришли в отчаяние».

Чувства конца пути порождают горькую и скептическую мысль о бесплодности любого пути. Причем отчаяние это гораздо трагичнее того, что шестидесятники пережили в 65—68 годах. Но в этом нынешнем состоянии экзистенциального тупика кроется, на мой взгляд, и возможность преодоления «инерции стиля», возможность выхода из ступора, вызванного иллюзией конца пути. Ведь и кризис конца 60-х заставил шестидесятников, ломая себя, искать новую глубину миропонимания. К тому же сегодня типичным для поколения становится, пожалуй, состояние духа, близкое к тому, которое в своей поэзии испытал двадцать лет назад Иосиф Бродский.

Жить в эпоху свершений,
имея возвышенный нрав,
к сожалению, трудно.
Красавице платье задрав,
видишь то, что искал,
а не новые дивные дивы.
И не то, чтобы здесь Лобачевского
твердо блюдут,
но раздвинутый мир должен где-то
сужаться, и тут —
тут конец перспективы.
. . . .
Зоркость этих времен — это зоркость
к вещам тупика,

Не по древу умом растекаться
пристало пока,
но плевком по стене. И не князя
будить — динозавра.
Для последней строки, эх,
не вырвать у птицы пера.
Неповинной главе всех и дел-то,
что ждать топора
да зеленого лавра.

Похоже, Бродский сегодня может стать одним из важнейших духовных ориентиров для шестидесятников, потому что он всей силой своего дара доказывает, что *это* отнюдь не конец пути. Это только «конец прекрасной эпохи». Той самой, когда идеи властвовали над миром, когда за поэзию убивали и когда искусство оставалось чуть ли не единственным хранителем идеи и состояния высокой человеческой свободы. Начинается другая эпоха... Но какая? В том-то и дело, что не ясно, какая именно. Но — начинается. И вот рубеж.

Что нужно сделать, чтобы преодолеть этот рубеж?..

Вряд ли найдутся смельчаки, которые предложат готовый рецепт. Я не из их числа. Но мне почему-то начинает казаться, что нынешняя бурная административно-политическая активность шестидесятников — это не только реванш за вынужденное бездействие, но и бессознательная попытка уйти от глубокого, неподдельного осознания меры кризиса и отчаяния. Правда, я вижу и другое. Вижу, что лучшие из них, не заслоняясь от зрелища разрушенной структуры бытия, в то же время не впадают и в безнадежность. Они, пусть это порою кажется смешным, все равно остаются мальчиками. теперь уже седыми, умеющими по-прежнему расслышать «надежды маленький оркестрик». Этого наивного и светлого свойства лишены идущие вослед: они трезвее и жестче. Но я убежден еще и в том, что рубеж кризиса и отчаяния останется непреодоленным до тех пор, пока не изменятся отношения между шестидесятниками и младшими литературными поколениями. На сегодняшний день их можно определить лишь неутешительными словами: «глухота» и «непонимание». Миф о шестидесятниках, созданный в основном усилиями тридцатилетних,— прямое доказательство неплодотворности подобных отношений.

Суть расхождений становится понятной, если учесть общий духовный контекст последних десятилетий, когда, по мысли Игоря Виноградова, освободилось «место в человеческой душе, которое экзистенциально предназначено для смыслообразующих ценностей» и которое в годы Советской власти, вплоть до оттепели, было занято социальной верой, «бесповоротно, окончательно и по существу» потерпевшей крушение в застой и в годы перестройки. «Мы свободны сегодня, увы, как никакой другой народ в мире: смыслообразующее место в душах стало пустым»,— с горечью констатирует И. Виноградов. Разница между шестидесятниками и тридцатилетними авторами «новой волны», видимо, в том и состоит, что для первых главный вопрос: как выйти из-под бремени этой свободы, какими религиозными, культурными, философскими, нравственными (а для кого-то идеологическими, национальными, государственными) ценностями эту свободу *внутренне обуздать*, заполнить пустоту?

Тридцатилетние, напротив, увидели в свободе огромное благо, свидетельство наступления новой культурной ситуации, в которой для многих пустота обернулась вместилищем противоположных эстетических языков и систем, а полная внутренняя невесомость, абсолютная независимость сознания стала главным условием раскованного диалога личности с этими языками и системами,— диалога, благодаря которому личность творца обретает опору, но не в конкретной реальности, а в бесконечности культуры.

Как ни парадоксально: это разные *тактики* формирования **полноценного свободного сознания**, в котором свобода подкреплялась бы внутренней цельностью, основанной, в свою очередь, на органичном личностном переживании высших и вечных духовных абсолютов.

Но существующие расхождения в позициях шестидесятников с представителями «другой» литературы породили жесткое взаимное отталкивание. И должен признаться: жесткость авторов и теоретиков «новой волны» по отношению к культуре шестидесятников мне понятней, чем высокомерие иных шестидесятников, одобрительно относящихся лишь к тем явлениям новой словесности, которые так или иначе соотносимы с опытом литературы 60—70-х (творчество С. Каледина, А. Терехова, С. Василенко, Л. Габышева и др.) В первом случае — нормальное самоутверждение, не исключающее, как свидетельствует история литературы, и косвенных форм преемственности. Во втором, мне кажется, маячит нечто пугающее.

Я остро почувствовал это, когда прочитал статью Игоря Дедкова «Между прошлым и будущим», в которой известный шестидесятник полемизирует с Михаилом Эпштейном, не менее известным теоретиком и идеологом «новой волны» в литературе («Знамя», 1991, № 1). Разумеется, с М. Эпштейном не обязательно соглашаться; в его статьях всегда содержится элемент интеллектуальной провокации, так что их нормальное восприятие как бы заранее предполагает спор. Но Эпштейн по-своему анализирует и классифицирует *реально существующую* литературную действительность. Это факт, и я ожидал, что И. Дедков предложит собственный анализ наиболее интересных текстов «новой волны».

Не предложил. Ни одного произведения из «новых» не упомянул. Когда-то,

давным-давно, помню, И. Дедков «опровергал» (как оказалось, зря) прозу «сорокалетних», но по крайней мере он признавал тогда объективную реальность, разбирал тексты, вникал в сюжеты; лишь внесоциальный пафос этой прозы критика не устраивал. Что ж, дело хозяйское. Но последняя статья — случай иной. И главный пафос ее состоит в том, что литература, как считает Дедков, которая не обращена к «конкретности реальной жизни, реальной эпохи, реальной человеческой мысли», которая лишена «братско-сыновнего понимания всех драм и трагедий народной жизни»,— литературы, про которую трудно сказать «от кого, за кого, во имя чего?» (так и хочется добавить из трифоновского рассказа-воспоминания о «Новом мире»: против кого?) — что такой литературы у нас попросту не может быть. А если какая-то там литература и возникла, то это «нечто избыточно и преждевременно суетящееся в тени Предшественников...». Очевидно, поэтому, считает критик, незачем зря тратить время на то, чтобы читать, разбираться, пытаться понять правду о ней.

Сказанное, впрочем, не означает, что с «тридцатилетних» можно снять всю ответственность за конфронтацию с шестидесятниками. Больше того: очень тревожит — и не только меня — мифологизация опыта шестидесятников в сознании нового литературного поколения. Ведь это однажды уже было: убежденность в своем праве делить на чистых и нечистых, уверенность в том, что после долгого провала все начинается с нас — заново, с нуля. Было у самих шестидесятников, которые только в семидесятые годы всерьез принялись за работу осознания опыта старших, в том числе и ближайших литературных поколений. Именно штудии стали толчком для серьезной внутренней эволюции многих из них (кстати, Бродский, который пережил этот этап гораздо раньше и глубже других, отчасти и поэтому, наверное, смог так опередить развитие духовной динамики своего поколения).

История русской литературы XX века, к сожалению или к счастью, не приемлет однозначности оценок и интерпретаций. Как пишет Вяч. Вс. Иванов, водораздел между литературным героизмом и подлостью «подчас проходил не между писателями и школами в литературе, а внутри биографий и судеб». Эта «традиция» не прервалась и в 1953 году: опыт шестидесятников тому прямое свидетельство. И глупо надеяться, что нас минует этот рваный «совок-блюз». Значит, надо быть готовым и к этой сложности. «Как показала история, наследуемый тип культуры нерасчленим — и в плохом, и в хорошем,— напоминает философ Владимир Кантор.— Да и вообще нельзя ничего отвергнуть: в превращенном виде все явления истории и культуры продолжают жить, перетекая из прошлого в настоящее. От культуры нельзя отказаться, ее можно гуманизировать. Но для этого ее необходимо понимать, прежде чем предлагать «рецепты спасения». А чтобы понимать, нужно вырываться из мифологических моделей и представлений».

Выше я приводил слова Р. Барта об определенном типе мифотворчества, который избавляет как от детерминизма, так и от свободы, реализуя таким образом концепцию безответственности. Это вполне справедливо в отношении к нынешнему мифу о шестидесятниках (во всех его вариантах). Строительство непроходимой границы между шестидесятниками и тридцатилетними («мы — абсолютно другие»), отчуждает последних от подлинного смысла пути, пройденного предшествующим поколением. Вне зависимости от опыта старших наша внутренняя раскрепощенность, доставшаяся легко, почти бесплатно, оказывается дешевой, ибо оплачена ими, их трудностями, заблуждениями, ошибками, дорогой ценой, отданной за обретение внутренней свободы. Да и то сказать: избавляя себя от ответственности за их путь, можем ли мы рассчитывать на то, что наша свобода окажется полноценной. Вряд ли.

Значит, нужно обрести ответственность, подойти к осмыслению опыта шестидесятников с точки зрения исторической, ибо история и миф несовместимы. Мы должны тщательно освоить их опыт, мысленно пройти их путь, за пядью пядь, пережить его заново — без кратких курсов. Чтобы он стал нашим — точно так же, как многие из нас в меру своих сил и способностей пропустили через себя опыт Мандельштама, Пастернака, Ахматовой, Булгакова...

И еще надо искать сопряжения. Ведь в творчестве представителей «новой» литературы с шестидесятниками есть точки пересечения. Это и состояние кризиса (а «другая» словесность сейчас, несомненно, вошла в полосу кризиса), это и экзистенциальный масштаб отчаяния, это, наконец, общая устремленность к познанию в себе «Внутреннего Человека, не поступившегося Внутренним во встречах с миром» (О. Седакова). Этих существенных точек контакта для диалога, считаю, более чем достаточно.

Но чтобы начать диалог, и старшим и младшим надо отказаться от роли судьи для себя и подсудимого для другого. Мы отцы и дети. И отцам необходимо, чтобы дети их понимали. Детям плохо, если их не понимают отцы. Трудно сказать, кому из нас это понимание нужнее. Знаю только, что без этого понимания никогда не прозвучат финальные аккорды и без того чересчур затянувшегося совок-блюза.

г. Свердловск

Советуем прочитать

«Стреляли... стреляли... стреляли...»

СЕРГЕЙ БУРИН ПРЕДСТАВЛЯЕТ РАБОТЫ ОБ ЭСЕРОВСКОМ ТЕРРОРЕ

XX век с его двумя мировыми войнами, с десятками миллионов жизней, бессмысленно загубленных в нашей стране, сделал бесконечно далеким от нас время яростных споров о том, можно ли во имя всеобщего счастья поступиться не только одной-единственной человеческой жизнью, но даже такой малостью, как детская слезинка... Когда весной 1866 года студент Каракозов совершил покушение на Александра II, Достоевский, узнавший об этом, затрясся, как в лихорадке, и хоть было уж ясно, что жизнь царя вне опасности, писатель все повторял: «Но стреляли... стреляли... стреляли...» Он, стоявший когда-то под прицелами ружей расстрельной команды, так и не мог представить, какие земные и неземные силы могут заставить посягнуть на жизнь человека.

Между тем время уже переломилось, и в людей стреляли не только на войне, не только по приговору суда, но и как в политических противников. Террор, широко практиковавшийся народовольцами, лег в основу стратегии возникшей в начале нашего века партии социалистов-революционеров (эсеров), да и появившиеся тогда же большевики им не пренебрегали. Правда, у нас долгое время было принято делить террор на, так сказать, «правильный» (красный) и вредный (белый и прочие). Лишь в последние годы мы смогли прочесть о том, чем на деле был большевистский террор, и до и послеоктябрьский.

Своего рода открытием для миллионов читателей стало и то, что эсеры были не головорезами, увешанными бомбами и револьверами, а людьми, мучительно осмысливавшими критерии добра и зла, свое право распоряжаться чужими жизнями. Был среди них и **Борис Савинков** — писатель, эсер-теоретик, террорист, политический деятель. Его **«Воспоминания» (М., Московский рабочий, 1990)** читаются как беспристрастная и подробнейшая летопись эсеровского террора, они содержат интереснейшие портреты и стоявших у истоков партии эсеров Гоца и Гершуни, и отчаянных террористов Каляева, Созонова, Доры Бриллиант, и авантюриста-провокатора Азефа.

Спору нет: на совести эсеров множество жертв. Но, Господи, как же непросто давалась им эта видимая решимость! Савинков пишет, что Каляев, убивший в феврале 1905 года великого князя Сергея Александровича, «любил революцию так глубоко и нежно, как любят ее только те, кто отдает за нее свою жизнь», видя в терроре «не только наилучшую форму политической борьбы, но и моральную, быть может, религиозную жертву». Накануне убийства великого князя Каляев уже бежал к его карете, уже поднимал руку с зажатой в ней бомбой, но... успел разглядеть в карете мальчика и девочку — племянников князя. И рука опустилась... Невольно испытываешь, нет, не уважение, конечно, и не симпатию, а скорее жалость к этим несчастным, сгубившим и свои и чужие жизни.

Но были среди эсеров и «рыцари без страха и упрека», особых сомнений не испытывавшие. Террорист Карпович говорил Савинкову: «Нас вешают — мы должны вешать. С чистыми руками, в перчатках, нельзя делать террора. Пусть погибнут тысячи и десятки тысяч — необходимо добиться победы. Крестьяне жгут усадьбы — пусть жгут... Теперь не время сантиментальничать — на войне, как на войне». Знакомые слова, не правда ли? И здесь же следом Савинков пишет: «Но он сам не экспроприировал и не жег усадеб. И я не знаю, много ли встречал в моей жизни людей, которые за внешней резкостью хранили бы такое нежное и любящее сердце, как Карпович». Эти мучительные, почти всегда неразрешимые противоречия поступков, характеров, судеб, идей пронизывают историю эсеровского движения.

Эсеры свято верили в то, что «посредством устранения» тех губернаторов, великих князей, жандармских офицеров, «которые будут признаны наиболее преступными и опасными врагами свободы», они сумеют утвердить в стране царство справедливости. Убив министра внутренних дел Плеве, Егор Созонов писал товарищам из тюрьмы: «Вы дали мне возможность испытать нравственное удовлетворение, с которым ничто в мире несравнимо... Я готов был петь и кричать от восторга». А в эсере Сулятицком, помогшем Савинкову бежать из тюрьмы, «жили два желания: желание

победы и желание смерти во имя революции». В такой смерти Сулятицкий видел «искупление неизбежному и все-таки греховному убийству».

Сомнения эсеров, трагическая борьба в их душах решимости и отчаяния отражены и в романе **В. Ропшина** (литературный псевдоним Савинкова) **«То, чего не было» (М., Художественная литература, 1990)**. «И кто знает,— размышляет в предисловии к роману писатель Юрий Давыдов,— не служила ли беллетристика В. Ропшина спасительной соломинкой Б. Савинкову?»

Действительно, в размышлениях героя романа Андрея Болотова нетрудно «расшифровать» раздумья самого автора: «Уже давно прошло трудное время, когда он чувствовал страх. Как моряк привыкает к морю и не думает, что утонет; как солдат привыкает к войне и не думает, что будет убит; как врач привыкает к тифу или чахотке и не думает о заразе,— так и Болотов привык к своей безымянной жизни и не думал, что его могут повесить». Атмосфера хронической опасности и готовность нести эту опасность в себе были привычны для эсеров, став их средой. Болотов «не спрашивал себя, можно и должно ли убивать. Этот вопрос был решен: партия давала ответ... Он не понимал, что чувствует человек, когда идет убивать, и простодушно радовался тому, что в партии много людей, готовых умереть и убить».

Но и эта готовность вершить кровавый суд давала сбои. Вот возникает кошмарная в своей прозаичности сцена казни эсерами жандармского полковника Слезкина в дни вооруженного восстания в Москве (декабрь 1905 года). Но уже спустя несколько дней Болотов, терзаемый раскаянием, спрашивает одного из «коллег» по убийству: «Допускаете ли вы, что этот убитый Слезкин не из корысти, а по убеждению преследовал нас? Допускаете ли вы, что он не для себя, а для народа, именно для народа, заблуждаясь конечно, считал своим долгом бороться с нами?»

И из этих вопросов постепенно вырастают новые: «Так где же закон?.. В партийной программе? В Марксе? В Энгельсе? В Канте? Да ведь это все чепуха... ведь ни Маркс, ни Энгельс, ни Кант никогда не убивали людей... Никогда, никого... значит, они не знают, не могут знать то, что знаю я, что знаете вы... Что бы они ни писали, от них останется скрытым, можно убить или нет. Это известно нам, только нам, только тем, кто убил».

В бессмысленной схватке с законом схвачен полицией и погибает на эшафоте Болотов, один за другим гибнут и другие герои романа. Убийства и самоубийства, предательства, кровь, кровь... Ради чего же, в конце концов? На это не в состоянии ответить ни Савинков, ни его герои.

В **«Избранное» Савинкова (М., «Новости» совместно с «Инновационным фондом», 1990)**, кроме уже упоминавшихся мемуаров, вошли его чрезвычайно популярные когда-то повести «Конь бледный» и «Конь вороной». Первая из них, написанная в форме дневника эсера террориста, позволяет автору приоткрыть интимные страницы своей жизни. За персонажами «Коня бледного» (как, впрочем, и романа «То, чего не было») легко угадываются реальные фигуры Азефа, Каляева, других эсеров. Сюжет построен вокруг «охоты» на губернатора, сочетающей в себе действительные детали подготовки и осуществления покушений на Плеве и великого князя Сергея Александровича.

Автобиографична и повесть «Конь вороной», где речь идет уже об иных временах — гражданской войне. Дневниковые записи героя Савинкова говорят нам о его взглядах в новых условиях: «Мне все равно, кто именно «обогащается», то есть ворует,— царский чиновник или «сознательный коммунист»... Мне все равно, чья именно власть владеет страной,— Лубянки или Охранного Отделения: ведь кто сеет плохо, плохо и жнет... Что изменилось? Изменились только слова».

Но не в характере Савинкова прятать свое отношение к новой российской власти за подобными философскими рассуждениями. «Я ненавижу их,— пишет он.— В распояску, с папиросой в зубах, предали они Россию на фронте. В распояску, с папиросой в зубах, они оскверняют ее теперь. Оскверняют быт. Оскверняют язык. Оскверняют самое имя русский. Они кичатся тем, что не помнят родства. Для них родина — предрассудок. Во имя своего копеечного благополучия они торгуют чужим наследием,— не их, а наших отцов. И эти твари хозяйничают в Москве...»

С этими беспощадными словами, конечно, можно спорить, но просто отмахнуться от них сегодня уже нельзя.

В отличие от людей, существовавших «в распояску», представители развеянных ими по ветру партий старались избегать деклараций о своей монополии на некую абсолютную истину. Как бы от имени умирающей эсеровской партии герой «Коня вороного» писал в дневнике: «Истины нам знать не дано. Но то, что мы знаем, разорвано на две части. Одна у них, другая у нас...» Этот непобедимый воздух времени сомнений, времени мучительных поисков истины несут в себе возвращенные читателю мемуары Савинкова, его наивная, но искренняя проза.

Одни только эти произведения могли бы дать достаточно полное (хотя, разумеется, не исчерпывающее) представление о партии эсеров. Но «эсеровская» тема связана и с рядом других недавних публикаций. Выделю среди них первое после 1928 года переиздание (к сожалению, сильно сокращенное) работы некогда знаменитого **Вл. Бурцева «В погоне за провокаторами» (М., Современник, 1989; Кишинев, Главная редакция Молдавской Советской Энциклопедии, 1990)**. Еще в годы народовольческой юности Владимира Львовича Бурцева заинтересовала

проблема провокаторства в революционной среде. С возникновением партии эсеров (1902 г.) Бурцев начинает бесстрашную охоту за провокаторами.

Это была игра с огнем, и Бурцев отлично осознавал это. Понимал он и то, что в стремительно революционизирующемся российском обществе симпатии и сочувствие будут на стороне мнимых радикалов и, стало быть, сражаться ему предстоит практически в одиночку. «С 1902—1905 гг. в России гремела «Боевая Организация» партии эсеров,— писал Бурцев.— Имена Карповича, Балмашева, Гершуни, Каляева, Сазонова (правильно: Созонов.— **С. Б.**) были у всех на устах. Террористические удары встречались во всех слоях общества с энтузиазмом, и они имели не только русское, но и общеевропейское значение».

Насчет «всех слоев» Бурцев несколько преувеличил, но катастрофическое падение нравственности, начиная с середины прошлого века, было очевидным. Появившийся в 1909 году знаменитый сборник статей об интеллигенции «Вехи» (кстати, и он в прошлом году был наконец-то переиздан) стал тревожным предупреждением о возможных последствиях этого пугающего процесса. Субъективно сражаясь за некое «светлое будущее» и бесстрашно жертвуя собой, эсеры фактически расчищали дорогу безнравственным авантюристам, лишенным каких-либо сомнений и колебаний.

Уже тогда, в первые десятилетия века, подлинной трагедией эсеровской и других революционных партий стало провокаторство. **Марк Алданов** в блестящем историческом очерке **«Азеф» («Дон», 1990, №№ 9—10)** писал: «История всех революционных движений тесно переплетается с повестью предательства и измены». Эти слова как бы дублируются в очерке современного историка **Ф. Лурье «Азеф и Лопухин» («Нева», 1990, № 9)**: «Все революционные партии изобиловали провокаторами». Личность Азефа не случайно оказалась в центре внимания многих исследователей, значительное место уделено ему и в мемуарах Савинкова, и в книге Бурцева. Провокатором в полном смысле слова Азефа, пожалуй, назвать нельзя. Это суперавантюрист, как бы «гуляя сам по себе», долгие годы ухитрялся водить за нос и «товарищей» по эсеровской партии, и Департамент полиции, платным агентом которого (кстати, оплачиваемым по сверхвысоким ставкам) он состоял. Целиком посвящена деятельности и разоблачению Азефа и впервые опубликованная в СССР книга историка, в прошлом члена ЦК партии меньшевиков **Б. Николаевского «История одного предателя. Террористы и политическая полиция» (Москва, ИПЛ, 1991)**.

Еще недавно читатели знали об Азефе лишь понаслышке, исключая разве что самых дотошных историков. И вот теперь есть возможность сопоставить сразу пять вариантов его прямо-таки детективной истории. Особенно интересно сравнить трактовку личности и поведения Азефа у Бурцева и Савинкова, авторов, во многом выступавших с противоположных позиций: первый несколько лет тщательно собирал улики против Азефа, а второй категорически отказывался поверить в его предательство и лишь под давлением неопровержимых доказательств признал очевидное. А чего стоит прямо-таки детективная история добывания Бурцевым сведений о сотрудничестве Азефа с полицией!

История с Азефом уникальна и по масштабам предательства, и по степени цинизма ее «героя». Вообще же в среде эсеров провокаторство, как правило, было личной трагедией и самого провокатора. Герой романа Савинкова «То, чего не было», вынужденный порой выполнять, по сути дела, филерские функции, спрашивает себя: «Говорим: гнусно следить. Говорим: филеры — мерзавцы... А сами?.. Филеры, мол, себя продают, а мы по совести, по революционному убеждению. Конечно, по убеждению, а все-таки... Народовольцы оставили нам легенду... Герои... Конечно, герои, но почему народовольцы скрыли от нас, что террор не только жертва, но и ложь, но и кровь, но и стыд?» А провокатор Татаров, уличенный в предательстве тем же Бурцевым, писал о мучительности жизни в условиях постоянного обмана, двуличия: «Недоверие к людям, замкнутость свыше всякой меры — все это сделалось основными моими свойствами. Я часто говорил неправду... но мне всегда казалось, что не вредную неправду...»

Знакомство с историей партии социалистов-революционеров, как известно, разгромленных большевиками вскоре после Октябрьской революции, крайне поучительно. «Неразборчивость в выборе средств для достижения непроверенных целей,— пишет Ф. Лурье,— непростительные ошибки наших предшественников обернулись для нас возмездием. Мы позволили людям, увлеченным построением социализма, перекрашивать историю чужой кровью, нашей кровью». Но здесь, на мой взгляд, требуется одно уточнение. Неразборчивость большевиков и неразборчивость эсеров — вещи разные. К каждому своему роковому решению эсеры шли через сложнейшую внутреннюю борьбу, шли, в любую минуту готовые погибнуть. И ведь погибали!

Разумеется, это ни в коей мере не оправдывает их. И хотя в генеалогии российского революционного движения, по мере своего развития последовательно освобождавшегося от сомнений и «химеры совести», эсеры были особой ветвью, все дальше и дальше отходившей от основного ствола, их путь также вел в тупик. В сегодняшней напряженной обстановке в мире особенно ясны недопустимость и пагубность террора, даже единичные проявления которого могут привести к непоправимым катастрофам.

«Знамя» в конце 1991 и в 1992 гг.

«Знамя» — журнал прежде всего современной литературы и современной общественной мысли, и потому центральное место на журнальных страницах займут:

повесть Василя БЫКОВА **«Блиндаж»**; роман Георгия ВЛАДИМОВА **«Генерал и его армия»**; повесть Геннадия ГОЛОВИНА **«Покой и воля»**; повесть Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА **«Последнее лето на Волге»**; очерки Даниила ГРАНИНА **«Этому нас не учили»**; роман Владимира ДУДИНЦЕВА **«Дитя»**; роман Олега ЕРМАКОВА **«Заклинание против вепря»**; повесть Фазиля ИСКАНДЕРА **«Ловчий ястреб»**; цикл **«Поздняя проза»** Руслана КИРЕЕВА; повесть Виктора КОЗЬКО **«Спаси и помилуй нас, черный аист»**; повесть Вячеслава КОНДРАТЬЕВА **«Искупить кровью»**; повесть и рассказы Владимира МАКАНИНА; роман Булата ОКУДЖАВЫ **«Упраздненный театр»**; повесть Вячеслава ПЬЕЦУХА **«Закопдованная страна»**; роман Александра ТЕРЕХОВА **«Женщины в моей жизни»**.

Над новыми произведениями для журнала работают Чингиз АЙТМАТОВ, Василий АКСЕНОВ, Борис ЕКИМОВ, Олег ЖДАН, Илья МИТРОФАНОВ, Михаил РОЩИН, Марина ПАЛЕЙ, Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ, Евгений ПОПОВ, Анатолий ПРИСТАВКИН, Феликс СВЕТОВ, Георгий СЕМЕНОВ.

Поэтический диапазон «Знамени», как и прежде, достаточно широк: от лирики поэтов старшего и среднего поколений до произведений молодых стихотворцев.

Новое писательское имя в каждой журнальной книжке — один из ведущих принципов «Знамени».

Зарубежную литературу на страницах журнала представляют:

Эжен ИОНЕСКО — эссе; Франц КАФКА — новеллы и притчи; Жан КОКТО — размышления об искусстве и о жизни; Эрих-Мария РЕМАРК — роман **«Искра жизни»**, впервые в полном объеме и без искажений издающийся на русском языке; Артур ХЕЙЛИ — остросюжетный роман **«Вечерние новости»**.

Сюрпризом для читателей явится впервые переведенный на русский язык фундаментальный очерк истории американской мафии: от Аль Капоне до наших дней.

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 6/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-06-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-82, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 11.07.91. Подписано к печати 05.08.91. Формат 70 × 108¹/₁₆.
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,70. Уч.-изд. л. 23,77.
Тираж 421 000 экз. Заказ № 714. Цена 1 р. 90 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Журнал по традиции внимателен к литературному наследию. Среди других произведений будут напечатаны:

неизвестная статья Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО; автобиографические записки К. Н. ЛЕОНТЬЕВА **«Моя литературная судьба»**; публикуемый по рукописи очерк Н. С. ЛЕСКОВА **«Неоцененные услуги»**; **«Проза. Статьи. Письма»** В. Ф. ХОДАСЕВИЧА; «Переписка» В. Т. ШАЛАМОВА; **«Третья книга»** воспоминаний Н. Я. МАНДЕЛЬШТАМ.

Рубрика «Мемуары. Архивы. Свидетельства» будет также представлена публикациями Н. БЕРДЯЕВА, Л. КАРСАВИНА, Д. МЕРЕЖКОВСКОГО, В. РОЗАНОВА, Ф. СТЕПУНА, П. СТРУВЕ, С. ТРУБЕЦКОГО, Г. ФЛОРОВСКОГО, находками из архивов Л. МАРТЫНОВА, Д. САМОЙЛОВА, В. ТЕНДРЯКОВА, Ю. ТРИФОНОВА, Б. ЯМПОЛЬСКОГО.

Запомнив имя Натальи ДУМОВОЙ по циклу «Московские меценаты» (1990, № 8; 1991, № 3), читатель не пропустит ее новую работу **«Женщины серебряного века»**.

О родословной фашизма и его смертоносных метастазах размышляет Елена РЖЕВСКАЯ в исследовании **«Доктор Геббельс и его «Дневник»**.

Предполагается также напечатать воспоминания, автобиографические свидетельства, размышления С. ШАТАЛИНА, О. ФРЕЙДЕНГЕРГ, Д. ШЕПИЛОВА, М. ШРЕЙДЕРА, А. Н. ЯКОВЛЕВА, других наших современников.

«Злоба дня», осмысленная в свете уроков отечественной истории,— в центре внимания А. НЕЖНОГО, Г. ПОМЕРАНЦА, Б. РАУШЕНБАХА, Л. САРАСКИНОЙ, В. СЕЛЮНИНА, Е. СТАРИКОВА, А. СТРЕЛЯНОГО и других публицистов — постоянных авторов журнала. Литературный процесс наших дней в широком общекультурном и социальном контексте исследуют критики: А. АГЕЕВ, И. ДЕДКОВ, Л. ЛАЗАРЕВ, А. МАРЧЕНКО, Вл. НОВИКОВ, С. РАССАДИН, А. ТУРКОВ, И. ШАЙТАНОВ.

Наряду с традиционными разделами «Публицистика», «Критика» в журнале вводятся или обновляются «фирменные» рубрики:

«Urbi et orbi» — монологи писателей, ученых, общественных деятелей о наиболее острых и, как правило, спорных проблемах современной действительности и современной культуры.

«С того берега» — взгляд зарубежных авторов (в том числе выходцев из России) на то, что происходит сейчас в нашей стране; оценка исторических перспектив, сопоставление с общемировым опытом, попытка закрепить диалог по линиям «Восток — Запад», «Север — Юг», «Родина — русская диаспора».

«Гипотезы. Споры. Открытия» — новое, часто парадоксальное прочтение классических литературных произведений, неожиданные подходы к «роковым тайнам» отечественной истории и культуры, прогнозы, предположения, интеллектуальные дуэли.

«Советуем прочитать» — под этой рубрикой, как и в нынешнем году, будут помещаться лаконичные обзоры наиболее примечательных книжных и журнальных новинок.

Наш индекс — 70331.

Подписная цена на год — 30 руб., стоимость одного номера — 2 р. 50 коп.